

Айзек АЗИМОВ

---

Айзек

АЗИМОВ

Избранное

---



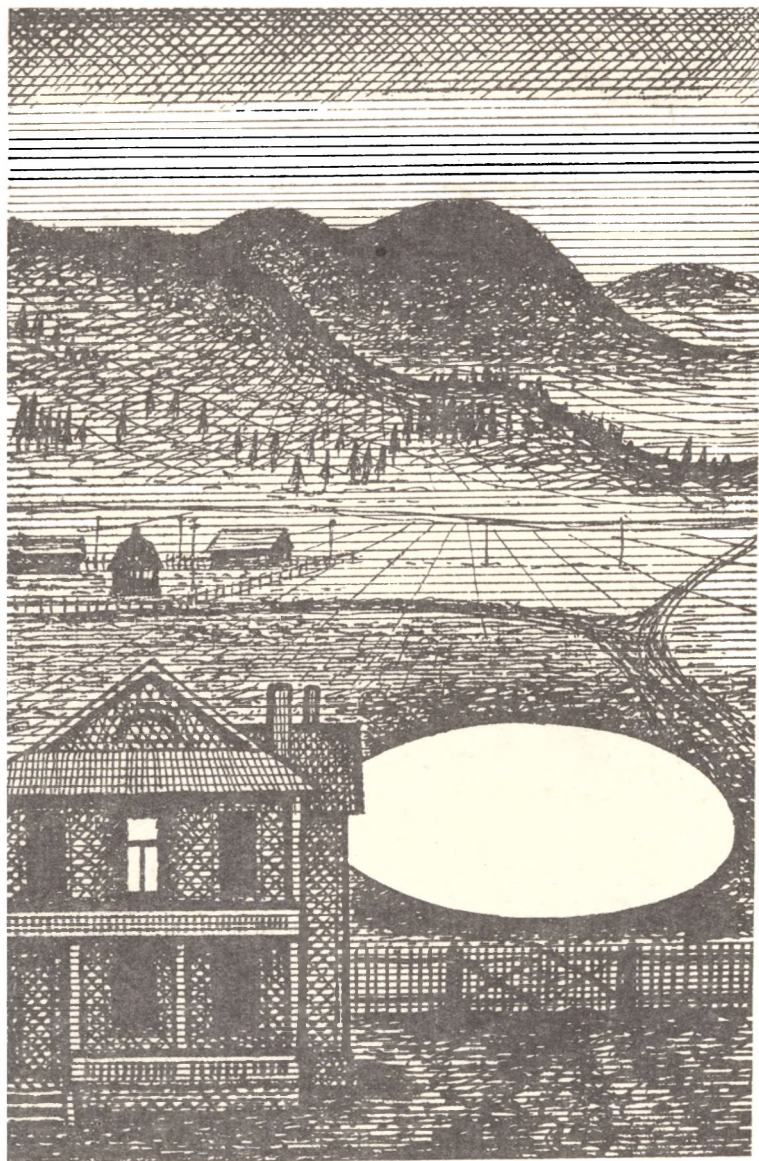
---

Издательство «Мир»

---



Айзек Азимов  
Избранное



---

Айзек  
**АЗИМОВ**

Избранное

---

*Второе издание, стереотипное*

Перевод с английского



Москва «Мир» 1991

ББК 84.7США  
А35

**Азимов А.**

Избранное: 2-е изд., стереотип./Пер. с англ. — М.:  
Мир, 1991. — 526 с.

ISBN 5-03-002744-0

В сборник произведений классика мировой фантастики американского писателя Айзека Азимова включены рассказы и роман «Сами боги».

А  $\frac{4701000000 - 274}{041(01) - 91}$  без объявл.

ББК 84.7США

*Редакция научно-популярной и научно-фантастической  
литературы*

ISBN 5-03-002744-0

с состав, «Мир», 1989

# ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Айзек Азимов, всемирно известный американский писатель-фантаст, ученый-биохимик и популяризатор науки, родился в 1920 году в небольшом местечке Петровичи около Смоленска. Когда мальчику было три года, семья переехала в Америку. В 11 лет Азимов окончил школу, в 15 — колледж, в возрасте 19 лет получил в Колумбийском университете диплом бакалавра, в 21 год — ученую степень магистра, в 27 лет — доктора. С 1949 года он доцент, а затем профессор биохимии медицинского факультета Бостонского университета.

Фантастикой Азимов увлекся в детстве. После того, как в руки девятилетнего мальчика впервые попал один из выпусков научно-фантастического журнала «Эмейзинг сториз», он стал запоем читать научную фантастику. Писать Азимов начал в 17 лет, а уже через два года, в 1939 году, в том же журнале «Эмейзинг сториз» появилась его первая научно-фантастическая повесть «Брошенные на Весте». Богатое воображение и широкая эрудиция вскоре позволили молодому писателю войти в число ведущих американских фантастов. Длительное время он совмещал научную работу с созданием фантастических произведений, но в конце концов в 1958 году оставил университет и целиком посвятил себя литературной деятельности. Однако переключился он не на фантастику, что казалось естественным, а на научно-популярную литературу. Среди научно-популярных книг, принесших ему поистине мировую известность, можно назвать «Биографическую энциклопедию по науке и технике», «Вид с высоты», «Краткую историю биологии», «Язык науки», «Нейтрино» и многие, многие другие из самых разных областей знания — от физики и астрономии до истории и психологии. Азимовым написано множество (не менее трехсот!) научно-популярных произведений. При такой необыкновенной продуктивности дилетантизм неизбежен, что признает и сам Азимов. Вместе с тем его научно-популярные книги, даже не самые удачные с точки зрения строгой науки, написаны живо и образно, насыщены множеством исторических сведений и потому читаются с интересом.

И все же признание читателей и настоящую мировую славу Азимову принесла научная фантастика. Его перу принадлежат книги: «Я, робот» (1950), «Камешек в небе» (1950), «Звезды как пыль» (1951), «Установление» (1951), «Установление и империя» (1952), «Космические течения» (1952), «Второе установление» (1953), «Стальные пещеры» (1954), «Путь марсиан и другие рассказы» (1955), «Конец Вечности» (1955), «Обнаженное солнце» (1957). После 15-летнего перерыва Азимов выпустил роман «Сами боги» (1972).

В мировой научно-фантастической литературе Азимов занимает особое место: он прославился своими «Тремя законами роботехники», которые наиболее полное воплощение нашли в его знаменитом сборнике «Я, робот». Сборник этот имел необычайный читательский успех, неоднократно переводился на другие языки, в том числе и на русский (кроме того, на русском языке был издан сборник «Три закона роботехники», куда вошли и не переводившиеся ранее рассказы из того же цикла о роботах).

В настоящий однотомник включены рассказы из сборника «Путь марсиан» («Мир», 1966) и роман «Сами боги» («Мир», 1976). Роман «Сами боги» в 1973 году дважды был удостоен высших наград, которыми в США отмечаются лучшие научно-фантастические произведения,— премиями «Небьюла» и «Хьюго». В нем Азимов выступает ярким противником одностороннего развития науки и техники. По его глубочайшему убеждению, прогрессивные изменения в общественном сознании возможны только тогда, когда достижения науки используются исключительно в гуманных целях. Цель научной фантастики, считает Азимов,— «сознание того, что наука может менять современное общество, и желание узнать, в чем будет заключаться очередная перемена». Недаром роман «Сами боги» открывается посвящением: «Человечеству в надежде, что война с безрассудством все-таки будет выиграна».

Это краткое вступление к однотомнику хотелось бы закончить выдержкой из послания Азимова к японским читателям: «Люди на Земле должны дружить. Я всегда старался подчеркнуть это в своих произведениях. ...Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми».



---

# ПУТЬ МАРСИАН

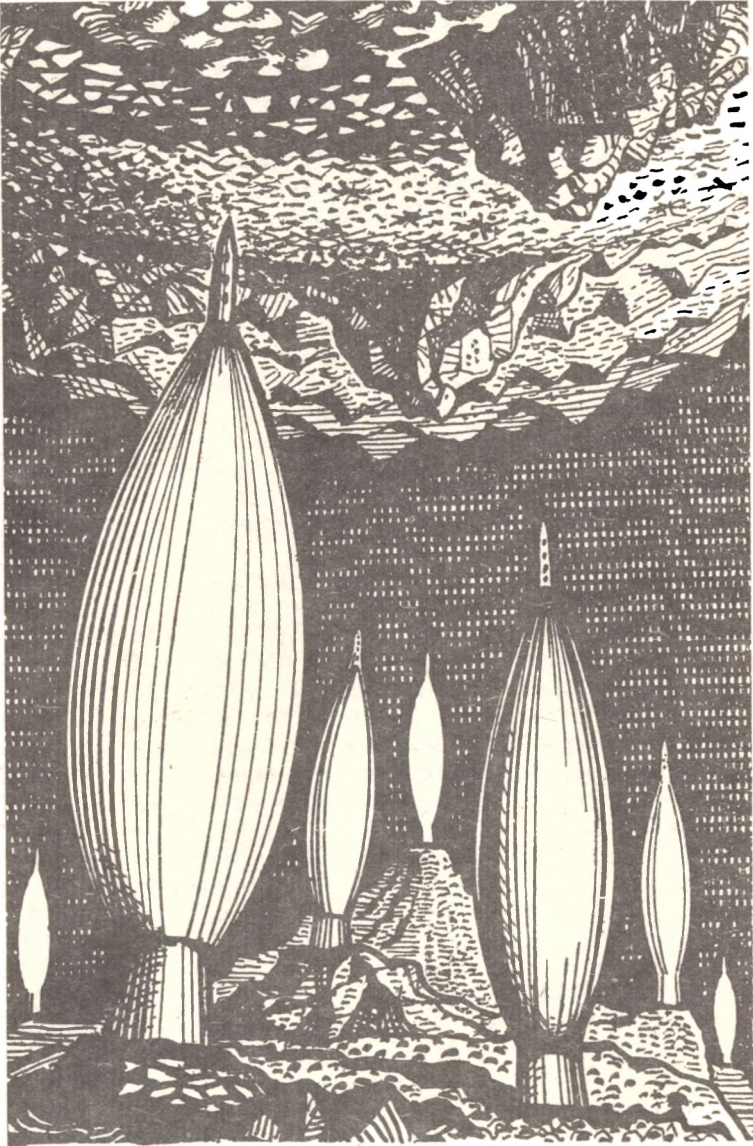
---

Рассказы

---

---

Печатается по изд.: Азимов А. Путь марсиан: Пер. с англ.— М.: Мир, 1966.



# ПУТЬ МАРСИАН

## 1

Стоя в дверях короткого коридора, соединявшего обе каюты космолета, Марио Эстебан Риос с раздражением наблюдал, как Тед Лонг старательно настраивает видефон. На волосок по часовой стрелке, на волосок против, но изображение оставалось паршивым.

Риос знал, что лучше не будет. Они были слишком далеко от Земли и в невыгодном положении — за Солнцем. Но откуда же Лонгу знать это? Риос еще немного постоял в дверях — боком и нагнув голову, чтобы не упереться в притолоку. Затем вырвался в камбуз, словно пробка из бутылочного горлышка.

— Что это вас так заинтересовало? — спросил он.

— Хочу поймать Хильдера, — ответил Лонг.

Присев на уголок полки-стола, Риос снял с верхней полки коническую жестянку с молоком и надавил на верхушку. Жестянка открылась, издав негромкий хлопок. Слегка взбалтывая молоко, он ждал, пока оно согреется.

— Зачем? — он запрокинул жестянку и с шумом отхлебнул.

— Хотел послушать.

— Лишняя трата энергии.

Лонг взглянул на него и нахмурился.

— Считается, что личными видефонами можно пользоваться без ограничения.

— В разумных пределах, — возразил Риос.

Они обменялись вызывающими взглядами. Сильная, сухоощавая фигура Риоса, его лицо с впалыми щеками сразу же наводили на мысль, что он один из марсиан-

ских мусорщиков — космонавтов, которые терпеливо прочесывали пространство между Землей и Марсом. Его голубые глаза резко выделялись на смуглом, прорезанном глубокими складками лице, а оно в свою очередь казалось темным пятном на фоне белого синтетического меха, которым был подбит поднятый капюшон его куртки из искусственной кожи.

Лонг выглядел бледнее и слабее. Он был чем-то похож на наземника, хотя, конечно, ни один марсианин второго поколения не мог быть настоящим наземником, таким, как обитатели Земли. Его капюшон был откинут, открывая темно-каштановые волосы.

— Что вы считаете разумными пределами? — сердито спросил Лонг.

Тонкие губы Риоса стали еще тоньше.

— Этот рейс вряд ли окупит даже наши расходы, и, если дальше все пойдет так же, любая трата энергии неразумна.

— Если мы теряем деньги, — сказал Лонг, — то не лучше ли вам вернуться на место? Ваша вахта.

Риос что-то проворчал, потер заросший подбородок, потом встал и, неслышно ступая в тяжелых мягких сапогах, нехотя направился к двери. Он остановился, чтобы взглянуть на термостат, и в ярости обернулся.

— То-то мне казалось, что здесь жарко. Где, по-вашему, вы находитесь?

— Четыре с половиной градуса — не слишком много!

— Для вас — может быть. Только мы сейчас в космосе, а не в утепленной рудничной конторе.

Риос рывком перевел стрелку термостата вниз до отказа.

— Солнце достаточно греет.

— Но камбуз не на солнечной стороне.

— Прогреется!

Риос шагнул за дверь. Лонг поглядел ему вслед, потом снова повернулся к видеофону. Трогать термостат он не стал. Изображение оставалось неустойчивым, но что-то рассмотреть было можно. Лонг откинул вделанное в стену сиденье. Подавшись вперед, он терпеливо ждал, пока диктор объявлял программу и занавес медленно расплывался. Но вот прожекторы выхватили из темноты знакомое бородатое лицо, оно росло и наконец заполнило весь экран.

— Друзья мои! Сograждане Земли...

Входя в рубку, Риос успел заметить вспышку радиосигнала. Ему показалось, что это импульс радара, и у него на мгновение похолодели руки. Но он тут же сообразил, что это иллюзия, порожденная нечистой совестью. Вообще говоря, во время вахты он не должен был выходить из рубки, хотя это делали все мусорщики. И все-таки каждого преследовало кошмарное видение находки, подвернувшейся именно за те пять минут, которые он урвет на чашку кофе, уверенный, что космос чист. И бывали случаи, когда этот кошмар оказывался явью.

Риос включил многополосную развертку. Это требовало лишней энергии, но все-таки лучше убедиться, чтобы не оставалось никаких сомнений.

Космос был чист, если не считать далеких отражений от соседних кораблей в цепи мусорщиков.

Риос включил радиосвязь, и экран заполнила русая голова длинноносого Ричарда Свенсона — второго пилота ближайшего корабля со стороны Марса.

— Привет, Марио, — сказал Свенсон.

— Здорово. Что нового?

Ответ раздался через секунду с небольшим: скорость электромагнитных волн не бесконечна.

— Ну и денек!

— Что-нибудь неладно? — спросил Риос.

— Была находка.

— И прекрасно.

— Если бы я ее заарканил, — мрачно ответил Свенсон.

— Что случилось?

— Повернул не в ту сторону, черт подери!

Риос знал, что смеяться нельзя. Он спросил:

— Как же так?

— Я не виноват. Дело в том, что контейнер двигался не в плоскости эклиптики. Представляешь себе крестина пилота, который не смог даже правильно его сбросить? Откуда же мне было знать? Я установил расстояние до контейнера, а его путь просто прикинул, исходя из обычных траекторий. Как всякий нормальный человек. И пошел по самой выгодной кривой перехвата. Только минут через пять гляжу — дистанция увеличивается. Уж очень медленно возвращались им-

пульсы. Тогда я измерил его угловые координаты, и оказалось, что догонять уже поздно.

— Кто-нибудь его поймал?

— Нет. Он далеко от плоскости эклиптики и так там и останется. Меня беспокоит другое. В конце концов, это был всего-навсего малый контейнер. Но как подумаю, сколько топлива я истратил, пока набирал скорость, а потом возвращался на место! Послушал бы ты Канута.

Канут был братом и компаньоном Ричарда Свенсона.

— Взбесился? — спросил Риос.

— Не то слово. Чуть меня не убил! Но ведь мы здесь пять месяцев, и тут уж каждое лыко в строку. Ты же знаешь.

— Знаю.

— А у тебя как, Марио?

Риос сделал вид, что сплюнул.

— Примерно столько за весь рейс. За последние две недели — два контейнера, и за каждым гонялись по шесть часов.

— Большие?

— Смеешься, что ли? Я бы мог дотащить их до Фобоса одной рукой. Хуже рейса у меня еще не было.

— Когда думаешь возвращаться?

— По мне — хоть завтра. Мы здесь всего два месяца, а я уже все время ругаюсь с Лонгом.

Длительность наступившей паузы нельзя было объяснить только запаздыванием радиоволн. Потом Свенсон сказал:

— Ну, а как он? Лонг то есть.

Риос оглянулся. Из камбуза доносилось тихое бормотание и треск видеофона.

— Не могу понять. В первую же неделю после начала рейса он меня спрашивает: «Марио, почему вы стали мусорщиком?» Я только поглядел на него и говорю: «Чтобы зарабатывать на жизнь, а то почему же». Что за идиотский вопрос, хотел бы я знать? Почему человек становится мусорщиком? А он мне: «Не в том дело, Марио». Это он мне объяснять будет, представляешь! «Вы — мусорщик, — говорит, — потому что таков Марсианский путь».

— А что он этим хотел сказать? — спросил Свенсон.

Риос пожал плечами.

— Не спрашивал. Вот и сейчас он сидит там и слу-

шает на ультрамикроволнах передачу с Земли. Какого-то наземника Хильдера.

— Хильдера? Он, кажется, политик, член Ассамблеи?

— Как будто. И Лонг все время занимается чем-то таким. Взял с собой фунтов пятнадцать книг, и все про Землю. Балласт, и больше ничего.

— Ну что ж, он твой компаньон. Кстати, о компаньонах: я, пожалуй, займусь делом. Если прохлопаю еще одну находку, здесь произойдет убийство.

Свенсон исчез, и Риос, откинувшись в кресле, принялся следить за ровной зеленой линией импульсной развертки. На мгновение он включил многополосную развертку. Космос был по-прежнему чист.

Ему стало чуть полегче. Хуже всего, когда тебе не везет, а все вокруг вылавливают контейнер за контейнером и на Фобос, на заводы по переплавке лома, отправляются контейнеры с любыми клеймами, кроме твоего. К тому же он отвел душу, и его раздражение против Лонга немного улеглось.

А вообще он зря связался с Лонгом. Никогда не надо связываться с новичками. Они думают, что тебе необходимы разговоры, особенно Лонг со своими вечными теориями про Марс и его великую роль в прогрессе человечества. Он так и говорил — все с прописной буквы: Прогресс Человечества, Марсианский Путь, Новая Горстка Творцов. А Риосу нужны не разговоры, а находки — два-три контейнера, и ничего больше.

Впрочем, выбора у него, собственно говоря, не было. Лонг был хорошо известен на Марсе и неплохо зарабатывал. Он был приятелем комиссара Сэнкова и уже принимал участие в одном-двух непродолжительных мусорных рейсах. Нельзя же взять и отказать человеку, не испытав его, как бы странно ни выглядело все дело. Зачем вдруг инженеру, имеющему приличную работу и хороший заработок, понадобилось болтаться в космосе?

Риос не задавал этого вопроса Лонгу. Компаньоны-мусорщики вынуждены жить и работать бок о бок столь долгое время, что любопытство становится нежелательным, а иногда и небезопасным. Но Лонг говорил так много, что в конце концов сам на него ответил. «Я должен был выбраться сюда, Марио, — сказал он. — Будущее Марса не шахты, а космос».

Риос прикинул: а не отправиться ли ему в следующий рейс одному? Все утверждали, что это невозможно. Не говоря уже о находках, которые будут упущены, так как надо спать, надо, помимо наблюдения, выполнять и другие обязанности. Кроме того, всем известно, что, оставаясь в космосе в одиночестве, человек быстро впадает в тяжелую депрессию, а с компаньоном можно пробыть в рейсе шесть месяцев. Лучше бы, конечно, иметь полный экипаж, но на таком большом корабле мусорщику ни черта не заработать. На одном топливе прогоришь!

Впрочем, быть в космосе и вдвоем вовсе не сахар. Обычно приходится каждый раз менять компаньона. С одними можно оставаться в рейсе дольше, чем с другими. Взять хотя бы Ричарда и Канута Свенсонов. Они выходят вместе через пять или шесть рейсов — ведь все-таки они братья. И даже у них каждый раз уже через неделю начинаются трения, и чем дальше, тем хуже... Ну, да ладно!

Космос был чист, и Риос почувствовал, что ему станет легче, если он вернется в камбуз, чтобы загладить свою раздражительность. В конце концов, он старый космический волк и умеет справляться с дурным настроением, которое навевает космос.

Он встал и сделал три шага, которые отделяли его от короткого, узкого коридора между каютами.

### 3

Риос вновь постоял в дверях. Лонг внимательно смотрел на мерцающий экран видеофона.

— Я включу отопление, — грубовато сказал Риос. — Ничего страшного, энергии у нас хватит.

— Как хотите, — кивнул Лонг.

Риос, поколебавшись, шагнул вперед. Космос чист — какой толк сидеть и смотреть на неподвижную зеленую полосу?

Он спросил:

— О чем говорит этот наземник?

— В основном об истории космических путешествий. Старые штучки, но хорошо подано. Он пустил в хд, что мог: цветные мультипликации, комбинированные фотоснимки, кадры из старых фильмов — ну, все.

Словно в подтверждение слов Лонга, бородатое ли-



цо на экране сменилось изображением космического корабля в разрезе. Хильдер продолжал говорить за кадром, давая объяснения, которые иллюстрировались на схеме различными цветами. Он говорил, и по изображению бежали красные линии,— склады, двигатель с протонным микрореактором, кибернетические схемы...

Затем на экране вновь возник Хильдер.

— Но это лишь капсула корабля. Что же приводит ее в движение? Что поднимает ее с Земли?

Каждый знал, что приводит в движение космический корабль, но голос Хильдера зачаровывал, и слушателям уже казалось, будто сейчас они проникнут в тайну веков, приобщатся к высшему откровению. Даже Риос почувствовал легкое нетерпение, хотя большую часть жизни он провел в космических кораблях.

Хильдер продолжал:

— Ученые называют это по-разному. Иногда законом действия и противодействия. Иногда третьим законом Ньютона. А иногда сохранением количества движения. Но нам не нужны никакие названия. Давайте просто обратимся к здравому смыслу. Когда мы плывем, мы отталкиваем воду назад, а сами продвигаемся вперед. Когда мы идем, мы отталкиваемся от земли и движемся вперед. Когда мы летим на гиролете, мы отталкиваем воздух назад и движемся вперед. Движение вперед возможно только за счет движения назад. Старое правило: «Нельзя получить что-то взамен ничего». Теперь представьте себе, что космический корабль весом сто тысяч тонн поднимается с Земли. Чтобы это произошло, необходимо что-то отбросить назад. Космолет непомерно тяжел,— значит, надо отбросить назад огромное количество вещества, столь огромное, что и всего корабля не хватит, чтобы вместить его. Для этого необходимо устроить позади специальное хранилище.

Хильдер снова исчез, и на экран вернулось изображение космолета. Оно съезжилось, а снизу к нему добавился усеченный конус. Внутри конуса проступили ярко-желтые буквы: «Вещество, которое выбрасывается».

— Но теперь,— сказал Хильдер,— общий вес корабля намного увеличился. Следовательно, и движущая сила должна быть все больше и больше.

Изображение корабля стало еще меньше, к нему прибавился второй контейнер — больше первого, а по-

том еще один — колоссальных размеров. Собственно космолет — капсула — превратился в крохотное ярко-красное пятнышко.

— Что за черт, да это просто детский лепет,— про-  
бормотал Риос.

— Но не для тех, к кому он обращается, Марио,—  
ответил Лонг.— Земля не Марс. Миллиарды людей на  
ней, возможно, никогда не видели космолета и не зна-  
ют даже самых элементарных вещей.

Хильдер продолжал:

— Когда самый большой контейнер опустеет, его от-  
деляют от корабля. Он тоже выбрасывается.

Громадный контейнер на экране дрогнул и начал  
удаляться, постепенно уменьшаясь.

— Потом приходит очередь второго, и наконец, если  
рейс дальний, отделяется и последний.

Теперь космолет превратился в красную точку, по-  
зади которой, колыхаясь, исчезали в космосе три кон-  
тейнера.

— Эти контейнеры,— сказал Хильдер,— не что иное,  
как сотни тысяч тонн вольфрама, магния, алюминия и  
стали. Для Земли они потеряны навсегда. Вокруг Мар-  
са, на трассах космических полетов, дежурят мусорщи-  
ки. Они разыскивают пустые контейнеры, ловят их, клей-  
мят и отправляют на Марс. Земля же не получает ни  
единого цента платы за их использование. Это спасен-  
ное имущество, и оно принадлежит кораблю, который  
его найдет.

— Мы рискуем деньгами, вложенными в это пред-  
приятие,— не выдержал Риос.— Если бы не мы, они  
не достались бы никому. Какой же тут ущерб для  
Земли?

— Понимаете,— сказал Лонг,— он же говорит о том,  
что Марс, Венера и Луна истощают Землю и это —  
лишь еще одна форма потерь.

— Но ведь они получают компенсацию. С каждым  
годом мы добываем все больше железной руды...

— ...большая часть которой вновь возвращается на  
Марс. Если верить цифрам Хильдера, то Земля вложила  
в Марс двести миллиардов долларов, а получила взамен  
железной руды миллиардов на пять. В Луну было вло-  
жено пятьсот миллиардов, а получено магния, титана и  
различных легких металлов немногим более чем на два-  
дцать пять миллиардов долларов; в Венеру Земля вло-

жила 50 миллиардов, не получив взамен ничего. А налогоплательщиков Земли интересует именно это: деньги, которые с них берет государство, пускаются на ветер.

Пока Лонг говорил, на экране замелькали мультипликационные кадры, изображавшие корабли мусорщиков на трассе к Марсу: маленькие, карикатурные корабли хищно выбрасывали во все стороны гибкие, цепкие руки, нащупывали пролетающие мимо пустые контейнеры, хватали их, ставили на них пылающее клеймо «Собственность Марса», а затем сбрасывали на Фобос.

Снова появился Хильдер.

— Они говорят нам, что со временем все вернут. Со временем! Как только станут на ноги! Мы не знаем, когда это произойдет. Через сто лет? Через тысячу? Через миллион? Со временем, говорят они! Ну что ж, поверим им на слово. В один прекрасный день они вернут весь наш металл, сами будут обеспечивать себя продовольствием, будут пользоваться своей собственной энергией, жить своей жизнью. Но есть нечто, чего им не вернуть никогда. Даже через сотню миллионов лет. Это *вода!* На Марсе жалкие капли воды, ибо он слишком мал. На Венере совсем нет воды, ибо там слишком жарко. Луна безводна, так как слишком мала и на ней слишком жарко. Поэтому Земля вынуждена поставлять обитателям космоса не только питьевую воду и воду для мытья, не только воду для промышленности и воду для гидропонных плантаций, которые они якобы создают, но и ту воду, которую они просто выбрасывают в пространство миллионами тонн.

Что заставляет космолет двигаться? Что он отбрасывает назад, чтобы мчаться вперед? Когда-то это были газообразные продукты взрыва. Это обходилось очень дорого. Потом был изобретен протонный микрореактор — источник дешевой энергии, который может превращать любую жидкость в газ, находящийся под огромным давлением. Какая жидкость всегда под рукой? Какая жидкость самая дешевая? Конечно, вода. Каждый корабль, покидая Землю, уносит с собой около миллиона тонн — не фунтов, а тонн! — воды для одной лишь единственной цели: чтобы он мог передвигаться в пространстве. Наши предки безрассудно и опрометчиво сожгли нефть Земли, уничтожили ее уголь. Мы презираем и осуждаем их за это, но, в конце концов, у них было одно оправдание: они считали, что, если возникнет

необходимость, будут найдены заменители. И они оказались правы: у нас есть планктонные фермы и протонные микрореакторы. Но для воды нет заменителя! Нет! И никогда не будет. И когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили Землю, какое оправдание найдут они для нас? Когда начнутся засухи, когда они станут все чаще...

Лонг наклонился и выключил видеофон.

— Это мне не нравится,— сказал он.— Проклятый болван умышленно... В чем дело?

Риос вдруг вскочил.

— Я же должен следить за импульсами.

— Ну их к черту!

Лонг тоже встал, прошел вслед за Риосом по узкому коридору и остановился на пороге рубки.

— Если Хильдер добьется своего, если он сумеет сделать из этого животрепещущую проблему... Ого!

Он тоже его увидел. Импульс был первого класса и мчался за исходящим сигналом, как борзая за электрическим кроликом.

Риос, захлебываясь, бормотал:

— Космос был чист, говорю вам, был чист. Марса ради, Тед, не лезьте. Попробуйте поймать его визуально.

Риос действовал быстро и умело: за его плечами был опыт почти двадцатилетней работы мусорщиком. За две минуты он определил дистанцию. Потом, вспомнив неудачу Свенсона, измерил угол склонения и радиальную скорость.

Он крикнул Лонгу:

— Один и семьдесят шесть сотых радиана. Вы легко его отыщете.

Лонг, затаив дыхание, крутил верньер.

— Всего лишь полрадиана от Солнца. Будет освещен только край.

Он быстро и осторожно усилил увеличение, разыскивая ту единственную «звезду», которая будет менять свое положение, расти и приобретать форму, доказывая, что она вовсе не звезда.

— Включаю двигатель,— сказал Риос.— Больше ждать нельзя.

— Вот он, вот он!

Увеличения все еще не хватало, чтобы можно было точно судить о форме светящегося пятнышка, за которым следил Лонг, но оно ритмично мерцало, потому что

при вращении контейнера солнечный свет падал то на большую, то на меньшую его часть.

— Держись!

Тонкие струи пара вырвались из выхлопных отверстий, оставляя длинные хвосты микрокристаллов льда, туманно сиявших в бледных лучах далекого Солнца. Расходясь, они тянулись за кораблем на сотню миль с лишком. Одна струя, другая, еще одна, и корабль мусорщиков сошел со своей орбиты и взял курс по касательной к пути контейнера.

— Летит, как комета в перигелии! — крикнул Риос. — Эти проклятые пилоты-наземники нарочно так сбрасывают контейнеры. Хотел бы я...

В бессильной злости, ругаясь, он все разгонял и разгонял корабль, так что гидравлическая прокладка кресла осела под ним на целый фут, а Лонг с большим трудом удерживался за поручень.

— Полегче! — взмолился он.

Но Риос следил только за импульсами.

— Не нравится, так сидели бы себе на Марсе.

Струи пара продолжали глухо реветь.

Заработало радио. Лонг с трудом наклонился — воздух словно превратился в вязкую патоку — и включил экран. На них злобно уставился Свенсон.

— Куда это вы прете? — кричал он. — Через десять секунд вы будете в моем секторе.

— Гонюсь за контейнером, — ответил Риос.

— По моему сектору?

— Мы начали у себя. Тебе его не достать. Выключите радио, Тед.

Корабль с бешеным ревом несся в пространстве, но рев этот можно было услышать только внутри корпуса. Затем Риос выключил двигатели так резко, что Лонга швырнуло вперед. От внезапной тишины в ушах звенело еще сильнее, чем от грохота, царившего секунду назад.

Оба прильнули к окулярам. Теперь уже отчетливо был виден усеченный конус. Кувыркаясь с медлительной важностью, он двигался среди звезд.

— Да, контейнер первого класса, — удовлетворенно отметил Риос. «Настоящий гигант, — подумал он. — С ним у нас уже очистится прибыль».

Лонг сказал:

— Локатор показывает еще один импульс. Должно быть, Свенсон погнался за нами.

Риос мельком взглянул на экран.

— Не догонит.

Контейнер все рос и рос, пока не заполнил все поле зрения.

Руки Риоса лежали на рычаге сброса гарпуна. Он подождал, дважды с микроскопической точностью выверил угол, вытравил трос на нужную длину. Потом нажал.

Мгновение все оставалось, как было. Затем к контейнеру пополз металлический трос, словно кобра, готовящаяся ужалить. Он коснулся контейнера, но не зацепился за него, иначе он тут же порвался бы, как паутинка. Контейнер вращался; момент его вращения достигал тысяч тонн, и трос должен был только создать мощное магнитное поле, которое затормаживало контейнер.

Вылетел еще один трос, еще и еще... Риос посылал их, нисколько не думая о расходе энергии.

— Этот от меня не уйдет, клянусь Марсом, не уйдет!

Он остановился, только когда между кораблем и контейнером протянулось десятка два стальных нитей. Энергия вращения контейнера при торможении превратилась в теплоту и до такой степени его раскалила, что излучение улавливали даже приборы космолета.

— Клеймо буду ставить я? — спросил Лонг.

— Ладно. Но только если хотите. Сейчас ведь моя вахта.

— Я с удовольствием.

Лонг влез в скафандр и направился в выходную камеру. Он еще помнил точно, сколько раз побывал в космосе в скафандре, — верный признак новичка. Это был пятый раз.

Ухватившись за трос и перебирая по нему руками, Лонг направился к контейнеру, чувствуя, как вибрирует трос под его металлическими перчатками. Он выжег на гладком металле контейнера их серийный номер. В пустоте космоса нечему было окислять сталь. Она просто плавилась и испарялась, а затем конденсировалась в нескольких футах от излучателя и серой матовой пленкой оседала на поверхность контейнера.

Лонг вернулся в космолет. Войдя внутрь, он снял шлем, который уже успел покрыться толстым слоем инея.

Первое, что услышал Лонг, был почти неузнаваемый от ярости голос Свенсона, доносившийся из репродуктора:

— ...прямо к комиссару. Черт побери, есть же у нас

какие-то правила!

Риос невозмутимо сидел в кресле.

— Послушай, ведь он был в моем секторе. Я поздно его заметил, и пришлось ловить в твоём. А ты, если бы погнался за ним, врезался бы в Марс. Только и всего... Вернулись, Лонг?

Он выключил радио. Сигнальная лампочка яростно мигала, но Риос не обращал на нее внимания.

— Он подаст жалобу комиссару? — спросил Лонг.

— И не подумает. Это он просто чтобы развеять скуку. Он прекрасно понимает, что контейнер наш. А как вам понравилась наша добыча, Тед?

— Очень недурна.

— Очень недурна? Да она великолепна! Держитесь! Сейчас я его раскручу.

Боковые сопла извергли струи пара, и корабль начал медленно вращаться вокруг контейнера, который последовал за ним. Через полчаса они представляли собой гигантское боло, крутящееся в пустоте. Лонг определил по «Эфемеридам» положение Деймоса. В точно рассчитанный момент тросы сняли магнитное поле, и контейнер по касательной вышел на траекторию, по которой примерно через сутки должен был достичь этого спутника Марса и попасть в уловители находящегося там склада.

Риос проводил его довольным взглядом. Потом повернулся к Лонгу.

— Удачный денек.

— А речь Хильдера? — спросил Лонг.

— Кого? Вы о чем? Ах, это-то! Ну, если волноваться из-за болтовни каждого проклятого наземника, никогда не уснешь. Забудьте о нем.

— По-моему, об этом забывать не следует.

— Вот чудак! Да бросьте вы! Лучше поспите.

#### 4

Тед Лонг, как всегда, упивался высотой и шириной главной улицы города.

Прошло уже два месяца с того дня, как комиссар наложил временный запрет на вылавливание контейнеров и отозвал все корабли мусорщиков из космоса, но бодрящее ощущение простора не покидало Лонга. Эту радость не могла омрачить даже мысль о том, что запрет был наложен в связи с намерением Земли провести

в жизнь свое недавнее решение экономить воду, а для начала лимитировать ее расход на рейсы мусорщиков.

Крыша улицы была покрыта светящейся светло-голубой краской, — возможно, старомодная попытка имитировать земное небо. Тед точно не знал, так ли это. Витрины магазинов, прорезая стены улицы, освещали их.

Издали, перекрывая шум транспорта и шаги прохожих, доносились взрывы — это пробивали в коре Марса новые туннели. Всю свою жизнь он слышал эти взрывы. Когда он родился, на месте этой улицы была еще нетронутая скальная порода. Город растет и будет расти и дальше, если ему не помешает Земля.

Лонг свернул в поперечную улицу, более узкую и не так ярко освещенную. Витрины магазинов сменились здесь жилыми домами, фасады которых были прочерчены рядами фонарей. Толпы покупателей и машины уступили место медленно прогуливающимся пешеходам и шумным ребятишкам, которые еще не вняли призывам матерей идти ужинать.

В последнюю минуту Лонг вспомнил о правилах приличия, остановился на углу, у водяной лавки, и протянул флягу:

— Налейте-ка!

Толстый лавочник отвинтил колпачок и заглянул во флягу, затем слегка встряхнул ее — там булькнуло.

— Немного осталось, — весело сообщил он.

— Верно, — согласился Лонг.

Лавочник держал флягу под самым наконечником шланга, чтобы не пролить ни капли воды. Зажужжал счетчик. Лавочник завинтил колпачок.

Лонг расплатился и взял флягу. Теперь она приятно похлопывала его по бедру. В семейный дом не принято приходить без полной фляги. К приятелям, конечно, можно зайти и так, во всяком случае, этому не придается большого значения.

Он вошел в подъезд дома № 27, поднялся на несколько ступенек, приготовился нажать кнопку звонка и остановился.

Из-за двери отчетливо доносились голоса.

Женщина говорила с раздражением:

— Приглашай, приглашай своих дружков мусорщиков! Большое тебе спасибо, что ты целых два месяца в году бываешь дома! На меня, конечно, и пары дней хватит! А потом опять твои мусорщики!



— Но я уже давно дома,— ответил мужской голос.— И потом у нас есть дело. Марса ради, перестань, Дора. Они вот-вот придут.

Лонг решил подождать за дверью: может быть, они перейдут на более безобидную тему.

— И пусть их приходят! — отрезала Дора.— Пусть слушают. По мне, хоть бы навсегда запретили эти полеты. Слышишь?

— А на что мы будем жить? — раздраженно спросил мужчина.— Ответь-ка!

— И ответчу. Ты можешь прилично зарабатывать на самом Марсе, как и все другие. В этом доме только я одна — «мусорная вдова». Вот что я такое — вдова! Да что там, хуже вдовы! Будь я вдовой, то по крайней мере могла бы еще раз выйти замуж. Что ты сказал?

— Да ничего я не говорил.

— О, я знаю, что ты сказал. А теперь послушай меня, Дик Свенсон...

— Да, я сказал! — крикнул Свенсон.— Сказал, что теперь-то я знаю, почему мусорщики обычно не женятся.

— И тебе нечего было жениться! Мне надоело — все соседи жалеют меня, ухмыляются и спрашивают, когда ты вернешься. Другие могут быть горными инженерами, администраторами или, на худой конец, бурильщиками. Во всяком случае, у жен бурильщиков есть нормальная семья, и дети у них как дети, а не беспризорники. У Питера с таким же успехом могло и не быть отца.

— Мама, а что такое беспризорник? — услышался тонкий мальчишеский фальцет. Голос доносился издалека, по-видимому, из другой комнаты.

— Питер! Занимайся уроками! — еще больше повысила голос Дора.

Свенсон тихо произнес:

— Нехорошо вести такие разговоры при ребенке. Что он обо мне подумает?

— Так оставайся дома, чтобы он думал так, как нужно.

Снова раздался голос Питера:

— Знаешь, мама, я когда вырасту, стану мусорщиком.

Послышались быстрые шаги, на мгновение наступила тишина, а затем раздался пронзительный вопль:

— Мама, ой, мама! Отпусти ухо! Что я сделал? —

и снова все затихло — слышно было только обиженное сопение.

Лонг воспользовался паузой и энергично позвонил.

Свенсон открыл дверь, приглаживая волосы обеими руками.

— Здравствуйте, Тед,— приглушенным голосом сказал он. Потом громко произнес: — Дора, пришел Тед. Тед, а где Марио?

— Должен скоро прийти, — ответил Лонг.

Из другой комнаты торопливо вышла Дора, маленькая смуглая женщина с приплюснутым носом. Ее чуть тронутые сединой волосы были зачесаны назад.

— Здравствуйте, Тед. Ужинали?

— Да, я сыт, благодарю вас. Но вы, пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания.

— Нет-нет. Мы давно уже кончили. Хотите кофе?

— Не откажусь,— Тед снял с пояса флягу и протянул ей.

— О, что вы, не нужно! У нас много воды.

— Прошу вас.

— Ну, что же...

Она ушла на кухню. Через качающуюся дверь Лонг мельком увидел посуду, стоящую в «Секотерге» — «безводной мойке, которая всасывает и поглощает жир и грязь в одно мгновение. Одной унции воды хватает, чтобы дочиста отмыть восемь квадратных футов посуды. Покупайте «Секотерг»! «Секотерг» моет идеально. Не затратив лишней капли, так начистит вам посуду, что под силу только чуду!..»

Назойливая рекламная песенка зазвенела у него в голове, и, чтобы прогнать ее, он спросил:

— Как поживает Пит?

— Отлично. Перешел уже в четвертый класс. Ну, конечно, мне редко приходится его видеть. Так вот, когда я в последний раз вернулся из рейса, он посмотрел на меня и говорит...

Последовало продолжение, которое было вполне терпимо — насколько бывают терпимы рассказы заурядных родителей о выдающихся высказываниях их выдающихся детей.

Прожужжал звонок, вошел хмурый, весь красный Марио.

Свенсон быстро шагнул к нему.

— Послушай, только ни слова о ловле контейнеров.

Дора никак не может забыть, как ты захватил перво-классный контейнер на моем участке, а сегодня она вообще не в настроении.

— Только мне и заботы, что говорить о контейнерах.

Риос сорвал с себя подбитую мехом куртку, швырнул ее на спинку кресла и сел.

Вошла Дора и деланно улыбнулась новому гостю.

— Привет, Марио. Будешь пить кофе?

— Угу,— ответил он, машинально потянувшись к своей фляге.

— Возьмите воды из моей фляги, Дора,— быстро проговорил Лонг.— Он мне потом отдаст.

— Угу,— повторил Риос.

— Что случилось, Марио? — спросил Лонг.

— Валяйте! Говорите, что вы же меня предупреждали,— мрачно буркнул Риос.— Год назад, после речи Хильдера. Ну, говорите, говорите!

Лонг с недоумением пожал плечами.

Риос продолжал:

— Установлен лимит. Об этом объявили четверть часа назад.

— Ну?

— Пятьдесят тысяч тонн воды на рейс.

— Что? — вспыхнул Свенсон.— Да с этим и с Марса не поднимешься!

— Так оно и есть. Это обдуманый удар. Сбору мусора пришел конец.

Дора принесла кофе и расставила чашки.

— Что это вы говорили? Конец сбору мусора? — она села с решительным видом, и Свенсон беспомощно взглянул на нее.

— По-видимому,— сказал Лонг.— С этого дня вводится лимит в пятьдесят тысяч тонн, а это значит, что мы не сможем больше летать.

— Ну и что из этого? — Дора отхлебнула кофе и весело улыбнулась.— Если хотите знать мое мнение, так это очень хорошо. Пора бы всем вам, мусорщикам, найти постоянную работу на Марсе. Я не шучу. Это не жизнь — рыскать по космосу...

— Дора, прошу тебя,— сказал Свенсон.

Риос что-то злобно буркнул. Дора подняла брови.

— Я просто высказываю свое мнение.

— Ваше полное право,— сказал Лонг.— Но я имею в виду другое. Пятьдесят тысяч тонн — это только на-

чало. Мы знаем, что Земля — или по крайней мере партия Хильдера — хочет нажать себе политический капитал на кампании за экономию воды, так что наше дело плохо. Мы должны как-то раздобыть воду, не то они совсем нас прикроют, верно?

— Ну да,— сказал Свенсон.

— Но весь вопрос в том — как? Правильно?

— Если дело только в воде,— неожиданно разразился Риос,— то есть лишь один выход, и вы его знаете. Если наземники решат не давать нам воды, мы ее возьмем. То, что когда-то их сопливые трусы отцы и деды побоялись оставить свою тепленькую планету, еще не делает их хозяевами воды. Вода принадлежит всем людям, где бы они ни находились. Мы — люди, значит, вода и наша тоже. Мы имеем на нее право.

— А как вы предлагаете ее забрать? — спросил Лонг.

— Очень просто! У них на Земле целые океаны воды. Не могут же они поставить по сторожу на каждой квадратной миле! Мы можем в любое время, когда нам вздумается, сесть на ночной стороне планеты, заправить все контейнеры и улететь. Хотел бы я знать, как они нам помешают?

— Десятком способов, Марио. Как вы находите контейнеры в космосе на расстоянии до сотни тысяч миль? Тонкий металлический корпус, затерянный в бескрайнем пространстве? Как? С помощью радара. Неужели вы думаете, что на Земле нет радаров? Неужели вы думаете, если на Земле догадаются, что мы крадем воду, они там не сумеют установить сеть радаров и обнаруживать приближающиеся корабли еще в космосе?

Дора с возмущением перебила Лонга:

— Вот что я тебе скажу, Марио Риос. Мой муж никогда не будет участвовать в грабительских налетах, чтобы добывать воду для мусорных рейсов.

— Дело не только в мусорных рейсах,— сказал Марио.— Завтра они прижмут нас во всем остальном. Их нужно остановить теперь же.

— Да не нужна нам их вода,— сказала Дора.— Тут же не Луна и не Венера. Полярные шапки вполне обеспечивают нас водой. У нас даже в квартире есть водопровод. В этом квартале у всех есть.

— На личные потребности расходуеться наименьшая часть воды,— сказал Лонг.— Вода нужна для рудников.

А как быть с гидропонными бассейнами?

— Это верно,— сказал Свенсон.— Как быть с гидропонными бассейнами, Дора? Им необходима вода, и пора бы нам выращивать для себя свежие овощи вместо этой конденсированной дряни, которую нам присылают с Земли.

— Только послушайте его,— презрительно бросила Дора.— Что ты понимаешь в свежих овощах? Ты же никогда их не пробовал.

— Нет, пробовал, и не раз! Помнишь, один раз я достал моркови?

— Ну и что в ней было особенного? На мой взгляд, хорошо поджаренная протопища куда лучше. И полезнее. Просто сейчас вошло в моду болтать о свежих овощах, потому что из-за этой гидропоники повышают налоги. И вообще все обойдется.

— Не думаю,— сказал Лонг.— Во всяком случае, не обойдется само собой. Хильдер, вероятно, будет следующим Координатором, и вот тогда дело может обернуться совсем скверно. Если они сократят еще и поставки продовольствия...

— Ну, ладно! — воскликнул Риос.— Что же нам делать? Я говорю — воду надо брать. Брать, и все тут!

— А я говорю, что нельзя, Марио. Неужели вы не понимаете, что это Земной путь, путь наземников? Вы цепляетесь за пуповину, которая связывает Марс с Землей. Неужели вы не можете порвать ее? Неужели не видите Марсианского пути?

— Нет, не вижу. Может быть, вы объясните?

— Да, объясню, если будете слушать. Что мы имеем в виду, когда говорим о Солнечной системе? Меркурий, Венеру, Землю, Луну, Марс, Фобос и Деймос. Семь небесных тел, и все. Но ведь это меньше одного процента Солнечной системы. И мы, марсиане, ближе всех к остальным девяноста девяти процентам. Там, по ту сторону Марса, дальше от Солнца, несметные запасы воды!

Все с недоумением уставились на него. Свенсон уверенно спросил:

— Вы говорите о ледяных оболочках Юпитера и Сатурна?

— Не только о них, но, согласитесь, и это вода. Слой в тысячу миль толщиной — это немало воды.

— Но он ведь покрыт аммиаком или... или еще

чем-то, а? — спросил Свенсон.— И потом, мы не можем садиться на большие планеты.

— Знаю,— ответил Лонг.— Но я не их имел в виду. На больших планетах свет клином не сошелся. Есть же еще астероиды и спутники! Например, Веста — астероид диаметром двести миль и почти сплошной кусок льда. Одна из лун Сатурна — тоже. Что вы скажете на это?

— Разве вы не бывали в космосе, Тед? — спросил Риос.

— Вы же знаете, что был. Что вы имеете в виду?

— Да, знаю, но вы все еще говорите, как наземник. А вы подумали о расстояниях? В среднем астероиды не подходят к Марсу ближе чем на сто двадцать миллионов миль. Это вдвое больше, чем от Марса до Венеры, а вы знаете, что даже лайнеры почти никогда не совершают этого рейса в один прием. Обычно они делают остановку на Земле или на Луне. В конце-то концов, сколько времени, по-вашему, человек может находиться в космосе?

— Не знаю. А как по-вашему?

— Вы и сами знаете. Нечего меня спрашивать. Шесть месяцев. Загляните в любой справочник. Пробыть в космосе больше шести месяцев, и вам одна дорога — к психиатру. Так ведь, Дик?

Свенсон кивнул.

— И это только астероиды,— продолжал Риос.— От Марса же до Юпитера триста тридцать миллионов миль, а до Сатурна — семьсот миллионов. Кто сумеет преодолеть такие расстояния? Представьте себе, что вы летите с обычной скоростью или, для круглого счета, делаете даже двести тысяч миль в час. Это займет... погодите, надо еще учесть ускорение и торможение... это займет месяцев шесть-семь до Юпитера и почти год до Сатурна. Конечно, теоретически можно разогнаться и до миллиона миль в час, но где вы возьмете для этого воду?

— Ух ты! — произнес тонкий голосок, обладатель которого с чумазым носом и округлившимися глазами стоял тут же.— Сатурн!

Дора резко обернулась.

— Питер, марш в свою комнату!

— Ну, ма-ам!

— Не нукай на меня!

Она привсталала, и Питер исчез.

— Послушай, Дора,— сказал Свенсон,— посиди-ка с ним немного, а? Ему трудно не отвлекаться, когда мы все тут разговариваем.

Дора упрямо фыркнула и не сдвинулась с места.

— Я никуда не уйду, пока не узнаю, что задумал Тед Лонг. Скажу вам прямо: мне это не очень нравится.

— Ну, ладно,— сказал Свенсон,— оставим в покое Юпитер и Сатурн. Тед, конечно, на них и не рассчитывает. А Веста? Мы могли бы добраться туда за десять — двенадцать недель, и столько же на обратный путь. Двести миль в диаметре — это четыре миллиона кубических миль льда!

— Ну и что? — сказал Риос.— А что мы будем делать на Весте? Добывать лед? Строить рудники? Послушайте, вы представляете, сколько времени это займет?

— Я имел в виду именно Сатурн, а не Весту,— возразил Лонг.

— Ему говорят, что до Сатурна семьсот миллионов миль, а он все свое!

— Ладно,— сказал Лонг,— скажите-ка мне, Марио, откуда вы знаете, что в космосе можно оставаться не больше шести месяцев?

— Черт возьми, это всем известно!

— Только потому, что так написано в «Руководстве по космическим полетам». Этот предел был установлен земными учеными на основе опыта земных пилотов и космонавтов. Вы рассуждаете, как наземник, а не как марсианин.

— Марсианин может быть марсианином, но он остается человеком.

— Откуда такая слепота? Сколько раз вы сами бывали в рейсе больше шести месяцев и без всяких последствий?

— Это совсем не то,— сказал Риос.

— Потому что вы марсиане? Потому что вы профессиональные мусорщики?

— Нет. Потому что мы не в дальнем рейсе и знаем, что можем вернуться на Марс, как только захотим.

— Но вы этого не хотите. Об этом я и говорю. Земляне строят огромные космолеты с библиотеками микрофильмов, с экипажем из пятнадцати человек, не считая пассажиров. И все-таки они могут находиться

в полете максимум шесть месяцев. У марсианских мусорщиков корабли на две каюты и только один сменщик. Но мы можем выдержать в космосе больше шести месяцев.

— Вы, кажется, не прочь прожить в корабле год и полететь на Сатурн? — заметила Дора.

— А почему бы и нет, Дора? — сказал Лонг. — Мы можем это сделать. Неужели вы не понимаете? Земляне не могут. Они живут в настоящем мире. У них открытое небо и свежая пища, у них сколько угодно воздуха и воды. И, попадая на корабль, они оказываются в чуждой и тягостной обстановке. Вот почему шесть месяцев для них предел. Но марсиане — дело другое. Мы всю жизнь живем словно на борту корабля! Ведь Марс — это большой корабль диаметром в четыре с половиной тысячи миль, а в нем — крохотное помещение, где живут пятьдесят тысяч человек. Мы здесь закупорены, как в корабле. Мы дышим привозным воздухом и пьем привозную воду, которую без конца очищаем и снова пьем... Мы едим то же самое, что едят на корабле. И когда мы оказываемся в космолете, то продолжаем привычную жизнь. Если понадобится, мы способны продержаться гораздо больше года.

— И Дик тоже? — спросила Дора.

— Мы все.

— Так вот, только не Дик. Вы, Тед Лонг, и этот Марио, который крадет чужие контейнеры, можете сколько угодно болтать о том, как вы год проторчите в космосе. Вы холостяки. А Дик женат. У него жена и сын, и этого с него хватит. Он может получить постоянную работу и здесь, на Марсе. Бог мой, а представьте себе, что вы прилетите на Сатурн и не найдете там никакой воды. Как тогда вы вернетесь? А если у вас и останется вода, так кончится продовольствие. Ничего нелепее я еще не слыхала.

— Погодите, — напряженно произнес Лонг. — Я все обдумал. Я говорил с комиссаром Сэнковым, он поможет. Но нам нужны корабли и люди. Мне их не подобрать. Меня никто и слушать не станет. Я новичок. Вас же знают и уважают. Вы ветераны. Если вы меня поддержите — можете сами не лететь, — если вы просто поможете мне убедить остальных, найти добровольцев...

— Прежде всего, — ворчливо прервал его Риос, — вам придется объяснить еще кое-что. Ну, ладно, приле-



тим мы на Сатурн, а где там вода?

— В этом-то все дело,— ответил Лонг.— Для того и нужно лететь на Сатурн. Вода там просто летает в космосе и ждет, пока за ней явятся!

## 5

Когда Хэмиш Сэнков прибыл на Марс, марсиан по рождению не существовало. Теперь здесь насчитывалось двести с лишним младенцев — марсиан третьего поколения, чьи деды родились на Марсе.

Сэнкову тогда не было и двадцати. Колония на Марсе представляла собой всего лишь кучку приземлившихся кораблей, связанных между собой герметизированными подземными туннелями. В течение многих лет на его глазах под поверхностью планеты разрастались здания, высовывая тупые носы в разреженную, негодную для дыхания атмосферу. На его глазах появлялись товарные пакгаузы, вмещавшие целые корабли вместе со всем грузом. На его глазах из ничего возникло грандиозное переплетение шахт, источившее кору Марса. А население Марса увеличилось с пятидесяти человек до пятидесяти тысяч.

Из-за этих воспоминаний Сэнков чувствовал себя стариком. Из-за этих и еще более давних воспоминаний, навеянных присутствием землянина. Гость всколыхнул в его памяти давно забытые отрывочные картины теплого, уютного мира, лелеющего человечество, как материнское лоно.

Землянин, казалось, только что покинул это лоно. Не очень высокий, не очень худой, скорее, пожалуй, полный. Темные волосы с аккуратно уложенной волной, аккуратные усики, тщательно вымытая кожа. На нем был модный костюм, такой свежий и аккуратный, каким только может быть костюм из пластика.

Одежда, которую носил Сэнков, была изготовлена здесь, на Марсе. Она была опрятна и удобна, но безнадежно старомодна. По его суровому лицу пролегла густая сеть морщин, волосы давно побелели, и, когда он говорил, его кадык подергивался.

Землянина звали Майрон Дигби, он был членом Генеральной Ассамблеи Земли. Сэнков был комиссаром Марса.

Сэнков сказал:

— Все это тяжелый удар для нас.  
— Для большинства из нас тоже.  
— Гм... Тогда я должен честно признаться, что ничего не понимаю. Конечно, я не претендую на то, чтобы разбираться в земных проблемах, хоть и родился на Земле. На Марсе жить нелегко, и вам следует это уяснить. Только для того, чтобы обеспечить нас пищей, водой и сырьем, на кораблях требуется много места. А для книг и кинохроники места почти не остается. Даже видеопрограммы доходят до нас только в месяц противостояния, но тогда здесь все слишком заняты, чтобы их смотреть. Я, как комиссар, получаю от агентства «Межпланетная пресса» еженедельную сводку, но обычно у меня не бывает времени, чтобы внимательно с ней ознакомиться. Можете назвать нас провинциалами — вы будете правы. Так что, когда случается нечто подобное, мы только беспомощно переглядываемся.

— Не хотите же вы сказать,— медленно произнес Дигби,— что вы здесь, на Марсе, ничего не слышали о кампании против расточительства, которую проводит Хильдер?

— Кое-что слышал. Один молодой мусорщик, сын моего большого друга, который погиб в космосе,— Сэнков задумчиво потер рукой шею,— очень любит читать об истории Земли и тому подобное. Когда он бывает в рейсе, он ловит видеопередачи, и он слушал этого Хильдера. Насколько я могу понять, это была первая речь Хильдера о расточителях. Молодой человек пришел с этим ко мне. Я, естественно, не принял его рассказы всерьез. Впрочем, после этого я стал как-то просматривать сводки новостей «Межпланетной прессы», но там почти ничего не говорилось о Хильдере, а то, что было, представляло его довольно-таки нелепой фигурой.

— Да, комиссар,— сказал Дигби,— вначале все это было похоже на шутку.

Сэнков вытянул длинные ноги и заложил их одну за другую.

— Сдается мне, что и до сих пор это во многом остается шуткой. Какие доводы он приводит? Мы тратим воду? А поинтересовался ли он цифрами? У меня они все есть. Я велел их приготовить к прибытию вашей комиссии.

Океаны Земли содержат четыреста миллионов кубических миль воды, а каждая кубическая миля весит

четыре с половиной миллиарда тонн. Это не так уж мало! Часть этой громады мы тратим на полеты. Разгон происходит в основном в пределах поля тяготения Земли, значит, выбрасываемая вода возвращается в океаны. Этого Хильдер не учитывает. Когда он говорит, что за полет расходуется миллион тонн воды, он лжет. Меньше ста тысяч тонн! Теперь допустим, что на год приходится пятьдесят тысяч полетов. Этого, конечно, не бывает — их и полутора тысяч не наберется. Но, допустим, пятьдесят тысяч. Ведь со временем число полетов, безусловно, увеличится. При пятидесяти тысячах полетов в год в космосе будет невозвратно теряться одна кубическая миля воды. Это значит, что за миллион лет Земля потеряет четверть процента своих водных запасов!

Дигби развел руками.

— Комиссар, «Межпланетные сплавы» попробовали использовать подобные цифры в борьбе против Хильдера. Но разве можно сухой математикой победить мощное эмоциональное движение? Хильдер пустил в ход словечко «расточители». Понемногу он сделал из него символ гигантского заговора банды алчных, жестоких негодяев, грабящих Землю ради своей минутной выгоды. Хильдер обвинил правительство в том, что оно почти все состоит из подобных людей, Ассамблею — в том, что она им подчиняется, прессу — в том, что она им принадлежит. К сожалению, все это не кажется нелепостью среднему человеку. Он прекрасно знает, что могут сделать эгоисты с богатствами Земли. Он знает, например, что случилось с нефтью в Смутные времена, знает, как погубили плодородие почв. Когда наступает засуха, фермера не интересует, что на космические полеты расходуется лишь крохотная капелька по сравнению с общими водными запасами Земли. Хильдер назвал ему виновников, а в несчастье нет лучшего утешения, чем знать, кого винить. И ради каких-то цифр он от этого утешения не откажется.

— Вот этого я и не понимаю,— сказал Сэнков.— Может быть, я просто не знаю, как живет Земля, но мне кажется, что, кроме напуганных засухой фермеров, там есть и другие люди. Насколько я понимаю из сводок новостей, сторонников Хильдера меньшинство. Почему же вся Земля идет за горсткой фермеров и сумасбродных подстрекателей?

— Потому, комиссар, что у людей есть обыкновение

беспокоиться о своем личном благополучии, о своем личном будущем. Сталелитейные компании видят, что эпоха космических полетов требует все больше легких сплавов, в которые не входит железо. Профсоюзы горняков опасаются внеземной конкуренции. Каждый землянин, которому не удастся получить алюминий для какой-нибудь своей постройки, уверен, что алюминий идет на Марс. Я знаю одного профессора археологии, который выступает против «расточителей» только потому, что не может получить от правительства денег на свои раскопки. Он убежден, что все государственные фонды расходуются на ракетные исследования и космическую медицину, и это его возмущает.

— Все это показывает, — заметил Сэнков, — что земляне не очень-то отличаются от нас, марсиан. Но как же Генеральная Ассамблея? Почему ей приходится идти на поводу у Хильдера?

Дигби кисло усмехнулся.

— Не так уж приятно объяснять тонкости политики. Хильдер внес законопроект об организации нашей комиссии для расследования расточительства в космических полетах. Пожалуй, не менее трех четвертей Генеральной Ассамблеи было против такого расследования, как вредного и ненужного бюрократического мероприятия, каковым оно и является. Но какой законодатель рискнет возражать против расследования случаев расточительства? Немедленно создалось бы впечатление, будто он сам чего-то боится, что-то скрывает. Будто он сам извлекает какую-то выгоду из расточительства. Хильдер не стесняется выдвигать подобные обвинения, и, справедливы они или нет, они могут подействовать на избирателей во время следующих выборов. И законопроект прошел. Потом встал вопрос о назначении членов комиссии. Те, кто был против Хильдера, не захотели в нее войти, потому что это заставило бы их принимать компрометирующие решения. Держась в стороне, легче не попасть под огонь Хильдера. В результате я оказался единственным членом комиссии, открыто осуждающим Хильдера, и это может стоить мне мандата на следующих выборах.

— Надеюсь, до этого не дойдет, — сказал Сэнков. — Оказывается, у Марса меньше друзей, чем мы думали. И нам не хотелось бы потерять одного из них. Но чего Хильдер вообще хочет?

— По-моему, это очевидно,— сказал Дигби.— Он хочет занять пост Всемирного Координатора.

— По-вашему, это ему удастся?

— Если ничто его не остановит,— да.

— И тогда он прекратит кампанию против расточительства?

— Не знаю. Возможно, он еще не думал, что будет делать потом, когда станет Координатором. Впрочем, если вас интересует мое мнение, он не сможет прекратить кампанию, сохранив при этом популярность. Движение это уже вышло из-под его контроля.

Сэнков почесал шею.

— Ну, что ж! В этом случае я хочу попросить у вас совета. Что мы, жители Марса, можем сделать? Вы знаете Землю. Вы знаете ситуацию там. Мы не знаем. Скажите, что нам делать?

Дигби встал и подошел к окну. Он взглянул на низкие купола соседних зданий, на разделяющую их совершенно безжизненную равнину, усеянную красными скалами, на лиловое небо и съжившееся солнце. Не поворачивая головы, он спросил:

— А вам в самом деле нравится здесь, на Марсе?

Сэнков улыбнулся.

— Большинство из нас просто не знает ничего другого, и Земля, наверное, покажется нам после этого чем-то странным и непривычным.

— Но неужели вы к ней не привыкнете? После Марса на Земле не может не понравиться. Неужели вашим людям не будет приятно свободно дышать свежим воздухом под открытым небом? Вы же когда-то жили на Земле. Вы помните, какая она.

— Смутно. И все-таки это трудно объяснить. Земля просто существует. Она приспособлена для людей, и люди к ней приспособлены. Они воспринимают Землю такой, какая она есть. На Марсе все иначе. Он не обжит, не приспособлен для людей. Его приходится переделывать. Здесь люди строят свой мир, а не получают его готовым. Марс пока еще не бог весть что, но мы строим, и, когда кончим, получится то, что нам нужно. Это по-своему замечательное чувство — знать, что ты сам строишь мир. После этого на Земле будет, пожалуй, скучновато.

— Ну, не все же марсиане настолько философы, чтобы довольствоваться невыносимо тяжелой жизнью

ради будущего, которого, может быть, никто из них не увидит, — возразил Дигби.

— Нет, не совсем так.

Сэнков закинул левую ногу на правое колено и, поглаживая лодыжку, продолжал:

— Я говорил, что марсиане очень похожи на землян. Они люди, а люди не так уж склонны к философии. И все-таки жить в растущем мире — это что-то да значит, даже если ты об этом не думаешь. Когда я только приехал на Марс, я переписывался с отцом. Он был бухгалтером и так им и остался. Когда он умер, Земля была почти такой же, как тогда, когда он родился. Он не видел никаких перемен. Один день был неотличим от другого, жить для него означало просто коротать время до самой смерти. На Марсе все иначе. Здесь каждый день приносит что-то новое: город растет, расширяется система вентиляции, протягивают водопровод с полюсов. Сейчас мы собираемся организовать собственную ассоциацию кинохроники. Она будет называться «Марсианская пресса». Если вы не жили в таком месте, где все вокруг непрерывно растет и меняется, вы никогда не поймете, как это замечательно. Нет, Марс, конечно, суровая и скудная планета, и Земля куда уютнее, но все-таки, мне кажется, если вы заберете наших ребят на Землю, они будут несчастны. Большинство, возможно, и не поймет почему, но они будут чувствовать себя потерянными, потерянными и ненужными. Боюсь, что многие так и не смогут к этому привыкнуть.

Дигби отвернулся от окна, и гладкая розовая кожа на его лбу собралась в хмурые морщины.

— В таком случае, комиссар, мне жаль вас. Всех вас.

— Почему?

— Потому что я не думаю, чтобы вы, марсиане, смогли что-нибудь изменить. И вы, и жители Луны и Венеры. Это случится еще не сегодня; может быть, пройдет еще год-два, может быть, даже пять. Но очень скоро всем придется вернуться на Землю, если только...

Седые брови Сэнкова почти закрыли глаза.

— Ну?

— Если только вы не найдете другого источника воды, кроме планеты Земля.

Сэнков покачал головой.

— Вряд ли нам это удастся, верно?

— Да, пожалуй.

— А другого выхода, по-вашему, нет?

— Нет.

Дигби ушел. Сэнков долго сидел, глядя прямо перед собой, потом набрал местный видеофонный номер.

Через некоторое время перед ним появилось лицо Теда Лонга.

— Ты был прав, сынок,— сказал Сэнков.— Они бессильны. Даже те, кто на нашей стороне, не видят выхода. Как ты догадался?

— Комиссар,— ответил Лонг,— когда прочтешь все, что только можно, о Смутном времени, особенно о двадцатом веке, перестаешь удивляться самым неожиданным капризам политики.

— Возможно. Так или иначе, сынок, Дигби сочувствует нам, искренне сочувствует, но и только. Он говорит, что нам придется покинуть Марс или же найти воду где-нибудь еще. Только он считает, что мы ее нигде найти не сможем.

— Но вы-то знаете, что сможем, комиссар?

— Знаю, что могли бы, сынок. Это страшный риск.

— Если я соберу достаточно добровольцев, это уж наше дело.

— Ну, и как там у вас?

— Неплохо. Кое-кто уже на моей стороне. Я уговорил, например, Марио Риоса, а вы знаете, что он из лучших.

— Вот именно — добровольцами будут наши лучшие люди. Очень мне не хочется разрешать вам это.

— Если мы вернемся, весь риск будет оправдан.

— Если! Словечко, над которым задумаешься.

— Но и дело, на которое мы идем, стоит того, чтобы о нем подумать.

— Хорошо. Я обещал, что, если Земля нам не поможет, я распоряжусь, чтобы водохранилища Фобоса дали вам столько воды, сколько понадобится. Желаю удачи!

## 6

В полумиллионе миль над Сатурном Марио Риос крепко спал, паря в пустоте. Понемногу пробуждаясь, он долго лежал в скафадре, считал звезды и мысленно соединял их линиями.

Сначала, в первые недели, полет почти ничем не отличался от обычного «мусорного» рейса, если бы не тоскливое сознание, что с каждой минутой еще тысячи миль ложатся между ними и всем человечеством.

Они полетели по крутой кривой, чтобы выйти из плоскости эклиптики, проходя Пояс астероидов. Это требовало большого расхода воды и, возможно, не было так уж необходимо. Хотя десятки тысяч крохотных миров на фотоснимках в двумерной проекции кажутся густым скоплением насекомых, в действительности они настолько редко разбросаны по квадрильонам кубических миль пространства, охватываемых их общей орбитой, что столкновение с одним из них могло быть результатом только нелепейшего случая. Но они все-таки обошли Пояс. Кто-то подсчитал вероятность встречи с частицей вещества, достаточно большой, чтобы столкновение с ней могло стать опасным. Полученная величина оказалась столь ничтожной, что кому-нибудь неизбежно должна была прийти в голову мысль о парении в космосе.

Медленно тянулись долгие дни — их было слишком много. Космос был чист, в рубке мог дежурить один человек. И эта мысль родилась как-то сама собой.

Первый храбрец решил выйти из корабля минут на пятнадцать. Второй провел в космосе полчаса. Со временем, еще до того, как они окончательно миновали астероиды, свободный от вахты член экипажа постоянно висел в космосе на конце троса.

Это было очень просто. Кабель — один из предназначенных для работ в конце полета — сперва магнитно закрепляется на скафандре. Потом вы выбираетесь через камеру на корпус корабля и прикрепляете другой конец там. Некоторое время вас удерживают на металлической обшивке корабля электромагниты башмаков. Потом вы выключаете их и делаете еле заметное мускульное усилие.

Медленно-медленно вы отрываетесь от корабля, и еще медленнее большая масса корабля уходит от вас на пропорционально меньшее расстояние вниз. И вы повисаете в невесомости в густой черноте, испещренной светлыми точками. Когда корабль отодвинулся на достаточное расстояние, вы чуть сжимаете кабель рукой в перчатке. Без рывка — иначе вы поплывете назад, к кораблю, а корабль — к вам. При правильной же хватке



трение вас остановит. Так как скорость вашего движения равна скорости движения корабля, корабль кажется неподвижным, будто нарисованным на невиданном фоне, а кабель между вами свивается кольцами, которые ничто не заставляет расправиться.

Вы видите только половину корабля, ту сторону, которая освещена Солнцем, далеким, но все еще слишком ярким, чтобы смотреть на него без надежной защиты поляризованного фильтра гермошлема. Теневая сторона корабля невидима — черное на черном.

Космос смыкается вокруг вас, и это похоже на сон. В скафандре тепло, воздух автоматически очищается, в специальных контейнерах хранится пища и вода, и вы посасываете их, почти не поворачивая головы. Но всего лучше — восхитительное, блаженное чувство невесомости.

Никогда еще вы не чувствовали себя так хорошо. Дни уже не кажутся чрезмерно длинными, они проходят слишком быстро, их слишком мало.

Орбиту Юпитера они пересекли примерно в 30 градусах от его положения в тот момент. На протяжении многих месяцев он был для них самым ярким небесным телом, если не считать сияющей белой горошины, в которую превратилось Солнце. Когда они были ближе всего к нему, кое-кто даже уверял, что видит не точку, а крохотный шарик, выщербленный с одного бока ночной тенью. Потом, месяц за месяцем, Юпитер бледнел, а новая светлая точка росла и росла, пока не стала ярче его. Это был Сатурн — вначале сверкающая точка, затем сияющее овальное пятно.

(«Почему овальное?» — спросил кто-то, и через некоторое время ему ответили: «Кольца, конечно». Ну, конечно же, — кольца!)

До самого конца полета каждый парил в космосе все свободное время, не спуская глаз с Сатурна.

(«Эй, ты, обормот, валяй назад! Твоя вахта!» — «Чья вахта? У меня еще пятнадцать минут по часам». — «Ты перевел стрелки назад. И потом, я тебе вчера одолжил двадцать минут». — «Ты и своей бабушке двух минут не одолжил бы». — «Возвращайся, черт возьми, я все равно выхожу!» — «Ладно, иду. Сколько шуму из-за какой-то паршивой минуты!» Но все это не всерьез — в космосе серьезной ссоры не получалось. Слишком уж хорошо было.)

Сатурн все рос, пока наконец не сравнялся с Солнцем, а потом не превзошел его. Кольца, расположенные почти под прямым углом к траектории полета, величественно охватывали планету, которая заслоняла лишь небольшую их часть. День ото дня кольца раскидывались все шире, одновременно сужаясь, по мере того как уменьшался угол их наклона. В небе, словно мерцающие светлячки, уже виднелись самые большие луны Сатурна. Марио Риос был рад, что проснулся и теперь снова видит все это.

Сатурн закрывал полнеба — весь в оранжевых полосах, с расплывчатой границей ночной тени, отрезавшей его правую четверть. Два маленьких круглых пятнышка на его яркой поверхности были тенями двух лун. Слева и сзади (Риос оглянулся через левое плечо, и когда он это сделал, его тело слегка сдвинулось вправо, сохраняя угловое количество движения) белым алмазом сверкало Солнце.

Больше всего Риосу нравилось разглядывать кольца. Слева они выходили из-за Сатурна плотной, яркой тройной полосой оранжевого света. Справа они уходили в ночную тень и от этого казались ближе и шире. Ближе к нему они расширялись, как сверкающий раструб горна, становились все более туманными и расплывчатыми, пока наконец не заполняли все небо, теряясь в нем.

Там, где находились корабли мусорщиков, внутри внешнего кольца, у самого его наружного края, кольца, казалось, распались и выглядели тем, чем они были на самом деле, — феноменальным скоплением твердых обломков, а не сплошными, плотными полосами света.

Милях в двадцати под Риосом, или, вернее, там, куда были направлены его ноги, находился один из таких обломков. Он казался большим пятном неправильной формы, нарушавшим симметрию космоса. Три четверти его были освещены, а остальное обрезано, как ножом, ночной тенью. Поодаль виднелись другие обломки, сверкавшие, точно звездная пыль. Чем дальше, тем слабее казался их свет, а они сами как будто сближались, пока вновь не сливались в кольцо.

Обломки эти были неподвижны, но так казалось лишь потому, что корабли двигались по той же орбите, что и внешний край колец.

Накануне Риос вместе с двумя десятками своих

товарищей работал на ближайшем обломке, придавая ему нужную форму. Завтра он снова будет работать там.

Сегодня... Сегодня он парит в космосе.

— Марио? — вопросительно прозвучало в его наушниках.

Риос на мгновение рассердился. К черту, сейчас ему хочется побыть одному!

— Слушаю, — буркнул он.

— Я так и думал, что это твой корабль. Как дела?

— Прекрасно. Это ты, Тед?

— Да, — ответил Лонг.

— Что-нибудь случилось на обломке?

— Ничего. Просто парю.

— Это ты-то?

— И меня иногда тянет. Красиво, правда?

— Хорошо, — согласился Риос.

— Знаешь, в земных книгах...

— В книгах наземников, ты хочешь сказать?

Риос зевнул и обнаружил, что ему не удалось произнести слово «наземник» с должным презрением.

— ...мне приходилось читать, как люди лежат на траве, — продолжал Лонг. — Знаешь, на такой зеленой штуке, вроде тонких, длинных полосок бумаги, которой покрыта там вся почва. Они лежат и глядят вверх, в голубое небо с облаками. Ты когда-нибудь видел это в фильмах?

— Конечно. Только мне не понравилось. Того гляди замерзнешь.

— На самом деле там вовсе не холодно. В конце концов, Земля совсем близко к Солнцу, и говорят, у нее достаточно плотная атмосфера, чтобы удерживать тепло. Признаться, мне бы тоже не хотелось окатиться под открытым небом в одной одежде. Но, по моему, им это нравится.

— Все наземники — сумасшедшие!

— Знаешь, там еще говорится о деревьях — таких больших бурых стеблях, и о ветре — движении воздуха.

— Ты хочешь сказать — о сквозняках? Этим тоже пусть наслаждаются сами.

— Неважно. Они пишут об этом так красиво, с любовью. Но я часто задумывался: на что же это похоже, на самом-то деле? Могу я это когда-нибудь испытать или это доступно только землянам? Мне все казалось,

что я упускаю что-то очень важное. Теперь я знаю, на что это должно быть похоже. Вот на это — глубокий покой в центре Вселенной, напоенной красотой!

— Им бы это не понравилось,— сказал Риос.— Наземникам, я хочу сказать. Они так привыкли к своему паршивому крохотному миру, что им просто не понять, до чего же хорошо парить в космосе, глядя на Сатурн.

Он сделал легкое движение и начал медленно, спокойно покачиваться.

Лонг сказал:

— Да, я тоже так думаю. Они рабы своей планеты. Даже если они прилетают на Марс, только дети их освобождаются от этого. Когда-нибудь будут построены звездолеты — невообразимо огромные корабли, которые будут вмещать тысячи людей и смогут десятилетиями, может быть, даже столетиями существовать как замкнутые системы. Человечество расселится по всей Галактике. Но людям придется всю жизнь проводить на борту кораблей, пока они не найдут новых способов межзвездного полета. И, значит, марсиане, а не привязанные к своей планете земляне колонизируют Вселенную. Это неизбежно. Так должно быть. Это — Путь марсиан.

Но Риос не ответил. Он снова задремал, мягко покачиваясь, в полумиллионе миль над Сатурном.

## 7

Работа на обломке оказалась оборотной стороной медали. О блаженном покое и уединении свободного парения в пространстве приходилось забыть. Правда, осталась невесомость, но в новых условиях она была уже не райским блаженством, а настоящей пыткой. Попробуйте поработать хотя бы обычным стационарным тепловым излучателем. Его можно было легко поднять: несмотря на то что он был шести футов в высоту и столько же в ширину и сделан почти целиком из металла, здесь он весил считанные граммы. Но инерция его ничуть не уменьшилась, поэтому стоило толкнуть его слишком резко, и он спокойно продолжал двигаться, увлекая вас за собой. Тогда приходилось включать искусственное поле тяготения скафандра и плюхаться вниз.

Керальский неосторожно увеличил искусственное поле и вместе с излучателем опустился слишком резко. Ему перебило лодыжку — это был первый несчастный случай в экспедиции.

Риос ругался яростно и почти непрерывно. Его все время тянуло вытереть пот со лба рукой. Раза два он не выдержал, и в результате металлическая перчатка ударялась о силиконовый шлем с грохотом, отдававшимся в скафандре, но не приносившим ощутимой пользы. Осушители внутри скафандра работали на полную мощность и, конечно, собирали влагу, регенерировали ее с помощью ионообмена, а затем, восстановив нужное содержание соли, сливали в специальное хранилище.

— Черт побери, Дик, жди, пока я не скажу, слышишь? — рявкнул Риос.

В его наушниках прогремел голос Свенсона:

— И долго мне тут сидеть?

— Пока не скажу, — огрызнулся Риос.

Он увеличил поле искусственного тяготения и немного приподнял излучатель. Потом снял тяготение, предварительно убедившись, что излучатель все равно останется на месте в течение нескольких минут, даже если его не держать. Отодвинув ногой кабель, который уходил за близкий горизонт к невидимому отсюда источнику энергии, он включил излучатель.

Вещество, из которого состоял обломок, закипело под тепловым лучом и стало исчезать. Края огромной выемки — тоже его работа, — расплавляясь, становились все более округлыми.

— Ну, давай! — крикнул Риос.

Свенсон находился в корабле, висевшем почти над головой Риоса.

— Все в порядке? — спросил Свенсон.

— Говорю тебе, давай!

Из переднего сопла корабля вылетела слабая струйка пара. Космолет медленно опускался на обломок. Еще одна струйка — и боковой дрейф корабля прекратился. Теперь он опускался точно. Третья — из кормы, и его движение стало едва заметным.

Риос напряженно следил за ним.

— Давай, давай! Получается, говорю тебе.

Корма вошла в выемку, почти целиком заполнив отверстие. Раздутое брюхо корабля все больше прибли-

жалось к его краям. Раздался скрежет, космолет содрогнулся и замер.

Теперь проклятиями разразился Свенсон.

— Не входит!

Риос в ярости отшвырнул излучатель и взмыл вверх. Излучатель поднял целую тучу белой кристаллической пыли, как и Риос, когда он вернулся, включив поле тяготения.

— Ты криво вошел, тупоголовый наземник!

— Нет, я вошел точно, неумытая ты деревенщина!

Обращенные назад боковые сопла корабля выпустили струи пара, и Риос отскочил в сторону.

Космолет, царапая бока, выбрался из ямы и взлетел вверх на полмили, прежде чем заработавшие передние сопла успели его остановить.

— Еще раз, и мы сорвем с обшивки полдюжины плит. Сделай наконец все как надо!

— Я-то сделаю! Не беспокойся. Только ты входи правильно.

Риос подпрыгнул и поднялся метров на триста, чтобы взглянуть на выемку сверху. Борозды, оставленные на ее стенках кораблем, отсюда были видны ясно. Больше всего их было в одном месте, примерно на половине ее глубины. Сейчас он это уберет.

Стены начали оплавляться под пламенем излучателя.

Через полчаса корабль аккуратно вошел в выемку, и Свенсон, облачившись в скафандр, присоединился к Риосу.

— Если хочешь, я займусь вмораживанием, а ты иди на корабль и сбрось скафандр,— сказал он.

— Ничего,— ответил Риос,— я лучше посижу здесь и посмотрю на Сатурн.

Он уселся на край выемки. Между ним и корпусом космолета было футов шесть свободного пространства. В других местах зазор составлял примерно два фута, а кое-где — всего несколько дюймов. Лучше вручную и не сделаешь. Теперь оставалось осторожно расплавить лед, чтобы вода замерзла между стенками выемки и корпусом космолета.

Сатурн заметно для глаза перемещался по небу, огромной глыбой медленно уползая за горизонт.

— Сколько еще кораблей осталось встроить? — спросил Риос.

— В последний раз говорили — одиннадцать. У нас

готово, значит, только десять. Из тех, что уже встали на место, семь заморожены, а два или три демонтированы.

— Дело идет на лад.

— Работы много,— возразил Свенсон.— Ведь еще надо поставить главные двигатели с другой стороны. А кабели, а силовая проводка? Иногда я начинаю сомневаться, удастся ли нам это. Когда мы летели сюда, меня это как-то мало беспокоило. Но вот сейчас я сидел в рубке и твердил: «Не выйдет. Мы так и просидим здесь и умрем с голоду под этим Сатурном». Я чувствую, что просто...

Он так и не объяснил, что именно чувствует. Просто сидел и молчал.

— Уж очень много ты стал задумываться,— заметил Риос.

— Тебе что,— ответил Свенсон.— А я вот все думаю о Пите и о Доре.

— Зачем? Она ведь позволила тебе лететь, верно? Комиссар потолковал с ней о патриотизме и как ты станешь героем и будешь обеспечен на всю жизнь, когда вернешься, и она сказала, что ты можешь лететь. Ты ведь не сбежал тайком, как Адамс.

— Адамс — другое дело. Его жену следовало бы пристрелить, как только она родилась. И могут же некоторые женщины испортить человеку жизнь, а? Она не хотела, чтобы он летел, но, наверное, будет только рада, если он не вернется, а ей назначат за него пенсию.

— Ну, так чего же ты хнычешь? Дора ведь ждет твоего возвращения?

Свенсон вздохнул.

— Я всегда вел себя с ней как свинья.

— Ты, по-моему, отдавал ей все жалованье. Я бы не сделал этого ни для одной женщины. Сколько заслужила, столько и получай, и ни цента больше.

— Дело не в деньгах. Я тут начал задумываться. Женщине нужен друг. А малышу нужен отец. И что я тут делаю?

— Делаешь все, чтобы поскорее добраться до дому.

— Эх, ничего ты не понимаешь!

## 8

Тед Лонг бродил по неровной поверхности обломка, и в его душе царил такой же ледяной холод, как и во-

круг него. Там, на Марсе, все казалось абсолютно логичным, но то был Марс. Мысленно он рассчитал все так тщательно, так безукоризненно последовательно. Он и сейчас еще точно помнил ход своих рассуждений.

Для приведения в движение тонны веса корабля совсем не обязательно требовалась именно тонна воды. Тут не масса равнялась массе, а произведение массы на скорость — произведению массы на скорость. Другими словами, все равно, выбросить ли тонну воды со скоростью мили в секунду или сто фунтов воды со скоростью двадцати миль в секунду, — корабль получал одну и ту же конечную скорость.

Это значило, что сопла становились все уже, а температура пара выше. Но тут появились трудности. Чем уже сопла, тем больше энергии теряется на трение и завихрения. Чем выше температура пара, тем более жароупорным должно быть сопло и тем короче его жизнь. Предел в этом направлении был быстро достигнут.

Затем, поскольку каждое данное количество воды, если пар выбрасывался через узкие сопла, могло привести в движение значительно более тяжелую массу, выгоднее было увеличить это количество. Но с увеличением объема контейнеров увеличивалась и капсула корабля, даже относительно. Поэтому лайнеры становились все вместительнее и тяжелее. Но чем больше контейнер, тем тяжелее его конструкции, тем труднее сварка, сложнее его постройка. В этом направлении предел также был уже достигнут.

И тогда он, как ему казалось, нащупал ошибочную предпосылку: почему-то считалось обязательным, что горючее должно находиться внутри корабля, что миллионы тонн воды нужно заключать в металл.

Зачем? Ведь вода — это не обязательно вода. Это может быть лед, а ледяной глыбе можно придать любую форму. Во льду можно проплавливать отверстия. В него можно вставить капсулу и двигатели. А тросы могут жестко удерживать вместе капсулу и двигатели в тисках магнитного силового поля.

Поверхность, по которой шел Лонг, ритмично вибрировала. Он находился неподалеку от места работы, где десяток кораблей вгрызался в лед, и обломок содрогался от непрерывных ударов.

Добывать лед не потребовалось — он плавал кус-



ками нужного размера в кольцах Сатурна. Вернее сказать, сами кольца представляли собой вращающиеся вокруг Сатурна глыбы почти чистого льда. Так говорила спектроскопия, так оказалось на самом деле. Сейчас Лонг стоял на одной из этих глыб длиной в две мили с лишком и толщиной почти с милю. Примерно полмиллиарда тонн воды, все в одном куске — и он стоит на нем.

И теперь Лонг лицом к лицу столкнулся с действительностью. Он никогда не говорил товарищам, сколько именно времени, по его мнению, потребуется им, чтобы превратить обломок в космический корабль, но про себя считал, что дня два, не больше. Однако прошла уже неделя, а он даже не осмеливался прикинуть, сколько еще остается. Теперь он даже не был уверен, что их план вообще осуществим. Смогут ли они с достаточной точностью управлять двигателями с помощью кабелей, переброшенных через две мили ледяной поверхности, когда им придется преодолевать мощное притяжение Сатурна? Питьевой воды оставалось мало, но, правда, они всегда могли растопить лед. Однако и удовольствие подходило к концу.

Лонг остановился и внимательно всмотрелся в небо. Действительно ли этот обломок увеличивается? Надо бы измерить расстояние до него. Но сейчас у него просто не хватило духа добавить к остальным неприятностям еще и эту. Мысли его вернулись к более насущным проблемам.

Хорошо хоть, что настроение у всех просто великолепное. По-видимому, его спутники очень рады, что достигли орбиты Сатурна. Ведь они первые люди, забравшиеся так далеко, первые, кто прошел Пояс астероидов, первые, кто невооруженным глазом смог увидеть Юпитер как шар, первые, кто увидел Сатурн — вот таким!

Ему и в голову не приходило, что пятьдесят практических, прошедших огонь и воду мусорщиков окажутся способными испытывать подобные чувства. Но это было так. И они были горды собой.

Он продолжал идти, и из-за отодвигавшегося горизонта выросли две фигуры около полузарытого космолета.

Лонг бодро окликнул их:

— Эй, ребята!

— Это ты, Тед? — ответил Риос.

— Он самый. А кто с тобой? Дик?

— Ну, да. Иди-ка, присядь. Мы как раз готовимся вмораживать корабль и только и думаем, как затянуть время.

— Только не я! — немедленно возразил Свенсон.— Когда мы вылетаем, Тед?

— Как только закончим. Это не ответ, верно?

— Но другого-то ответа и нет,— уныло согласился Свенсон.

Лонг поглядел вверх, на светлое пятно неправильной формы.

Риос проследил его взгляд.

— В чем дело?

Лонг промолчал. Небо было черное, и обломки кольца казались на его фоне оранжевой пылью. Сатурн больше чем на три четверти ушел за горизонт, а с ним и кольца. В полумиле от них из-за ледяного края их обломка в небо стремительно выскочил корабль, блеснул в оранжевом свете Сатурна и тут же исчез. Лед под их ногами задрожал.

— Что-нибудь неладно с Призраком? — спросил Риос.

Так они называли ближайший к ним обломок. Он был совсем близко, если учесть, что они находились у внешнего края колец, где обломки были разбросаны относительно редко. От Призрака их отделяло миль двадцать. Это была четко рисовавшаяся в небе зубчатая глыба.

— Вы ничего не замечаете?

Риос пожал плечами.

— Не вижу ничего особенного. Все нормально.

— Вам не кажется, что он увеличивается?

— С чего бы это?

— А все-таки? — настаивал Лонг.

Риос и Свенсон внимательно посмотрели на Призрак.

— Пожалуй, он действительно стал больше,— сказал Свенсон.

— Ты нам это внушил,— возразил Риос.— Ведь, если он становится больше, значит, он приближается сюда.

— Но ведь это же вполне возможно.

— Нет, потому что у этих обломков стабильные орбиты.

— Были, когда мы только прилетели сюда,— сказал Лонг.— Вот, чувствуете?

Лед под ними снова задрожал.

— Мы долбим наш обломок уже неделю. Сначала на него сели двадцать пять кораблей, что сразу изменило его скорость. Чуть-чуть, разумеется, но изменило. Потом мы расплавляли лед, наши корабли садились и взлетали — и все это к тому же на одном конце обломка. За неделю мы вполне могли немного изменить его орбиту. Два обломка, наш и Призрак, возможно, начали сближаться.

— Ну, пока еще ему хватит места проскочить мимо, — сказал Риос, посмотрев вверх. — К тому же раз мы не можем даже сказать с уверенностью, что он увеличивается, то какая же у него может быть скорость? Относительно нас, конечно.

— Ему и не надо иметь большую скорость. Его масса не меньше нашей, и, как бы слабо мы ни столкнулись, он собьет нас с орбиты, возможно в сторону Сатурна. А это нам вовсе ни к чему. К тому же у льда очень низкая прочность на разрыв и оба обломка могут разлететься в пыль.

Свенсон встал.

— Черт возьми, уж если я могу точно определить, как движется сброшенный контейнер в тысяче миль от меня, то и подавно могу узнать, как ведет себя эта гора всего в двадцати милях отсюда.

Он направился к кораблю. Лонг его не остановил.

— Нервничает парень, — заметил Риос.

Призрак поднялся к зениту, прошел над ними и начал заходить. Через двадцать минут горизонт напротив того места, где исчез Сатурн, загорелся оранжевым заревом — там восходил Призрак.

Риос окликнул по радио:

— Эй, Дик, ты еще жив?

— Проверяю, — донесся глухой ответ.

— Двигается? — спросил Лонг.

— Да.

— К нам?

Наступило молчание. Потом раздался испуганный голос Свенсона:

— Прямо в лоб, Тед. Орбиты пересекутся через три дня.

— Да ты рехнулся! — крикнул Риос.

— Проверял четыре раза, — сказал Свенсон.

«Что же теперь делать?» — растерянно подумал Лонг.

Часть команды мучилась с кабелями. Их необходимо было проложить идеально точно, чтобы магнитное поле достигло максимальной мощности. В космосе и даже в воздухе это не имело бы значения. Кабели сами расположились бы как надо, как только по ним пошел бы ток. Здесь было иначе. По поверхности обломка прокладывались канавки, в которые предстояло уложить кабель. Если бы при этом была допущена ошибка всего в несколько минут от расчетного направления, возникло бы скручивающее усилие, приложенное ко всему обломку, что привело бы к неизбежной потере драгоценной энергии. Тогда пришлось бы заново прокладывать канавки, переносить кабели и снова вмораживать их.

Усталые люди занимались этой однообразной работой, когда вдруг услышали:

— Все на монтаж двигателей!

Не следует забывать, что мусорщики отнюдь не принадлежат к людям, которым по вкусу дисциплина. Приказ был встречен громким ворчанием и руганью: ведь предстояло демонтировать оставшиеся двигатели, перенести их на другой конец обломка, впаять в лед в нужных местах и протянуть по поверхности тросы и кабели.

Так что прошли почти сутки, прежде чем кто-то, глянув на небо, произнес: «Ух ты!» — и еще одно словечко, не подходящее для печати.

Его сосед посмотрел туда же и ахнул:

— Будь я проклят!

Вслед за ними в небо уставились и все остальные. Такого поразительного зрелища им еще не приходилось видеть!

— Взгляните-ка на Призрак!

Он разрастался по всему небу, как гнойная язва. Все с удивлением обнаружили, что он стал вдвое больше прежнего, и не могли понять, каким образом никто не заметил этого раньше.

Работа была брошена. Все столпились вокруг Теда Лонга.

Он сказал:

— Улететь мы не можем. У нас нет горючего, чтобы вернуться на Марс, и нет снаряжения, чтобы захватить другой обломок. Значит, нам придется остаться тут.

Призрак приближается к нам, так как взрывные работы изменили нашу орбиту. Мы можем вновь изменить орбиту, продолжая взрывы. Но тут взрывать больше нельзя — это опасно для корабля, который мы строим. Давайте попробуем с другой стороны.

Они взялись за дело с бешеной энергией. Их пыл подогревался каждые полчаса, когда Призрак выростал на горизонте, все более огромный и грозный.

Лонг отнюдь не был уверен, что у них что-нибудь выйдет. Даже если реактивные двигатели не откажут при дистанционном управлении, даже если наладится подача воды, — а для этого резервуар необходимо было встроить прямо в ледяные недра обломка, установить там излучатели, которые испаряли бы движущуюся жидкость, направляя ее в камеры истечения, — все равно не было никакой уверенности, что обломок, не скрепленный магнитными тросами, не рассыплется под воздействием разрушительных напряжений огромной силы.

— Готово! — услышал Лонг по радио.

— Готово! — повторил Лонг и включил контакт.

Он почувствовал, как все вокруг заколебалось. Россыпь звезд на экране, настроенном на дальний конец обломка, задрожала, и вдали возник пенный хвост стремительно несущихся ледяных кристаллов.

— Работают! — послышался крик.

Выключить двигатели Лонг не осмеливался.

Целых шесть часов они извергали кипящие струи, обращая в пар и выбрасывая в пространство лед, в который были встроены.

Призрак приблизился настолько, что все бросили работу, как замороженные глядя на гору, занявшую все небо, — более эффектную, чем даже сам Сатурн. Каждая выбоина и трещина на поверхности Призрака была видна совершенно четко. Но, когда он пересек орбиту их обломка, тот уже успел проскочить на полмили вперед.

Лонг сгорбился в кресле и прикрыл глаза рукой. Он не ел уже двое суток. Впрочем, сейчас он мог бы и поесть. Все остальные обломки кольца были так далеко, что не могли доставить им новых неприятностей, даже если бы какой-нибудь из них и начал к ним приближаться.

А снаружи Свенсон говорил:

— Все время, пока я следил, как эта проклятая ска-

ла наваливается на нас, я твердил про себя: «Этого не случится. Мы этого не допустим».

— Черт побери,— сказал Риос.— Мы все понервничали. Ты видел Джима Дэвиса? Он прямо позеленел. Да и мне было не по себе.

— Дело не в том. Смерть... это само собой. Но я все время вспоминал — знаю, что это смешно, но ничего не могу поделать,— все время вспоминал, как Дора сказала, что, если я наконец допрыгаюсь и погибну, она мне это припомнит. Глупо — в такую минуту, а?

— Послушай,— сказал Риос,— ты хотел жениться, и ты женился. Ну, так не ищи у меня сочувствия.

## 10

Слитая в единое целое флотилия возвращалась, преодолевая необозримо громадное пространство, отделявшее Сатурн от Марса. Каждый день она покрывала расстояние, на которое по пути сюда требовалось девять дней. Лонг объявил аврал. Синхронизация работы двигателей двадцати пяти кораблей, встроенных в кусок льда из колец Сатурна и лишенных возможности двигаться и маневрировать самостоятельно, была невероятно трудной задачей.

И в первый же день полета начались беспорядочные рывки, которые чуть не вытрясли из них душу. Впрочем, стремительное возрастание скорости положило конец этой тряске. К концу второго дня они перевалили за отметку 100 000 миль в час, но стрелка продолжала упорно двигаться, достигла отметки «1 000 000» и преодолела ее.

Корабль Лонга служил носом ледяного сооружения, и только с него было возможно вести наблюдение во всех направлениях. Лонг ловил себя на том, что напряженно наблюдает за космосом, почему-то ожидая, что звезды вот-вот начнут скользить назад и замелькают по бокам их составного корабля — так колоссальна была их скорость.

Но этого, конечно, не случилось. Звезды оставались пригвожденными к черному занавесу космоса, недвижно взирая на людей с таких расстояний, которые сводили на нет любую скорость, какой только мог добиться человек.

Через несколько дней начались жалобы. Дело было

не только в том, что команда лишилась возможности парить в космосе. Всех измучила сила тяжести, намного превышавшая обычное искусственное поле тяготения кораблей, — это был результат свирепого ускорения, которому они подверглись. Лонг, неумолимой силой прижатый к гидравлической прокладке кресла, и сам чувствовал смертельную усталость.

Пришлось каждые три часа выключать на час двигатели, и Лонга это сердило.

Ведь с того дня, когда он в последний раз видел в иллюминаторе своего (тогда еще самостоятельного) корабля медленно исчезающий Марс, прошло уже больше года.

Что случилось за это время? Существует ли еще колония?

Тревожась все больше и больше, Лонг ежедневно, используя объединенную энергию всех кораблей, посылал к Марсу радиосигналы. Ответа не было. Да он его и не ждал. Марс и Сатурн сейчас находились по разные стороны от Солнца, и помехи были слишком велики: оставалось ждать того дня, когда корабли поднимутся над эклиптической достаточно высоко.

За внешним краем Пояса астероидов они достигли максимальной скорости. Короткие струи из одного бокового двигателя, потом из другого повернули огромный корабль кормой вперед. Вновь мощно взревел составной задний двигатель, но теперь он уже тормозил их движение. Они прошли в ста миллионах миль от Солнца и по кривой направились к Марсу.

В неделе пути от Марса впервые были услышаны ответные сигналы — отрывочные, еле слышные и неразборчивые. Но они доносились с Марса! Земля и Венера находились в другом направлении, так что сомневаться не приходилось.

Лонг немного успокоился. Во всяком случае, на Марсе все еще есть люди.

В двух днях пути от Марса сигналы стали сильными и отчетливыми. Их вызывал Сэнков.

Сэнков сказал:

— Здравствуй, сынок. У нас сейчас три часа утра. Никакого уважения к старику — вытащили меня прямо из постели.

— Мне очень жаль, сэр...

— И зря! Я сам так велел. Я боюсь спрашивать,

сын. Есть раненые? Может быть, кто-нибудь погиб?

— Погибших нет, сэр. Ни единого.

— А... а как с водой? Что-нибудь осталось?

Лонг, пытаясь придать голосу оттенок безразличия, ответил:

— Хватит.

— В таком случае возвращайтесь домой как можно скорее. Разумеется, без лишнего риска.

— Значит, дело плохо?

— Да так себе. Когда вы достигнете Марса?

— Через два дня. Столько вы продержитесь?

— Продержусь.

Сорок часов спустя Марс вырос в ярко-оранжевый шар, заполнивший все иллюминаторы, и ледяной корабль вышел на последнюю спираль перед посадкой. «Спокойно,— твердил про себя Лонг,— спокойно!» Даже разреженная атмосфера Марса могла стать для них крайне опасной, если бы они вошли в нее на слишком большой скорости.

Сначала под ними пронеслась одна белая полярная шапка, затем другая, поменьше, летнего полушария, снова большая, опять меньшая — промежутки все увеличивались.

Планета приближалась. Вскоре уже стали отчетливо видны отдельные черты ландшафта.

— Приготовиться к посадке! — скомандовал Лонг.

## 11

Сэнков старался сохранить невозмутимый вид, что было нелегко: все-таки экспедиция едва не опоздала. Впрочем, теперь все устроилось наилучшим образом.

Всего несколько дней назад он не был даже уверен, что они живы. Казалось вероятным, даже почти неизбежным, что где-то в непроторенных пространствах между Марсом и Сатурном носятся их замерзшие трупы — новые небесные тела, которые когда-то были живыми существами.

Последние месяцы он всячески торговался с комиссией по мелочам. Им нужна была его подпись для соблюдения законности. Однако Сэнков понимал, что откажи он им наотрез, и они будут действовать односторонне, махнув рукой на формальности. Победа Хильдера на выборах казалась несомненной, и его сторонники



могли даже пойти на риск вызвать сочувствие к Марсу. Поэтому Сэнков всячески затягивал переговоры, давая комиссии основание полагать, что он вот-вот капитулирует.

Но после разговора с Лонгом Сэнков тут же согласился на все условия.

В тот же день, несколько часов спустя, перед ним уже лежали документы, и он, поглядывая на журналистов, обратился к комиссии с последним заявлением. Он говорил:

— Общий импорт воды с Земли составляет двадцать миллионов тонн в год. Он сокращается, по мере того как мы совершенствуем собственную водопроводную систему. Если я подпишу, дав тем самым согласие на эмбарго, наша промышленность будет парализована, исчезнет всякая возможность дальнейшего ее развития. Не может быть, чтобы это входило в намерения Земли. Не так ли?

Он посмотрел на членов комиссии, но их взгляд не смягчился. Дигби давно вывели из комиссии, а все остальные не симпатизировали Марсу.

Председатель комиссии раздраженно заметил:

— Вы все это уже говорили.

— Знаю, но раз я готов подписать, то хочу, чтобы все было ясно. Так, значит, Земля твердо решила покончить с нами?

— Конечно, нет. Земля заинтересована лишь в сохранении своих невозобновимых водных ресурсов, только и всего.

— На Земле полтора квинтильона тонн воды.

— Мы не можем поделиться своей водой,— отрезал председатель комиссии.

И Сэнков подписал.

Именно такие заключительные слова и были ему нужны. Земля имеет полтора квинтильона тонн воды и не может ею поделиться.

И вот сейчас, полтора года спустя, члены комиссии и журналисты ждали в куполе космопорта. За толстыми выгнутыми стенками виднелась голая, пустынная территория марсианского космодрома.

Председатель комиссии спросил с досадой:

— Долго ли еще ждать? И позвольте наконец узнать, чего мы ждем?

— Кое-кто из наших ребят побывал в космосе,—

ответил Сэнков, — за астероидами.

Председатель комиссии снял очки и протер их белоснежным платком.

— И они возвращаются?

— Да.

Председатель пожал плечами и, повернувшись к репортерам, выразительно поднял брови.

У другого окна в соседнем помещении тесной кучкой стояли женщины и дети. Сэнков повернулся и взглянул на них. Он предпочел бы быть вместе с ними, разделять их волнение и ожидание. Как и они, он ждал больше года. Как и они, он снова и снова думал, что те, кого они ждали, погибли.

— Видите? — сказал Сэнков, указывая в окно.

— Эге! — воскликнул какой-то журналист. — Да это корабль!

Из соседней комнаты донеслись возбужденные крики.

Это был еще не корабль, а яркая точка, светившаяся сквозь зыбкое белое облачко. Облачко росло. Оно простерлось по небу двойной полосой, нижние концы которой расходились в стороны и загибались вверх. Облачко приблизилось, и яркая точка на его верхнем конце превратилась в подобие цилиндра. Поверхность цилиндра была неровной и скалистой, а там, где на нее падал солнечный свет, она отбрасывала ослепительные блики.

Цилиндр снижался с тяжеловесной медлительностью космолета. Он повис на мгновение, покоясь на многотонной отдаче отбрасываемых струй пара, как усталый человек в кресле.

В куполе воцарилась тишина. Женщины и дети в одной комнате, члены комиссии и журналисты в другой, окаменев, не веря своим глазам, смотрели вверх. Посадочные ноги цилиндра под нижними соплами коснулись поверхности, погрузились в зыбучую гальку, и корабль застыл неподвижно. Рев двигателей смолк.

В куполе по-прежнему стояла тишина.

С огромного корабля спускались люди — им предстояло карабкаться вниз мили две в ботинках с шипами и с ледорубами в руках. На фоне слепящей поверхности они казались муравьями.

— Что это? — сорвавшимся голосом спросил один из журналистов.

— Это, — спокойно ответил Сэнков, — глыба веществ-

ва, которая вращалась вокруг Сатурна в составе его колец. Наши ребята снабдили ее капсулой и двигателями и доставили на Марс. Видите ли, кольца Сатурна состоят из огромных глыб чистого льда.

И в мертвой тишине он продолжал:

— Эта глыба, похожая на корабль, — всего лишь гора твердой воды. Если бы она стояла вот так на Земле, она растаяла бы, а может быть, рассыпалась бы под действием собственной тяжести. На Марсе холоднее, а сила тяжести меньше, поэтому тут ей это не грозит. Разумеется, когда мы как следует наладим дело, мы заведем водные станции и на лунах Сатурна и Юпитера, и на астероидах. Мы будем собирать такие кусочки в кольцах Сатурна и отправлять на эти станции. Наши мусорщики это хорошо умеют. У нас будет столько воды, сколько понадобится. Объем глыбы, которую вы видите, чуть меньше кубической мили — примерно столько же Земля послала бы нам за двести лет. Ребята истратили довольно много воды, возвращаясь с Сатурна. По их словам, на весь путь понадобилось пять недель и они израсходовали около ста миллионов тонн воды. Но в этой горе даже щербинки не видно. Вы записываете?

Он повернулся к репортерам. О да, они записывали!

— И вот еще что. Земля опасается, что ее водные запасы истощаются. Она располагает всего-навсего какими-нибудь полутора квинтильонами тонн воды. Она не может уделить нам из них ни одной тонны. Так запишите, что мы, жители Марса, опасаемся за судьбу Земли и не хотим, чтобы с ее обитателями случилась беда. Запишите, что мы будем продавать воду Земле по миллиону тонн за умеренную плату. Запишите, что через десять лет мы рассчитываем продавать воду кубическими милями. Запишите, что Земля может не волноваться: Марс продаст Земле столько воды, сколько ей понадобится.

Председатель комиссии уже ничего не слышал. Он чувствовал, как на него обрушивается будущее. Как в тумане, он видел, что репортеры усмеваются, продолжая бешено строчить.

Усмеваются!

Он знал, что на Земле эта усмешка превратится в громовой хохот, едва там узнают, как Марс побил антирасточителей их же собственным оружием. Он слы-

шал, как раздражаются хохотом целые континенты, когда до них доходит известие об этом позорном фиаско. И еще он видел пропасть — глубокую и черную, как космос, пропасть, куда навсегда проваливаются все политические надежды Джона Хильдера и любого из оставшихся на Земле противников космических полетов, включая, конечно, и его самого.

В соседней комнате плакала от радости Дора, а Питер, успевший подрасти дюйма на два, прыгал и кричал:

— Папа! Папа!

Ричард Свенсон только что ступил на землю и зашагал к куполу. Его лицо было хорошо видно сквозь прозрачный силикон гермошлема.

— Ты когда-нибудь видел, чтобы человек выглядел таким счастливым? — спросил Тед Лонг.— Может, в этой семейной жизни и на самом деле что-то есть?

— Брось! Просто ты слишком долго был в космосе,— ответил Риос.

# ПРИХОД НОЧИ

Если бы звезды вспыхивали  
в ночном небе лишь  
раз в тысячу лет, какой горя-  
чей верой проникались бы люди,  
в течение многих поколений  
сохраняя память о граде  
божьем!

*Эмерсон*

**А**тон 77, ректор Сароского университета, воинствен-но оттопырил нижнюю губу и в бешенстве устави-лся на молодого журналиста.

Теремон 762 и не ждал ничего другого. Когда он еще только начинал и статьи, которые теперь перепечатыва-ли десятки газет, были только безумной мечтой желто-рогого юнца, он уже специализировался на «невозмо-жных» интервью. Это стоило ему кровоподтеков, синяков и переломов, но зато он научился сохранять хладно-кровие и уверенность в себе при любых обстоятель-ствах.

Поэтому он опустил протянутую руку, которую так демонстративно отказались пожать, и спокойно ждал, пока гнев престарелого ректора остынет. Все астроно-мы — чудаки, а Атон, если судить по тому, что он вы-творял последние два месяца, чудак из чудачков.

Атон 77 снова обрел дар речи, и, хотя голос прослав-ленного астронома дрожал от сдерживаемой ярости, го-ворил он по своему обыкновению размеренно, тщатель-но подбирая слова.

— Явившись ко мне с таким наглым предложением, сэр, вы проявили дьявольское нахальство...

— Но, сэр, в конце концов... — облизнув пересохшие губы, робко перебил его Бини 25, широкоплечий теле-фотограф обсерватории.

Ректор обернулся, одна седая бровь поползла кверху.

— Не вмешивайтесь, Бини. Я готов поверить, что вы привели сюда этого человека, руководствуясь самыми

добрыми намерениями, но сейчас я не потерплю никаких пререканий.

Теремон решил, что ему пора принять участие в этом разговоре.

— Ректор Атон, если вы дадите мне возможность договорить...

— Нет, молодой человек, — возразил Атон, — все, что вы могли сказать, вы уже сказали за эти последние два месяца в своих ежедневных статьях. Вы возглавили широкую газетную кампанию, направленную на то, чтобы помешать мне и моим коллегам подготовить мир к угрозе, которую теперь уже нельзя предотвратить. Вы не остановились перед сугубо личными оскорбительными нападками на персонал обсерватории и старались сделать его посмешищем.

Ректор взял со стола экземпляр саросской «Хроники» и свирепо взмахнул им.

— Даже такому известному наглецу, как вы, следовало бы подумать, прежде чем являться ко мне с просьбой, чтобы я разрешил именно вам собирать здесь материал для статьи о том, что произойдет сегодня. Именно вам из всех журналистов!

Атон швырнул газету на пол, шагнул к окну и сцепил руки за спиной.

— Можете идти, — бросил он через плечо. Он угрюмо смотрел на горизонт, где садилась Гамма, самое яркое из шести солнц планеты. Светило уже потускнело и пожелтело в дымке, затянувшей даль, и Атон знал, что если увидит его вновь, то лишь безумцем.

Он резко обернулся.

— Нет, погодите! Идите сюда! — сделав властный жест, сказал Атон. — Я дам вам материал.

Журналист, который и не собирался уходить, медленно подошел к старику. Атон показал рукой на небо.

— Из шести солнц в небе осталась только Бета. Вы видите ее?

Вопрос был излишним. Бета стояла почти в зените; по мере того как сверкающие лучи Гаммы гасли, красноватая Бета окрашивала все кругом в непривычный оранжевый цвет. Бета находилась в афелии. Такой маленькой Теремон ее еще никогда не видел. И только она одна светила сейчас на небе Лагаша.

Собственное солнце Лагаша, Альфа, вокруг которого

обращалась планета, находилось по другую ее сторону, так же как и две другие пары дальних солнц. Красный карлик Бета (ближайшая соседка Альфы) осталась в одиночестве, в зловещем одиночестве.

В лучах солнца лицо Атона казалось багровым.

— Не пройдет и четырех часов,— сказал он,— как наша цивилизация кончит свое существование. И это произойдет потому, что Бета, как вы видите, осталась на небе одна.— Он угрюмо улыбнулся.— Напечатайте это! Только некому будет читать.

— Но если пройдет четыре часа... и еще четыре... и ничего не случится? — вкрадчиво спросил Теремон.

— Пусть это вас не беспокоит. Многого случится.

— Не спорю! И все же... если ничего не случится?

Бини 25 рискнул снова заговорить:

— Сэр, мне кажется, вы должны выслушать его.

— Не следует ли поставить этот вопрос на голосование, ректор Атон? — сказал Теремон.

Пятеро ученых (остальные сотрудники обсерватории), до этих пор сохранявшие благоразумный нейтралитет, насторожились.

— В этом нет необходимости,— отрезал Атон. Он достал из кармана часы.— Раз уж ваш друг Бини так настаивает, я даю вам пять минут. Говорите.

— Хорошо! Ну, что изменится, если вы дадите мне возможность описать дальнейшее, как очевидцу? Если ваше предсказание сбудется, мое присутствие ничему не мешает: ведь в таком случае моя статья так и не будет написана. С другой стороны, если ничего не произойдет, вы должны ожидать, что над вами в лучшем случае будут смеяться. Так не лучше ли, чтобы этим смехом дирижировала дружеская рука?

— Это свою руку вы называете дружеской? — огрызнулся Атон.

— Конечно! — Теремон сел и закинул ногу за ногу.— Мои статьи порой бывали резковаты, но каждый раз я оставлял вопрос открытым. В конце концов, сейчас не тот век, когда можно проповедовать Лагашу «приближение конца света». Вы должны понимать, что люди больше не верят в Книгу откровений и их раздражает, когда ученые поворачивают на сто восемьдесят градусов и говорят, что хранители Культа были все-таки правы...

— Никто этого не говорит, молодой человек,— пере-

бил его Атон.— Хотя многие сведения были сообщены нам хранителями Культа, результаты наших исследований свободны от культового мистицизма. Факты суть факты, а так называемая «мифология» Культа, бесспорно, опирается на определенные факты. Мы их объяснили, лишив былой таинственности. Заверяю вас, хранители Культа теперь ненавидят нас больше, чем вы.

— Я не питаю к вам никакой ненависти. Я просто пытаюсь доказать вам, что широкая публика настроена скверно. Она раздражена.

Атон насмешливо скривил губы.

— Ну и пусть себе раздражается.

— Да, но что будет завтра?

— Никакого завтра не будет.

— Но если будет? Предположим, что будет... Только подумайте, что произойдет. Раздражение может перерасти во что-нибудь серьезное. Ведь, как вам известно, деловая активность за эти два месяца пошла на убыль. Вкладчики не очень-то верят, что наступает конец мира, но все-таки предпочитают пока держать свои денюжки при себе. Обыватели тоже не верят вам, но все же откладывают весенние покупки... так, на всякий случай. Вот в чем дело. Как только все это кончится, биржевые воротилы возьмутся за вас. Они скажут, что раз сумасшедшие... прошу прощения... способны в любое время поставить под угрозу процветание страны, изрекая нелепые предсказания, то планете следует подумать, как их унять. И тогда будет жарко, сэр.

Ректор смерил журналиста суровым взглядом.

— И какой же выход из положения предлагаете вы? Теремон улыбнулся.

— Я предлагаю взять на себя освещение вопроса в прессе. Я могу повернуть дело так, что оно будет казаться только смешным. Конечно, выдержать это будет трудно, так как я сделаю вас скопищем идиотов, но, если я заставлю людей смеяться над вами, их гнев остынет. А взамен мой издатель просит одного — не давать сведений никому, кроме меня.

— Сэр,— кивнув, выпалил Бини,— все мы думаем, что он прав. За последние два месяца мы предусмотрели все, кроме той миллионной доли вероятности, что в нашей теории или в наших расчетах может крыться какая-то ошибка. Это мы тоже должны предусмотреть.



Остальные одобрительно зашумели, и Атон поморщился так, будто во рту у него была страшная горечь.

— В таком случае можете оставаться, если хотите. Однако, пожалуйста, постарайтесь не мешать нам. Помните также, что здесь руководитель я, и, какой бы точки зрения вы ни придерживались в своих статьях, я требую содействия и уважения к...

Он говорил, заложив руки за спину, и его морщинистое лицо выражало твердую решимость. Он мог бы говорить бесконечно долго, если бы его не перебил новый голос.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка! — раздался высокий тенор, и пухлые щеки вошедшего растянулись в довольной улыбке.— Почему у вас такой похоронный вид? Надеюсь, все сохраняют спокойствие и твердость духа?

Атон недоуменно нахмурился и спросил раздраженно:

— Какого черта вам тут понадобилось, Ширин? Я думал, вы собираетесь остаться в Убежище.

Ширин рассмеялся и плюхнулся на стул.

— Да провались оно, это Убежище! Оно мне надоело. Я хочу быть здесь, в центре событий. Неужто, по-вашему, я совершенно нелюбопытен? Я хочу увидеть Звезды, о которых без конца твердят хранители Культа.— Он потер руки и добавил уже более серьезным тоном: — На улице холодно. Ветер такой, что на носу повисают сосульки. Бета так далеко, что совсем не греет.

Седовласый ректор вдруг вспылал:

— Почему вы изо всех сил стараетесь делать всякие нелепости, Ширин? Какая польза от вас тут?

— А какая польза от меня там? — В притворном смирении Ширин развел руками.— В Убежище психологу делать нечего. Там нужны люди действия и сильные, здоровые женщины, способные рожать детей. А я? Для человека действия во мне лишних фунтов сто, а рожать детей я вряд ли сумею. Так зачем там нужен лишний рот? Здесь я чувствую себя на месте.

— А что такое Убежище? — деловито спросил Термон.

Ширин как будто только теперь увидел журналиста. Он нахмурился и надул полные щеки.

— А вы, рыжий, кто вы такой?

Атон сердито сжал губы, но потом неохотно пробормотал:

— Это Теремон 762, газетчик. Полагаю, вы о нем слышали.

Журналист протянул руку.

— А вы, конечно, Ширин 501 из Сароского университета. Я слышал о вас.— И он повторил свой вопрос: — Что такое Убежище?

— Видите ли,— сказал Ширин,— нам все-таки удалось убедить горстку людей в правильности нашего предсказания... э... как бы это поэффектнее выразиться... рокового конца, и эта горстка приняла соответствующие меры. В основном это семьи персонала обсерватории, некоторые преподаватели университета и кое-кто из посторонних. Всех вместе их сотни три, но три четверти этого числа составляют женщины и дети.

— Понимаю! Они спрятались там, где Тьма и эти... э... Звезды не доберутся до них, и останутся поэтому целы, когда весь остальной мир сойдет с ума. Если им удастся, конечно. Ведь это будет нелегко. Человечество потеряет рассудок, большие города запылают — в такой обстановке выжить будет трудно. Но у них есть припасы, вода, надежный приют, оружие...

— У них есть не только это,— сказал Атон.— У них есть все наши материалы, кроме тех, которые мы соберем сегодня. Эти материалы жизненно необходимы для следующего цикла, и именно они должны уцелеть. Остальное неважно.

Теремон протяжно присвистнул и задумался. Люди, стоявшие у стола, достали доску для коллективных шахмат и начали играть вшестером. Ходы делались быстро и молча. Все глаза были устремлены на доску.

Теремон несколько минут внимательно следил за игроками, а потом встал и подошел к Атону, который сидел в стороне и шепотом разговаривал с Шириним.

— Послушайте,— сказал он.— Давайте пойдем куда-нибудь, чтобы не мешать остальным. Я хочу спросить вас кое о чем.

Престарелый астроном нахмурился и угрюмо посмотрел на него, но Ширин ответил весело:

— С удовольствием. Мне будет только полезно немного поболтать. Атон как раз рассказывал мне, какой реакции, по вашему мнению, можно ожидать, если

предсказание не сбудется... и я согласен с вами. Кстати, я читаю ваши статьи довольно регулярно и взгляды ваши мне в общем нравятся.

— Прошу вас, Ширин... — проворчал Атон.

— Что? Хорошо-хорошо. Мы пойдем в соседнюю комнату. Во всяком случае, кресла там помягче.

Кресла в соседней комнате действительно были мягкими. На окнах там висели тяжелые красные шторы, а на полу лежал палевый ковер. В красновато-кирпичных лучах Беты и шторы и ковер приобрели цвет запекшейся крови.

Теремон вздрогнул.

— Я отдал бы десять бумажек за одну секунду настоящего, белого света. Жаль, что Гаммы или Дельты нет на небе.

— О чем вы хотели нас спросить? — перебил его Атон.— Пожалуйста, помните, что у нас мало времени. Через час с четвертью мы поднимемся наверх, и после этого разговаривать будет некогда.

— Ну, так вот,— сказал Теремон, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки.— Вы все здесь так серьезны, что я начинаю верить вам. И я бы хотел, чтобы вы объяснили мне, в чем, собственно, все дело?

Атон вспыхнул:

— Уж не хотите ли вы сказать, что вы осыпали нас насмешками, даже не узнав как следует, что мы утверждаем?

Журналист смущенно улыбнулся.

— Ну, не совсем так, сэр. Общее представление я имею. Вы утверждаете, что через несколько часов во всем мире наступит Тьма и все человечество впадет в буйное помешательство. Я только спрашиваю, как вы объясняете это с научной точки зрения.

— Нет, так вопрос не ставьте,— вмешался Ширин.— В этом случае, если Атон будет расположен ответить, вы утонете в море цифр и диаграмм. И так ничего и не поймете. А вот если спросите меня, то услышите объяснение, доступное для простых смертных.

— Ну, хорошо, считайте, что я спросил об этом вас.

— Тогда сначала я хотел бы выпить.

Он потер руки и взглянул на Атона.

— Воды? — ворчливо спросил Атон.

— Не говорите глупостей!

— Это вы не говорите глупостей! Сегодня никакого

спиртного! Мои сотрудники могут не устоять перед искушением и напиться. Я не имею права рисковать.

Психолог что-то проворчал. Обернувшись к Теремону, он устремил на него пронзительный взгляд и начал:

— Вы, конечно, знаете, что история цивилизации Лагаша носит циклический характер... Повторяю, циклический!

— Я знаю,— осторожно заметил Теремон,— что это распространенная археологическая гипотеза. Значит, теперь ее считают абсолютно верной?

— Пожалуй. В этом нашем последнем столетии она получила общее признание. Этот циклический характер является... вернее, являлся одной из величайших загадок. Мы обнаружили ряд цивилизаций — целых девять, но могли существовать и другие. Все эти цивилизации в своем развитии доходили до уровня, сравнимого с нашим, и все они, без исключения, погибали от огня на самой высшей ступени развития их культуры. Никто не может сказать, почему это происходило. Все центры культуры выгорали дотла, и не оставалось ничего, что подсказало бы причину катастроф.

Теремон внимательно слушал.

— А разве у нас не было еще и каменного века?

— Очевидно, был, но практически о нем известно лишь то, что люди тогда немногим отличались от очень умных обезьян. Таким образом, его можно не брать в расчет.

— Понимаю. Продолжайте.

— Прежние объяснения этих повторяющихся катастроф носили более или менее фантастический характер. Одни говорили, что на Лагаш периодически проливались огненные дожди, другие утверждали, что Лагаш время от времени проходит сквозь солнце, третьи — еще более нелепые вещи. Но существовала теория, совершенно отличающаяся от остальных, она дошла до нас из глубины веков.

— Я знаю, о чем вы говорите. Это миф о Звездах, который записан в Книге откровений хранителей Культа.

— Совершенно верно,— с удовлетворением отметил Ширин.— Хранители Культа утверждают, будто каждые две с половиной тысячи лет Лагаш попадал в колоссальную пещеру, так что все солнца исчезали и на весь мир опускался полный мрак. А потом, говорят они, по-

являлись так называемые Звезды, которые отнимали у людей души и превращали их в неразумных скотов, так что они губили цивилизацию, созданную ими же самими. Конечно, хранители Культа разбавляют все это невероятным количеством религиозной мистики, но основная идея такова.

Ширин помолчал, переводя дух.

— А теперь мы подходим к Теории Всеобщего Тяготения.

Он произнес эту фразу так, словно каждое слово начиналось с большой буквы,— и тут Атон отвернулся от окна, презрительно фыркнул и сердито вышел из комнаты.

Ширин и Теремон посмотрели ему вслед.

— Что случилось? — спросил Теремон.

— Ничего особенного,— ответил Ширин.— Еще двое его сотрудников должны были явиться сюда несколько часов назад, но их все еще нет. А у него каждый человек на счету: все, кроме самых нужных специалистов, ушли в Убежище.

— Вы думаете, они дезертировали?

— Кто? Фаро и Йимот? Конечно, нет. И все же, если они не вернуться в течение часа, это усложнит ситуацию.— Он неожиданно вскочил на ноги, и его глаза весело блеснули.— Однако раз уж Атон ушел...

Подойдя на цыпочках к ближайшему окну, он присел на корточки, вытащил бутылку из шкафчика, встроеного под подоконником, и встряхнул ее — красная жидкость в бутылке соблазнительно булькнула.

— Я так и знал, что Атону про это не известно,— заметил он, поспешно возвращаясь к своему креслу.— Вот! У нас только один стакан — его, поскольку вы гость, возьмете вы. Я буду пить из бутылки.— И он осторожно наполнил стаканчик.

Теремон встал, собираясь отказаться, но Ширин смерил его строгим взглядом.

— Молодой человек, старших надо уважать.

Журналист сел с мученическим видом.

— Тогда продолжайте рассказывать, старый плут.

Психолог поднес ко рту горлышко бутылки, и кадык его задержался. Затем он довольно крикнул, чмокнул губами и продолжал:

— А что вы знаете о тяготении?

— Только то, что оно было открыто совсем недавно,

и теория эта почти не разработана, а формулы настолько сложны, что на Лагаше постигнуть ее способны всего двенадцать человек.

— Чепуха! Ерунда! Я изложу сущность этой теории в двух словах. Закон всеобщего тяготения утверждает, что между всеми телами Вселенной существует связующая сила и что величина силы, связующей два любых данных тела, пропорциональна произведению их масс, деленному на квадрат расстояния между ними.

— И все?

— Этого вполне достаточно! Понадобилось четыре века, чтобы открыть этот закон.

— Почему же так много? В вашем изложении он кажется очень простым.

— Потому что великие законы не угадываются в минуты вдохновения, как это думают. Для их открытия нужна совместная работа ученых всего мира в течение столетий. После того как Генови 41 открыл, что Лагаш вращается вокруг солнца Альфа, а не наоборот (а это произошло четыреста лет назад), астрономы поработали очень много. Они наблюдали, анализировали и точно определили сложное движение шести солнц. Выдвигалось множество теорий, их проверяли, изменяли, отвергали и превращали во что-то еще. Это была чудовищная работа.

Теремон задумчиво кивнул и протянул стаканчик. Ширин нехотя наклонил бутылку, и на доньшко упало несколько рубиновых капель.

— Двадцать лет назад,— продолжал он, промочив горло,— было наконец доказано, что закон всеобщего тяготения точно объясняет орбитальное движение шести солнц. Это была великая победа.

Ширин встал и направился к окну, не выпуская из рук бутылки.

— А теперь мы подходим к главному. За последнее десятилетие орбита, по которой Лагаш обращается вокруг солнца Альфа, была вновь рассчитана на основе этого закона, и оказалось, что полученные результаты не соответствуют реальной орбите, хотя были учтены все возмущения, вызываемые другими солнцами. Либо закон не был верен, либо существовал еще один, неизвестный фактор.

Теремон подошел к Ширину, который стоял у окна и смотрел на шпили Саро, кроваво пылавшие на горизонте за лесистыми склонами холмов. Бросив взгляд на

Бету, журналист почувствовал возрастающую неуверенность и тревогу. Ее крохотное красное пятнышко зловеще рдело в зените.

— Продолжайте, сэр,— тихо сказал он.

— Астрономы целые годы топтались на месте, и каждый предлагал теорию еще более несостоятельную, чем прежние, пока... пока Атон по какому-то наитию не обратился к Культю. Глава Культы, Сор 5, располагал сведениями, которые значительно упростили решение проблемы. Атон пошел по новому пути. А что, если существует еще одно, не светящееся планетное тело, подобное Лагашу? В таком случае оно, разумеется, будет сиять только отраженным светом, и если поверхность этого тела сложена из таких же голубоватых пород, как и большая часть поверхности Лагаша, то в красном небе вечное сияние солнц сделало бы его невидимым... как бы поглотило его.

Теремон присвистнул.

— Что за нелепая мысль!

— По-вашему, нелепая? Ну, так слушайте. Предположим, что это тело вращается вокруг Лагаша на таком расстоянии, по такой орбите и обладает такой массой, что его притяжение в точности объясняет отклонения орбиты Лагаша от теоретической... Вы знаете, что бы тогда случилось?

Журналист покачал головой.

— Время от времени это тело заслоняло бы собой какое-нибудь солнце,— сказал Ширин и залпом осушил бутылку.

— И наверно, так и происходит,— решительно сказал Теремон.

— Да! Но в плоскости его обращения лежит только одно солнце,— Ширин показал на маленькое солнце,— Бета! И было установлено, что затмение происходит, только когда из солнц над нашим полушарием остается лишь Бета, находящаяся при этом на максимальном расстоянии от Лагаша. А луна в этот момент находится от него на минимальном расстоянии. Видимый диаметр луны в семь раз превышает диаметр Беты, так что тень ее закрывает всю планету и затмение длится половину суток, причем на Лагаше не остается ни одного освещенного местечка. *И такое затмение случается*

*каждые две тысячи сорок девять лет!*

На лице Теремона не дрогнул ни один мускул.

— Это и есть материал для моей статьи?

Психолог кивнул.

— Да, тут все. Сначала затмение (оно начнется через три четверти часа) ... потом всеобщая Тьма и, быть может, пресловутые Звезды... потом безумие и конец цикла.

Ширин задумался и добавил угрюмо:

— У нас в распоряжении было только два месяца (я говорю о сотрудниках обсерватории) — слишком малый срок, чтобы доказать Лагашу, какая ему грозит опасность. Возможно, на это не хватило бы и двух столетий. Но в Убежище хранятся наши записи, и сегодня мы сфотографируем затмение. Следующий цикл с самого начала будет знать истину, и, когда наступит следующее затмение, человечество наконец будет готово к нему. Кстати, это тоже материал для вашей статьи.

Теремон открыл окно, и сквозняк всколыхнул шторы. Холодный ветер трепал волосы журналиста, а он смотрел на свою руку, освещенную багровым солнечным светом. Внезапно он обернулся и сказал возмущенно:

— Почему вдруг я должен обезуметь из-за этой Тьмы?

Ширин, улыбаясь какой-то своей мыслью, машинально вертел в руке пустую бутылку.

— Молодой человек, а вы когда-нибудь бывали во Тьме?

Журналист прислонился к стене и задумался.

— Нет. Пожалуй, нет. Но я знаю, что это такое. Это... — он неопределенно пошевелил пальцами, но потом нашелся: — Это просто когда нет света. Как в пещерах.

— А вы бывали в пещере?

— В пещере? Конечно, нет!

— Я так и думал. На прошлой неделе я попытался — чтобы проверить себя... Но попросту сбежал. Я шел, пока вход в пещеру не превратился в пятнышко света, а кругом все было черно. Мне и в голову не приходило, что человек моего веса способен бежать так быстро.

— Ну, если говорить честно, — презрительно кривя губы, сказал Теремон, — на вашем месте я вряд ли побегал бы.

Психолог, досадливо хмурясь, пристально посмотрел на журналиста.



— А вы хвастунишка, как я погляжу. Ну-ка, попробуйте задернуть шторы.

Теремон с недоумением посмотрел на него.

— Для чего? Будь в небе четыре или пять солнц, может быть, и стоило бы умерить свет, но сейчас и без того его мало.

— Вот именно. Задерните шторы, а потом идите сюда и сядьте.

— Ладно.

Теремон взялся за шнурок с кисточкой и дернул. Медные кольца просвистели по палке, красные шторы закрыли окно, и комнату сдавил красноватый полумрак.

В тишине глухо прозвучали шаги Теремона. Но на полпути к столу он остановился.

— Я вас не вижу, сэр,— прошептал он.

— Идите ощупью,— напряженным голосом посоветовал Ширин.

— Но я не вижу вас, сэр,— тяжело дыша, сказал журналист.— Я ничего не вижу.

— А чего же вы ожидали? — угрюмо спросил Ширин.— Идите сюда и садитесь!

Снова раздались медленные, неуверенные шаги. Слышно было, как Теремон ощупью ищет стул. Журналист сказал хрипло:

— Добрался. Я... все нормально.

— Вам это нравится?

— Н-нет. Это отвратительно. Словно стены...— Он замолк.— Словно стены сдвигаются. Мне все время хочется раздвинуть их. Но я не схожу с ума! Да и вообще это ощущение уже слабеет.

— Хорошо. Теперь отдерните шторы.

В темноте послышались осторожные шаги и шорох задетой материи. Теремон нащупал шнур, и раздалось победное з-з-з отдергиваемой портьеры. В комнату хлынул красный свет, и Теремон радостно вскрикнул, увидев солнце.

Ширин тыльной стороной руки отер пот со лба и дрожащим голосом сказал:

— А это была всего-навсего темнота в комнате.

— Вполне терпимо,— беспечно произнес Теремон.

— Да, в комнате. Но вы были два года назад на Выставке столетия в Джонглоре?

— Нет, как-то не собрался. Ехать за шесть тысяч

мил, даже ради того, чтобы посмотреть выставку, не стоит.

— Ну, а я там был. Вы, наверное, слышали про «Таинственный туннель», который затмил все аттракционы... во всяком случае, в первый месяц?

— Да. Если не ошибаюсь, с ним связан какой-то скандал.

— Не ошибаетесь, но дело замяли. Видите ли, этот «Таинственный туннель» был обыкновенным туннелем длиной в милю... но без освещения. Человек садился в открытый вагончик и пятнадцать минут ехал через Тьму. Пока это развлечение не запретили, оно было очень популярно.

— Популярно?

— Конечно. Людям нравится ощущение страха, если только это игра. Ребенок с самого рождения инстинктивно боится трех вещей: громкого шума, падения и отсутствия света. Вот почему считается, что напугать человека внезапным криком — это очень остроумная шутка. Вот почему так любят кататься на досках в океанском прибое. И вот почему «Таинственный туннель» приносил большие деньги. Люди выходили из Тьмы, трясаясь, задыхаясь, полумертвые от страха, но продолжали платить деньги, чтобы попасть в туннель.

— Погодите-ка, я, кажется, припоминаю. Несколько человек умерли, находясь в туннеле, верно? Об этом ходили слухи после того, как туннель был закрыт.

— Умерли двое-трое, — сказал психолог пренебрежительно. — Это пустяки! Владельцы туннеля выплатили компенсацию семьям умерших и убедили муниципалитет Джонглора не принимать случившееся во внимание: в конце концов, если людям со слабым сердцем вздумалось прокатиться по туннелю, то они сделали это на свой страх и риск, ну, а в будущем этого не повторится! В помещении кассы с тех пор находился врач, осматривавший каждого пассажира, перед тем как тот садился в вагончик. После этого билеты и вовсе расхватавались!

— Так какой же вывод?

— Видите ли, дело этим не исчерпывалось. Некоторые из побывавших в туннеле чувствовали себя прекрасно и только отказывались потом заходить в помещения — в любые помещения: во дворцы, особняки, жилые дома, сараи, хижины, шалаши и палатки.

Теремон воскликнул с некоторой безразличностью:  
— Вы хотите сказать, что они отказывались уходить с улицы? Где же они спали?

— На улице.

— Но их надо было заставить войти в дом.

— О, их заставляли! И у этих людей начиналась сильнейшая истерика, и они изо всех сил старались расколотить себе голову о ближайшую стену. В помещении их можно было удержать только с помощью смирительной рубашки и инъекции морфия.

— Просто какие-то сумасшедшие!

— Вот именно. Каждый десятый из тех, кто побывал в туннеле, выходил оттуда таким. Власти обратились к психологам, и мы сделали единственную возможную вещь. Мы закрыли аттракцион.

Ширин развел руками.

— А что же происходило с этими людьми? — спросил Теремон.

— Примерно то же, что с вами, когда вам казалось, будто в темноте на вас надвигаются стены. В психологии есть специальный термин, которым обозначают инстинктивный страх человека перед отсутствием света. Мы называем этот страх клаустрофобией, потому что отсутствие света всегда связано с закрытыми помещениями и бояться одного — значит бояться другого. Понимаете?

— И люди, побывавшие в туннеле?..

— И люди, побывавшие в туннеле, принадлежали к тем несчастным, чья психика не может противостоять клаустрофобии, которая овладевает ими во Тьме. Пятнадцать минут без света — это много; вы посидели без света всего две-три минуты и, если не ошибаюсь, успели утратить душевное равновесие. Эти люди заболели так называемой «устойчивой клаустрофобией». Их скрытый страх перед Тьмой и помещениями вырывался наружу, становился активным и, насколько мы можем судить, постоянным. Вот к чему могут привести пятнадцать минут в темноте.

Наступило долгое молчание. Теремон нахмурился.

— Я не верю, что дело обстоит так скверно.

— Вы хотите сказать, что не желаете верить, — отрезал Ширин. — Вы боитесь поверить. Поглядите в окно.

Теремон поглядел в окно, а психолог продолжал:

— Вообразите Тьму повсюду. И нигде не видно

света. Дома, деревья, поля, земля, небо — одна сплошная чернота и вдобавок еще, может быть, Звезды... какими бы они там ни были. Можете вы представить себе это?

— Да, могу, — сердито заявил Теремон.

Ширин с неожиданной горячностью стукнул кулаком по столу.

— Вы лжете! Представить себе этого вы не можете. Ваш мозг устроен так, что в нем не укладывается это понятие, как не укладывается понятие бесконечности или вечности. Вы можете только говорить об этом. Крохотная доля этого уже угнетает вас, и, когда оно придет по-настоящему, ваш мозг столкнется с таким явлением, которое не сможет осмыслить. И вы сойдете с ума, полностью и навсегда! Это несомненно!

И он грустно добавил:

— И еще два тысячелетия отчаянной борьбы окажутся напрасными. Завтра на всем Лагаше не останется ни одного неразрушенного города.

Теремон немного успокоился.

— Почему вы так считаете? Я все еще не понимаю, отчего я должен сойти с ума только потому, что на небе нет солнца. Но даже если бы это случилось со мной и со всеми, то каким образом от этого пострадали бы города? Мы будем их взрывать, что ли?

Но Ширин рассердился и вовсе не был склонен шутить.

— Находясь во Тьме, чего бы вы жаждали больше всего? Чего бы требовали ваши инстинкты? Света, черт вас побери, света!

— Ну?

— А как бы вы добыли свет?

— Не знаю, — признался Теремон.

— Каков единственный способ получить свет, если не считать солнца?

— Откуда мне знать?

Они стояли лицом к лицу.

— Вы бы что-нибудь сожгли, уважаемый! — сказал Ширин. — Вы когда-нибудь видели, как горит лес? Вы когда-нибудь отправлялись в далекие прогулки и варили обед на костре? А ведь горящее дерево дает не только жар. Оно дает свет, и люди знают это. А когда темно, им нужен свет, и они ищут его.

— И для этого жгут дерево?

— И для этого жгут все, что попадет под руку. Им нужен свет. Им надо что-то сжечь, и, если нет дерева, они жгут что попало. Свет во что бы то ни стало... и все населенные центры погибают в пламени!

Они смотрели друг на друга так, словно все дело было в том, чтобы доказать, чья воля сильнее, а затем Теремон молча опустил глаза. Он дышал хрипло, прерывисто и вряд ли заметил, что за закрытой дверью, ведущей в соседнюю комнату, раздался шум голосов.

— По-моему, это голос Йимота,— сказал Ширин, стараясь говорить спокойно.— Наверно, они с Фаро вернулись. Пойдемте узнаем, что их задержало.

— Хорошо,— пробормотал Теремон. Он глубоко вздохнул и как будто очнулся.

Напряжение рассеялось.

В соседней комнате было очень шумно. Ученые сгрудились возле двух молодых людей, которые снимали верхнюю одежду и одновременно пытались отвечать на град вопросов, сыпавшийся на них.

Атон протолкался к ним и сердито спросил:

— Вы понимаете, что осталось меньше получаса? Где вы были?

Фаро 24 сел и потер руки. Его щеки покраснели от холода.

— Йимот и я только что закончили небольшой сумасшедший эксперимент, который мы предприняли на свой страх и риск. Мы пытались создать устройство, имитирующее появление Тьмы и Звезд, чтобы заранее иметь представление, как все это выглядит.

Эти слова вызвали оживление вокруг, а во взгляде Атона вдруг появился интерес.

— Вы об этом раньше ничего не говорили. Ну, и что вы сделали?

— Мы с Йимотом обдумывали это уже давно,— сказал Фаро,— и готовили эксперимент в свободное время. Йимот присмотрел в городе одноэтажное низкое здание с куполообразной крышей... по-моему, там когда-то был музей. И вот мы купили этот дом...

— А где вы взяли деньги? — бесцеремонно перебил его Атон.

— Мы забрали из банка все свои сбережения,— буркнул Йимот 70.— У нас было около двух тысяч.— И добавил, оправдываясь: — Ну и что? Завтра наши две

тысячи превратились бы в пачку бесполезных бумажек.

— Конечно,— подтвердил Фаро.— Мы купили дом и затаили все внутри черным бархатом, чтобы создать наибольшую возможную Тьму. Потом мы проделали крохотные отверстия в потолке и крыше и прикрыли их металлическими заслонками, которые можно было сдвинуть одновременно, нажав кнопку. Вернее сказать, мы делали это не сами, а наняли плотника, электрика и других рабочих — денег мы не жалели. Важно было добиться того, чтобы свет, проникая через отверстия в крыше, создавал звездоподобный эффект.

Все слушали, затаив дыхание. Атон сказал сухо:

— Вы не имели права делать самостоятельные...

— Я знаю, сэр,— смущенно сказал Фаро,— но, откровенно говоря, мы с Йимотом думали, что эксперимент может оказаться опасным. Если бы эффект действительно сработал, то, по теории Ширина, мы должны были бы лишиться рассудка. Мы думали, что это весьма вероятно. И мы хотели взять на себя весь риск. Возможно, нам удалось бы,— конечно, в том случае, если бы мы сохранили рассудок,— выработать у себя иммунитет против того, что должно произойти — и тогда мы обезопасили бы этим способом всех вас. Но эксперимент вообще не получился...

— Но что же произошло?

На этот раз ответил Йимот.

— Мы заперлись там и дали своим глазам возможность привыкнуть к темноте. Это совершенно ужасное ощущение — в полной Тьме кажется, будто на тебя валются стены и потолок. Но мы преодолели это чувство и привели в действие механизм. Заслонки отодвинулись, и по всему потолку засверкали пятнышки света...

— Ну?

— Ну... и ничего. Вот что самое обидное. Ничего не произошло. Это была просто крыша с дырками, и только так мы ее и воспринимали. Мы проделывали опыт снова и снова... потому мы и задержались... но никакого эффекта не получилось.

Потрясенные услышанным, все молча повернулись к Ширину, который слушал с открытым ртом, словно окаменев.

Первым заговорил Теремон.

— Ширин, вы понимаете, какой удар это наносит вашей теории? — облегченно улыбаясь, сказал он.

Но Ширин нетерпеливо поднял руку.

— Нет, погодите. Дайте подумать.— Он щелкнул пальцами, поднял голову, и в его глазах уже не было выражения неуверенности или удивления.— Конечно...

Но он не договорил. Откуда-то сверху донесся звон разбитого стекла, и Бини, пробормотав: «Что за черт?», бросился вверх по лестнице.

Остальные последовали за ним.

Дальнейшее произошло очень быстро. Оказавшись в куполе, Бини с ужасом увидел разбитые фотографические пластинки и склонившегося над ними человека. В бешенстве бросившись на незваного гостя, он мертвой хваткой вцепился ему в горло. Они покатались по полу, но тут в купол вбежали остальные сотрудники обсерватории и незнакомец оказался буквально погребенным под десятком навалившихся на него разъяренных людей.

Последним в купол поднялся запыхавшийся Атон.

— Отпустите его! — сказал он.

Все неохотно подались назад, и незнакомца поставили на ноги. Он хрипло дышал, лоб у него был в синяках, а одежда порвана. Его рыжеватая борода была тщательно завита по обычаю хранителей Культа.

Бини схватил его за шиворот и с ожесточением потряс.

— Что ты задумал, мерзавец? Эти пластинки...

— Я пришел сюда не ради них,— холодно сказал хранитель Культа.— Это была случайность.

Бини увидел, куда направлен его злобный взгляд, и зарычал:

— Понятно. Тебя интересовали сами фотоаппараты. Твое счастье, что ты уронил пластинки. Если бы ты коснулся «Моментальной Берты» или какой-нибудь другой камеры, ты бы у меня умер медленной смертью. Ну, а теперь...

Он занес кулак, но Атон схватил его за рукав.

— Прекратите! Отпустите его! — приказал он.

Молодой инженер заколебался и нехотя опустил руку. Атон оттолкнул его и стал перед незванным гостем.

— Вас ведь зовут Латимер?

Хранитель Культа слегка поклонился и показал символ на своем бедре.

— Я Латимер 25, помощник третьего класса его святости Сора 5.

Седые брови Атона поползли вверх.

— И вы были здесь с его святостью, когда он посетил меня неделю назад?

Латимер снова поклонился.

— Так чего же вы хотите?

— Того, что вы мне не дадите добровольно.

— Наверно, вас послал Сор 5... Или это ваша собственная инициатива?

— На этот вопрос я отвечать не буду.

— Мы должны ждать еще посетителей?

— И на этот вопрос я не отвечаю.

Атон посмотрел на свои часы и нахмурился.

— Что вашему господину понадобилось от меня? Свои обязательства я выполнил.

Латимер едва заметно улыбнулся, но ничего не ответил.

— Я просил его,— сердито продолжал Атон,— сообщить мне сведения, которыми располагает только Культ, и эти сведения я получил. За это спасибо. В свою очередь я обещал доказать, что догма Кulta в существе своем истинна.

— Доказывать это нет нужды,— гордо возразил Латимер.— Книга откровений содержит все необходимые доказательства.

— Да. Для горстки верующих. Не делайте вид, что вы меня не понимаете. Я предложил обосновать ваши верования научно. И я это сделал!

Глаза хранителя Кulta злобно сузились.

— Да, вы сделали это... но с лисьим лукавством, ибо ваши объяснения, якобы подтверждая наши верования, в то же время устранили всякую необходимость в них. Вы превратили Тьму и Звезды в явления природы, и они лишились своего подлинного значения. Это кощунство!

— В таком случае это не моя вина. Существуют объективные факты. И мне остается только констатировать их.

— Ваши «факты» — заблуждение и обман.

Атон сердито топнул ногой.

— Откуда вы это знаете?

— Знаю! — последовал ответ, исполненный слепой веры.



Ректор побагровел, и Бини что-то настойчиво зашептал ему на ухо. Но Атон жестом потребовал, чтобы он замолчал.

— И чего же хочет от нас Сор 5? Наверно, он все еще думает, что, пытаясь уговорить мир принять меры против угрозы безумия, мы мешаем спасению бесчисленных душ. Если это так важно для него, то пусть знает, что нам это не удалось.

— Сама попытка уже принесла достаточный вред, и вашему нечестивому стремлению получить сведения с помощью этих дьявольских приборов необходимо воспрепятствовать. Мы выполняем волю Звезд, и я жалею только о том, что из-за собственной неуклюжести не успел разбить ваши проклятые приборы.

— Это вам дало бы очень мало,— возразил Атон.— Все собранные нами данные, кроме тех, которые мы получим сегодня путем непосредственного наблюдения, уже надежно спрятаны, и уничтожить их невозможно.— Он угрюмо улыбнулся.— Но это не меняет того факта, что вы проникли сюда как взломщик, как преступник! — Он обернулся к людям, стоявшим позади.— Вызовите кто-нибудь полицию из Саро.

— Черт возьми, Атон! — поморщившись, воскликнул Ширин.— Что с вами? У нас нет на это времени.— Он торопливо протолкался вперед.— Его я беру на себя.

Атон высокомерно посмотрел на психолога.

— Сейчас не время для ваших выходок, Ширин. Будьте так добры, не вмешивайтесь в мои распоряжения. Вы здесь совершенно посторонний человек, не забывайте.

Ширин выразительно скривил губы.

— С какой стати пытаться вызвать полицию сейчас, когда до затмения Беты остались считанные минуты, а этот молодой человек готов дать честное слово, что он не уйдет отсюда и будет вести себя тихо.

— Я не дам никакого слова,— немедленно заявил Латимер.— Делайте что хотите, но я откровенно предупреждаю вас, что как только у меня появится возможность, я сделаю то, ради чего я здесь. Если вы рассчитываете на мое честное слово, то лучше зовите полицию.

— Вы решительный малый,— дружелюбно улыбаясь, сказал Ширин.— Ладно, я вам кое-что разъясню. Ви-

дите молодого человека у окна? Он очень силен и умеет работать кулаками, а кроме того, он тут посторонний. Когда начнется затмение, ему нечего будет делать, кроме как присматривать за вами. К тому же я и сам... хоть я и толстоват для драки, но помочь ему сумею.

— Ну и что? — холодно спросил Латимер.

— Выслушайте меня и все узнаете, — ответил Ширин. — Как только начнется затмение, мы с Теремоном посадим вас в чуланчик без окон и с дверью, снабженной хорошим замком. И вы будете сидеть там, пока все не кончится.

— А потом, — тяжело дыша, сказал Латимер, — меня некому будет выпустить. Я не хуже вас знаю, что значит появление Звезд... я знаю это куда лучше вас! Все вы потеряете рассудок, и меня никто не освободит. Вы предлагаете мне смерть от удушья или голодную смерть. Чего еще можно ждать от ученых? Но слова своего я не дам. Это дело принципа, и говорить об этом я больше не намерен.

Атон, по-видимому, смутился. В его блеклых глазах была тревога.

— И в самом деле, Ширин, запирайте его...

Ширин замахал на него руками.

— Погодите! Я вовсе не думаю, что дело может пойти так далеко. Латимер попробовал — довольно ловко — обмануть нас, но я психолог не только потому, что мне нравится звучание этого слова. — Он улыбнулся хранителю Культа. — Неужели вы думаете, что я способен прибегнуть к столь примитивной угрозе, как голодная смерть? Дорогой Латимер, если я запру вас в чулане, то вы не увидите Тьмы, не увидите Звезд. Самого поверхностного знакомства с догмами Культа достаточно, чтобы понять, что, спрятав вас, когда появятся Звезды, мы лишим вашу душу бессмертия. Так вот, я считаю вас порядочным человеком. Я поверю вам, если вы дадите честное слово не предпринимать никаких попыток мешать нам.

На виске Латимера задергалась жилка, и он, как-то весь сжавшись, хрипло сказал:

— Даю! — И затем яростно добавил: — Но меня утешает то, что все вы будете прокляты за ваши сегодняшние дела.

Он резко повернулся и зашагал к высокому табурету у двери.

Ширин кивнул журналисту и сказал:

— Сядьте рядом с ним, Теремон... так, формально-сти ради. Эй, Теремон!

Но журналист не двигался с места. Он побелел как полотно.

— Смотрите.

Палец его, показывавший на небо, дрожал, а голос звучал сипло и надтреснуто.

Они поглядели в направлении вытянутого пальца и ахнули. Несколько секунд все не дыша смотрели на небо.

Край Беты исчез!

Клочок наползавшей на солнце черноты был шириной всего, пожалуй, с ноготь, но смотревшим на него людям он казался тенью Рока. Все стояли неподвижно лишь какое-то мгновение, потом началась суматоха. Она прекратилась еще быстрее и сменилась четкой лихорадочной работой: каждый занялся своим делом. В этот критический момент было не до личных чувств. Теперь это были ученые, поглощенные своей работой. Даже Атон уже не замечал, что происходит вокруг.

— Затмение началось, по-видимому, минут пятнадцать назад,— деловито сказал Ширин.— Немного рановато, но достаточно точно, если принять во внимание приближительность расчетов.

Он поглядел вокруг, подошел на цыпочках к Теремону, который по-прежнему смотрел в окно, и легонько потянул его за рукав.

— Атон разъярен,— прошептал он.— Держитесь от него подальше. Он проглядел начало из-за возни с Латимером. И, если вы подвернетесь ему под руку, он велит выбросить вас в окно.

Теремон кивнул и сел. Ширин посмотрел на него с удивлением.

— Черт возьми! — воскликнул он.— Вы дрожите.

— А? — Теремон облизал пересохшие губы и попытался улыбнуться.— Я действительно чувствую себя не очень хорошо.

Психолог прищурил глаза.

— Немножко струсили?

— Нет! — с негодованием крикнул Теремон.— Дайте мне прийти в себя. В глубине души я так и не верил в этот вздор... до последней минуты. Дайте мне время свыкнуться с этой мыслью. Вы же подготавливались

больше двух месяцев.

— Вы правы,— задумчиво сказал Ширин.— Послушайте! У вас есть семья — родители, жена, дети?

Теремон покачал головой.

— Вы, наверно, имеете в виду Убежище? Нет, не беспокойтесь. У меня есть сестра, но она живет в двух тысячах миль отсюда и я даже не знаю ее точного адреса.

— Ну, а вы сами? У вас еще есть время добраться туда. У них все равно освободилось одно место, поскольку я ушел. В конце концов, здесь вы не нужны, зато там можете очень пригодиться...

Теремон устало посмотрел на Ширина.

— Вы думаете, у меня дрожат коленки? Так слушайте же, вы! Я газетчик, и мне поручено написать статью. И я напишу ее.

Психолог едва заметно улыбнулся.

— Я вас понимаю. Профессиональная честь, не так ли?

— Можете называть это и так. Но я отдал бы сейчас правую руку за бутылку спиртного, пусть даже она будет наполовину меньше той, что вы вылакали. Никогда еще так не хотелось выпить...

Он внезапно умолк, так как Ширин подтолкнул его локтем.

— Вы слышите? Послушайте!

Теремон посмотрел туда, куда ему показал Ширин, и увидел хранителя Культа, который, забыв обо всем на свете, стоял лицом к окну и в экстазе что-то бормотал.

— Что он говорит? — прошептал журналист.

— Он цитирует Книгу откровений, пятую главу,— ответил Ширин и добавил сердито: — Молчите и слушайте!

«И случилось так, что солнце Бета в те дни все дольше и дольше оставалось в небе совсем одно, а потом пришло время, когда только оно, маленькое и холодное, светило над Лагашем.

И собирались люди на площадях и дорогах, и дивились люди тому, что видели, ибо дух их был омрачен. Сердца их были смущены, а речи бессвязны, зане души людей ожидали пришествия Звезд.

И в городе Тригоне, в самый полдень, вышел Вендрет 2, и сказал он людям Тригона: «Внемлите, грешники! Вы презираете пути праведные, но пришла пора расплаты. Уже грядет Пещера, дабы поглотить Лагаш и все, что на нем!»

Он еще не сказал слов своих, а Тьма Пещеры уже заслонила край Беты и скрыла его от Лагаша. Громко кричали люди, когда исчезал свет, и велик был страх, овладевший их душами.

И случилось так, что Тьма Пещеры пала на Лагаш, и не было света на всем Лагаше. И люди стали как слепые, и никто не видел соседа, хотя и чувствовал его дыхание на лице своем.

И в этот миг души отделились от людей, а их покинутые тела стали как звери, да, как звери лесные; и с криками рыскали они по темным улицам городов Лагаша.

А со Звезд пал Небесный Огонь, и где он коснулся Лагаша, там обращались в пепел города его, и ни от человека, ни от дел его не осталось ничего.

И в час тот...»

Что-то изменилось в голосе Латимера. Он продолжал неотрывно смотреть в окно и все же почувствовал, с каким вниманием его слушают Ширин и Теремон. Легко, не переводя дыхания, он чуть изменил тембр голоса, и его речь стала более напевной.

Теремон даже вздрогнул от удивления. Слова казались почти знакомыми. Однако акцент неуловимо изменился, сместились ударения — ничего больше, но понять Латимера было уже нельзя.

— Он перешел на язык какого-то древнего цикла,— хитро улыбнувшись, сказал Ширин,— может быть, на язык их легендарного второго цикла. Именно на этом языке, как вы знаете, была первоначально написана Книга откровений.

— Это все равно, с меня достаточно.— Теремон отодвинул свой стул и пригладил волосы пальцами, которые уже не дрожали.— Теперь я чувствую себя гораздо лучше.

— Неужели? — немного удивленно спросил Ширин.

— Несомненно. Хотя несколько минут назад и перепугался. Все эти ваши рассказы о тяготении, а потом

начало затмения чуть было совсем не выбили меня из колеи. Но это...— Он презрительно ткнул пальцем в сторону рыжебородого хранителя Культа,— это я слышал еще от няньки. Я всю жизнь посмеивался над этими сказками. Пугаться их я не собираюсь и теперь.

Он глубоко вздохнул и добавил с нервной усмешкой:

— Но чтобы опять не потерять присутствия духа, я лучше отвернусь от окна.

— Прекрасно,— сказал Ширин.— Только лучше говорите потише. Атон только что оторвался от своего прибора и бросил на вас убийственный взгляд.

— Я забыл про старика,— с гримасой сказал Теремон.

Он осторожно переставил стул, сел спиной к окну и, с отвращением посмотрев через плечо, добавил:

— Мне пришло в голову, что очень многие должны быть невосприимчивы к этому звездному безумию.

Психолог ответил не сразу. Бета уже прошла зенит, и кроваво-красное квадратное пятно, повторявшее на полу очертания окна, переползло теперь на колени Ширин. Он задумчиво поглядел на этот тусклый багрянец, потом нагнулся и взглянул на само солнце.

Чернота уже поглотила треть Беты. Ширин содрогнулся, и, когда он снова выпрямился, его румяные щеки заметно побледнели.

Со смущенной улыбкой он тоже сел спиной к окну.

— Сейчас в Саро, наверно, не менее двух миллионов людей возвращаются в лоно Культа, который переживает теперь свое великое возрождение,— заметил Ширин.— Культу предстоит целый час небывалого расцвета,— добавил он иронически.— Думаю, что его хранители извлекают из этого срока все возможное. Простите, вы сейчас что-то сказали?

— Вот что: каким образом хранители Культа умудрялись передавать Книгу откровений из цикла в цикл и каким образом она была вообще написана? Значит, существует какой-то иммунитет — если все сходили с ума, то кто же все-таки писал эту книгу?

Ширин грустно посмотрел на Теремона.

— Ну, молодой человек, очевидцев, которые могли бы ответить на этот вопрос, не существует, но мы довольно точно представляем себе, что происходило. Видите ли, имеются три группы людей — они пострадают по сравнению с другими не так сильно. Во-первых, это

те немногие, которые вообще не увидят Звезд; к ним относятся слепые и те, кто напьется до потери сознания в начале затмения и протрезвится, когда все уже кончится. Этих мы считать не будем, так как, в сущности, они не очевидцы. Затем дети до шести лет, для которых весь мир еще слишком нов и неведом, чтобы они испугались Звезд и Тьмы. Они просто познакомятся с еще одним явлением и без того удивительного мира. Согласны?

Теремон неуверенно кивнул.

— Пожалуй.

— И, наконец, тугодумы, слишком тупые, чтобы лишиться своего неразвитого рассудка... например, старые, замученные работой крестьяне. Ну, у детей остаются только отрывочные воспоминания, и вкупе с путаной, бессвязной болтовней полусумасшедших тупиц они-то и легли в основу Книги откровений. Естественно, первый вариант книги был основан на свидетельствах людей, меньше всего годившихся в историки, то есть детей и полуидиотов; но потом ее, наверно, тщательно редактировали и исправляли в течение многих циклов.

— Вы думаете,— сказал Теремон,— они пронесли книгу через циклы тем же способом, которым мы собираемся передать следующему циклу секрет тяготения?

Ширин пожал плечами.

— Возможно. Не все ли равно, как они это делают. Как-то умудряются. Я хочу только сказать, что эта книга полна всяческих искажений, хотя в основу ее и легли действительные факты. Например, вы помните эксперимент Фаро и Йимота с дырками в крыше, который не удался?..

— Да.

— А вы знаете, почему он не...

Он замолчал и в тревоге поднялся со стула: к ним подошел Атон. На его лице застыл ужас.

— Что случилось? — почти крикнул Ширин.

Атон взял Ширину под локоть и отвел в сторону. Психолог чувствовал, как дрожат пальцы Атона.

— Говорите тише! — хрипло прошептал Атон.— Я только что получил известие из Убежища.

— У них что-нибудь неладно? — испуганно спросил Ширин.

— Не у них,— сказал Атон, сделав ударение на местоимении.— Они только что заперлись и выйдут на-

ружу только послезавтра. Им ничто не грозит. Но город, Ширин... в городе кровавый хаос. Вы не представляете себе...

Он говорил с трудом.

— Ну? — нетерпеливо перебил его Ширин.— Ну и что? Будет еще хуже. Почему вы так дрожите? — И, подозрительно посмотрев на Атона, он добавил: — А как вы себя чувствуете?

При этом намеке в глазах Атона мелькнул гнев, но тут же вновь сменился мучительной тревогой.

— Вы не понимаете. Хранители Культа не дремлют. Они призывают людей напасть на обсерваторию, обещая им немедленное отпущение грехов, обещая спасение души, обещая все, что угодно. Что нам делать, Ширин?

Ширин опустил голову и отсутствующим взглядом долго смотрел на носки своих башмаков. Задумчиво постучав пальцем по подбородку, он наконец поднял глаза и сказал решительно:

— Что делать? А что вообще можно сделать? Ничего! Наши знают об этом?

— Конечно, нет!

— Хорошо! И не говорите им. Сколько времени осталось до полного затмения?

— Меньше часа.

— Нам остается только рискнуть. Чтобы организовать действительно опасную толпу, понадобится время, и сюда они не скоро дойдут. До города добрых миль пять...

Он посмотрел в окно на поля, спускавшиеся по склонам холмов к белым домам пригорода, на столицу, которая в тусклых лучах Беты казалась туманным пятном на горизонте.

— Понадобится время,— повторил он, не оборачиваясь.— Продолжайте работать и молитесь, чтобы полное затмение опередило толпу.

Теперь Бета была разрезана пополам и выгнутая граница черноты вторгалась на вторую, еще светлую половину. Словно гигантское веко наискосок смыкалось над источником вселенского света.

Психолог уже не слышал приглушенных звуков кипящей вокруг работы и ощущал только мертвую тишину, опустившуюся на поля за окном. Даже насекомые испуганно замолчали, и все вокруг потускнело.



Над ухом Ширина раздался чей-то голос. Он вздрогнул.

— Что-нибудь случилось? — спросил Теремон.

— Что? Нет. Садитесь. Мы мешаем работать.

Они вернулись в свой угол, но психолог некоторое время молчал. Он пальцем оттянул воротник и повертел головой, но легче от этого не стало. Вдруг он взглянул на Теремона.

— А вам не трудно дышать?

Журналист широко открыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов.

— Нет. А что?

— Наверно, я слишком долго смотрел в окно. И на меня подействовал полумрак. Затруднение дыхания — один из первых симптомов приступа клаустрофобии.

Теремон сделал еще один глубокий вдох.

— Ну, на меня он еще не подействовал. Смотрите, кто-то идет.

Между ними и окном, заслоня тусклый свет, встал Бини, и Ширин испуганно взглянул на него.

— А, Бини!

Астроном переступил с ноги на ногу и слабо улыбнулся.

— Вы не будете возражать, если я немного посижу тут с вами? Мои камеры подготовлены, и до полного затмения мне делать нечего.

Он замолчал и посмотрел на Латимера, который минут за пятнадцать перед тем достал из рукава маленькую книгу в кожаном переплете и углубился в чтение.

— Этот мерзавец вел себя тихо?

Ширин кивнул. Расправив плечи и напряженно хмурясь, он заставлял себя ровно дышать.

— Бини, а вам не трудно дышать? — спросил он.

Бини в свою очередь глубоко вздохнул.

— Мне не кажется, что здесь душно.

— У меня начинается клаустрофобия, — виновато объяснил Ширин.

— А-а-а! Со мной дело обстоит по-другому. У меня такое ощущение, будто что-то случилось с глазами. Все кажется таким неясным и расплывчатым... И холодно.

— Да, сейчас действительно холодно. Уж это-то не иллюзия, — поморщившись, сказал Теремон. — У меня так замерзли ноги, будто их только что доставили сюда в вагоне-холодильнике.

— Нам необходимо,— вмешался Ширин,— говорить о чем-нибудь нейтральном. Я же объяснил вам, Теремон, почему эксперимент Фаро с дырками в крыше окончился неудачей...

— Вы только начали,— откликнулся Теремон. Обняв руками колено, он уперся в него подбородком.

— Ну, так вот: они слишком уж буквально толковали Книгу откровений. Вероятно, вовсе не следует считать Звезды физическим феноменом. Дело в том, что полная Тьма, возможно, заставляет мозг, так сказать, творить свет. Наверно, Звезды и есть эта иллюзия света.

— Другими словами,— добавил Теремон,— Звезды, по вашему мнению, результат безумия, а не его причина? Зачем же тогда Бини фотографировать небо?

— Хотя бы для того, чтобы доказать, что Звезды — это иллюзия. Или чтобы доказать обратное — я ведь ничего не утверждаю наверняка. Или, наконец...

Но его перебил Бини, подвинувший свой стул поближе:

— Я рад, что вы заговорили об этом,— оживленно сказал он, сощурился и подняв вверх палец.— Я думал об этих Звездах и пришел к довольно любопытным выводам. Конечно, все это построено на песке, но кое-что интересное, как мне кажется, в этом есть... Хотите послушать?

Бини, видимо, тут же пожалел о сказанном, но Ширин, откинувшись на спинку стула, попросил:

— Говорите. Я слушаю.

— Так вот: предположим, что во Вселенной есть другие солнца,— смущенно произнес Бини.— То есть такие солнца, которые находятся слишком далеко от нас и потому почти не видны. Наверно, вам кажется, что я начитался научной фантастики...

— Почему же? Но разве подобная возможность не опровергается тем фактом, что по закону тяготения об их существовании должно было бы свидетельствовать их притяжение?

— Оно не скажется, если эти солнца достаточно далеко,— ответил Бини,— хотя бы на расстоянии четырех световых лет от нас или еще дальше. Мы не можем заметить такие возмущения, потому что они слишком малы. Предположим, что на таком расстоянии от нас имеется много солнц... десяток или даже два...

Теремон переливчато присвистнул.

— Какую статью можно было бы соорудить из этого для воскресного приложения! Два десятка солнц во Вселенной на расстоянии восьми световых лет друг от друга. Конфетка! Таким образом, наша Вселенная превращается в пылинку! Читатели будут в восторге.

— Это ведь только предположение,— улыбнулся Бини,— а вывод из него такой: во время затмения эти два десятка солнц стали бы видимы, исчез бы солнечный свет, в блеске которого они тонут. Поскольку они очень далеко, то будут казаться маленькими, как камешки. Конечно, хранители Культа говорят о миллионах Звезд, но это явное преувеличение. Миллион Звезд просто не уместится во Вселенной — они касались бы друг друга!

Ширин слушал Бини со все возрастающим интересом.

— В этом что-то есть, Бини. Преувеличение... именно это и случается. Наш мозг, как вы, очевидно, знаете, не способен сразу осознать точное число предметов, если их больше пяти; для большего числа у нас существует понятие «много». А десяток таким же образом превращается в миллион. Чертовски интересная мысль!

— Мне пришло в голову еще одно любопытное соображение,— продолжал Бини.— Вы когда-нибудь задумывались над тем, как упростилась бы проблема тяготения, если бы мы имели дело с относительно несложной системой? Представьте себе Вселенную, в которой у планеты только одно солнце. Планета обращалась бы по правильной эллиптической орбите, и точная природа силы тяготения была бы очевидной и без доказательств. Астрономы такого мира открыли бы тяготение, пожалуй, даже прежде, чем изобрели бы телескоп. Оказалось бы достаточным простое наблюдение невооруженным глазом.

— Но была бы такая система динамически стабильна? — усомнился Ширин.

— Конечно! Это так называемый «случай двух тел». Математически это было исследовано, но меня интересует философская сторона вопроса.

— Как приятно оперировать такими изящными абстракциями,— признал Ширин,— вроде идеального газа или абсолютного нуля.

— Разумеется, — продолжал Бини,— беда в том, что жизнь на такой планете была бы невозможна. Она не получала бы достаточно тепла и света, и, если бы она вращалась, на ней была бы полная тьма половину каж-

дых суток, так что жизнь, первым условием существования которой является свет, не могла бы там развиваться.

— Атон принес светильники,— перебил его Ширин, вскочив так резко, что стул упал.

Бини осекся. Обернувшись, он улыбнулся с таким облегчением, что рот его растянулся до ушей.

В руках Атона был десяток стержней длиной с фут и толщиной с дюйм. Он свирепо взглянул поверх стержней на собравшихся вокруг сотрудников обсерватории.

— Немедленно возвращайтесь на свои места! Ширин, идите сюда, помогите мне!

Ширин подбежал к старику, и в полной тишине они принялись вставлять стержни в самодельные металлические держатели, висевшие на стенах.

С таким видом, словно он приступал к свершению главного таинства какого-нибудь священного ритуала, Ширин чиркнул большой неуклюжей спичкой и, когда она, брызгая искрами, загорелась, передал ее Атону, который поднес пламя к верхнему концу одного из стержней.

Пламя сначала тщетно лизало конец стержня, но затем неожиданная желтая вспышка ярко осветила сосредоточенное лицо Атона. Он отвел спичку в сторону, и в комнате раздался такой восторженный вопль, что зазвенели стекла.

Над стержнем поднимался шестидюймовый колеблющийся язычок пламени! Один за другим были зажжены остальные стержни, и шесть огней залили желтым светом даже дальние углы комнаты.

Свет был тусклый, уступавший даже лучам потемневшего солнца. Пламя металось, рождая пьяные, раскачивающиеся тени. Факелы отчаянно чадили, и в комнате пахло, словно на кухне в неудачный для хозяйки день. Но они давали желтый свет.

Желтый свет показался особенно приятным после того, как в небе уже четыре часа тускнела угрюмая Бета. Даже Латимер оторвался от книги и с удивлением смотрел на светильник.

Ширин грел руки у ближайшего огонька, не обращая внимания на то, что кожу уже покрывал сероватый слой копоти.

— Прелестно! Прелестно! Никогда не думал, что желтый цвет так красив,— бормотал он в восторге.

Но Теремон глядел на факелы с подозрением. Морщась от едкой вони, он спросил:

- Что за штуки?
- Дерево, — коротко ответил Ширин.
- Ну, нет. Они же не горят. Обуглился только конец, а пламя продолжает вырываться из ничего.
- В этом-то вся и прелесть. Это очень эффективный механизм для получения искусственного света. Мы изготовили их несколько сотен, но большая часть, конечно, отнесена в Убежище.— Тут Ширин повернулся и вытер платком почерневшие руки.— Принцип такой: берется губчатая сердцевина тростника, высушивается и пропитывается животным жиром. Потом она зажигается, и жир понемногу горит. Эти факелы будут гореть безостановочно почти полчаса. Остроумно, не правда ли? Это изобретение одного из молодых ученых Саросского университета.

Вскоре оживление в куполе угасло. Латимер поставил свой стул прямо под факелом и, шевеля губами, продолжал монотонно читать молитвы, обращенные к Звездам. Бини опять отошел к своим камерам, а Теремон воспользовался возможностью пополнить свои заметки для статьи, которую он собирался на другой день написать для «Хроники». Последние два часа он занимался этим аккуратно, старательно и, как он хорошо понимал, бесцельно.

Однако (это, видимо, заметил и Ширин, поглядывавший на него с усмешкой) это занятие помогало ему не думать о том, что небосвод постепенно приобретает отвратительный красновато-лиловый оттенок свежеччищенной свеклы, — и таким образом оправдывало себя.

Воздух, казалось, стал плотнее. Сумрак, как осязаемая материя, вползал в комнату, и танцующий круг желтого света все резче выделялся среди сгущающейся мглы. Пахло дымом, потрескивали факелы; кто-то осторожно, на цыпочках обошел стол, за которым работали; время от времени кто-нибудь сдержанно вздыхал, стараясь сохранять спокойствие в мире, уходящем в тень.

Первым услышал шум Теремон. Он даже не услышал, а смутно почувствовал какие-то звуки, которых никто не заметил бы, если бы в куполе не стояла мертвая тишина.

Журналист выпрямился и спрятал записную книжку.

Затаив дыхание, он прислушался, а потом, пробравшись между солароскопом и одной из камер Бини, нехотя подошел к окну.

Тишину расколол его внезапный крик:

— Ширин!

Все бросили работу. В одну секунду психолог очутился рядом с журналистом. Затем к ним подошел Атон. Даже Йимот 70, который примостился на маленьком сиденье высоко в воздухе, возле окуляра громадного солароскопа, опустил голову и поглядел вниз.

От Беты остался только тлеющий осколок, бросавший последний отчаянный взгляд на Лагаш. Горизонт на востоке, где находился город, был поглощен Тьмой, а дорога от Саро к обсерватории стала тускло-красной полоской, по обе стороны которой тянулись рощицы. Отдельных деревьев уже нельзя было различить, они слились в сплошную темную массу.

Но именно дорога приковала к себе внимание всех, потому что на ней грозно кипела другая темная масса.

— Сумасшедшие из города! Они уже близко! — крикнул прерывающимся голосом Атон.

— Сколько осталось до полного затмения? — спросил Ширин.

— Пятнадцать минут, но... но они будут здесь через пять.

— Неважно. Проследите, чтобы все продолжали работать. Мы их не пустим. У этого здания стены, как у крепости. Атон, на всякий случай не спускайте глаз с нашего незваного гостя. Теремон, идемте со мной.

Теремон выбежал из комнаты вслед за Шириним. Лестница крутой спиралью уходила вниз, в сырой и жуткий сумрак.

Не задерживаясь ни на секунду, они по инерции успели еще спуститься ступенек на сто, но тусклый, дрожащий желтый свет, падавший из двери купола исчез и со всех сторон сомкнулась густая зловещая тень.

Ширин остановился и схватился пухлой рукой за грудь. Глаза его выкатились, а голос напоминал сухой кашель:

— Я не могу... дышать... ступайте вниз... один. Заприте все двери...

Теремон спустился на несколько ступенек и обернулся.

— Погодите! Вы можете продержаться минуту? — крикнул он.

Он и сам задышался. Воздух набирался в легкие очень медленно и был густ, словно патока, а при мысли, что надо одному спуститься в таинственную Тьму, он ощутил панический страх.

Значит, все-таки темнота внушала ужас и ему.

— Стойте здесь, — сказал он. — Я сейчас вернусь.

Перескакивая через ступеньки, он помчался наверх. У него бешено колотилось сердце — и не только от физических усилий. Он ворвался в купол и выхватил из подставки факел. Факел вонял, дым слепил глаза, но Теремон, радостно сжимая его в руке, уже мчался вниз по лестнице.

Когда Теремон склонился над Ширином, тот открыл глаза и застонал. Теремон сильно встряхнул его.

— Ну, возьмите себя в руки! У нас есть свет!

Он поднял факел как можно выше и, поддерживая спотыкающегося психолога под локоть, направился вниз, стараясь держаться в середине спасительного кружка света.

В кабинеты на первом этаже еще проникал тусклый свет с улицы, и Теремону стало легче.

— Держите, — грубо сказал он и сунул факел Шири-ну. — Слышите их?

Они прислушались. До них донеслись бессвязные, риплые вопли.

Ширин был прав: обсерватория напоминала крепость. Воздвигнутое в прошлом веке, когда безобразный неогавотский стиль достиг наивысшего расцвета, здание ее отличалось не красотой, а прочностью и солидностью постройки.

Окна были защищены железными решетками из толстых прутьев, глубоко утопленных в бетонную облицовку. Каменные стены были такой толщины, что их не могло бы сокрушить даже землетрясение, а парадная дверь представляла собой массивную дубовую доску, обитую железом. Теремон задвинул засовы.

В другом конце коридора тихо ругался Ширин. Он показал на дверь черного хода, замок которой был аккуратно выломан.

— Вот каким образом Латимер проник сюда, — сказал он.

— Ну, так не стойте столбом! — нетерпеливо крик-

нул Теремон.— Помогите мне тащить мебель... И уберите факел от моих глаз. Этот дым меня задушит.

Говоря это, журналист с грохотом волок к двери тяжелый стол; за две минуты он соорудил баррикаду, которой не хватало красоты и симметрии, что, однако, с избытком компенсировалось ее массивностью.

Откуда-то издалека донесся глухой стук кулаков по парадной двери; слышались вопли, но все это было как в полусне.

Толпой, которая бросилась сюда из Саро, руководили только стремление разрушить обсерваторию, чтобы обрести обещанное Культот спасение души, и безумный страх, лишавший ее рассудка. Не было времени подумать о машинах, оружии, руководстве и даже организации. Люди бросились к обсерватории пешком и пытались разбить дверь голыми руками.

Когда они достигли обсерватории, Бета сократилась до последней рубиново-красной капли пламени, слабо мерцавшей над человечеством, которому оставался только всеобъемлющий страх...

— Вернемся в купол! — простонал Теремон.

В куполе только один Йимот продолжал сидеть на своем месте, у солароскопа. Все остальные сгрудились у фотоаппаратов. Хриплым, напряженным голосом Бини давал последние указания.

— Пусть каждый уяснит себе... Я снимаю Бету в момент наступления полного затмения и меняю пластинку. Каждому из вас поручается одна камера. Вы все знаете время выдержки...

Остальные шепотом подтвердили это.

Бини провел ладонью по глазм.

— Факелы еще горят? Хотя... я и сам вижу.

Он крепко прижался к спинке стула.

— Запомните, не... не старайтесь получить хорошие снимки. Не тратьте времени, пытаюсь снять одновременно две звезды. Одной достаточно. И... и если кто-нибудь почувствует, что с ним началось *это*, пусть немедленно отойдет от камеры!

— Отведите меня к Атону. Я не вижу его,— шепнул Теремону Ширин.

Журналист откликнулся не сразу. Он уже не видел людей, а только расплывчатые смутные тени: желтые



пятна факелов над головой почти не давали света.

— Темно,— пожаловался он.

Ширин вытянул вперед руку и сказал:

— Атон.

Он неуверенно шагнул вперед.

— Атон!

Теремон взял его за локоть.

— Погодите, я отведу вас.

Кое-как ему удалось пересечь комнату. Он зажмурил глаза, отказываясь видеть Тьму, отказываясь верить, что им овладевает смятение. Никто не услышал их шагов, не обратил на них никакого внимания. Ширин наткнулся на стену.

— Атон!

Психолог почувствовал, как его коснулись дрожащие руки, и услышал шепот:

— Это вы, Ширин?

— Атон! — сказал Ширин, стараясь дышать ровно.— Не бойтесь толпы. Она сюда не ворвется.

Латимер, хранитель Культа, встал — его лицо искажала гримаса отчаяния. Он дал слово, и нарушить его значило подвергнуть свою душу смертельной опасности. Но ведь слово вырвали у него силой, он не давал его добровольно. Вскоре появятся Звезды; он не может стоять в стороне и позволить... И все же... слово было дано.

Лицо Бини, подставленное под последний луч Беты, казалось темно-багровым, и Латимер, увидев, как он склонился над фотоаппаратом, принял решение. От волнения ногти его впились в мякоть ладони.

Шатаясь из стороны в сторону, он бросился вперед. Перед ним не было ничего, кроме теней; даже сам пол под ногами, казалось; перестал быть материальным. А затем кто-то набросился на него, повалил и вцепился ему в горло.

Латимер согнул ногу и изо всех сил ударил противника коленом.

— Пустите меня или я убью вас!

Теремон вскрикнул, затем, преодолевая волны мучительной боли, пробормотал:

— Ах, ты, подлая крыса!

Его сознание, казалось, воспринимало все сразу. Он

услышал, как Бини прохрипел: «Есть! К камерам, все!», и тут же каким-то образом осознал, что последний луч солнечного света истончился и исчез.

Одновременно он услышал, как перехватило дыхание у Бини, как странно вскрикнул Ширин, как оборвался чей-то истерический смешок... и как снаружи наступила тишина, странная, мертвая тишина.

Теремон почувствовал, что разжимает руки, но и тело Латимера вдруг обмякло и расслабилось. Заглянув в глаза хранителя Культа, он увидел в них остекленевшую пустоту, в которой отражались желтые кружочки факелов. Он увидел, что на губах Латимера пузырится пена, услышал тихое звериное повизгивание.

Оцепенев от страха, он медленно приподнялся на одной руке и посмотрел на ледящую кровь черноту в окне.

За окном сияли Звезды!

И не каких-нибудь жалких три тысячи шестьсот слабеньких звезд, видных невооруженным глазом с Земли. Лагаш находился в центре гигантского звездного роя. Тридцать тысяч ярких солнц сияли с потрясающим душу великолепием, еще более холодным и устрашающим в своем жутком равнодушии, чем жестокий ветер, пронизывавший холодный, уродливо сумрачный мир.

Теремон, шатаясь, вскочил на ноги; горло его сдавило так, что невозможно было дышать; от невыносимого ужаса все мускулы тела свело судорогой. Он терял рассудок и знал это, а последние проблески сознания еще мучительно сопротивлялись, тщетно пытаясь противостоять волнам черного ужаса. Было очень страшно сходить с ума и знать, что сходишь с ума... знать, что через какую-то минуту твое тело будет по-прежнему живым, но ты сам, настоящий ты, исчезнешь навсегда, погрузишься в черную пучину безумия. Ибо это был Мрак... Мрак, Холод и Смерть. Светлые стены Вселенной рухнули, и их страшные черные обломки падали, чтобы раздавить и уничтожить его.

Теремон споткнулся о какого-то человека, ползущего на четвереньках, и едва не упал. Прижимая руки к сведенному судорогой горлу, Теремон заковылял к пламени факелов, заслонившему от его безумных глаз весь остальной мир.

— Свет! — кричал Теремон.

Где-то, как испуганный ребенок, захлебывался плачем Атон.

— Звезды... все Звезды... мы ничего не знали. Мы совсем ничего не знали. Мы думали шесть звезд это Вселенная что-то значит для Звезд ничего Тьма во веки веков и стены рушатся а мы не знали что мы не могли знать и все...

Кто-то попытался схватить факел — он упал и погас. И сразу же страшное великолепие равнодушных Звезд совсем надвинулось на людей.

А за окном на горизонте, там, где был город Саро, поднималось, становясь все ярче, багровое зарево, но это не был свет восходящего Солнца.

Снова пришла долгая ночь.

## МЕСТО, ГДЕ МНОГО ВОДЫ

**М**ы никогда не побываем в далеком космосе. Мало того, на нашей планете никогда не побывают обитатели иных миров — то есть больше никогда.

Собственно говоря, космические полеты вполне возможны, а обитатели иных миров уже побывали на Земле. Я это знаю точно. Космические корабли, несомненно, бороздят пространство между миллионами миров, но наших среди них никогда не будет. Это я тоже знаю точно. И все из-за одного нелепого недоразумения.

Сейчас я объясню подробнее.

В этом недоразумении виноват Барт Камерон, и, следовательно, вам надо узнать, что за человек Барт Камерон. Он шериф Твин Галча, штат Айдахо, а я его помощник. Барт Камерон — человек раздражительный, и особенно легко он раздражается, когда ему приходится подсчитывать свой подоходный налог. Видите ли, кроме того, что он шериф, он еще держит лавку, является совладельцем овцеводческого ранчо, получает пенсию как инвалид войны (у него повреждено колено) и имеет еще кое-какие доходы. Ну, и, конечно, ему нелегко подсчитать, сколько с него причитается налога.

Все бы ничего, если бы только он позволил налоговому инспектору помочь ему в этих подсчетах. Но Барт желает делать все сам, а в результате становится совсем невменяемым. Когда подходит 14 апреля, лучше держаться от него подальше.

И надо же было этому летающему блюдцу приземлиться здесь именно 14 апреля 1956 года!

Я видел, как оно приземлилось. Я сидел в кабинете

шерифа, откинувшись со стулом к стене, и глядел на звезды за окном; читать журнал мне было лень, и я взвешивал, что делать дальше: завалиться ли спать или остаться тут и слушать, как Камерон непрестанно ругается, в сто двадцать седьмой раз проверяя длинные столбики цифр.

Сначала блюдце показалось мне падающей звездой. Потом светящаяся полоска расширилась, раздвоилась и превратилась в нечто вроде вспышек ракетного двигателя. Блюдце приземлилось уверенно и совсем бесшумно. Даже сухой лист, падая, зашуршал бы громче. Из блюдца вышли двое.

Я лишился дара речи и окаменел. Я был не в силах произнести ни слова — даже пальцем пошевелить не мог. Не мог даже моргнуть. Я просто продолжал сидеть, как сидел.

А Камерон? Он и глаз не поднял.

Раздался стук в незапертую дверь. Она отворилась, и вошли двое с летающего блюдца. Если бы я не видел, как оно приземлилось среди кустов, я принял бы их за приезжих из большого города: темно-серые костюмы, белые рубашки и палевые галстуки, а ботинки и шляпы черные. Сами они были смуглые, с черными кудрявыми волосами и карими глазами. Вид у них был очень серьезный, а ростом каждый был в пять футов десять дюймов! Они казались похожими как две капли воды.

Черт, как я перепугался!

А Камерон только покосился на дверь, когда она отворилась, и нахмурился. В другое время он, наверное, хохотал бы до упаду, увидев такие костюмы в Твин Галче, но теперь он был так поглощен своим подоходным налогом, что даже не улыбнулся.

— Чем могу быть вам полезен, ребята? — спросил он, похлопывая рукой по бумагам, чтобы показать, как он занят.

Один из гостей выступил вперед и сказал:

— В течение долгого времени мы наблюдали за вашими сородичами.

Он старательно отчеканивал каждое слово.

— Моими сородичами? — спросил Камерон. — Нас же только двое — я и жена. Что она такое натворила?

Тот продолжал:

— Мы выбрали для первого контакта это место потому, что оно достаточно уединенное и спокойное. Мы

знаем, что вы — здешний руководитель.

— Я шериф, если вы это имеете в виду, так что валяйте. В чем дело?

— Мы тщательно скопировали то, как вы одеваетесь, и даже вашу внешность.

— Значит, по-вашему, я одеваюсь вот так? — Камерон только сейчас заметил, какие на них костюмы.

— Мы хотим сказать — то, как одевается ваш господствующий общественный класс. Кроме того, мы изучили ваш язык.

Было видно, что Камерона наконец осенило.

— Так вы, значит, иностранцы? — сказал он.

Камерон недолюбливал иностранцев, так как встречался с ними преимущественно пока служил в армии, но он всегда старался быть беспристрастным.

Человек с летающего блюдца сказал:

— Иностранцы? О да. Мы из того места, где много воды, — по-вашему, мы венерианцы.

(Я едва собрался с духом, чтобы моргнуть, но тут снова оцепенел. Я же видел летающее блюдце. Я видел, как оно приземлилось. Я не мог этому не поверить! Эти люди — или эти существа — прилетели с Венеры!)

Но Камерон и бровью не повел. Он сказал:

— Ладно. Вы — в Соединенных Штатах Америки. Здесь у всех нас равные права независимо от расы, вероисповедания, цвета кожи, а также национальности. Я к вашим услугам. Чем могу вам помочь?

— Мы хотели бы, чтобы вы немедленно связались с ведущими деятелями ваших Соединенных Штатов Америки, как вы их называете, чтобы они прибыли сюда для совещания, имеющего целью присоединение вашего народа к нашей великой организации.

Камерон медленно багровел.

— Значит, присоединение нашего народа к вашей организации! А мы и так уже члены ООН и бог весть чего еще. И я, значит, должен вытребовать сюда президента, а? Сию минуту? В Твин Галч? Сказать ему, чтобы поторапливался?

Он поглядел на меня, как будто ожидая увидеть на моем лице улыбку. Но я был в таком состоянии, что вышиби из-под меня стул — я бы даже упасть не смог.

Человек с летающего блюдца ответил:

— Да, промедление нежелательно.

— А Конгресс вам тоже нужен? А Верховный суд?

— В том случае, если они могут помочь, шериф. И тут Камерон взорвался. Он стукнул кулаком по своим бумагам и заорал:

— Так вот, вы мне помочь не можете, и мне некогда возиться со всякими остряками, которым взбредет в голову явиться сюда, да еще к тому же иностранцами. И если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я засажу вас за нарушение общественного порядка и никогда не выпущу!

— Вы хотите, чтобы мы уехали? — спросил человек с Венеры.

— И сейчас же! Проваливайте туда, откуда приехали, и не возвращайтесь! Я не желаю вас здесь видеть, и никто вас здесь видеть не желает.

Те двое переглянулись — их лица как-то странно подергались. Потом тот, кто говорил до этого, произнес:

— Я вижу в вашем мозгу, что вы в самом деле желаете, и очень сильно, чтобы вас оставили в покое. Мы не навязываем себя и свою организацию тем, кто не хочет иметь дела с нами или с ней. Мы не хотим вторгаться к вам насильно, и мы улетим. Мы больше не вернемся. Мы окружим ваш мир предостерегающими сигналами. Здесь больше никто не побывает, а вы никогда не сможете покинуть свою планету.

Камерон сказал:

— Послушайте, мистер, мне эта болтовня надоела. Считаю до трех...

Они повернулись и вышли. А я-то знал, что все их слова — чистая правда. Понимаете, я-то слушал их, а Камерон — нет, потому что он все время думал о своем подоходном налоге, а я как будто слышал, о чем они думали. Я знал, что вокруг Земли будет устроено что-то вроде загородки и мы будем заперты внутри и не сможем выйти, и никто не сможет войти. Я знал, что так и будет.

И, как только они вышли, ко мне вернулся голос — слишком поздно! Я завопил:

— Камерон, ради бога, они же из космоса! Зачем ты их выгнал?

— Из космоса? — он уставился на меня.

— Смотри! — крикнул я. Не знаю, как мне это удалось — он на двадцать пять фунтов тяжелее меня, — но я схватил его за шиворот и подтащил к окну, так что у него на рубашке отлетели все пуговицы до единой.

От удивления он даже не сопротивлялся, а когда опомнился и хотел было сбить меня с ног, то заметил, что происходит за окном, и тут уж захватило дух у него.

Эти двое садились в летающее блюдце. Блюдце стояло там же, большое, круглое, сверкающее и мощное. Потом оно взлетело. Оно поднялось легко, как перышко. Одна его сторона засветилась красновато-оранжевым сиянием, которое становилось все ярче, а сам корабль — все меньше, пока снова не превратился в падающую звезду, медленно погасшую вдаль.

И тут я сказал:

— Шериф, зачем ты их прогнал? Им действительно надо было встретиться с президентом. Теперь они уже больше не вернутся.

Камерон ответил:

— Я думал, они иностранцы. Сказали же они, что выучили наш язык. И говорили они как-то чудно.

— Ах, вот как. Иностранцы!

— Они же так и сказали, что иностранцы, а сами похожи на итальянцев. Ну, я и подумал, что они итальянцы.

— Почему итальянцы? Они же сказали, что они венерианцы. Я слышал — они так и сказали.

— Венерианцы? — он выпучил глаза.

— Да, они это сказали. Они сказали, что прибыли из места, где много воды. А на Венере воды очень много.

Понимаете, это было просто недоразумение, дурацкая ошибка, какую может сделать каждый. Только теперь люди Земли никогда не полетят в космос, мы никогда не доберемся даже до Луны, и у нас больше не побывает ни одного венерианца. А все из-за этого осла Камерона с его подоходным налогом!

Ведь он прошептал:

— Венерианцы! А когда они заговорили про это место, где много воды, я решил, что они венецианцы!



# ПОЮЩИЙ КОЛОКОЛЬЧИК

Луис Пейтон никогда никому не рассказывал о собаках, какими ему удавалось взять верх над полицией Зѐмли в многочисленных хитроумных поединках, когда порой уже казалось, что его вот-вот подвергнут психоскопии, и все-таки каждый раз он выходил победителем.

Он не был таким дураком, чтобы раскрывать карты, но порой, смакуя очередной подвиг, он возвращался к давно взлелеянной мечте: оставить завещание, которое вскрыют только после его смерти, и в нем показать всему миру, что природный талант, а вовсе не удача, обеспечивал ему неизменный успех.

В завещании он написал бы: «Ложная закономерность, созданная для маскировки преступления, всегда несет в себе следы личности того, кто ее создает. Поэтому разумнее установить закономерность в естественном ходе событий и приспособить к ней свои действия».

И убить Альберта Корнуэлла Пейтон собирался, следуя именно этому правилу.

Корнуэлл, мелкий скупщик краденого, в первый раз завел с Пейтоном разговор о деле, когда тот обедал в ресторане Гриннела за своим обычным маленьким столиком. Синий костюм Корнуэлла в этот день, казалось, лоснился по-особенному, морщинистое лицо ухмылялось по-особенному, выцветшие усы топорщились по-особенному.

— Мистер Пейтон,— сказал он, здороваясь со сво-

им будущим убийцей без тени зловещих предчувствий,— рад вас видеть. Я уж почти всякую надежду потерял — всякую!

Пейтон не выносил, когда его отвлекали от газеты за десертом, и ответил резко:

— Если у вас ко мне дело, Корнуэлл, вы знаете, где меня найти.

Пейтону было за сорок, его черные волосы уже начали седеть, но годы еще не успели его согнуть, он выглядел молодо, глаза не потускнели, и он умел придать своему голосу особую резкость, благо тут у него имелась немалая практика.

— Не то, что вы думаете, мистер Пейтон,— ответил Корнуэлл.— Совсем не то. Я знаю один тайник, сэр, тайник с... вы понимаете, сэр.

Указательным пальцем правой руки он словно слегка постучал по невидимой поверхности, а левую ладонь на миг приложил к уху.

Пейтон перевернул страницу газеты, еще хранившей влажность телераспределителя, сложил ее пополам и спросил:

— Поющие колокольчики?

— Тише, мистер Пейтон,— произнес Корнуэлл испуганным шепотом.

Пейтон ответил:

— Идемте.

Они пошли парком. У Пейтона было еще одно нерушимое правило — обсуждать тайны только на вольном воздухе. Любую комнату можно взять под наблюдение с помощью лучевой установки, но никому еще не удавалось обшаривать все пространство под небосводом.

Корнуэлл шептал:

— Тайник с поющими колокольчиками... накоплены за долгий срок,— неотшлифованные, но первый сорт, мистер Пейтон.

— Вы их видели?

— Нет, сэр, но я говорил с одним человеком, который их видел. И он не врал, сэр, я проверил. Их там столько, что мы с вами сможем уйти на покой богатыми людьми. Очень богатыми, сэр.

— Кто этот человек?

У Корнуэлла в глазах зажегся хитрый огонек, словно чадающая свеча, от которой больше копоти, чем света, и

его лицо приобрело отвратительное масляное выражение.

— Он был старателем на Луне и умел отыскивать колокольчики в стенках кратеров. Как именно — он мне не рассказывал. Но колокольчиков он насобираал около сотни и припрятал на Луне, а потом вернулся на Землю, чтобы здесь их пристроить.

— И, видимо, погиб?

— Да. Несчастный случай. Ужасно, мистер Пейтон, — упал с большой высоты. Прискорбное происшествие. Разумеется, его деятельность на Луне была абсолютно противозаконной. Власти Доминиона строго преследуют контрабандную добычу колокольчиков. Так что, возможно, его постигла божья кара... Как бы то ни было, у меня его кара.

Пейтон с выражением холодного безразличия ответил:

— Меня не интересуют подробности вашей сделки. Я хочу знать только, почему вы обратились ко мне?

— Видите ли, мистер Пейтон, — сказал Корнуэлл, — там хватит на двоих, и каждому из нас найдется что делать. Я, например, знаю, где находится тайник, и могу раздобыть космический корабль. А вы...

— Ну?

— Вы умеете управлять кораблем, и у вас такие связи, что пристроить колокольчики будет легко. Очень справедливое разделение труда, мистер Пейтон, ведь так?

Пейтон на секунду задумался о естественном ходе своей жизни — ее существующей закономерности: концы, казалось, сходились с концами.

Он сказал:

— Мы вылетаем на Луну десятого августа.

Корнуэлл остановился.

— Мистер Пейтон, сейчас ведь еще только апрель.

Пейтон продолжал идти, и Корнуэллу пришлось рысцой пуститься за ним вдогонку.

— Вы слышали, что я сказал, мистер Пейтон?

Пейтон повторил:

— Десятого августа. Я своевременно свяжусь с вами и сообщу, куда доставить корабль. До тех пор не пытайтесь увидеться со мной. До свидания, Корнуэлл.

Корнуэлл спросил:

— Прибыль пополам?

— Да, — ответил Пейтон. — До свидания.

Дальше Пейтон пошел один, раздумывая о закономерностях своей жизни. Когда ему было двадцать семь лет, он купил в Скалистых горах участок земли с домом; один из прежних владельцев построил этот дом как убежище на случай атомной войны, которой все опасались два столетия назад и которой так и не суждено было разразиться. Однако дом сохранился — памятник стремлению к полной безопасности, стремлению существовать без какой-либо связи с внешним миром, порожденному смертельным страхом.

Здание было выстроено из стали и бетона в одном из самых уединенных уголков Земли; оно стояло высоко над уровнем моря, и почти со всех сторон его защищали горы, поднимавшиеся еще выше. Дом располагал собственной электростанцией и водопроводом, который питали горные потоки, холодильными камерами, вмещавшими сразу десяток коровьих туш; подвал напоминал крепость с целым арсеналом оружия, предназначенного для того, чтобы сдерживать напор обезумевших от страха толп, которые так и не появились. Установка для кондиционирования воздуха могла очищать воздух до бесконечности, пока из него не будет вычищено все, кроме радиоактивности (увы, человек несовершенен!).

И в этом спасительном убежище Пейтон, убежденный холостяк, из года в год проводил весь август. Он раз и навсегда отключил средства сообщения с внешним миром — телевизионную установку, телераспределитель газет. Он окружил свои владения силовым полем и установил сигнальный механизм в том месте, где ограда пересекала единственную горную тропу, по которой можно было добраться до его дома.

Ежегодно в течение месяца Пейтон оставался наедине с самим собой. Его никто не видел, до него никто не мог добраться. Лишь в полном одиночестве он по-настоящему отдыхал от одиннадцати месяцев пребывания в человеческом обществе, к которому не испытывал ничего, кроме холодного презрения.

Даже полиция (тут Пейтон усмехнулся) знала, как строго он блюдет это правило. Однажды он даже махнул рукой на большой залог и, рискуя подвергнуться психоскопии, все-таки уехал в Скалистые горы, чтобы провести август, как всегда.

Пейтон подумал, что, пожалуй, включит в свое завещание еще один афоризм: самое лучшее доказательство

невиновности — это полное отсутствие алиби.

Тридцатого июля, как и ежегодно в этот день, Луис Пейтон в 9 часов 15 минут утра сел в Нью-Йорке на антигравитационный реактивный стратолет и в 12 часов 30 минут прибыл в Денвер. Там он позавтракал и в 1 час 45 минут отправился на полуантигравитационном автобусе в Хампс-Пойнт, откуда Сэм Лейбмен на старинном наземном автомобиле (не антигравитационном) довез его до границы его усадьбы. Сэм Лейбмен невозмутимо принял на чай десять долларов, которые получал всегда, и приложил руку к шляпе, что вот уже пятнадцать лет проделывал тридцатого июля.

Тридцать первого июля, как каждый год в этот день, Луис Пейтон вернулся в Хампс-Пойнт на своем антигравитационном флиттере и заказал в универсальном магазине все необходимое на следующий месяц. Заказ был самым обычным. По сути дела, это был дубликат заказов предыдущих лет.

Макинтайр, управляющий магазином, внимательно проверил заказ, передал его на Центральный склад Горного района в Денвере, и через час все требуемое было доставлено по линии масс-транспортировки. Пейтон с помощью Макинтайра погрузил припасы во флиттер, оставил, как обычно, десять долларов на чай и возвратился домой.

Первого августа в 12 часов 01 минуту Пейтон включил на полную мощность силовое поле, окружавшее его участок, и оказался полностью отрезанным от внешнего мира.

И тут привычный ход событий был нарушен. Пейтон расчетливо оставил в своем распоряжении восемь дней. За это время он тщательно и без спешки уничтожил столько припасов, сколько могло ему потребоваться на весь август. Тут ему помогли мусорные камеры, предназначенные для уничтожения отходов, — это была последняя модель, с легкостью превращавшая что угодно, в том числе металлы и силикаты, в мельчайшую молекулярную пыль, которую никакими средствами нельзя было обнаружить. Избыток энергии, выделявшейся при этом процессе, он спустил в горный ручей, который протекал возле дома. Всю эту неделю вода в ручье была на пять градусов теплее обычного.

Девятого августа Пейтон спустился на аэрофлиттере в условленное место в штате Вайоминг, где Альберт Кор-

нуэлл уже ждал его с космическим кораблем. Корабль сам по себе, конечно, делал весь план уязвимым, поскольку о нем знали те, кто его продал, и те, кто доставил его сюда и помог готовить к полету. Но все эти люди имели дело только с Корнуэллом, а Корнуэлл, подумав Пейтон с тенью усмешки, скоро будет нем как могила.

Десятого августа космический корабль, которым управлял Пейтон, оторвался от поверхности Земли, имея на борту одного пассажира — Корнуэлла (конечно, с картой). Антигравитационное поле корабля оказалось превосходным. При включении на полную мощность корабль весил меньше унции. Микрореакторы вырабатывали энергию безотказно и бесшумно, и корабль беззвучно прошел атмосферу — такой не похожий на грохочущие, окутанные пламенем ракеты прошлого, — превратился в крошечную точку и скоро совсем исчез.

Вероятность того, что кто-нибудь увидит взлетающий корабль, была ничтожно мала. И его действительно никто не увидел.

Два дня в космическом пространстве, и вот уже две недели на Луне. Чутье с самого начала подсказало Пейтону, что понадобятся именно две недели. Он не питал никаких иллюзий относительно самодельных карт, составленных людьми, которые ничего не смыслят в картографии. Такая карта могла помочь только самому составителю — ему приходила на помощь память. Для всех остальных такая карта — сложный ребус.

В первый раз Корнуэлл показал Пейтону карту уже в полете. Он подобострастно улыбался.

— В конце концов, сэр, ведь это мой единственный козырь.

— Вы сверили ее с картами Луны?

— Я ведь в этом ничего не смыслю, мистер Пейтон. Целиком полагаюсь на вас.

Пейтон смерил его холодным взглядом и вернул карту. Сомнения на ней не вызывал только кратер Тихо Браге, где находился подземный лунный город.

Хоть в чем-то, однако, астрономия сыграла им на руку. Кратер Тихо Браге находился на освещенной стороне Луны, следовательно, патрульные корабли вряд ли будут нести там дежурство, так что у них были все шансы остаться незамеченными.

Пейтон совершил рискованно быструю антигравитационную посадку в холодной тени, отбрасываемой склоном кратера. Солнце уже прошло зенит, и тень не могла стать меньше.

Корнуэлл помрачнел.

— Какая жалость, мистер Пейтон. Мы ведь не можем начать поиски, пока стоит лунный день.

— У него тоже бывает конец, — оборвал его Пейтон. — Солнце будет здесь приблизительно сто часов. Это время мы используем, чтобы акклиматизироваться и как следует изучить карту.

Загадку Пейтон разгадал быстро; оказалось, что у нее несколько ответов. Он долго изучал лунные карты, тщательно вымеряя расстояния и стараясь определить, какие именно кратеры изображены на самодельной карте, дававшей им ключ... к чему?

Наконец он сказал:

— Колокольчики могут быть спрятаны в одном из трех кратеров — ГЦ-3, ГЦ-5 или МТ-10.

— Как же нам быть, мистер Пейтон? — спросил Корнуэлл расстроено.

— Осмотрим все три, — сказал Пейтон. — Начнем с ближайшего.

Место, где они находились, пересекло терминатор, и их окутала ночная мгла. После этого они все дольше оставались на лунной поверхности, постепенно привыкая к извечной тьме и тишине, к резким точкам звезд и к полосе света над краем кратера — это в него заглядывала Земля. Они оставляли глубокие бесформенные следы в сухой пыли, которая не поднималась кверху и не осыпалась. Пейтон в первый раз заметил эти следы, когда они выбрались из кратера на яркий свет, отбрасываемый горбатым полумесяцем Земли. Это случилось на восьмой день их пребывания на Луне.

Лунный холод не позволял надолго покидать корабль. Каждый день, однако, им удавалось удлинять этот промежуток. На одиннадцатый день они убедились, что в ГЦ-5 поющих колокольчиков нет.

На пятнадцатый день холодная душа Пейтона согрелась жаром отчаяния. Они непременно должны обнаружить тайник в ГЦ-3. МТ-10 слишком далеко. Они не успеют добраться до него и исследовать: ведь вернуться на Землю необходимо не позже тридцать первого августа.

Однако в тот же день отчаяние рассеялось: тайник с колокольчиками был найден.

Осторожно, в ладонях, они переносили колокольчики на корабль, укладывали их в мягкую стружку и возвращались за новыми. Им трижды пришлось проделать путь, который на Земле оставил бы их без сил. Но на Луне с ее незначительным тяготением такое состояние почти не утомляло.

Корнуэлл передал последний колокольчик Пейтону, который осторожно размещал их в выходной камере.

— Отодвиньте их подальше от люка, мистер Пейтон,— сказал он, и его голос в наушниках показался Пейтону слишком громким и резким.— Поднимаюсь.

Корнуэлл пригнулся, готовясь к лунному прыжку — высокому и замедленному, посмотрел вверх и застыл в ужасе. Его лицо, ясно видимое за выпуклым лузитовым иллюминатором шлема, исказилось предсмертной гримасой.

— Нет, мистер Пейтон! Нет!

Пальцы Пейтона сомкнулись на рукоятке бластера, последовал выстрел. Непереносимо яркая вспышка — и Корнуэлл превратился в бездыханный труп, распостертый среди ключев скафандра и покрытый брызгами замерзающей крови.

Пейтон угрюмо поглядел на мертвеца, но это длилось какое-то мгновение. Затем он уложил последние колокольчики в приготовленные для них контейнеры, снял скафандр, включил сначала антигравитационное поле, затем микрореакторы и, став миллионом на два богаче, чем за полмесяца до этого, отправился в обратный путь на Землю.

Двадцать девятого августа корабль Пейтона бесшумно приземлился кормой вниз в Вайоминге на той же площадке, с которой взлетел десятого августа. Пейтон недаром так заботливо выбирал это место. Его аэрофлиттер по-прежнему спокойно стоял в расселине, которыми изобиловало это каменистое плато.

Контейнеры с поющими колокольчиками Пейтон отнес в дальний конец расселины и аккуратно присыпал их землей. Затем он вернулся на корабль, чтобы включить приборы и сделать последние приготовления. Через две минуты после того, как он снова спустился на землю, сработала автоматическая система управления.

Бесшумно набирая скорость, корабль устремился



ввысь, он слегка отклонился в полете к западу под воздействием вращения Земли. Пейтон следил за ним, приставив руку козырьком к прищуренным глазам, и уже почти за пределами видимости заметил крошечную вспышку света и облачко на фоне синего неба.

Его рот искривился в усмешке. Он рассчитал правильно. Стоило только отвести в сторону кадмиевые стержни поглотителя, и микрореакторы вышли из режима; корабль исчез в жарком пламени ядерного взрыва.

Двадцать минут спустя Пейтон был дома. Он устал, все мышцы у него болели — сказывалось земное тяготение. Спал он хорошо.

Двенадцать часов спустя, на рассвете, явилась полиция.

Человек, который открыл дверь, сложил руки на круглом брюшке и несколько раз приветливо кивнул головой. Человек, которому открыли дверь, Сетон Дейвенпорт из Земного бюро расследований, огляделся, чувствуя себя крайне неловко.

Комната, куда он вошел, была очень большая и тоннула в полутьме, если не считать яркой лампы видеоскопа, установленной над комбинированным креслом — письменным столом. По стенам тянулись полки, уставленные книжками. В одном углу были развешаны карты Галактики, в другом на подставке мягко поблескивал «Галактический объектив».

— Вы доктор Уэнделл Эрт? — спросил Дейвенпорт так, словно этому трудно было поверить. Дейвенпорт был коренаст и черноволос. На щеке, рядом с длинным тонким носом, виднелся звездообразный шрам — след нейронного хлыста, однажды чуть-чуть задевшего его.

— Я самый, — ответил доктор Эрт высоким тенорком. — А вы — инспектор Дейвенпорт.

Инспектор показал свое удостоверение и объяснил:

— Университет рекомендовал мне вас как специалиста в области экстратеррологии.

— Да, вы мне это уже говорили полчаса назад, когда звонили, — любезно ответил доктор Эрт. Черты лица у него были расплывчатые, нос — пуговкой. Сквозь толстые стекла очков глядели выпуклые глаза.

— Я сразу перейду к делу, доктор Эрт. Вы, вероятно, бывали на Луне...

Доктор Эрт, который успел к этому времени вытащить из-за груди кинокинг бутылку с красной жидкостью и две почти не запыленные рюмки, сказал с неожиданной резкостью:

— Я никогда не бывал на Луне, инспектор, и не собираюсь. Космические путешествия — глупое занятие. Я их не одобряю.

Потом добавил, уже мягче:

— Присаживайтесь, сэр, присаживайтесь. Выпейте рюмочку.

Инспектор Дейвенпорт выпил рюмочку и сказал:

— Но вы же не...

— Экстратерролог. Да. Меня интересуют другие миры, но это вовсе не значит, что я должен их посещать. Господи, да разве обязательно быть путешественником во времени, чтобы получить диплом историка?

Он сел, его круглое лицо вновь расплылось в улыбке, и он спросил:

— Ну, а теперь расскажите, что вас, собственно, интересует?

— Я пришел,— сказал инспектор, нахмутив брови,— чтобы проконсультироваться с вами относительно одного убийства.

— Убийства? А что я понимаю в убийствах?

— Это убийство, доктор Эрт, совершено на Луне.

— Поразительно!

— Более чем поразительно. Беспрецедентно, доктор Эрт. За пятьдесят лет существования Доминиона Луны были случаи, когда взрывались корабли или скафандры давали течь. Люди сгорали на солнечной стороне, замерзали на теневой и погибали от удушья на обеих. Некоторые даже ухитрялись умереть, упав со скалы, что не так-то просто сделать, принимая во внимание лунное тяготение. Но за все это время ни один человек на Луне не стал жертвой преднамеренного акта насилия со стороны другого человека... Это случилось впервые.

— Как было совершено убийство? — спросил доктор Эрт.

— Выстрелом из бластера. Благодаря счастливому стечению обстоятельств представители закона оказались на месте преступления менее чем через час. Патрульный корабль заметил вспышку света на лунной поверхности.

Вы ведь представляете себе, насколько далеко может быть видна вспышка на теневой стороне. Пилот сообщил об этом в Лунный город и пошел на посадку. Делая вираж, он разглядел в свете Земли взлетающий корабль — он клянется, что не ошибся. Высадившись, он обнаружил обгоревший труп и следы.

— Вы считаете, что эта вспышка была выстрелом из бластера? — заметил доктор Эрт.

— Несомненно. Убийство было совершено совсем недавно. Труп еще не успел промерзнуть. Следы принадлежали двум разным людям. Тщательные измерения показали, что углубления в пыли имеют два различных диаметра; другими словами, сапоги, их оставившие, были разных размеров. Следы в основном вели к кратерам ГЦ-3 и ГЦ-5. Это два...

— Мне известна официальная система обозначения лунных кратеров, — любезно объяснил доктор Эрт.

— Гм-м. Одним словом, следы в ГЦ-3 вели к расщелине на склоне кратера, внутри которой были обнаружены обломки затвердевшей пемзы. Рентгеноанализ показал...

— Поющие колокольчики, — перебил экстратерролог в сильном волнении. — Неужели это ваше убийство связано с поющими колокольчиками?

— А что, если это так? — спросил инспектор растерянно.

— У меня есть один колокольчик. Его нашла университетская экспедиция и подарила мне в благодарность за... Нет, я должен его вам показать, инспектор.

Доктор Эрт вскочил с кресла и засеменял через комнату, сделав знак своему гостю следовать за ним. Дейвенпорт с досадой повиновался.

Они вошли в соседнюю комнату, значительно большую, чем первая. Там было еще темнее и царил совершенный хаос. Дейвенпорт в удивлении воззрился на самые разнообразные предметы, сваленные вместе без малейшего намека на какой-либо порядок.

Он разглядел кусок синей глазури с Марса, которую неизлечимые романтики считали переродившимися останками давно вымерших марсиан, затем небольшой метеорит, модель одного из первых космических кораблей и запечатанную бутылку с жидкостью — на этикетке значилось «Океан Венеры».

Доктор Эрт с довольным видом сообщил:

— Я превратил свой дом в музей. Одно из преимуществ холостяцкой жизни. Конечно, надо еще многое привести в порядок. Вот как-нибудь выберется свободная неделька-другая...

С минуту он озирался в недоумении, потом, вспомнив, отодвинул схему развития морских беспозвоночных — высшей формы жизни на Арктуре V — и сказал:

— Вот он. К сожалению, он с изъяном.

Колокольчик висел на аккуратно впаянной в него тонкой проволочке. Изъян заметить было нетрудно: примерно на середине колокольчик опоясывала вмятинка, так что он напоминал два косо слепленных шарика. И все-таки его любовно отполировали до неяркого серебристо-серого блеска; на бархатистой поверхности виднелись те крошечные оспинки, которые не удавалось воспроизвести ни в одной лаборатории, пытавшейся синтезировать искусственные колокольчики.

Доктор Эрт продолжал:

— Я немало экспериментировал, пока подобрал к нему подходящее било. Колокольчики с изъяном капризны. Но кость подходит. Вот! — он поднял что-то вроде короткой широкой ложки, сделанной из серовато-белого материала, — это я сам вырезал из берцовой кости быка... Слушайте.

С легкостью, которой трудно было ожидать от его толстых пальцев, он стал ощупывать поверхность колокольчика, стараясь найти место, где при ударе возникал самый нежный звук. Затем он повернул колокольчик, осторожно его придерживав. Потом отпустил и слегка ударил по нему широким концом костяной ложки.

Казалось, где-то вдали запели миллионы арф. Пение нарастало, затихало и возвращалось снова. Оно возникало словно нигде. Оно звучало в душе у слушателя, небывало сладостное, и грустное, и трепетное.

Оно медленно замерло, но ученый и его гость еще долго молчали.

Доктор Эрт спросил:

— Неплохо, а?

И легким ударом пальца раскачал колокольчик.

Дейвенпорт с тревогой посмотрел на него.

— Осторожно! Не разбейте!

Хрупкость хороших колокольчиков давно вошла в разговорку.

Доктор Эрт сказал:

— Геологи утверждают, что колокольчики — это все-го-навсего затвердевшие под большим давлением полые кусочки пемзы, в которых свободно перекатываются маленькие камешки. Так они утверждают. Но, если этим все и исчерпывается, почему же мы не в состоянии изготовлять их искусственно? И ведь по сравнению с колокольчиком без изъяна этот звучит, как губная гармоника.

— Верно, — согласился Дейвенпорт, — и на Земле вряд ли найдется хотя бы десяток счастливых, обладающих колокольчиком безупречной формы. Сотни людей, музеев и учреждений готовы отдать за такой колокольчик любые деньги, ни о чем при этом не спрашивая. Запас колокольчиков стоит убийства!

Экстратерролог обернулся к Дейвенпорту и пухлым указательным пальцем поправил очки на носу-пуговке.

— Я не забыл про убийство, из-за которого вы пришли. Пожалуйста, продолжайте.

— Все можно рассказать в двух словах. Я знаю, кто убийца.

Они вернулись в библиотеку, и, снова опустившись в кресло, доктор Эрт сложил руки на объемистом животе, а потом спросил:

— В самом деле? Тогда что же вас затрудняет, инспектор?

— Знать и доказать — не одно и то же, доктор Эрт. К сожалению, у него нет алиби.

— Вероятно, вы хотели сказать «к сожалению, у него есть алиби»?

— Я хочу сказать то, что сказал. Будь у него алиби, я сумел бы доказать, что оно фальшивое, потому что оно было бы фальшивым. Если бы он представил свидетелей, готовых показать, что они видели его на Земле в момент совершения убийства, их можно было бы поймать на лжи. Если бы он представил документы, можно было бы обнаружить, что это подделка или еще какое-нибудь жульничество. К сожалению, ни на что подобное преступник не ссылается.

— А на что же он ссылается?

Инспектор Дейвенпорт подробно описал имение Пейтона в Колорадо и сказал в заключение:

— Он всегда проводит август там в полнейшем одиночестве. Даже ЗБР вынуждено было бы это подтвердить. И присяжным придется сделать вывод, что он этот

август провел у себя в имении, если только мы не представим убедительных доказательств того, что он был на Луне.

— А почему вы думаете, что он действительно был на Луне? Может быть, он и не виновен.

— Виновен! — Дейвенпорт почти кричал. — Вот уже пятнадцать лет я напрасно пытаюсь собрать против него достаточно улик. Но преступления Пейтона я теперь нюхом чую. Говорю вам, на всей Земле только у Пейтона хватит наглости попробовать сбыть контрабандные колокольчики — и к тому же он знает нужных людей. Известно, что он первоклассный космический пилот. Известно, что у него были какие-то дела с убитым, хотя последние несколько месяцев они не виделись. К сожалению, все это еще не доказательства.

Доктор Эрт спросил:

— А не проще ли прибегнуть к психоскопии, ведь теперь это узаконено.

Дейвенпорт нахмурился, и шрам у него на щеке побелел.

— Разве вам не известен закон Конского — Хиаквы, доктор Эрт?

— Нет.

— Он, по-моему, никому не известен. Внутренний мир человека, заявляет государство, свободен от посягательств. Прекрасно, но что отсюда вытекает? Человек, подвергнутый психоскопии, имеет право на такую компенсацию, какой он только сумеет добиться от суда. Недавно один банковский кассир получил 25 000 долларов возмещения за психоскопическую проверку по поводу необоснованного обвинения в растрате. А косвенные улики, которые как будто указывали на растрату, в действительности оказались связанными с любовной интрижкой. Кассир подал иск, указывая, что он лишился места, был вынужден принимать меры предосторожности, так как оскорбленный муж грозил ему расправой, и, наконец, его выставили на посмешище, поскольку газетный репортер узнал и описал результаты психоскопической проверки, проведенной судом.

— Мне кажется, у этого кассира были основания для иска.

— Конечно. В том-то и беда. А кроме того, следует помнить еще один пункт: человек, один раз подвергнутый психоскопии по какой бы то ни было причине, не

может быть подвергнут ей вторично. Нельзя дважды подвергать опасности психику человека, гласит закон.

— Не слишком-то удобный закон.

— Вот именно. Психоскопию узаконили два года назад, и за это время все воры и аферисты старались пройти психоскопию из-за карманной кражи, чтобы потом спокойно приниматься за крупные дела. Таким образом, наше Главное управление разрешит подвергнуть Пейтона психоскопии, только если против него будут собраны веские улики. И не обязательно веские с точки зрения закона — лишь бы поверило мое начальство. Самое скверное, доктор Эрт, что мы не можем передать дело в суд, не проведя психоскопической проверки. Убийство — слишком серьезное преступление, и, если обвиняемый не будет подвергнут психоскопии, даже самый тупой присяжный решит, что обвинение не уверено в своих позициях.

— Так что же вам нужно от меня?

— Доказательство того, что в августе Пейтон побывал на Луне. И оно мне нужно немедленно. Пейтон арестован по подозрению, и долго держать его под стражей я не могу. А если об этом убийстве кто-нибудь проведает, мировая пресса взорвется, как астероид, угодивший в атмосферу Юпитера. Ведь это же сенсационное преступление — первое убийство на Луне.

— Когда именно было совершено убийство? — тон Эрта внезапно стал деловитым.

— Двадцать седьмого августа.

— Когда вы арестовали Пейтона?

— Вчера, тридцатого августа.

— Значит, если Пейтон — убийца, у него должно было хватить времени вернуться на Землю.

— Времени у него было в обрез.— Дейвенпорт сжал губы.— Если бы я не опоздал на день, если бы оказалось, что его дом пуст..

— Как по-вашему, сколько они всего пробыли на Луне, убийца и убитый?

— Судя по количеству следов, несколько дней. Не меньше недели.

— Корабль, на котором они летели, был обнаружен?

— Нет, и вряд ли он будет обнаружен. Часов десять назад обсерватория Денверского университета сообщила об увеличении радиоактивного фона, возникшем

позавчера в шесть вечера и державшемся несколько часов. Ведь совсем нетрудно, доктор Эрт, установить приборы на корабле так, чтобы он взлетел без экипажа и взорвался примерно в пятидесяти милях от Земли от короткого замыкания в микрореакторах.

— На месте Пейтона,— задумчиво проговорил доктор Эрт,— я убил бы сообщника на борту корабля и взорвал бы корабль вместе с трупом.

— Вы не знаете Пейтона,— мрачно ответил Дейвенпорт.— Он упивается своими победами над законом. Он их смакует. Труп, оставленный на Луне,— это вызов нам.

— Вот как! — Эрт погладил себя по животу и добавил: — Что ж, возможно, мне это и удастся.

— Доказать, что он был на Луне?

— Составить свое мнение на этот счет.

— Теперь же?

— Чем скорее, тем лучше. Если конечно, мне можно будет побеседовать с мистером Пейтоном.

— Это я устрою. Меня ждет антигравитационный реактивный самолет. Через двадцать минут мы будем в Вашингтоне.

На толстой физиономии экстратерролога выразилось глубочайшее смятение. Он вскочил и бросился в самый темный угол своей загроможденной вещами комнаты, подалее от агента ЗБР.

— Ни за что!

— В чем дело, доктор Эрт?

— Я не полечу на реактивном самолете. Я им не доверяю.

Дейвенпорт озадаченно уставился на доктора Эрта и пробормотал, запинаясь:

— А монорельсовая дорога?

— Я не доверяю никаким средствам передвижения,— отрезал доктор Эрт.— Не доверяю. Только пешком. Пешком — пожалуйста.

Потом он вдруг оживился.

— А вы не могли бы привезти мистера Пейтона в наш город, куда-нибудь поблизости? В здание муниципалитета, например? До муниципалитета мне дойти не трудно.

Дейвенпорт растерянно обвел глазами комнату. Кругом стояли бесчисленные тома, повествующие о световых годах. В открытую дверь соседнего зала видне-



лись сувениры далеких миров. Он перевел взгляд на доктора Эрта, который побледнел от одной только мысли о реактивном самолете, и пожал плечами.

— Я привезу Пейтона сюда. В эту комнату. Это вас устроит?

Доктор Эрт испустил вздох облегчения.

— Вполне.

— Надеюсь, у вас что-нибудь получится, доктор Эрт.

— Я сделаю все, что в моих силах, мистер Дейвенпорт.

Луис Пейтон брезгливо осмотрел комнату и смерил презрительным взглядом толстяка, любезно ему кивавшего. Он покосился на предложенный стул и, прежде чем сесть, смахнул с него рукой пыль. Дейвенпорт сел рядом, поправив кобуру бластера.

Толстяк с улыбкой уселся и стал поглаживать свое округлое брюшко, словно он только что отлично поел и хочет, чтобы об этом знал весь мир.

— Добрый вечер, мистер Пейтон,— сказал он.— Я доктор Уэнделл Эрт, экстратерролог.

Пейтон снова взглянул на него.

— А что вам нужно от меня?

— Я хочу знать, были ли вы в августе на Луне.

— Нет.

— Однако ни один человек на Земле не видел вас между первым и тридцатым августа.

— Я проводил август, как обычно. В этом месяце меня никогда не видят. Спросите хоть у него.

И Пейтон кивнул в сторону Дейвенпорта.

Доктор Эрт усмехнулся.

— Ах, если бы у вас был какой-нибудь объективный критерий! Если бы между Луной и Землей существовали какие-то физические различия. Скажем, мы сделали бы анализ пыли с ваших волос и сказали: «Ага, лунные породы». К сожалению, это невозможно. Лунные породы ничем не отличаются от земных. Да если бы даже они и отличались, у вас на волосах все равно не найти ни одной пылинки, разве что вы выходили на лунную поверхность без скафандра, а это маловероятно.

Пейтон слушал его, сохраняя полнейшее равнодушие.

Доктор Эрт продолжал, благодушно улыбаясь и по-

правляя рукой очки, которые плохо держались на его крохотном носике:

— Человек в космосе или на Луне дышит земным воздухом, ест земную пищу. И на корабле, и в скафандре он остается в земных условиях. Мы разыскиваем человека, который два дня летел на Луну, пробыл на Луне по крайней мере неделю и еще два дня потратил на возвращение на Землю. Все это время он сохранял вокруг себя земные условия, что очень усложняет нашу задачу.

— Мне кажется,— сказал Пейтон,— вы могли бы ее облегчить, если бы отпустили меня и начали поиски настоящего убийцы.

— Это не исключено,— сказал доктор Эрт.— Вы когда-нибудь видели что-либо подобное?

Он пошарил пухлой рукой на полу возле кресла и поднял серый шарик, который отбрасывал приглушенные блики.

Пейтон улыбнулся.

— Я бы сказал, что это поющий колокольчик.

— Да, это поющий колокольчик. Убийство было совершено ради поющих колокольчиков... Как вам нравится этот экземпляр?

— По-моему, он с большим изъяном.

— Рассмотрите его повнимательнее,— сказал доктор Эрт и внезапно бросил колокольчик Пейтону, который сидел от него в двух метрах.

Дейвенпорт вскрикнул и приподнялся на стуле. Пейтон вскинул руки и успел поймать колокольчик.

— Идиот! Кто же их так бросает,— сказал Пейтон.

— Вы относитесь к поющим колокольчикам с почтением, не правда ли?

— Со слишком большим почтением, чтобы их разбивать. И это по крайней мере не преступление.

Пейтон тихонько погладил колокольчик, потом поднял его к уху и слегка встряхнул, прислушиваясь к мягкому шороху осколков лунолита — маленьких кусочков пемзы, сталкивающихся в пустоте.

Затем, подняв колокольчик за вделанную в него проволочку, он уверенным и привычным движением провел ногтем большого пальца по выпуклой поверхности. И колокольчик запел. Звук был нежный, напоминающий флейту,— задрожав, он медленно замер, вызывая в памяти картину летних сумерек.

Несколько секунд все трое заворужено слушали.

А потом доктор Эрт сказал:

— Бросьте его мне, мистер Пейтон. Скорее!

И он повелительно протянул руку.

Машинально Луис Пейтон бросил колокольчик. Он описал короткую дугу и, не долетев до протянутой руки доктора Эрта, с горестным звенящим стоном вдребезги разбился на полу.

Дейвенпорт и Пейтон, охваченные одним чувством, молча смотрели на серые осколки и толком не слышали, как доктор Эрт спокойно произнес:

— Когда будет обнаружен тайник, где преступник укрыл неотшлифованные колокольчики, я хотел бы получить безупречный и правильно отшлифованный экземпляр в качестве возмещения за разбитый и в качестве моего гонорара.

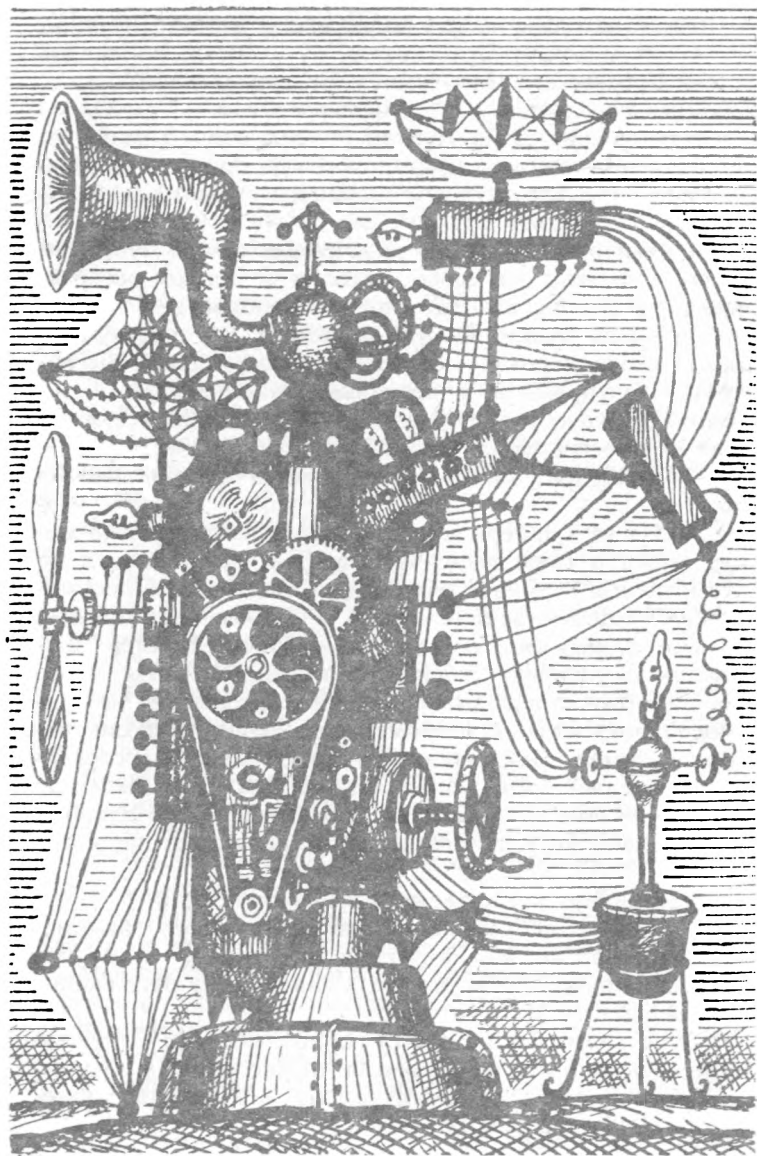
— Гонорара? За что же? — сердито спросил Дейвенпорт.

— Но ведь теперь все очевидно. Хотя несколько минут назад в моей маленькой речи я не упомянул об этом, но тем не менее одну земную особенность космический путешественник взять с собою не может... Я имею в виду силу земного притяжения. Мистер Пейтон очень неловко бросил столь ценную вещь, а это неопровержимо доказывает, что его мышцы еще не приспособились вновь к земному притяжению. Как специалист, мистер Дейвенпорт, я утверждаю: арестованный последнее время находился вне Земли. Он был либо в космическом пространстве, либо на какой-то планете, значительно уступающей Земле в размерах, например на Луне.

Дейвенпорт с торжеством вскопчил на ноги.

— Будьте добры, дайте мне письменное заключение, — сказал он, положив руку на бластер, — и его будет достаточно, чтобы получить санкцию на применение психоскопии.

Луис Пейтон и не думал сопротивляться. Оглушенный случившимся, он сознавал только одно: в завещании ему придется упомянуть, что его блистательный путь завершился полным крахом.



# РОБОТ ЭЛ-76 ПОПАДАЕТ НЕ ТУДА

**О**забоченно щура глаза за стеклами очков без оправы, Джонатан Куэлл распахнул дверь, на которой было написано «Управляющий». Он швырнул на стол сложенную бумажку и, задыхаясь произнес:

— Взгляните-ка, шеф!

Сэм Тоб перекатил сигару из одного угла рта в другой, взглянул на бумажку и потер рукой небритый подбородок.

— Какого черта! — взорвался он. — Что они такое болтают?

— Они доказывают, что мы выслали пять роботов серии ЭЛ, — объяснил Куэлл, хотя в этом не было никакой необходимости.

— Мы послали шесть! — сказал Тоб.

— Конечно, шесть! Но они получили только пять. Они передали их номера — не хватает ЭЛ-76.

Стул Тоба отлетел к стене, и тучный управляющий унесся за дверь, как будто на хорошо смазанных колесах. А пять часов спустя, когда весь завод, от сборочной до вакуумных камер, был уже перевернут вверх дном, когда все двести рабочих до единого были уже подвергнуты допросу с пристрастием, взмокший, растрепанный Тоб послал срочную телеграмму на центральный завод в Скенектади.

Тогда и там началась паника. Дело было не только в том, что закон строго запрещал любому роботу находиться на Земле за пределами заводов корпорации, имеющих специальную лицензию. Закон всегда можно

было обойти. Точнее всего ситуацию определил один математик из исследовательского отдела. Он сказал:

— Этот робот спроектирован для работ с «Дезинто» на Луне. Его позитронный мозг рассчитан на лунные, и только лунные, условия. На Земле он подвергнется воздействию миллионов сенсорных раздражителей, к которым совершенно не подготовлен. Предсказать его реакцию невозможно. Совершенно невозможно!

И математик вытер рукой внезапно вспотевший лоб.

Не прошло и часа, как на завод в Виргинию вылетел стратоплан. Указания были несложными:

— Разыскать этого робота, не теряя ни минуты!

ЭЛ-76 был в полной растерянности. Более того, его сложный позитронный мозг создавал только одно: он в растерянности. Это началось в тот момент, когда он оказался в незнакомой обстановке. А как это произошло, он уже не знал. Все перепуталось.

Под ногами было что-то зеленое, кругом поднимались бурые столбы, тоже с зеленью наверху. Небо, которое должно быть черным, оказалось голубым. Солнце было таким, как полагалось, — круглым, желтым и горячим. Но где же пыльная, похожая на пемзу порода, которая должна быть под ногами? Где же огромные скалистые кольца кратеров?

Под ногами у него была одна только зелень, а над головой — голубое небо. Окружавшие его звуки тоже были незнакомыми. Он пересек поток воды, доходившей ему до пояса. Вода была голубая, холодная и мокрая. А люди, которые время от времени попадались ему на пути, были без скафандров, хотя им полагалось быть в скафандрах. Увидев его, они что-то кричали и убегали.

Один из них навел на него ружье — пуля просвистела над самой его головой — и тоже бросился бежать.

Робот не имел ни малейшего представления, сколько времени он так бродил, пока в двух милях от городка Хэннафорда не наткнулся на хижину Рэндольфа Пэйна. Сам Рэндольф Пэйн с отверткой в одной руке и трубкой в другой сидел в дверях, зажав между коленями изувеченные останки пылесоса.

Пэйн что-то напевал себе под нос, потому что был человеком веселым и беспечным, во всяком случае, пока находился в этой хижине. У него было и более

респектабельное жилище в Хэннафорде, но это жилище заполонила в основном его жена, о чем он про себя искренне сожалел. Вот почему он чувствовал такое облегчение и такую свободу, когда ему удавалось выбрать в свою «личную конуру-люкс», где он мог, мирно покуривая, предаваться любимому занятию — починке бытовых приборов, давно отслуживших свой срок.

Это было не бог весть какое развлечение, но порой кто-нибудь приносил ему приемник или будильник, и деньги, которые Пэйн получал за то, что перетряхивал их внутренности, поступали в его бесконтрольное распоряжение, а не проходили через скарედные руки его супруги, пропускавшие лишь жалкие гроши.

Например, этот вот пылесос обещал верных шесть долларов.

При этой мысли Пэйн замурлыкал чуть громче, поднял взгляд — и его бросило в пот. Мурлыканье оборвалось, и глаза Пэйна полезли на лоб. Он попытался было встать, чтобы пуститься наутек, но ноги его не слушались.

ЭЛ-76 присел рядом с ним на корточки и спросил:  
— Послушайте, почему все остальные убегали?

Пэйн прекрасно понимал, почему они убегали, но те нечленораздельные звуки, которые ему удалось издать, не внесли ясности в положение. Он попробовал отодвинуться от робота.

ЭЛ-76 продолжал обиженным тоном:

— Один из них даже выстрелил в меня. На дюйм левее — и он поцарапал бы мне облицовку на груди.

— Д-должно быть, п-псих,— заикаясь, пробормотал Пэйн.

— Возможно.— Голос робота зазвучал более доверительно.— Послушайте, почему вообще все не так, как должно быть?

Пэйн поспешно огляделся. Ему пришло в голову, что этот металлический гигант зверского вида разговаривает весьма кротко. Кроме того, он как будто где-то слышал, что устройство мозга не позволяет роботам причинять вред человеку, и ему стало легче.

— Все так, как должно быть.

— Разве? — ЭЛ-76 неодобрительно посмотрел на него.— Вот вы, например. Где ваш скафандр?

— У меня его нет.

— Тогда почему вы не умерли?

— Ну... не знаю,— ответил ошарашенный Пэйн.

— Вот видите! — торжествующе сказал робот.— Я же говорю, что все не так, как должно быть. Где кратер Коперника? Где Лунная станция № 17? А где мой «Дезинто»? Я хочу приняться за работу, очень хочу.— Голос его дрожал от недоумения и обиды.— Я уже много часов ищу кого-нибудь, кто сказал бы мне, где мой «Дезинто», но все разбегаются. Я уже, наверное, отстал от графика, и начальник участка совсем взбесится. Ничего себе положение!

Пэйн медленно собрался с мыслями и произнес:

— Послушай, как тебя зовут?

— Мой номер ЭЛ-76.

— Ладно, сойдет и ЭЛ. Так вот, ЭЛ, если тебе нужна Лунная станция № 17, так это на Луне. Ясно?

ЭЛ-76 кивнул тяжелой головой.

— Ну, конечно. Но я же ее искал...

— Но она на Луне. А это не Луна.

Теперь пришла очередь робота растеряться. Он некоторое время задумчиво смотрел на Пэйна, а потом медленно произнес:

— То есть как это — не Луна? Конечно же, это Луна. Если это не Луна, то что же это тогда такое? А? Скажите-ка.

Пэйн издал какой-то невнятный звук и тяжело задышал. Он погрозил роботу пальцем:

— Послушай,— начал он, но тут его осенила величайшая идея века, и он закончил полупридушенным голосом: — Ух, ты!

ЭЛ-76 строго взглянул на него.

— Это не ответ. По-моему, я имею право на вежливый ответ, если задаю вежливый вопрос.

Но Пэйн не слушал. Он все еще поражался собственной находчивости. Конечно же, все ясно как день. Этот робот был построен для Луны, но каким-то образом заблудился на Земле. Немудрено, что он совсем запутался, потому что его позитронный мозг рассчитан исключительно на лунные условия и понять земную обстановку он не в состоянии.

Только бы задержать робота здесь, пока он не свяжется с заводом в Питерсборо! Ведь роботы стоят огромных денег. Не меньше 50 000 долларов, как он где-то слышал, а иногда и миллионы. Какое же можно получить вознаграждение!



Ты только подумай, Рэндольф Пэйн! И все, до последнего цента,— твои собственные деньги. А Миранде — ни единого ломаного медного гроша! Ни единого, черт возьми!

Тут ему наконец удалось встать на ноги.

— Эл,— сказал он.— Мы с тобой друзья. Приятели! Я люблю тебя, как брата.

Он протянул руку.

— Давай лапу!

Его рука утонула в металлической ладони робота, который осторожно пожал ее. Робот не совсем понимал, что происходит.

— Значит ли это, что вы скажете мне, как попасть на Лунную станцию № 17?

Пэйн был слегка озадачен.

— Н-нет, не совсем. В общем, ты мне так нравишься, что я хочу, чтобы ты на некоторое время остался здесь, со мной.

— О нет, я не могу. Я должен приняться за работу.— Он угрюмо добавил: — Представьте себе, что это вы час за часом, минута за минутой не выполняете норму! Я хочу работать. Я должен работать!

Пэйн с легким отвращением подумал, что вкусы бывают разные, и сказал:

— Ладно, тогда я тебе кое-что объясню. Я вижу, что ты неглуп. Твой начальник участка приказал мне задерживать тебя здесь на некоторое время. В общем, пока он за тобой не придет.

— Зачем? — подозрительно спросил ЭЛ-76.

— Сам не знаю. Это государственная тайна.

«Господи, только бы он поверил!» — мысленно взывал Пэйн. Он знал, что роботы чертовски умны, но этот смахивал на раннюю модель.

А пока он молился, ЭЛ-76 обдумывал положение. Его мозг, предназначенный для работы с «Дезинто» на Луне, не слишком годился для абстрактных размышлений. Впрочем, ЭЛ-76 обнаружил, что с тех пор, как он заблудился, его мыслительные процессы протекают как-то странно. На него явно подействовала чуждая обстановка.

Во всяком случае, его следующие слова свидетельствовали об известной проницательности. Он спросил лукаво:

— А как зовут моего начальника участка?

Пэйн поперхнулся, но быстро нашелся и ответил обиженно:

— Эл, и тебе не стыдно? Я же не могу сказать тебе, как его зовут. У деревьев бывают уши.

ЭЛ-76 невозмутимо осмотрел соседнее дерево и возразил:

— У них нет ушей.

— Знаю. Я хотел сказать, здесь могут быть шпионы.

— Шпионы?

— Ну да. Знаешь, такие нехорошие люди, которые хотят уничтожить Лунную станцию № 17.

— Зачем?

— Потому что они нехорошие. И они хотят уничтожить тебя тоже, и вот почему тебе нужно на некоторое время остаться здесь — чтобы они тебя не нашли.

— Но... но мне нужен «Дезинто». Я не должен отставать от графика.

— Будет тебе «Дезинто». Будет,— лихорадочно пообещал Пэйн, так же лихорадочно проклиная про себя устройство робота, который способен носиться только с одной-единственной идеей.— Завтра сюда пришлю «Дезинто». Да, завтра.

А до этого времени сюда уже явятся люди с завода, и он получит заветные охапки зеленых сто долларовых бумажек.

Но под раздражающим воздействием незнакомого мира робот ЭЛ-76 становился все более упрямым.

— Нет,— ответил он.— «Дезинто» нужен мне сейчас же.

Расправив свои металлические суставы, он встал.

— Я лучше пойду еще его поищу.

Пэйн бросился за ним и вцепился в холодный, жесткий локоть.

— Послушай! — закричал он.— Ты должен остаться!...

Тут в мозгу робота что-то щелкнуло.

Все необычное, окружавшее его, собралось в одну точку, его мозг осветился яркой вспышкой и заработал с необычайной эффективностью. Робот энергично повернулся к Пэйну:

— Вот что! Я могу построить «Дезинто» прямо здесь — и тогда я смогу с ним работать.

Пэйн неуверенно помолчал.

— Не думаю, чтобы я смог его построить.

Притворяются, что он умеет строить какие-то неведомые «Дезинто», явно не стоило.

— Неважно.— ЭЛ-76 почти ощущал, как позитронные связи в его мозгу перестраиваются по-новому, и испытывал успокоительное возбуждение.— Я сам могу построить «Дезинто».

Он заглянул в конуру-люкс и сказал:

— У вас здесь есть все, что мне нужно.

Рэндольф Пэйн окинул взглядом хлам, которым была завалена его хижина: выпотрошенные радиоприемники, холодильник без крышки, ржавые автомобильные двигатели, сломанная газовая плита, несколько миль разлохмаченного провода — в общем тонн пятьдесят самого разнообразного железного лома, от которого с презрением отвернулся бы любой старьевщик.

— Разве? — слабым голосом спросил он.

Два часа спустя практически одновременно произошли два события. Во-первых, Сэму Тобу, управляющему филиалом «Ю. С. Роботс энд мекэникл мэн, инкорпорэйтед» в Питерсборо, позвонил по видеофону некий Рэндольф Пэйн из Хэннафорда. Дело касалось пропавшего робота. Тоб, издав утробное рычание, отключился и приказал, чтобы впредь все подобные звонки переадресовывали шестому помощнику вице-президента, ведающему дырками для пуговиц.

Его можно было понять. Всю последнюю неделю, хотя робот ЭЛ-76 бесследно исчез, на завод непрерывно поступали сообщения о его местонахождении, приходившие со всей страны. Порой — по четырнадцать в день, причем из четырнадцати разных штатов.

Тоб был этим сыт по горло, не говоря уже о том, что он вообще дошел до иступления. Делом как будто намеревалась заняться комиссия Конгресса, хотя известнейшие специалисты по роботехнике и математической физике все до единого давали голову на отсечение, что робот совершенно безопасен.

Не удивительно, что управляющий только через три часа задумался над тем, а откуда Рэндольф Пэйн мог узнать, что робот предназначался для Лунной станции № 17? И вообще откуда он узнал, что номер робота ЭЛ-76? Эти подробности компания никому не сообщала.

Минуты полторы он размышлял, а потом взялся за дело.

Однако за те три часа, которые прошли со времени звонка Пэйна, успело произойти второе событие. Рэндольф Пэйн, который совершенно правильно истолковал нежелание управляющего продолжать разговор как признак общего недоверия к своим словам, вернулся в хижину с фотоаппаратом. Пусть-ка попробуют не поверить фотографии! Ну, а оригинал он им черта с два покажет, пока они не выложат денежки на бочку.

Все это время ЭЛ-76 занимался своим делом. Половина содержимого хижины Пэйна была разбросана на пространстве примерно в два акра, а посередине сидел на корточках робот, возясь с радиолампами, кусками железа, медной проволокой и прочим хламом. Он не обратил никакого внимания на Пэйна, который, распластавшись на животе, готовился сделать прекрасный снимок.

Именно в этот момент из-за поворота дороги вышел Лемюэл Оливер Купер и замер на месте, потрясенный открывшейся перед ним картиной. Пришел он сюда потому, что захандривший электрический тостер усвоил дурную привычку швыряться ломтиками хлеба, не потрудившись их поджарить. Удалился же Купер отсюда по куда более очевидной причине. Сюда он шел не спеша, в самом приятном, весеннем расположении духа. Обратно он устремился с такой скоростью, что любой тренер университетской легкоатлетической команды, увидев его, только широко раскрыл бы глаза и одобрительно причмокнул губами.

Не снижая скорости, Купер — уже без шляпы и тостера — ворвался в кабинет шерифа Сондерса и остановился, только налетев на стену. Дружеские руки подняли его, и в течение тридцати секунд он пытался что-то сказать, разумеется безуспешно, так как не успел еще отдышаться. Его поили виски, его обмахивали платком, и, когда он наконец заговорил, получилось примерно следующее: «Чудовище... семь футов росту... раскидало всю хижину... бедный Рэнни Пэйн...» — и так далее.

Постепенно удалось выяснить и подробности: что у хижины Рэндольфа Пэйна сидело огромное металлическое чудовище ростом футов семь, а может быть, и все восемь или девять; что сам Рэндольф Пэйн лежал ничком и весь в крови, бедняга, изувеченный до неузнавае-

мости; что чудовище усердно разносило в клочья хижину, удовлетворяя свою страсть к разрушению; что оно бросилось на Лемюзла Оливера Купера и ему, Куперу, еле удалось ускользнуть из его лап.

Шериф Сондерс затянул потуже пояс, охватывавший его обширную талию, и сказал:

— Это тот самый механический человек, который удрал с завода в Питерсборо. Нас об этом предупредили в прошлую субботу. Эй, Джейк, нацепи-ка на каждого хэннафордца, если только он умеет стрелять, по значку помощника шерифа. И чтоб в полдень они были тут! Да, вот что, Джейк, сначала загляни к вдове Пэйн и намекни ей о несчастье, только поосторожнее!

Говорят, что Миранда Пэйн, узнав о случившемся, помедлила лишь минуту, чтобы проверить, на месте ли страховой полис ее «покойного» мужа, и выразить в двух словах свое мнение о поразительной глупости, помешавшей ему застраховаться на вдвое большую сумму,— и тут же испустила такой душераздирающий, горестный вопль, какой сделал бы честь любой самой уважаемой вдове.

Несколько часов спустя Рэндольф Пэйн, ничего не зная о постигших его тяжких увечьях и ужасной смерти, с удовлетворением разглядывал только что проявленные негативы. Трудно было бы представить более исчерпывающую серию изображений трудящегося робота. Так и напрашивались названия: «Робот, задумчиво разглядывающий радиолампу», «Робот, сращивающий два провода», «Робот, размахивающий отверткой», «Робот, разносящий вдребезги холодильник» и так далее.

Оставался пустяк — напечатать фотографии, и Пэйн вышел из-за занавески, которая отгораживала импровизированную темную комнату, чтобы покурить и поболтать с роботом.

При этом он пребывал в блаженном неведении того, что окружающие леса кишат перепуганными фермерами, вооруженными чем попало, начиная от старинного мушкета — реликвии колониальных времен — и кончая ручным пулеметом самого шерифа. Не подозревал он и о том, что полдюжины роботехников во главе с Сэмом Тобом в этот момент мчатся по шоссе из Питерсборо, делая больше ста двадцати миль в час, только для того,

чтобы иметь удовольствие познакомиться с ним.

И вот, пока приближалась развязка, Рэндольф Пэйн удовлетворенно вздохнул, чиркнул спичку о сиденье своих штанов, задымил трубкой и со снисходительной усмешкой поглядел на робота ЭЛ-76.

Уже довольно давно стало ясно, что робот основательно свихнулся. Рэндольф Пэйн понимал толк в самодельных приспособлениях, так как и сам соорудил на своем веку несколько аппаратов, от которых шарахнулась бы даже самая флегматичная лошадь, но ему никогда и не снилось ничего похожего на то чудовищное сооружение, которое состряпал ЭЛ-76.

Если бы Руб Голдберг был еще жив, он умер бы от зависти; Пикассо бросил бы живопись, почувствовав, что его превзошли — и как превзошли! А если бы в радиусе полумили отсюда оказалась корова, то в этот вечер она доилась бы простоквашей.

Да, это было нечто жуткое!

Над массивным основанием из ржавого железа (Пэйн припомнил, что когда-то оно было частью подержанного трактора) вкривь и вкось поднималась паразитальная путаница проводов, колес, ламп и неопикуемых ужасов — без числа и названия. Все это завершалось наверху чем-то вроде раструба самого зловещего вида.

Пэйну захотелось было заглянуть в раструб, но он воздержался. Ему доводилось видеть, как внезапно взрывались куда более приличные на вид машины.

Он сказал:

— Послушай-ка, Эл!

Робот лежал на животе, прилаживая на место тонкую металлическую полосу. Он поднял голову.

— Что вам нужно, Пэйн?

— Что это такое?

Таким тоном мог бы задать подобный вопрос человек, глядя на полуразложившуюся гнусную падаль, которую он брезгливо держал бы на кончике трехметрового шеста.

— Это «Дезинто», который я строю, чтобы приступить к работе. Усовершенствованная модель.

Робот встал, с лязгом почистил стальные колени и с гордостью взглянул на свое сооружение.

Пэйн содрогнулся. Усовершенствованная модель! Немудрено, что оригинал прячут в лунных пещерах. Бедный спутник Земли! Бедный безжизненный спутник!

Пэйну давно хотелось узнать, какая судьба может быть хуже смерти. Теперь он это понял.

— А работать эта штука будет? — спросил он.

— Конечно.

— Откуда ты знаешь?

— А как же иначе! Ведь я его построил, разве нет? Мне нужна еще только одна деталь. Есть у вас фонарик?

— По-моему, где-то есть.

Пэйн исчез в хижине и тут же вернулся.

Робот отвинтил крышку фонарика и снова принялся за работу. Через пять минут он кончил, отступил на несколько шагов и произнес:

— Готово. Теперь я принимаюсь за работу. Можете смотреть, если хотите.

Наступила пауза, пока Пэйн пытался по достоинству оценить столь великодушное предложение.

— А это не опасно?

— С ним управится и ребенок.

— А! — Пэйн криво улыбнулся и спрятался за самое толстое дерево из всех, что были поблизости. — Валяй, — сказал он. — Я в тебя верю.

ЭЛ-76 указал на кошмарную грудку лома и произнес:

— Смотрите!

Потом его руки пришли в движение...

Бравые фермеры графства Хэннафорд, штат Виргиния, медленно стягивали кольцо вокруг хижины Пэйна. Они крались от дерева к дереву, а кровь героических предков колониальных времен играла в их жилах и по спинам ползли мурашки.

Шериф Сондерс передал по цепи приказ:

— Стрелять по моему сигналу — и целить в глаза.

К нему подошел Джекоб Линкер, Тоший Джейк, как называли его друзья, и помощник шерифа, как именовал себя он сам.

— А ну как этот механический человек смылся?

Как он ни старался, в его голосе прозвучала тихая надежда.

— Почём я знаю, — проворчал шериф. — Да навряд ли. Мы бы тогда наткнулись на него в лесу, а так он нам не попадался.

— Уж очень что-то тихо, а до хижины вроде бы рукой подать.

Джейк мог бы и не упоминать об этом — в горле шерифа Сондерса давно стоял такой большой комок, что глотать его пришлось в три приема.

— Вернись на место, — приказал он. — И держи палец на спусковом крючке.

Они уже подошли к самой поляне, и шериф Сондерс выглянул из-за дерева одним уголком плотно зажмуренного глаза. Ничего не увидев, он подождал, потом попробовал снова, на этот раз открыв глаза.

Эта попытка, естественно, оказалась более успешной.

Он увидел следующее: какой-то громадный механический человек, стоя спиной к нему, склонялся над каким-то леденящим душу корявым устройством неясного происхождения и еще более неясного назначения. Таким образом, шериф не заметил только дрожащую фигуру Рэндольфа Пэйна, который нежно обнимал узловатый ствол всего за три дерева от него к северо-северо-западу.

Шериф Сондерс выступил вперед и поднял свой ручной пулемет. Робот, по-прежнему стоявший к нему широкой металлической спиной, произнес громким голосом, обращаясь к неизвестному лицу (или лицам):

— Смотрите!

И в тот момент, когда шериф раскрыл было рот, чтобы дать сигнал открыть огонь, металлические пальцы нажали кнопку.

Точного описания того, что произошло вслед за этим, не существует, несмотря на присутствие семидесяти очевидцев. Все последовавшие затем дни, месяцы и годы ни один из этих семидесяти ни разу не обмолвился ни словом о тех нескольких секундах, которые промелькнули непосредственно после того, как шериф раскрыл рот, чтобы скомандовать: «Огонь!» Когда же их начинали расспрашивать, они просто зеленели и, пошатываясь, уходили прочь.

Однако есть основания полагать, что в общих чертах произошло следующее.

Шериф Сондерс раскрыл рот. ЭЛ-76 нажал кнопку. «Дезинто» сработал — и семьдесят пять деревьев, два сеновала, трех коров и верхние три четверти холма



Утиный Клюв как будто ветром сдуло. Так сказать,— туда, где прошлогодний снег.

После этого рот шерифа Сондерса в течение неопределенного промежутка времени оставался открытым, но не издал ни команды открыть огонь, ни какого бы то ни было иного звука. А потом...

А потом засвистел разрезаемый воздух, послышался треск и шорох многих тел, мчавшихся сквозь кусты, и лес прочертила серия лиловых молний, разлетавшихся во все стороны от хижины Рэндольфа Пэйна. От участников облавы не осталось и следа.

В окрестностях поляны валялось огнестрельное оружие самых разнообразных систем, в том числе патентованный, никелированный, сверхскорострельный, безотказный ручной пулемет шерифа. Вперемежку с оружием лежало около пятидесяти шляп, несколько недогрызенных сигар и всякие мелочи, оброненные в суматохе. Но люди исчезли.

За исключением Тощего Джейка, ни об одном из этих людей ничего не было слышно в течение трех дней. Он же стал исключением только потому, что мчаться дальше со скоростью метеора ему помешала встреча с полудюжиной служащих завода в Питерсборо, которые тоже мчались с вполне приличной скоростью, но только не из леса, а в лес.

Тощего Джейка остановил Сэм Тоб, искусно подставив на его пути свой живот. Как только к Сэму вернулось дыхание, он спросил:

— Где живет Рэндольф Пэйн?

Остекленевшие глаза Тощего Джейка на мгновение прояснились.

— Друг! — ответил он. — В противоположном направлении.

И тут же чудесным образом исчез. У самого горизонта между деревьями виднелась все уменьшавшаяся точка, и возможно, что это был Джейк, но Сэм Тоб не решился бы утверждать это под присягой.

Вот и все про облаву; но остается еще Рэндольф Пэйн, на которого события действовали несколько иначе.

Рэндольф Пэйн абсолютно не помнил, что произошло за тот пятисекундный промежуток времени, который последовал за нажатием кнопки и исчезновением холма Утиный Клюв. Только что он глядел сквозь ку-

сты на поляну, спрятавшись за деревом, и вот уже болтался на его верхней ветви. Тот же самый импульс, который разогнал облаву по горизонтали, заставил его устремиться по вертикали.

Что касается того, как он ухитрился преодолеть сто пятьдесят футов, отделявших подножие дерева от вершины, — влез он, или прыгнул, или взлетел — этого он не знал, да и знать не хотел.

Знал он одно: робот, временно находившийся в его владении, уничтожил чужую собственность. Мечты о вознаграждении испарились, сменившись кошмарными видениями, в которых фигурировали возмущенные сограждане, разъяренные толпы линчевателей, судебные иски, арест по обвинению в убийстве и тирады Миранды Пэйн. В основном — тирады Миранды Пэйн.

Он хрипло завопил:

— Эй ты, робот, разбей эту штуку, слышишь? Разбей ее вдребезги! И забудь, что мы с тобой знакомы! Ты меня не знаешь, ясно? И чтобы ты никому ни слова об этом не говорил! Забудь, все забудь, слышишь?

Он не думал, что от его приказа будет какой-нибудь толк; просто ему надо было высказаться. Но он не знал, что робот всегда выполняет приказания человека, за исключением тех случаев, когда их выполнение связано с опасностью для другого человека.

Поэтому ЭЛ-76 принял спокойно и методично разносить «Дезинто» вдребезги, превращая его в груды лома.

В тот самый момент, когда он дотаптывал последний кубический дюйм машины, на поляне появился Сэм Тоб со своей командой, а Рэндольф Пэйн, почувствовав, что пришли настоящие хозяева робота, кубарем свалился с дерева и во все лопатки пустился наутек в неизвестном направлении.

Дождаться вознаграждения он не стал.

Инженер-роботехник Остин Уайльд повернулся к Сэму Тобу и спросил:

— Вы чего-нибудь добились от робота?

Тоб покачал головой и басом прорычал:

— Ничего. Ни слова. Он забыл все, что произошло с того момента, как он ушел с завода. Должно быть, ему было приказано забыть — иначе он помнил бы хоть

что-нибудь. С какой это кучей лома он возился?

— Вот именно — куча лома. Но ведь это, несомненно, был «Дезинто», который он разбил. Если бы мне попался тот человек, который приказал ему это сделать, он бы у меня умер в страшных мучениях. Вот, взгляните!

Они стояли на склоне бывшего холма Утиный Ключ, точнее говоря, на том месте, где склон обрывался, так как вершина холма была начисто срезана. Уайльд провел рукой по безукоризненно ровной поверхности.

— Какой «Дезинто»! — сказал он. — Сбрил холм до самого основания!

— Почему он его построил?

Уайльд пожал плечами.

— Не знаю. Какой-то местный фактор — мы так и не узнаем какой — так подействовал на его позитронный мозг лунного образца, что он построил «Дезинто» из лома. У нас есть не больше одного шанса на миллион, что нам удастся когда-нибудь еще наткнуться на этот фактор, раз сам робот все забыл. У нас никогда не будет второго такого «Дезинто».

— Неважно. Главное, мы отыскали работа.

— Как бы не так, — с горечью возразил инженер. — Вы когда-нибудь имели дело с «Дезинто» на Луне? Они жрут энергию, как электрические свиньи, и начинают работать не раньше, чем напряжение дойдет до миллиона вольт. А этот «Дезинто» работал на ином принципе. Я посмотрел все обломки под микроскопом, и знаете, какой единственный источник питания я обнаружил?

— Какой?

— Вот, и больше ничего! И мы никогда не узнаем, как он этого добился.

И Остин Уайльд показал источник питания, позволивший «Дезинто» за полсекунды снести холм, — две батарейки от карманного фонаря.

## МЕЧТЫ — ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО

Джесс Уэйл оторвался от бумаг на своем письменном столе. Его сухощавая старческая фигура, орлиный нос, глубоко посаженные сумрачные глаза и буйная белоснежная шевелюра успели стать своего рода фирменной маркой всемирно известной акционерной компании «Грезы».

Он спросил:

— Мальчуган уже пришел, Джо?

Джо Дули был невысок ростом и коренаст. К его влажной губе ласково прилипла сигара. Теперь он вынул ее изо рта и кивнул.

— И родители тоже. Напугались, понятное дело.

— А вы не ошиблись, Джо? Я ведь занят,— Уэйл взглянул на часы.— В два часа у меня чиновник из министерства.

— Вернее верного, мистер Уэйл,— горячо заявил Джо, и его лицо выразило такую убежденность, что даже толстые щеки задергались.— Я же вам говорил, что высмотрел мальчишку, когда он играл в баскетбол на школьном дворе. Видели бы его! Мазила, одно слово. Чуть мяч попадал к нему, так свои же торопились его отобрать, а малыш все равно держался звезда-звездой. Понимаете? Тут-то я и взял его на заметку.

— А вы с ним поговорили?

— Ну, а как же! Я подошел к нему, когда они завтракали. Вы же меня знаете, мистер Уэйл,— Дули возбужденно взмахнул сигарой, но успел подхватить в ладонь слетевший пепел.— «Малыш»,— сказал я...

— Так из него можно сделать мечтателя?

— Я сказал: «Малыш, я сейчас прямо из Африки и...»

— Хорошо,— Уэйл поднял ладонь.— Вашего мнения для меня достаточно. Не могу понять, как это у вас получается, но если я знаю, что мальчик выбран вами, я всегда готов рискнуть. Позовите его.

Мальчик вошел в сопровождении родителей. Дули пододвинул им стулья, а Уэйл встал и обменялся с вошедшими любезным рукопожатием. Мальчику он улыбнулся так, что каждая его морщина начала лучиться добродушием.

— Ты ведь Томми Слуцкий?

Томми молча кивнул. Для своих десяти лет он выглядел, пожалуй, слишком щуплым. Темные волосы были прилизаны с неубедительной аккуратностью, а рожица сияла неестественной чистотой.

— Ты ведь послушный мальчик?

Мать Томми расплылась в улыбке и с материнской нежностью погладила сына по голове (выражение тревоги на лице мальчугана при этом несколько не смягчилось).

— Он очень послушный и очень хороший мальчик,— сказала она.

Уэйл пропустил это сомнительное утверждение мимо ушей.

— Скажи мне, Томми,— начал он, протягивая леденец, который после некоторых колебаний был все-таки принят,— ты когда-нибудь слушал грезы?

— Случалось,— сказал Томми тонким фальцетом.

Мистер Слуцкий, один из тех широкоплечих, толстопалых чернорабочих, которые в посрамление евгеники оказываются порой отцами мечтателей, откашлялся и пояснил:

— Мы иногда брали для малыша напрокат парочку-другую грез. Настоящих, старинных.

Уэйл кивнул и опять обратился к мальчику:

— А они тебе нравятся, Томми?

— Чепухи в них много.

— Ты ведь для себя придумываешь куда лучше, правда?

Ухмылка, расплзшаяся по ребячьей рожице, смягчила неестественность прилизанных волос и чисто вымытых щек и носа.

Уэйл мягко продолжал:

— А ты не хочешь помечтать для меня?

— Да не-ет,— смущенно ответил Томми.

— Это же не трудно, это совсем легко... Джо!

Дули отодвинул ширму и подкатил к ним грезограф.

Мальчик в недоумении уставился на аппарат.

Уэйл взял шлем и поднес его к лицу мальчика.

— Ты знаешь, что это такое?

— Нет,— попятившись, ответил Томми.

— Это мысленница. Мы называем ее так потому, что люди в нее думают. Надень ее на голову и думай, о чем хочешь.

— И что тогда будет?

— Ничего не будет. Это довольно приятно.

— Нет,— сказал Томми. — Лучше не надо.

Его мать поспешно нагнулась к нему.

— Это не больно, Томми. Делай, что тебе говорят,— истолковать ее тон было нетрудно.

Томми весь напрягся, и секунду казалось, что он вот-вот заплачет. Уэйл надел на него мысленницу.

Сделал он это очень бережно и осторожно и с полминуты молчал, давая мальчику время убедиться, что ничего страшного не произошло, и свыкнуться с ласкающим прикосновением фибрилл к швам его черепа (сквозь кожу они проникали совершенно безболезненно), а главное, с легким жужжанием меняющегося вихревого поля.

Наконец он сказал:

— А теперь ты для нас подумаешь?

— О чем? — из-под шлема были видны только нос и рот мальчика.

— О чем хочешь. Ну, скажем, уроки в школе окончились, и ты можешь делать все, что пожелаешь.

Мальчик немного подумал, а потом возбужденно спросил:

— Можно мне полетать на стратолете?

— Конечно! Сколько угодно. Значит, ты летишь на стратолете. Вот он стартует.— Уэйл сделал незаметный знак, и Дули включил замораживатель.

Сеанс продолжался только пять минут, а потом Дули проводил мальчика и его мать в приемную. Томми был несколько растерян, но в остальном перенесенное испытание никак на него не подействовало.

Когда они вышли, Уэйл повернулся к отцу семейства.

— Так вот, мистер Слуцкий, если проба окажется удачной, мы готовы выплачивать вам пятьсот долларов ежегодно, пока Томми не кончит школу. Взамен мы попросим только о следующем: чтобы он каждую неделю проводил один час в нашем специальном училище.

— Мне надо будет подписать какую-нибудь бумагу? — хриплым голосом спросил Слуцкий.

— Разумеется. Ведь это деловое соглашение, мистер Слуцкий.

— Уж и не знаю, что вам ответить. Я слышал, что мечтателя отыскать не так-то просто.

— Безусловно, безусловно. Но ведь ваш сын, мистер Слуцкий, еще не мечтатель. И не известно, станет ли он мечтателем. Пятьсот долларов в год для нас — ставка в лотерее. А для вас они верный выигрыш. Когда Томми окончит школу, может оказаться, что он вовсе не мечтатель, но вы на этом ничего не потеряете. Наоборот, получите примерно четыре тысячи долларов. Ну, а если он все-таки станет мечтателем, он будет неплохо зарабатывать; и уж тогда вы будете в полном выигрыше.

— Ему же надо будет пройти специальное обучение?

— Само собой разумеется, и оно крайне сложно! Но об этом мы поговорим, когда он кончит школу. Тогда в течение двух лет мы его окончательно вытенируем. Положитесь на меня, мистер Слуцкий.

— А вы гарантируете это специальное обучение?

Уэйл, который уже пододвинул контракт к Слуцкому и протянул ему ручку колпачком вперед, усмехнулся, положил ручку и сказал:

— Нет, не гарантируем. Это невозможно, так как мы не знаем, действительно ли у него есть талант. Однако ежегодные пятьсот долларов останутся у вас.

Слуцкий подумал и покачал головой.

— Я вам честно скажу, мистер Уэйл... Когда ваш агент договорился, что мы придем к вам, я позвонил в «Сны наяву». Они сказали, что у них обучение гарантируется.

Уэйл вздохнул.

— Мистер Слуцкий, не в моих правилах критиковать конкурента. Если они сказали, что гарантируют обучение, значит, они это условие выполняют, однако никакое обучение не сделает из вашего сына мечтателя, если у

него нет настоящего таланта. А подвергнуть обыкновенного мальчика специальной тренировке — значит погубить его. Мечтателя из него сделать невозможно, даю вам слово. Но и нормальным человеком он тоже не останется. Не рискуйте так судьбой вашего сына. Компания «Грезы» будет с вами совершенно откровенна. Если он может стать мечтателем, мы сделаем его мечтателем. Если же нет, мы вернем его вам таким, каким он пришел к нам, и скажем: «Пусть он приобретет какую-нибудь обычную специальность». При этом здоровью вашего сына ничто не угрожает, и в конечном счете так будет лучше для него. Послушайте меня, мистер Слуцкий, — у меня есть сыновья, дочери, внуки, и я знаю, о чем говорю, — так вот: я за миллион долларов не позволил бы моему ребенку начать грезить, если бы он не был к этому подготовлен. И за миллион!

Слуцкий вытер рот ладонью и потянулся за ручкой.

— Что тут сказано-то?

— Это просто расписка. Мы выплачиваем вам немедленно сто долларов наличными. Без каких-либо обязательств для обеих сторон. Мы рассмотрим мечты мальчика. Если нам покажется, что у него есть задатки, мы дадим вам знать и подготовим контракт на пятьсот долларов в год. Положитесь на меня, мистер Слуцкий, и не беспокойтесь. Вы не пожалеете.

Слуцкий подписал.

Оставшись один, Уэйл надел на голову размораживатель и внимательно впитал мечты мальчика. Это была типичная детская фантазия. «Я» находилось в кабине управления, представлявшей собой смесь образов, почерпнутых из приключенческих киноки, которыми еще пользовались те, у кого не было времени, желания или денег, чтобы заменить их цилиндриками грез.

Когда мистер Уэйл снял размораживатель, он увидел перед собой Дули.

— Ну, как он, по-вашему, мистер Уэйл? — спросил Дули с любопытством и гордостью первооткрывателя.

— Может быть, из него и выйдет толк, Джо. Может быть. У него есть обертоны, а для десятилетнего мальчишки, не знающего даже самых элементарных приемов, это уже немало. Когда самолет пробивался сквозь облака, возникло совершенно четкое ощущение подушек. И пахло крахмальными простынями — забавная деталь. Им стоит заняться, Джо.



— Отлично!

— Но вот что, Джо: нам нужно бы отыскивать их еще раньше. А почему бы и нет? Придет день, Джо, когда каждого младенца будут испытывать в первый же день его жизни. Несомненно, в мозгу должно существовать какое-то отличие, необходимо только установить, в чем именно оно заключается. Тогда мы сможем отбирать мечтателей на самом раннем этапе.

— Черт побери, мистер Уэйл,— обиженно сказал Джо.— Значит, я-то останусь без работы?

— Вам еще рано об этом беспокоиться, Джо,— засмеялся Уэйл.— На вашем веку этого не случится. И уж во всяком случае, на моем. Нам еще много лет будут необходимы хорошие разведчики талантов, вроде вас. Продолжайте искать на школьных площадках и на улицах,— узловатые пальцы Уэйла дружески легли на плечо Дули,— и отыщите нам еще парочку-другую Хиллари и Яновых. И тогда мы оставим «Сны наяву» далеко за флагом... Ну, а теперь идите. Я хотел бы перекусить до двух часов. Министерство, Джо, министерство! — и он многозначительно подмигнул.

Посетитель, который явился к Джессу Уэйлу в два часа, оказался белобрысым молодым человеком в очках, с румяными щеками и проникновенным выражением лица, свидетельствовавшим о том, что он придает своей миссии огромное значение. Он предъявил удостоверение, из которого следовало, что перед Уэйлом — Джон Дж. Бэрн, уполномоченный Министерства наук и искусств.

— Здравствуйте, мистер Бэрн,— сказал Уэйл.— Чем могу быть полезен?

— Мы здесь одни? — спросил уполномоченный неожиданно густым баритоном.

— Совершенно одни.

— В таком случае с вашего разрешения я хотел бы, чтобы вы впитали вот это,— он протянул Уэйлу потертый цилиндрок, брезгливо держа его двумя пальцами.

Уэйл взял цилиндрок, осмотрел его со всех сторон, взвесил в руке и сказал с улыбкой, обнаживший все его фальшивые зубы:

— Во всяком случае, это не продукция компании «Грезы», мистер Бэрн.

— Я этого и не предполагал,— ответил уполномоченный.— Но все-таки мне хотелось бы, чтобы вы это

впитали. Впрочем, на вашем месте я поставил бы аппарат на автоматическое отключение через минуту, не больше.

— Больше вытерпеть невозможно? — Уэйл подтянул приемник к своему столу и вставил цилиндрик в размораживатель, однако тут же вытащил его, протер оба конца носовым платком, и попробовал еще раз.— Скверный контакт,— заметил он.— Любительская работа.

Уэйл нахлобучил мягкий размораживающий шлем, поправил височные контакты и установил стрелку автоматического отключателя. Затем откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и приступил к впитыванию. Пальцы его напряглись и впились в лацканы пиджака.

Едва автоматический выключатель прервал впитывание, Уэйл снял размораживатель и сказал с заметным раздражением:

— Грубоватая вещичка. К счастью, я уже стар и подобные вещи на меня не действуют.

Бэрн сухо ответил:

— Это еще не самое худшее, что нам попадалось. А увлечение ими растет.

Уэйл пожал плечами.

— Порнографические грезы. Я полагаю, их появления следовало ожидать.

— Следовало или не следовало, но они представляют собой смертельную угрозу для нравственного духа нации,— возразил уполномоченный министерства.

— Нравственный дух,— заметил Уэйл,— штука необыкновенно живучая. А эротика в той или иной форме существовала во все века.

— Но не в подобной, сэр! Непосредственная стимуляция от сознания к сознанию гораздо эффективнее грязных анекдотов или непристойных рисунков, воздействие которых несколько ослабляется в процессе восприятия через органы чувств.

Это было неоспоримо, и Уэйл только спросил:

— Так чего же вы хотите от меня?

— Не могли бы вы подсказать нам, каково происхождение этого цилиндрика?

— Мистер Бэрн, я не полицейский!

— Что вы, что вы! Я вовсе не прошу вас делать за нас нашу работу. Министерство вполне способно прово-

дить собственные расследования. Я только спрашиваю ваше мнение как специалиста. Вы сказали, что это не продукция вашей компании. Так чья же это продукция?

— Во всяком случае, не какой-либо солидной фирмы, изготавливающей грезы, за это я могу поручиться. Слишком скверно сделано.

— Возможно, нарочно. Для маскировки.

— И это не произведение профессионального мечтателя.

— Вы уверены, мистер Уэйл? А не могут профессиональные мечтатели работать и на какое-нибудь тайное предприятие — ради денег... или просто для собственного удовольствия?

— Отчего же? Но во всяком случае, этот цилиндр — не их работа. Полное отсутствие обертонов. Никакой объемности. Правда, для такого произведения обертоны и не нужны.

— А что такое обертоны?

— Следовательно, вы не увлекаетесь грезами? — мягко усмехнулся Уэйл.

— Я предпочитаю музыку, — ответил Бэрн, тщетно пытаясь не выглядеть самодовольным снобом.

— Это тоже неплохо, — снисходительно заметил Уэйл. — Но в таком случае мне будет труднее объяснить вам сущность обертонов. Даже любители грез не смогли бы сказать вам толком, что это такое. И все-таки они сразу чувствуют, что греза никуда не годится, если ей не хватает обертонов. Видите ли, когда опытный мечтатель погружается в транс, он ведь не придумывает сюжетов, какие были в ходу в старом телевидении и кинокинях. Его греза слагается из ряда отдельных видений, и каждое поддается нескольким толкованиям. Если исследовать их внимательно, можно найти пять-шесть таких толкований. При простом впитывании заметить их трудно, но они выявляются при тщательном анализе. Поверьте, мои психологи часами занимаются только этим. И все обертоны, все различные смыслы сливаются в единую массу управляемой эмоции. А без них греза была бы плоской и пресной. Скажем, сегодня утром я пробовал десятилетнего мальчика. У него, несомненно, есть задатки. Облако для него не просто облако, но и подушка. А наделенное сенсуальными свойствами обоих этих предметов, облако становится чем-то бóльшим. Конечно, греза этого мальчика еще крайне примитивна.

Но когда он окончит школу, он пройдет специальный курс и тренировку. Он будет подвергнут ощущениям всех родов. Он накопит опыт. Он будет изучать и анализировать классические грезы прошлого. Он научится контролировать и направлять свои мечты, хотя я всегда утверждаю, что мечтатель хорош, когда он импровизирует.

Уэйл внезапно умолк и после паузы продолжал уже спокойнее:

— Простите, я несколько увлекся. Собственно говоря, я хотел объяснить вам, что у каждого профессионального мечтателя существует свой тип обертонов, который ему не удалось бы скрыть. Для специалиста это словно его подпись на грезе. И мне, мистер Бэрн, известны все эти подписи. Ну, а порнография, которую вы мне принесли, вообще лишена обертонов. Это произведение обыкновенного человека. Может быть, он и не лишен способностей, но думать он умеет не больше, чем вы и я.

— Очень многие люди умеют думать, мистер Уэйл,— возразил Бэрн, краснея.— Даже если они и не создают грез.

— Ах, право же! — Уэйл взмахнул рукой.— Не сердитесь на старика. Я сказал «думать» не в смысле «мыслить», а в смысле «грезить». Мы все немножко умеем грезить, как все немножко умеем бегать. Но сумеем ли мы с вами пробежать милю за четыре минуты? Мы с вами умеем говорить, но ведь это же еще не делает нас составителями толковых словарей? Вот, например, когда я думаю о бифштексе, в моем сознании возникает просто слово. Разве что мелькнет образ сочного бифштекса на тарелке. Возможно, у вас образное восприятие развито больше и вы успеете увидеть и поджаристую корочку, и лук, и румяный картофель. Возможно. Ну, а настоящий мечтатель... Он и видит бифштекс, и обоняет его, и ощущает его вкус и все, что с ним связано,— даже жаровню, даже приятное чувство в желудке, и то, как нож разрезает мясо, и еще сотни всяких подробностей, причем все сразу. Предельно сенсуальное восприятие. Предельно. Ни вы, ни я на это не способны.

— Ну, так! — сказал Бэрн.— Значит, тут мы имеем дело не с произведением профессионального мечтателя. Во всяком случае, это уже что-то,— он спрятал цилиндр

рик во внутренний карман пиджака.— Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу всемерную помощь, когда примем меры для прекращения подобного тайного производства?

— Разумеется, мистер Бэрн. От всей души.

— Будем надеяться,— сказал Бэрн тоном человека, сознающего свою власть.— Конечно, не мне решать, какие именно меры будут приняты, но подобные штучки,— он похлопал себя по карману, где лежал цилиндр,— невольно наводят на мысль, что следовало бы ввести действительно строгую цензуру на грезы.

Бэрн встал.

— До свидания, мистер Уэйл.

— До свидания, мистер Бэрн. Я всегда надеюсь на лучшее.

Фрэнсис Беленджер влетел в кабинет Джесса Уэйла, как всегда, в страшном ажиотаже. Его рыжие волосы стояли дыбом, а лицо лоснилось от пота и волнения. Но он тут же замер на месте. Уэйл сидел, уткнувшись головой в сложенные на столе руки, так что виден был только его седой затылок.

Беленджер судорожно выговорил:

— Что с вами, шеф?

Уэйл поднял голову.

— Это вы, Фрэнк?

— Что случилось, шеф? Вы больны?

— В моем возрасте все больны, но я еще держусь на ногах. Пошатываюсь, но держусь. У меня был уполномоченный из министерства.

— Что ему понадобилось?

— Грозил цензурой. Он принес образчик того, что ходит по рукам. Дешевые грезы для пьяных оргий.

— Ах ты черт! — с чувством сказал Беленджер.

— Беда в том, что опасения за нравственность — отличный предлог для разворачивания широкой кампании. Они будут бить и правых и виноватых. А по правде говоря, Фрэнк, и наша позиция уязвима.

— Как же так? Уж наша продукция абсолютно целомудренна. Приключения и романтические страсти.

Уэйл выпятил нижнюю губу и наморщил лоб.

— Друг перед другом, Фрэнк, нам незачем притворяться. Целомудренна? Все зависит от точки зрения.

Конечно, то, что я скажу, не для широкой публики, но мы-то с вами знаем, Фрэнк, что в каждой грезе есть свои фрейдистские ассоциации. От этого никуда не уйдешь.

— Ну, конечно, если их специально выискивать! Скажем, психиатр...

— И средний человек тоже. Обычный потребитель не знает про эту подоплеку и, возможно, не сумеет отличить фаллический символ от символа материнства, даже если ему прямо на них указать. И все-таки его подсознание знает. Успех многих грез и объясняется именно этими подсознательными ассоциациями.

— Ну, допустим. И что же намерено предпринять правительство? Будет оздоравливать подсознание?

— То-то и плохо. Я не знаю, что они предпримут. У нас есть только один козырь, на который я в основном и возлагаю все надежды: публика любит грезы и не захочет их лишиться... Ну, оставим это. Зачем вы пришли? У вас ведь, вероятно, есть ко мне какое-то дело?

Беленджер бросил на стол перед Уэйлом маленький, похожий на трубочку предмет и заправил поглубже в брюки выбившуюся рубашку.

Уэйл снял блестящую пластмассовую обертку и вынул цилиндрик. На одном конце свивалась в вычурную спираль нежно-голубая надпись: «По гималайской тропе». Рядом стоял фирменный знак «Снов наяву».

— Продукция Конкурента.— Уэйл произнес эти слова так, словно каждое начиналось с большой буквы, и его губы иронически искривились.— Эта греза еще не поступала в широкую продажу. Где вы ее раздобыли, Фрэнк?

— Неважно. Мне нужно только, чтобы вы ее впитали.

— Сегодня всем почему-то нужно, чтобы я впитывал грезы,— вздохнул Уэйл.— Фрэнк, а это не порнография?

— Разумеется, в ней имеются ваши любимые фрейдистские символы,— язвительно сказал Беленджер.— Горные пики, например. Надеюсь, вам они не опасны.

— Я старик. Для меня они уже много лет не опасны, но та греза была выполнена до того скверно, что было просто мучительно... Ну ладно, посмотрим, что тут у вас.

Уэйл снова пододвинул к себе аппарат и надел раз-

мораживатель на виски. На этот раз он просидел, откинувшись в кресле, больше четверти часа, так что Фрэнсис Беленджер успел торопливо выкурить две сигареты.

Когда Уэйл наконец снял шлем и замигал, привыкая к дневному свету, Беленджер спросил:

— Ну, что скажете, шеф?

Уэйл наморщил лоб.

— Не для меня. Слишком много повторений. При такой конкуренции компания «Грезы» может еще долго жить спокойно.

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, шеф. Такая продукция обеспечит «Снам наяву» победу. Нам необходимо что-то предпринять!

— Послушайте, Фрэнк...

— Нет, вы послушайте! За этим — будущее!

— За этим? — Уэйл с добродушно-недоверчивой усмешкой посмотрел на цилиндрик. — Сделано по-любительски. Множество повторений. Обертон грубоваты. У снега — четкий привкус лимонного шербета! Ну, кто теперь чувствует в снегу лимонный шербет, Фрэнк? В старину — другое дело. Еще лет двадцать назад. Когда Лаймен Хэррисон создал свои «Снежные симфонии» для продажи на юге, это было великолепной находкой. Шербет, и леденцовые вершины гор, и катание на санках с утесов, глазированных шоколадом. Дешевка, Фрэнк. В наши дни это не годится.

— Все дело в том, шеф, — возразил Беленджер, — что вы отстали от времени. Я должен поговорить с вами откровенно. Когда вы основали грезовое предприятие, скупили основные патенты и начали производство грез, они были предметом роскоши. Сбыт был узкий и индивидуализированный. Вы могли позволить себе выпускать специализированные грезы и продавать их по высокой цене.

— Знаю, — ответил Уэйл. — И мы продолжаем это делать. Но, кроме того, мы открыли прокат грез для широкого потребителя.

— Да, но этого мало. О, конечно, наши грезы сделаны тонко. Их можно впитывать множество раз. И даже при десятом впитывании обнаруживаешь что-то новое и опять получаешь удовольствие. Но много ли есть подлинных знатоков? И еще одно. Наша продукция крайне индивидуализирована. Все в первом лице.

— И что же?

— А то, что «Сны наяву» открывают грезотеатры. Они уже открыли один в Нашвилле на триста кабинок. Клиент входит, садится в кресло, надевает размораживатель и получает свою грезу. Ту же, что и все остальные вокруг.

— Я слышал об этом, Фрэнк. Ничего нового. Такие попытки уже не раз оканчивались неудачей. То же будет и теперь. Хотите знать почему? Потому что мечты — это личное дело каждого. Неужели вам будет приятно, если ваш сосед узнает, о чем вы грезите? Кроме того, в грезотеатре сеансы должны начинаться по расписанию, не так ли? И, значит, мечтающему придется грезить не тогда, когда он хочет, а когда назначит директор театра. Наконец, греза, которая нравится одному, не понравится другому. Я вам гарантирую, что из трехсот посетителей этих кабинок сто пятьдесят останутся недовольны. А в этом случае они больше туда не пойдут.

Беленджер медленно закатал рукава рубашки и растегнул воротничок.

— Шеф! — сказал он. — Вы говорите наобум. Какой смысл доказывать, что они потерпят неудачу, когда они уже имеют успех? Я узнал сегодня, что «Сны наяву» нащупывают почву, чтобы открыть в Сент-Луисе театр на тысячу кабинок. Привыкнуть грезить на людях трудно, если все вокруг грезят о том же. И публика легко привыкнет мечтать в указанном месте и в указанный час, если это дешево и удобно. Черт побери, шеф. Это же форма общения. Влюбленная парочка идет в грезотеатр и поглощает какую-нибудь романтическую пошлятину со стереотипными обертонами и избитыми положениями, и все-таки они выйдут из кабинок, шагая по звездам. Ведь они грезили одинаково. Они испытали одинаковые слащавые сантименты. Они... они настроены на один лад, шеф. И, уж конечно, они снова пойдут в грезотеатр и приведут своих друзей.

— А если греза им не понравится?

— В том-то и соль! В том-то все и дело! Она им не может не понравиться. Когда вы готовите утонченные грезы Хиллари с отражениями в отражениях отражений, с хитрейшими поворотами на третьем уровне обертонов, с тонким переходом значений и всеми прочими приемами, которыми мы так гордимся, конечно, подобная вещь оказывается рассчитанной на любителя. Утонченные грезы для утонченного вкуса. А «Сны наяву»



выпускают простенькую продукцию в третьем лице, так что она годится и для мужчин и для женщин. Вроде той, которую вы только что впитали. Простенькие, повторяющиеся, пошловатые. Они рассчитаны на самое примитивное восприятие. Может быть, горячих поклонников у них не будет, но и отвращения они ни у кого не вызовут.

Уэйл долго молчал, и Беленджер не сводил с него испытующего взгляда. Затем Уэйл сказал:

— Фрэнк, я начал с качественной продукции и менять ничего не буду. Возможно, вы правы. Возможно, за грезотеатрами будущее. В таком случае мы их тоже откроем, но будем показывать хорошие вещи. Может быть, «Сны наяву» недооценивают широкую публику. Не будем торопиться и впадать в панику. Я всегда исходил из теории, что качественная продукция обязательно находит сбыт. И, как это ни удивительно, мальчик мой, иногда весьма широкий сбыт.

— Шеф...— начал Беленджер, но тут же умолк, так как раздалось жужжание внутреннего телефона.

— В чем дело, Рут? — спросил Уэйл.

— Мистер Хиллари, сэр — раздался голос секретарши.— Он хочет немедленно увидиться с вами. Он говорит, что дело не терпит отлагательства.

— Хиллари? — в голосе Уэйла прозвучало испуганное недоумение.— Подождите пять минут, Рут, потом пошлите его сюда.

Уэйл повернулся к Беленджеру.

— Этот день, Фрэнк, я никак не могу назвать удачным. Место мечтателя — дома, у его мысленницы. А Хиллари — наш лучший мечтатель, и, значит, ему больше чем кому-нибудь другому следует быть дома. Как по-вашему, что произошло?

Беленджер, все еще терзаемый мрачными мыслями о «Снах наяву» и грезотеатрах, в ответ буркнул только:

— Позовите его сюда и все узнаете.

— Немного погодя. Скажите, какова его последняя греза? Я не ознакомился с той, которая вышла на прошлой неделе.

Беленджер наконец очнулся. Он сморщил нос.

— Так себе.

— А почему?

— Слишком рваная. До бессвязности. Я ничего не имею против резких переходов, придающих остроту, но

ведь должна же быть хоть какая-то связь, пусть и на самом глубоком уровне.

— Никуда не годится?

— У Хиллари таких не бывает. Но потребовался значительный монтаж. Мы довольно много выбросили и вставили старые куски — из тех, что он иногда нам присылает. Ну, из разобренных образов. Получилась, конечно, не первоклассная греза, но вполне терпимая.

— И вы ему об этом сказали, Фрэнк?

— Да что я, псих, шеф? Что я, по-вашему, способен попрекнуть мечтателя качеством?

Но тут дверь открылась и хорошенькая секретарша Уэйла с улыбкой впустила в кабинет Шермана Хиллари.

Шерману Хиллари был тридцать один год, и даже самый ненаблюдательный человек сразу же распознал бы в нем мечтателя. Он не носил очков, но взгляд его был растерянным, как у очень близоруких людей, когда они снимают очки, или у тех, кто не привык вглядываться в окружающий мир. Он был среднего роста, но очень худ, его черные волосы давно следовало бы подстричь, подбородок казался слишком узким, а кожа — чересчур бледной. Он был чем-то очень расстроен.

— Здравствуйте, мистер Уэйл, — невнятно пробормотал Хиллари и неловко кивнул в сторону Беленджера.

— Шерман, мальчик мой, — приветливо заговорил Уэйл. — Вы прекрасно выглядите. Что случилось? Греза никак толком не стряпается? И вас это волнует? Ну, садитесь, садитесь же!

Мечтатель сел — на краешек стула, крепко сжав колени, словно собирался вскочить по первому приказу. Он сказал:

— Я пришел сообщить вам, мистер Уэйл, что я ухажу.

— Уходите?

— Я не хочу больше грезить, мистер Уэйл.

Старое лицо Уэйла вдруг стало совсем дряхлым — впервые за этот день.

— Почему же, Шерман?

Губы мечтателя задержались. Он заговорил торопливо:

— Потому что я не живу, мистер Уэйл. Все проходит мимо меня. Сначала было не так. Это было даже

почти развлечением. Я грезил по вечерам или в свободные дни, когда мне хотелось. Ну, и в любое другое время. А когда не хотелось — не грезил. Но теперь-то, мистер Уэйл, я уже старый профессионал. Вы мне говорили, что я один из лучших в нашем деле и грезопромышленность ждет от меня новых оттенков, новых вариантов прежних находок, вроде порхающих фантазий или двойной пародии.

— И лучше вас действительно нет никого, Шерман,— сказал Уэйл.— Ваша миниатюрка, где вы дирижируете оркестром, продолжает расходиться вот уже десятый год.

— Ну и хорошо, мистер Уэйл. Я принес свою пользу. А теперь дошло до того, что я не могу выйти из дому. Я совсем не вижу жены. Моя дочка даже не узнает меня. На той неделе мы пошли в гости — Сара меня заставила, и я совсем этого не помню. Сара говорит, что я целый вечер сидел на кушетке, глядел прямо перед собой и что-то бормотал. Она говорит, что все на меня косились. Она проплакала всю ночь. Я устал от этого, мистер Уэйл. Я хочу быть нормальным человеком и жить в реальном мире. Я обещал Саре, что уйду, и я уйду. И прощайте, мистер Уэйл,— Хиллари встал и неловким движением протянул руку Уэйлу.

Уэйл мягко отвел ее.

— Если вы хотите уйти, Шерман, вы, конечно, уйдете. Но окажите любезность старику, выслушайте меня.

— Я не передумаю,— сказал Хиллари.

— Я и не собираюсь вас уговаривать. Я только хочу вам кое-что объяснить. Я старик и занимался этим делом, когда вы еще не родились, и, естественно, люблю порассуждать о нем. Ну, так доставьте мне это удовольствие, Шерман. Прошу вас.

Хиллари сел. Прикусив нижнюю губу, он угрюмо рассматривал свои ногти.

Уэйл сказал:

— А вы знаете, что такое мечтатель, Шерман? Вы знаете, чем он является для обычных людей? Вы знаете, каково быть такими, как я, как Фрэнк, как ваша жена Сара? Жить с ущербным сознанием, которое не способно воображать, лепить мысли? У обычных людей, вроде меня, порой возникает потребность бежать от этой нашей жизни. Но мы не можем этого сделать. Нам нужна помощь. В старину для этого служили книги, спектакли,

радио, кино, телевидение. Они давали нам иллюзии, но важно было даже не это. Важно было то, что на краткий срок стимулировалось наше собственное воображение. Мы начинали мечтать о сказочных принцах и прекрасных принцессах. Мы становились красивыми, остроумными, сильными, талантливыми — такими, какими мы на самом деле не были. Но тогда переход грезы от мечтателя к впитывающему не был совершенным. Ее приходилось тем или иным способом воплощать в слова. А самый лучший в мире мечтатель порой вообще бывает неспособен выразить свои грезы словами. И самый лучший писатель бывал способен облечь в слова лишь жалкую часть своих грез. Вы понимаете это? Но теперь, когда мечты научились записывать, каждый человек получил возможность грезить. Вы, Шерман, и горстка вам подобных творите грезы непосредственно. Греза из вашего мозга сразу переходит в наш, не утрачивая силы. Когда вы грезите, вы грезите за сотни миллионов людей. Вы создаете разом сотни миллионов грез. Это чудесно, мальчик мой. Благодаря вам эти люди получают возможность испытать то, что самим им испытывать не дано.

— Я свое дело сделал,— пробормотал Хиллари. Он стремительно поднялся со стула.— Я покончил с этим. Мне все равно, что вы там говорите. А если вы намерены подать на меня в суд за нарушение контракта, то подавайте. Мне все равно.

Уэйл тоже встал.

— Намерен ли я подать на вас в суд?.. Рут,— сказал он в телефон,— принесите, пожалуйста, наш экземпляр контракта с мистером Хиллари.

Уэйл молча ждал. И Хиллари. И Беленджер. Уэйл чуть-чуть улыбался и барабанил по столу пергаментными пальцами.

Секретарша принесла контракт.

Уэйл взял его, показал первую страницу Хиллари и сказал:

— Шерман, мальчик мой, раз вы не хотите оставаться у меня, то вы и не должны у меня оставаться.

Затем, прежде чем ужаснувшийся Беленджер успел хотя бы поднять руку, чтобы остановить его, он разорвал контракт пополам и еще раз пополам и бросил клочки в мусоропоглотитель.

— Вот и все.

Хиллари схватил руку Уэйла.

— Спасибо, мистер Уэйл,— сказал он прерывающимся голосом.— Вы всегда были очень добры ко мне, и я вам очень благодарен. Мне очень грустно, что все так получилось.

— Ладно, ладно, мальчик мой. Все хорошо.

Чуть не плача, продолжая бормотать слова благодарности, Шерман Хиллари вышел из кабинета.

— Ради всего святого, шеф, почему вы его отпустили? — в отчаянии воскликнул Беленджер.— Разве вы ничего не поняли? Он же отсюда пойдет прямо в «Сны наяву». Они его сманили, это ясно.

Уэйл поднял ладонь.

— Вы ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Я его знаю: он так поступить неспособен. А кроме того,— добавил он сухо,— Рут — хорошая секретарша и знает, что нужно принести мне, когда я прошу контракт мечтателя. Я порвал поддельный контракт. А подлинный по-прежнему лежит в нашем сейфе, поверьте мне. Да, прекрасный у меня выдался день! Я с самого утра кого-то убеждаю: неговорчивого папашу — чтобы он дал мне возможность развить новый талант, уполномоченного министерства — чтобы они не ввели цензуру, вас — чтобы вы не втянули нас в гибельное предприятие, и, наконец, моего лучшего мечтателя — чтобы помешать ему уйти. Папашу я, возможно, уговорил. Уполномоченного и вас — не уверен. Может быть, да, а может быть, и нет. Но, во всяком случае, с Шерманом Хиллари все ясно. Он вернется.

— Откуда вы знаете?

Уэйл улыбнулся Беленджеру, и его щеки покрылись сеткой веселых морщин.

— Фрэнк, мальчик мой, вы умеете монтировать грезы, и вам уже кажется, что вы знаете все инструменты и аппараты нашей профессии. Но разрешите, я вам кое-что скажу. Самым важным инструментом в грезопромышленности является сам мечтатель. Именно его и нужно понимать в первую очередь. И я его понимаю. Слушайте: когда я был мальчишкой — в те времена еще не было грез,— я был знаком с одним телесценаристом. Он часто мне жаловался, что все люди при первом знакомстве непременно его спрашивают: «И как вам только все это в голову приходит?» Они искренне этого не понимали. Ведь никто из них не был в состоя-

нии придумать что-либо подобное. Так что же мог им ответить мой приятель? А со мной он разговаривал об этом и объяснял: «Как я им скажу, что не знаю? Когда я ложусь спать, я не могу уснуть, потому что у меня в голове теснятся идеи. Когда я бреюсь, я непременно где-нибудь порежусь, когда разговариваю, то забываю, о чем говорю, когда я сижу за рулем машины, я ежеминутно рискую жизнью. И все потому, что у меня в мозгу непрерывно формируются идеи, ситуации, диалоги. Я не могу сказать тебе, откуда у меня все это берется. Может быть, наоборот, ты поделишься со мной, каким образом тебе удастся этого избежать? И тогда я мог бы немного передохнуть». Видите, Фрэнк, как обстоит дело? Вы можете уйти отсюда в любое время. И я могу. Это наша работа, но не наша жизнь. Но для Шермана Хиллари все иначе. Куда бы он ни пошел, чем бы он ни занимался, он все равно будет грезить. Пока он живет, он не может не думать, пока он думает, он не может не грезить. Мы не удерживаем его насильно. Наш контракт не железная решетка. Его удерживает его собственный мозг, Фрэнк. Поэтому он вернется. Ничего другого ему не остается.

Беленджер пожал плечами.

— Если то, что вы говорите, правда, мне его жаль.

— Мне жаль их всех,— Уэйл грустно кивнул.— За долгие годы своей жизни я понял одно. Их участь — делать счастливыми других людей. Других.

# ПРОФЕССИЯ

**Д**жордж Плейтен сказал с плохо скрытой тоской в голосе:

— Завтра первое мая. Начало Олимпиады!

Он повернулся на живот и через спинку кровати пристально посмотрел на своего соседа по комнате. Неужели он не чувствует того же? Неужели мысль об Олимпиаде совсем его не трогает?

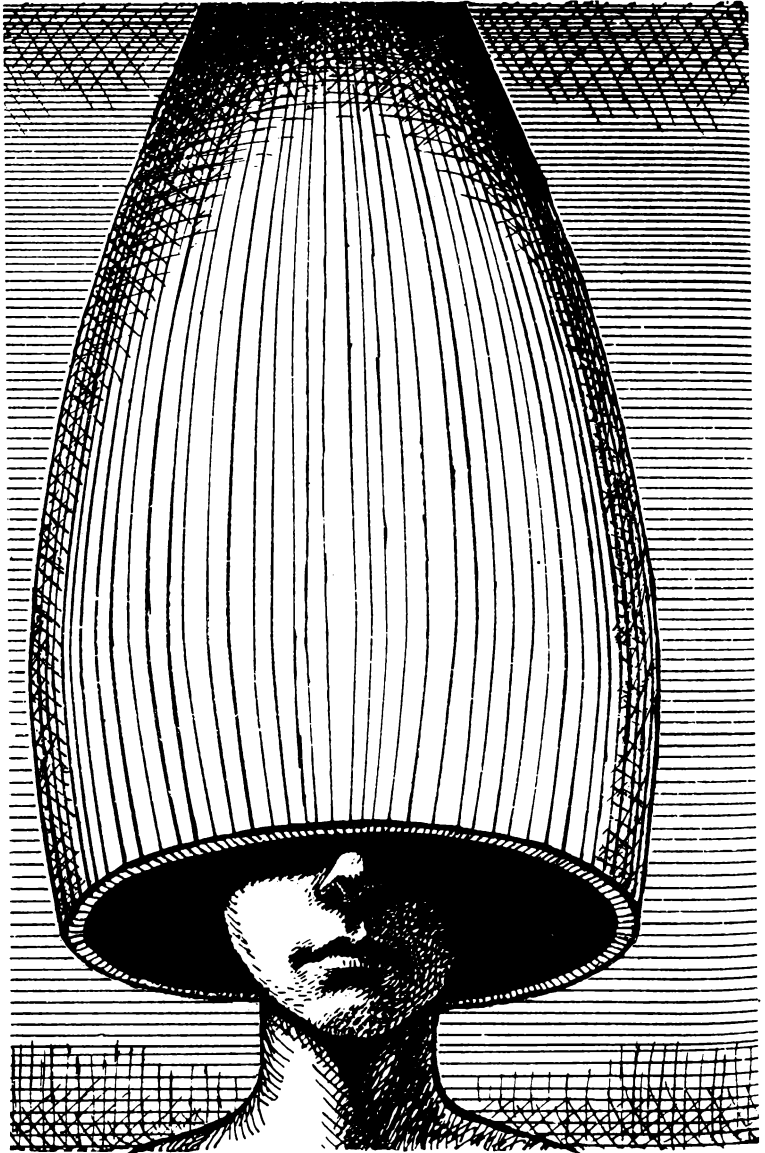
У Джорджа было худое лицо, черты которого еще более обострились за те полтора года, которые он провел в приюте. Он был худощав, но в его синих глазах горел прежний неумный огонь, а в том, как он сейчас вцепился пальцами в одеяло, было что-то от затравленного зверя.

Его сосед по комнате на мгновение оторвался от книги и заодно отрегулировал силу свечения стены, у которой сидел. Его звали Хали Омани, он был нигерийцем. Темно-коричневая кожа и крупные черты лица Хали Омани, казалось, были созданы для того, чтобы выражать только одно спокойствие, и упоминание об Олимпиаде нисколько его не взволновало.

— Я знаю, Джордж,— произнес он.

Джордж многим был обязан терпению и доброте Хали; бывали минуты, когда он очень в них нуждался, но даже доброта и терпение могут стать поперек глотки. Разве сейчас можно сидеть с невозмутимым видом идола, вырезанного из дерева теплого, сочного цвета?

Джордж подумал, не станет ли он сам таким же через десять лет жизни в этом месте, и с негодованием отогнал эту мысль. Нет!





— По-моему, ты забыл, что значит май,— вызывающе сказал он.

— Я очень хорошо помню, что он значит,— отозвался его собеседник.— Ровным счетом ничего! Ты забыл об этом, а не я. Май ничего не значит для тебя, Джорджа Плейтена... и для меня, Хали Омани,— негромко добавил он.

— Сейчас на Землю за новыми специалистами прилетают космические корабли,— произнес Джордж.— К июню тысячи и тысячи этих кораблей, неся на борту миллионы мужчин и женщин, отправятся к другим мирам, и все это, по-твоему, ничего не значит?

— Абсолютно ничего. И вообще, какое мне дело до того, что завтра первое мая?

Беззвучно шевеля губами, Омани стал водить пальцем по строчкам книги, которую он читал,— видимо, ему попало трудное место.

Джордж молча наблюдал за ним. «К черту! — подумал он.— Закричи, завизжи! Это-то ты можешь? Ударь меня, ну, сделай хоть что-нибудь!»

Лишь бы не быть одиноким в своем гневе. Лишь бы разделить с кем-нибудь переполнявшее его возмущение, отделаться от мучительного чувства, что только он, он один умирает медленной смертью!

В те первые недели, когда весь мир представлялся ему тесной оболочкой, сотканной из какого-то смутного света и неясных звуков,— тогда было лучше. А потом появился Омани и вернул его к жизни, которая того не стоила.

Омани! Он-то стар! Ему уже по крайней мере тридцать. «Неужели и я в этом возрасте буду таким же? — подумал Джордж.— Стану таким, как он, через каких-нибудь двенадцать лет?»

И оттого, что эта мысль вселила в него панический страх, он заорал на Омани:

— Брось читать эту идиотскую книгу!

Омани перевернул страницу и, прочитав еще несколько слов, поднял голову, покрытую шапкой жестких курчавых волос.

— А? — спросил он.

— Какой толк от твоего чтения? — Джордж решительно шагнул к Омани, презрительно фыркнул: — Опять электроника! — и вышиб книгу из его рук.

Омани неторопливо встал и поднял книгу. Без вся-

кого раздражения он разгладил смятую страницу.

— Можешь считать, что я удовлетворяю свое любопытство,— произнес он.— Сегодня я пойму кое-что, а завтра, быть может, пойму немного больше. Это тоже своего рода победа.

— Победа! Какая там победа? И больше тебе ничего не нужно от жизни? К шестидесяти пяти годам приобрести четверть знаний, которыми располагает дипломированный инженер-электронщик?

— А может быть, не к шестидесяти пяти годам, а к тридцати пяти?

— Кому ты будешь нужен? Кто тебя возьмет? Куда ты пойдешь с этими знаниями?

— Никому. Никто. Никуда. Я останусь здесь и буду читать другие книги.

— И этого тебе достаточно? Рассказывай! Ты заманил меня на занятия. Ты заставил меня читать и заучивать прочитанное. А зачем? Это не приносит мне никакого удовлетворения.

— Что толку в том, что ты лишаешь себя возможности получать удовлетворение?

— Я решил наконец покончить с этим фарсом. Я сделаю то, что собирался сделать с самого начала, до того как ты умаслил меня и лишил воли к сопротивлению. Я заставлю их... заставлю...

Омани отложил книгу, а когда Джордж, не договорив, умолк, задал вопрос:

— Заставишь, Джордж?

— Заставлю исправить эту вопиющую несправедливость. Все было подстроено. Я доберусь до этого Антонелли и заставлю его признаться, что он... он...

Омани покачал головой.

— Каждый, кто попадает сюда, настаивает на том, что произошла ошибка. Мне казалось, что у тебя этот период уже позади.

— Не называй это периодом,— злобно сказал Джордж.— В отношении меня действительно была допущена ошибка. Я ведь говорил тебе...

— Да, ты говорил, но в глубине души ты прекрасно сознаешь, что в отношении тебя никто не совершил никакой ошибки.

— Не потому ли, что никто не желает в этом сознаться? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них добровольно признает свою ошибку?.. Но я заставлю

их сделать это.

Во всем виноват был май, месяц Олимпиады. Это он возродил в Джордже былую ярость, и он ничего не мог с собой поделаться. Да и не хотел: ведь ему грозила опасность все забыть.

— Я собирался стать программистом вычислительных машин, и я действительно могу им быть, что бы они там ни говорили, ссылаясь на результаты анализа.— Он стукнул кулаком по матрасу.— Они не правы. И не могут они быть правы.

— В анализах ошибки исключены.

— Значит, не исключены. Ведь ты же не сомневаешься в моих способностях?

— Способности не имеют к этому ровно никакого отношения. Мне кажется, что тебе достаточно часто это объясняли. Почему ты никак не можешь понять?

Джордж отодвинулся от него, лег на спину и угрюмо уставился в потолок.

— А кем ты хотел стать, Хали?

— У меня не было определенных планов. Думаю, что меня вполне устроила бы профессия гидропониста.

— И ты считал, что тебе это удастся?

— Я не был в этом уверен.

Никогда раньше Джордж не расспрашивал Омани о его жизни. Мысль о том, что у других обитателей приюта тоже были свои стремления и надежды, показалась ему не только странной, но даже почти противоестественной. Он был потрясен. Подумать только — гидропонист!

— А тебе не приходило в голову, что ты попадешь сюда?

— Нет, но, как видишь, я все-таки здесь.

— И тебя это удовлетворяет. Ты на самом деле всем доволен. Ты счастлив. Тебе здесь нравится, и ничего другого ты не хочешь.

Омани медленно встал и аккуратно начал разбирать постель.

— Джордж, ты не исправим,— произнес он.— Ты терзаешь себя, потому что отказываешься признать очевидные факты. Ты находишься в заведении, которое называешь приютом, но я ни разу не слышал, чтобы ты произнес его название полностью. Так сделай это теперь, Джордж, сделай! А потом ложись в кровать и проспай.

Джордж скрипнул зубами и ощерился.

— Нет! — сказал он сдавленно.

— Тогда это сделаю я, — сказал Омани, и, отчеканивая каждый слог, он произнес роковые слова.

Джордж слушал, испытывая глубочайший стыд и горечь. Он отвернулся.

В восемнадцать лет Джордж Плейтен твердо знал, что станет дипломированным программистом, — он стремился к этому с тех пор, как себя помнил. Среди его приятелей одни отстаивали космонавтику, другие — холодильную технику, третьи — организацию перевозок и даже административную деятельность. Но Джордж не колебался.

Он с таким же жаром, как и все остальные, обсуждал преимущества облюбованной профессии. Это было вполне естественно. Впереди их всех ждал День образования — поворотный день их жизни. Он приближался, неизбежный и неотвратимый, — первое ноября того года, когда им исполнится восемнадцать лет.

Когда День образования оставался позади, появлялись новые темы для разговоров: можно было обсуждать различные профессиональные вопросы, хвастаться женой и детьми, рассуждать о шансах любимой космобольной команды или вспоминать Олимпиаду. Но до наступления Дня образования лишь одна тема неизменно вызывала всеобщий интерес — и это был День образования.

«Кем ты хочешь быть? Думаешь, тебе это удастся? Ничегошеньки у тебя не выйдет. Справься в ведомостях — квоту же урезали. А вот логистика...»

Или «а вот гипермеханика...», или «а вот связь...», или «а вот гравитика...».

Гравитика была тогда самой модной профессией. За несколько лет до того, как Джорджу исполнилось восемнадцать лет, появился гравитационный двигатель, и все только и говорили, что о гравитике. Любая планета в радиусе десяти световых лет от звезды-карлика «отдала бы правую руку», лишь бы заполучить хоть одного дипломированного инженера-гравитационника.

Но Джорджа это не прельщало. Да, конечно, такая планета «отдаст все свои правые руки», какие только сумеет наскрести. Однако Джордж слышал и о том, что

случалось в других, только что возникших областях техники. Немедленно начнутся рационализация и упрощение. Каждый год будут появляться новые модели, новые типы гравитационных двигателей, новые принципы. А потом все эти баловни судьбы в один прекрасный день обнаружат, что они устарели, их заменят новые специалисты, получившие образование позже, и им придется заняться неквалифицированным трудом или отправиться на какую-нибудь захудалую планету, которая пока еще не догнала другие миры.

Между тем спрос на программистов оставался неизменным из года в год, из столетия в столетие. Он никогда не возрастал стремительно, не взвинчивался до небес, а просто медленно и неуклонно увеличивался в связи с освоением новых миров и усложнением техники старых.

Эта тема была постоянным предметом споров между Джорджем и Коротышкой Тревельяном. Как все закадычные друзья, они спорили до бесконечности, не скупясь на язвительные насмешки, и в результате оба оставались при своем мнении.

Дело в том, что отец Тревельяна, дипломированный металлург, в свое время работал на одной из дальних планет, а его дед тоже был дипломированным металлургом. Естественно, что сам Коротышка не колеблясь остановил свой выбор на этой профессии, которую считал чуть ли не неотъемлемым правом своей семьи, и был твердо убежден, что все другие специальности не слишком-то респектабельны.

— Металл будет существовать всегда, — заявил он, — и когда ты создаешь сплав с заданными свойствами и наблюдаешь, как слагается его кристаллическая решетка, ты видишь результат своего труда. А что делает программист? Целый день сидит за кодирующим устройством, пичкая информацией какую-нибудь дурацкую электронную машину длиной в милю.

Но Джордж уже в шестнадцать лет отличался практичностью.

— Между прочим, вместе с тобой будет выпущен еще миллион металлургов, — спокойно указал он.

— Потому что это прекрасная профессия. Самая лучшая.

— Но ведь ты попросту затеряешься в их массе, Коротышка, и можешь оказаться где-то в хвосте. Каждая

планета может сама зарядить нужных ей металлургов, а спрос на усовершенствованные земные модели не так уж велик, да и нуждаются в них главным образом малые планеты. Ты ведь знаешь, какой процент общего выпуска дипломированных металлургов получает направление на планеты класса А. Я поинтересовался — всего лишь 13,3 процента. А это означает семь шансов из восьми, что тебя засунут на какую-нибудь третьесортную планету, где в лучшем случае есть водопровод. А то и вовсе можешь застрять на Земле — такие составляют 2,3 процента.

— Не вижу в этом ничего позорного, — вызывающе заявил Тревельян. — Земле тоже нужны специалисты. И хорошие. Мой дед был земным металлургом. — Подняв руку, Тревельян небрежно провел пальцем по еще не существующим усам.

Джордж знал про дедушку Тревельяна, и, памятуя, что его собственные предки тоже работали на Земле, не стал ехидничать, а, наоборот, дипломатично согласился:

— В этом, безусловно, нет ничего позорного. Конечно, нет. Однако попасть на планету класса А — это вещь, скажешь нет? Теперь возьмем программиста. Только на планетах класса А есть такие вычислительные машины, для которых действительно нужны высококвалифицированные программисты, и поэтому только эти планеты и берут их. К тому же ленты по программированию очень сложны и для них годится далеко не всякий. Планетам класса А нужно больше программистов, чем может дать их собственное население. Это же чистая статистика. На миллион человек приходится в среднем, скажем, один первоклассный программист. И если на планете живет десять миллионов, а им там требуется двадцать программистов, они вынуждены обращаться к Земле, чтобы получить еще пять, а то и пятнадцать специалистов. Верно? А знаешь, сколько дипломированных программистов отправилось в прошлом году на планеты класса А? Не знаешь? Могу тебе сказать. Все до единого! Если ты программист, можешь считать, что ты уже там. Так-то!

Тревельян нахмурился.

— Если только один человек из миллиона годится в программисты, почему ты думаешь, что у тебя это выйдет?

— Выйдет, можешь быть спокоен,— сдержанно ответил Джордж. Он никогда не осмелился бы рассказать ни Тревелияну, ни даже своим родителям, что именно он делает и почему так уверен в себе. Он был абсолютно спокоен за свое будущее. (Впоследствии, в дни безнадежности и отчаяния, именно это воспоминание стало самым мучительным.) Он был так же непоколебимо уверен в себе, как любой восьмилетний ребенок накануне Дня чтения, этого преддверия следующего за ним через десять лет Дня образования.

Ну, конечно, День чтения во многом отличался от Дня образования. Во-первых, следует учитывать особенности детской психологии. Ведь восьмилетний ребенок легко воспринимает многие самые необычные явления. И то, что вчера он не умел читать, а сегодня уже умеет, кажется ему само собой разумеющимся. Как солнечный свет, например.

А во-вторых, от этого дня зависело не так уж много. После него толпы вербовщиков не теснились перед списками, с нетерпением ожидая, когда будут объявлены результаты ближайшей Олимпиады. День чтения практически ничего не менял в жизни детей, и они еще десять лет оставались под родительской кровлей, как и все их сверстники. Просто после этого дня они уже умели читать.

И Джордж, готовясь к Дню образования, почти не помнил подробностей того, что произошло с ним в День чтения, десять лет назад.

Он, правда, не забыл, что день выдался пасмурный и моросил сентябрьский дождь. (День чтения — в сентябре, День образования — в ноябре, Олимпиада — в мае. На эту тему сочиняли даже детские стишки.) Было еще темно, и Джордж одевался при стенном свете. Родители его волновались гораздо больше, чем он сам. Отец Джорджа был дипломированным трубопрокладчиком и работал на Земле, чего втайне стыдился, хотя все понимали, что большая часть каждого поколения неизбежно должна остаться на Земле.

Сама Земля нуждалась в фермерах, шахтерах и даже в инженерах. Для работы на других планетах требовались только самые последние модели высококвалифицированных специалистов, и из восьми миллиардов земного населения туда ежегодно отправлялось всего лишь несколько миллионов человек. Есте-

венно, не каждый житель Земли мог попасть в их число.

Но каждый мог надеяться, что по крайней мере кому-нибудь из его детей доведется работать на другой планете, и Плейтен-старший, конечно, не был исключением. Он видел (как, впрочем, видели и совершенно посторонние люди), что Джордж отличается незаурядными способностями и большой сообразительностью. Значит, его ждет блестящая будущность, тем более, что он единственный ребенок в семье. Если Джордж не попадет на другую планету, то его родителям придется возложить все надежды на внуков, а когда-то еще у них появятся внуки!

Сам по себе День чтения, конечно, мало что значил, но в то же время только он мог показать хоть что-нибудь до наступления того, другого, знаменательного дня. Когда дети возвращались домой, все родители Земли внимательно слушали, как они читают, стараясь уловить особенную беглость, чтобы истолковать ее как счастливое предзнаменование. Почти в любой семье подрастал такой многообещающий ребенок, на которого со Дня чтения возлагались огромные надежды только потому, что он легко справлялся с трехсложными словами.

Джордж смутно сознавал, отчего так волнуются его родители, и в то дождливое утро его безмятежный детский покой смущал только страх, что радостное выражение на лице отца может угаснуть, когда он вернется домой и покажет, как он научился читать.

Детей собрали в просторном зале городского Дома образования. В этот месяц во всех уголках Земли в миллионах местных Домов образования собирались такие же группы детей. Серые стены и напряженность, с которой держались дети, стеснявшиеся непривычной нарядной одежды, нагнали на Джорджа тоску.

Он инстинктивно поступил так же, как другие: отыскав кучку ребят, живших с ним на одном этаже, он присоединился к ним.

Тревелиан, мальчик из соседней квартиры, все еще разгуливал в длинных локонах, а от маленьких бачков и жидких рыжеватых усов, которые ему предстояло отрастить, едва он станет к этому физиологически способен, его отделяли еще многие годы.

Тревелиан (для которого Джордж тогда был еще



Джооджи) воскликнул:

— Ага! Струсил, струсил!

— Вот и нет! — возразил Джордж и затем доверительно сообщил: — А папа с мамой положили печатный лист на мою тумбочку, и, когда я вернусь домой, я прочту им все до последнего словечка. Вот! (В тот момент наибольшее мучение Джорджу причиняли его собственные руки, которые он не знал куда девать. Ему строго-настрого приказали не чесать голову, не тереть уши, не ковырять в носу и не засовывать руки в карманы. Так что же ему было с ними делать?)

Зато Тревельян как ни в чем не бывало сунул руки в карманы и заявил:

— А вот мой папа ничуточки не беспокоится.

Тревельян-старший почти семь лет работал металлургом на Дипории, и, хотя теперь он вышел на пенсию и жил опять на Земле, соседи смотрели на него снизу вверх.

Возвращение на Землю не очень поощрялось из-за проблемы перенаселенности, но все же кое-кому удавалось вернуться. Прежде всего, жизнь на Земле была дешевле, и пенсия, мизерная в условиях Дипории, на Земле выглядела весьма солидно. Кроме того, некоторым людям особенно приятно демонстрировать свои успехи именно перед друзьями детства и знакомыми, а не перед всей остальной Вселенной.

Свое возвращение Тревельян-старший объяснил еще и тем, что, останься он на Дипории, там пришлось бы остаться и его детям, а Дипория имела сообщение только с Землей. Живя же на Земле, его дети смогут в будущем попасть на любой из миров, даже на Новию.

Коротышка Тревельян рано усвоил эту истину. Еще до Дня чтения он беззаботно верил, что в конце концов будет жить на Новии, и говорил об этом как о деле решенном.

Джордж, подавленный мыслью о будущем величии Тревельяна и сознанием собственного ничтожества, немедленно в целях самозащиты перешел в наступление.

— Мой папа тоже не беспокоится. Ему просто хочется послушать, как я читаю! Ведь он знает, что читать я буду очень хорошо. А твой отец просто не хочет тебя слушать: он знает, что у тебя ничего не выйдет.

— Нет, выйдет! А чтение — это ерунда. Когда я буду жить на Новии, я найму людей, чтобы они мне читали.

— Потому что сам ты читать не научишься! Потому что ты дурак!

— А как же я тогда попаду на Новию?

И Джордж, окончательно выведенный из себя, посягнул на основу основ:

— А кто это тебе сказал, что ты попадешь на Новию? Никуда ты не попадешь. Вот!

Коротышка Тревельян покраснел.

— Ну, уж трубопрокладчиком, как твой папаша, я не буду!

— Возьми назад, что сказал, дурак!

— Сам возьми!

Они были готовы броситься друг на друга. Драться им, правда, совсем не хотелось, но возможность заняться чем-то привычным в этом чужом месте сама по себе была уже облегчением. А к тому же Джордж сжал кулаки и встал в боксерскую стойку, так что мучительная проблема — куда девать руки — временно разрешилась. Остальные дети возбужденно обступили их.

Но тут же все кончилось: по залу внезапно разнесся усиленный громкоговорителями женский голос — и сразу наступила тишина. Джордж разжал кулаки и забыл о Тревельяне.

— Дети,— произнес голос,— сейчас мы будем называть ваши фамилии. Тот, кто услышит свою фамилию, должен тут же подойти к одному из служителей, которые стоят у стен. Вы видите их? Они одеты в красную форму, и вы легко их заметите. Девочки пойдут направо, мальчики — налево. А теперь посмотрите, какой человек в красном стоит к вам ближе всего...

Джордж сразу же увидел своего служителя и стал ждать, когда его вызовут. Он еще не был посвящен в тайну алфавита, и к тому времени, когда дошла очередь до его фамилии, уже начал волноваться.

Толпа детей редела, ручейками растекаясь к красным фигурам.

Когда наконец было произнесено имя «Джордж Плейтен», он испытал невыразимое облегчение и упоительную радость: его уже вызвали, а Коротышку — нет!

Уходя, Джордж бросил ему через плечо:

— Ага, Коротышка! А может, ты им вовсе и не нужен?

Но его приподнятое настроение быстро улетучилось. Его поставили рядом с незнакомыми детьми и вссх по-

вели по коридорам. Они испуганно переглядывались, но заговорить никто не осмеливался, и слышалось только сопение да иногда сдавленный шепот: «Не толкайся!» и «Эй, ты, поосторожней!»

Им роздали картонные карточки и велели их не терять. Джордж стал с любопытством рассматривать свою карточку. Он увидел маленькие черные значки разной формы. Он знал, что это называется печатными буквами, но не мог сообразить, как из них получаются слова.

Его и еще четверых мальчиков отвели в отдельную комнату и велели им раздеться. Они быстро сбросили свою новую одежду и стояли теперь голые и маленькие, дрожа скорее от волнения, чем от холода. Лаборанты быстро, по очереди ощупывали и исследовали их с помощью каких-то странных инструментов, кололи им пальцы, чтобы взять кровь для анализа, а потом каждый брал карточки и черной палочкой торопливо выводил на них аккуратные ряды каких-то значков. Джордж пристально вглядывался в эти новые значки, но они оставались такими же непонятными, как и старые. Затем детям велели одеться.

Они сели на маленькие стулья и снова стали ждать. Их опять начали вызывать по фамилиям, и Джорджа Плейтена вызвали третьим.

Он вошел в большую комнату, заполненную страшными аппаратами с множеством кнопок и прозрачных панелей. В самом центре комнаты стоял письменный стол, за которым, устремив взгляд на кипу лежавших перед ним бумаг, сидел какой-то мужчина.

— Джордж Плейтен? — спросил он.

— Да, сэр, — дрожащим шепотом ответил Джордж, который в результате длительного ожидания и бесконечных переходов из комнаты в комнату начал волноваться. Он уже мечтал о том, чтобы все это поскорее кончилось.

Человек за письменным столом сказал:

— Меня зовут доктор Ллойд. Как ты себя чувствуешь, Джордж?

Произнося эту фразу, доктор не поднял головы. Казалось, он повторял эти слова так часто, что ему уже не нужно было смотреть на того; к кому он обращался.

— Хорошо.

— Ты боишься, Джордж?

— Н-нет, сэр,— ответил Джордж, и даже от него самого не укрылось, как испуганно прозвучал его голос.

— Вот и прекрасно,— произнес доктор.— Ты же знаешь, что бояться нечего. Ну-ка, Джордж, посмотрим! На твоей карточке написано, что твоего отца зовут Питер и что по профессии он дипломированный трубо-прокладчик. Имя твоей матери Эми, и она дипломированный специалист по домоведению. Правильно?

— Д-да, сэр.

— А ты родился 13 февраля и год назад перенес инфекционное заболевание уха. Так?

— Да, сэр.

— А ты знаешь, откуда мне это известно?

— Я думаю, все это есть на карточке.

— Совершенно верно,— доктор в первый раз взглянул на Джорджа и улыбнулся, показав ровные зубы. На вид он был гораздо моложе отца Джорджа и Джордж несколько успокоился.

Доктор протянул ему карточку.

— Ты знаешь, что означают эти значки?

И хотя Джорджу было отлично известно, что этого он не знает, от неожиданности он взглянул на карточку с таким вниманием, словно по велению судьбы внезапно научился читать. Но значки по-прежнему оставались непонятными, и он вернул карточку доктору.

— Нет, сэр.

— А почему?

У Джорджа вдруг мелькнуло подозрение: а не сошел ли с ума этот доктор? Разве он этого не знает сам?

— Потому что я не умею читать, сэр.

— А тебе хотелось бы научиться читать?

— Да, сэр.

— А зачем, Джордж?

Джордж в недоумении вытаращил глаза. Никто никогда не задавал ему такого вопроса, и он растерялся.

— Я не знаю, сэр,— запинаясь, произнес он.

— Печатная информация будет руководить тобой всю твою жизнь. Даже после Дня образования тебе предстоит узнать еще очень многое. И эти знания ты будешь получать из таких вот карточек, из книг, с телевизионных экранов. Печатные тексты расскажут тебе столько полезного и интересного, что не уметь читать было бы так же ужасно, как быть слепым. Тебе это понятно?

- Да, сэр.
- Ты боишься, Джордж?
- Нет, сэр.

— Отлично. Теперь я объясню тебе, с чего мы начнем. Я приложу вот эти провода к твоему лбу над уголками глаз. Они приклеятся к коже, но не причинят тебе никакой боли. Потом я включу аппарат и раздастся жужжание. Оно покажется тебе непривычным, и, возможно, тебе будет немного щекотно, но это тоже совершенно безболезненно. Впрочем, если тебе все-таки станет больно, ты мне скажешь, и я тут же выключу аппарат. Но больно не будет. Ну, как, договорились?

Судорожно глотнув, Джордж кивнул.

- Ты готов?

Джордж снова кивнул. С закрытыми глазами он ждал, пока доктор готовил аппаратуру. Родители не раз рассказывали ему про все это. Они тоже говорили, что ему не будет больно. Но зато ребята постарше, которым исполнилось десять, а то и двенадцать лет, всегда дразнили ожидавших своего Дня чтения восьми-леток и кричали: «Берегитесь иглы!» А другие, отозвав малыша в какой-нибудь укромный уголок, по секрету сообщали: «Они разрежут тебе голову вот таким большим ножом с крючком на конце» — и добавляли множество жутких подробностей.

Джордж никогда не принимал это за чистую монету, но тем не менее по ночам его мучили кошмары. И теперь, испытывая непередаваемый ужас, он закрыл глаза.

Он не почувствовал прикосновения проводов к вискам. Жужжание доносилось откуда-то издалека, и его заглушал звук стучавшей в ушах крови, такой гулкий, словно все происходило в большой пустой пещере. Джордж рискнул медленно открыть глаза.

Доктор стоял к нему спиной. Из одного аппарата ползла узкая лента бумаги, на которой виднелась волнистая фиолетовая линия. Доктор отрывал кусочки этой ленты и вкладывал их в прорезь другой машины. Он снова и снова повторял это, и каждый раз машина выбрасывала небольшой кусочек пленки, который доктор внимательно рассматривал. Наконец он повернулся к Джорджу, как-то странно нахмутив брови.

Жужжание прекратилось.

- Уже все? — прошептал Джордж.

— Да, — не переставая хмуриться, произнес доктор.

— И я уже умею читать? — Джордж не чувствовал в себе никаких изменений.

— Что? — переспросил доктор, и на его губах мелькнула неожиданная улыбка.— Все идет, как надо, Джордж. Читать ты будешь через пятнадцать минут. А теперь мы воспользуемся другой машиной, и это уже будет немного дольше. Я закрою тебе всю голову, и, когда я включу аппарат, ты на некоторое время перестанешь видеть и слышать, но тебе не будет больно. На всякий случай я дам тебе в руку выключатель. Если ты все-таки почувствуешь боль, нажми вот эту маленькую кнопку, и все прекратится. Хорошо?

Позже Джорджу довелось услышать, что это был не настоящий выключатель и его давали ребенку только для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. Однако он не знал твердо, так ли это, поскольку сам кнопки не нажимал.

Ему надели на голову большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной. Три-четыре небольшие выпуклости присосались к его черепу, но он ощутил лишь легкое давление, которое тут же исчезло. Боли не было.

Откуда-то глухо донесся голос доктора:

— Ну, как, Джордж, все в порядке?

И тогда, без всякого предупреждения, его как будто окутал толстый слой войлока. Он перестал ощущать собственное тело, исчезли чувства, весь мир, вся Вселенная. Остался лишь он сам и доносившийся из бездонных глубин небытия голос, который что-то шептал ему... шептал... шептал...

Он напряженно старался услышать и понять хоть что-нибудь, но между ним и тем шепотом лежал толстый слой войлока.

Потом с него сняли шлем. Яркий свет ударил ему в глаза, а голос доктора отдавался в ушах барабанной дробью.

— Вот твоя карточка, Джордж. Скажи, что на ней написано?

Джордж снова взглянул на карточку — и вскрикнул. Значки обрели смысл! Они слагались в слова, которые он понимал так отчетливо, будто кто-то подсказывал их ему на ухо. Он был уверен, что именно слышал их.

— Так что же на ней написано, Джордж?

— На ней написано... написано... «Плейтен Джордж».

Родился 13 февраля 6492 года, родители Питер и Эми Плейтен, место...» — от волнения он не мог продолжать.

— Ты умеешь читать, Джордж, — сказал доктор. — Все уже позади.

— И я никогда не разучусь? Никогда?

— Ну конечно же, нет. — Доктор наклонился и серьезно пожал ему руку. — А сейчас тебя отправят домой.

Прошел не один день, прежде чем Джордж освоился со своей новой, замечательной способностью. Он так бегло читал отцу вслух, что Плейтен-старший не смог сдержать слез умиления и поспешил поделиться этой радостной новостью с родственниками.

Джордж бродил по городу, читая все попадавшиеся ему на пути надписи, и не переставал удивляться тому, что было время, когда он их не понимал.

Он пытался вспомнить, что это такое — не уметь читать, и не мог. Ему казалось, будто он всегда умел читать. Всегда.

К восемнадцати годам Джордж превратился в смуглого юношу среднего роста, но благодаря худобе он выглядел выше, чем был на самом деле. А коренастый, широкоплечий Тревельян, который был ниже его разве что на дюйм, по-прежнему выглядел настоящим коротышкой. Однако за последний год он стал очень самолюбив и никому не позволял безнаказанно употреблять это прозвище. Впрочем, настоящее имя нравилось ему еще меньше, и его называли просто Тревельяном или каким-нибудь прилично звучащим сокращением фамилии. А чтобы еще более подчеркнуть свое возмужание, он упорно отращивал баки и жесткие, как щетина, усики.

Сейчас он вспотел от волнения, и Джордж, к тому времени тоже сменивший растянутое «Джооджи» на односложное отрывистое «Джордж», глядел на него, посмеиваясь.

Они находились в том же огромном зале, где их однажды уже собирали десять лет назад (и куда они с тех пор ни разу не заходили). Казалось, внезапно воплотилось в действительность туманное сновидение из далекого прошлого. В первые минуты Джордж был очень удивлен, обнаружив, что все здесь как будто стало меньше и теснее, но потом сообразил, что это вырос он сам.

Собралось их здесь меньше, чем в тот, первый раз, и одни юноши. Для девушек был назначен другой день.

— Не понимаю, почему нас заставляют ждать так долго,— вполголоса сказал Тревельян.

— Обычная волокита,— заметил Джордж.— Без нее не обойдешься.

— И откуда в тебе это идиотское спокойствие? — раздраженно поинтересовался Тревельян.

— А мне не из-за чего волноваться.

— Послушать тебя, так уши вянут! Надеюсь, ты станешь дипломированным ассенизатором, вот тогда-то я на тебя погляжу.— Он окинул толпу угрюмым, тревожным взглядом.

Джордж тоже посмотрел по сторонам. На этот раз система была иной, чем в День чтения. Все шло гораздо медленнее, а инструкции были розданы сразу в печатном виде — значительное преимущество перед устными инструкциями еще не умеющим читать детям. Фамилии «Плейтен» и «Тревельян» по-прежнему стояли в конце списка, но теперь они уже знали, в чем дело.

Юноши один за другим выходили из проверочных комнат. Нахмурившись и явно испытывая неловкость, они забирали свою одежду и вещи и отправлялись узнавать результаты.

Каждого окружала с каждым разом все более редевшая кучка тех, кто еще ждал своей очереди. «Ну, как?», «Очень трудно было?», «Как по-твоему, что тебе дали?», «Чувствуешь разницу?» — раздавалось со всех сторон.

Ответы были туманными и уклончивыми.

Джордж, напрягая всю волю, держался в стороне. Такие разговоры — лучший способ вывести человека из равновесия. Все единогласно утверждали, что больше всего шансов у тех, кто сохраняет спокойствие. Но, несмотря ни на что, он чувствовал, как у него постепенно холодеют руки.

Забавно, как с годами приходят новые заботы. Например, высококвалифицированные специалисты отправляются работать на другие планеты только с женами (или мужьями). Ведь на всех планетах необходимо поддерживать правильное соотношение числа мужчин и женщин. А какая девушка откажется выйти за человека, которого посылают на планету класса А? У Джорджа не было на примете никакой определенной девушки, да он и не интересовался ими. Еще не время. Вот когда



его мечта осуществится и он получит право добавлять к своему имени слова «дипломированный программист», вот тогда он, как султан в гареме, сможет выбрать любую. Эта мысль взволновала его, и он постарался тут же выкинуть ее из головы. Необходимо сохранять спокойствие.

— Что же это все-таки может значить? — пробормотал Тревельян. — Сначала тебе советуют сохранять спокойствие и хладнокровие, а потом тебя ставят в такое вот положение — тут только и сохранять спокойствие!

— Может быть, это нарочно? Чтобы с самого начала отделить мужчин от мальчиков? Легче, легче, Трев!

— Заткнись!

Наконец вызвали Джорджа, но не по радио, как в тот раз, — его фамилия вспыхнула на световом табло.

Джордж помахал Тревельяну рукой.

— Держись, Трев! Не волнуйся.

Когда он входил в проверочную комнату, он был счастлив. Да, счастлив!

— Джордж Плейтен? — спросил человек, сидевший за столом.

На миг в сознании Джорджа с необыкновенной четкостью возник образ другого человека, который десять лет назад задал такой же вопрос, и ему вдруг показалось, что перед ним тот же доктор, а он, Джордж, переступив порог, снова превратился в восьмилетнего мальчугана.

Сидевший за столом поднял голову — его лицо, конечно, не имело ничего общего с образом, всплывшим из глубин памяти Джорджа. У этого нос был картошкой, волосы жидкие и спутанные, а под подбородком висела складка, словно прежде он был очень толстым, а потом вдруг сразу похудел.

— Ну? — раздраженно произнес он.

Джордж очнулся.

— Да, я Джордж Плейтен, сэр.

— Так и говорите. Я — доктор Зэкери Антонелли. Сейчас мы с вами познакомимся поближе.

Он пристально, по-свиному, разглядывал на свет маленькие кусочки пленки.

Джордж внутренне содрогнулся. Он смутно вспом-

нил, что тот, другой доктор (он забыл, как его звали) тоже рассматривал такую же пленку. Неужели это та самая? Тот хмурился, а этот взглянул на него сейчас так, как будто его что-то рассердило.

Джордж уже не чувствовал себя счастливым.

Доктор Антонелли раскрыл довольно пухлую папку и осторожно отложил в сторону пленку.

— Тут сказано, что вы хотите стать программистом вычислительных машин.

— Да, доктор.

— Вы не передумали?

— Нет, сэр.

— Это очень ответственная и сложная профессия.

Вы уверены, что она вам по силам?

— Да, сэр.

— Большинство людей, еще не получивших образования, не называют никакой конкретной профессии. Видимо, они боятся повредить себе.

— Наверное так, сэр.

— А вас это не пугает?

— Я полагаю, что лучше быть откровенным, сэр.

Доктор Антонелли кивнул, но выражение его лица осталось прежним.

— Почему вы хотите стать программистом?

— Как вы только что сказали, сэр, это ответственная и сложная профессия. Программисты выполняют важную и интересную работу. Мне она нравится, и я думаю, что справлюсь с ней.

Доктор Антонелли отодвинул папку и кисло взглянул на Джорджа.

— Откуда вы знаете, что она вам понравится? Вы, наверное, думаете, что вас тут же подхватит какая-нибудь планета класса А?

«Он пробует запугать меня,— с тревогой подумал Джордж.— Спокойно, Джордж, говори правду».

— Мне кажется, что у программиста на это бóльшие шансы,— произнес он,— но, даже если бы меня оставили на Земле, работа эта мне все равно нравилась бы, я знаю. («Во всяком случае, это так и я не лгу»,— подумал Джордж.)

— Пусть так, но откуда вы это знаете?

Вопрос был задан таким тоном, словно на него нельзя было ответить разумно, и Джордж еле сдержал улыбку. У него-то имелся ответ!

— Я читал о программировании, сэр,— сказал он.

— Что?

На лице доктора отразилось неподдельное изумление, и это доставило Джорджу удовольствие.

— Я читал о программировании, сэр,— повторил он.— Я купил книгу на эту тему и изучал ее.

— Книгу, предназначенную для дипломированных программистов?

— Да, сэр.

— Но ведь вы не могли понять то, что там написано.

— Да, вначале. Но я достал другие книги по математике и электронике и разобрался в них, насколько мог. Я, конечно, знаю не так уж много, но все-таки достаточно, чтобы понять, что мне нравится эта профессия и что я могу быть программистом. (Даже его родители ничего не знали о тайнике, где он хранил эти книги, и не догадывались, почему он проводит так много времени в своей комнате и почему не высыпается.)

Доктор оттянул пальцами дряблую складку под подбородком.

— А зачем вы это делали, друг мой?

— Мне хотелось проверить, действительно ли эта профессия интересна.

— Но ведь вам известно, что это не имеет ни малейшего значения. Как бы вас ни привлекала та или иная профессия, вы не получите ее, если структура вашего мозга делает вас более пригодным для занятий иного рода. Вам ведь это известно?

— Мне говорили об этом,— осторожно ответил Джордж.

— Так поверьте, что это правда.

Джордж промолчал.

— Или вы думаете, что изучение какого-нибудь предмета перестроит мозговые клетки в нужном направлении? А еще одна теория рекомендует беременной женщине чаще слушать прекрасную музыку, если она хочет, чтобы ребенок стал композитором. Вы, значит, верите в это?

Джордж покраснел. Конечно, он думал и об этом. Он полагал, что, постоянно упражняя свой интеллект в избранной области, он получит таким образом дополнительное преимущество. Его уверенность в значительной мере объяснялась именно этим.

— Я никогда...— начал было он, но не нашел, что сказать.

— Ну, так это неверно, молодой человек! К моменту рождения ваш мозг уже окончательно сформирован. Он может быть изменен ударом, достаточно сильным, чтобы повредить его клетки, или разрывом кровеносного сосуда, или опухолью, или тяжелым инфекционным заболеванием — в любом случае обязательно к худшему. Но повлиять на строение мозга, упорно о чем-то думая, попросту невозможно.— Он задумчиво посмотрел на Джорджа и добавил: — Кто вам посоветовал делать это?

Окончательно расстроившись, Джордж судорожно глотнул и ответил:

— Никто, доктор. Это моя собственная идея.

— А кто знал об этих ваших занятиях?

— Никто. Доктор, я не хотел ничего плохого.

— Кто сказал, что это плохо? Бесполезно, только и всего. А почему вы скрывали свои занятия?

— Я... я думал, что надо мной будут смеяться. (Он вдруг вспомнил о недавнем споре с Тревельяном. Очень осторожно, как будто эта мысль только зародилась в самом отдаленном уголке его сознания, Джордж высказал предположение, что, пожалуй, можно кое-чему научиться, черпая знания, так сказать, вручную, постепенно и понемногу. Тревельян оглушительно расхохотался: «Джордж, не хватает еще, чтобы ты начал дубить кожу для своих башмаков и сам ткать материю для своих рубашек». И тогда он обрадовался, что сумел хорошо сохранить свою тайну.)

Погрузившись в мрачное раздумье, доктор Антонелли перекладывал с места на место кусочки пленки, которые рассматривал в начале их разговора. Наконец он произнес:

— Займемся-ка вашим анализом. Так мы ничего не добьемся.

К вискам Джорджа приложили провода. Раздалось жужжание, и снова в его мозгу возникло ясное воспоминание о том, что происходило с ним в этом здании десять лет назад.

Руки Джорджа были липкими от пота, его сердце отчаянно колотилось. Зачем, зачем он сказал доктору, что тайком читает книги?

Всему виной было его проклятое тщеславие. Ему захотелось щегольнуть своей предприимчивостью и само-

стоятельностью, а вместо этого он продемонстрировал свое суеверие и невежество и восстановил доктора против себя. (Он чувствовал, что Антонелли возненавидел его за самодовольную развязность.)

А теперь он довел себя до такого возбуждения, что анализатор, конечно, покажет полную бессмыслицу.

Он не заметил, когда именно с его висков сняли провода. Он только вдруг осознал, что доктор стоит перед ним и задумчиво смотрит на него. А проводов уже не было. Отчаянным усилием воли Джордж взял себя в руки. Он полностью распростился с мечтой стать программистом. За каких-нибудь десять минут она окончательно рассеялась.

— Наверно, нет? — уныло спросил он.

— Что нет?

— Из меня не выйдет программиста?

Доктор потер нос и сказал:

— Одевайтесь, заберите свои вещи и идите в комнату 15-С. Там вас будут ждать ваши бумаги и мое заключение.

— Разве я уже получил образование? — изумленно спросил Джордж. — Мне казалось, что это только...

Доктор Антонелли внимательно посмотрел на письменный стол.

— Вам все объяснят. Делайте, как я сказал.

Джордж почувствовал смятение. Что от него утаивают? Он годится только для профессии дипломированного черноработого, и его хотят подготовить, заставить смириться с этой судьбой?

Он сразу полностью уверовал в правильность своей догадки, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы не закричать.

Спотыкаясь, он побрел к своему месту в зале. Тревелияна там не было, и, если бы Джордж в тот момент был способен осмысленно воспринимать окружающее, он обрадовался бы этому обстоятельству. В зале вообще уже почти никого не осталось, а те немногие, которые, судя по их виду, как будто намеревались его порасспросить, были слишком измучены ожиданием своей очереди в конце алфавита, чтобы выдержать его свирепый, полный ненависти взгляд.

По какому праву они будут квалифицированными специалистами, а он — черноработчим? Черноработчим! Он был в этом уверен.

Служитель в красной форме повел его по коридорам, полным деловой суеты, мимо комнат, в каждой из которых помещалась та или иная группа специалистов — где два, а где пять человек: механики-мотористы, инженеры-строители, агрономы... Существовали сотни различных профессий, и значительная их часть будет представлена в этом году по крайней мере одним или двумя жителями его родного городка.

В эту минуту Джордж ненавидел их всех: статистиков, бухгалтеров, тех, кто поважнее, и тех, кто помельче. Он ненавидел их за то, что они уже получили свои знания и им была ясна их дальнейшая судьба, а его самого, все еще не обученного, ждала какая-то новая волокита.

Наконец он добрался до двери с номером 15-С. Его ввели в пустую комнату и оставили одного. На какой-то миг он воспрянул духом. Ведь, если бы эта комната предназначалась для чернорабочих, тут уже сидело бы много его сверстников.

Дверь в невысокой, в половину человеческого роста, перегородке скользнула в паз, и в комнату вошел пожилой седовласый мужчина. Он улыбнулся, показав ровные, явно фальшивые зубы, однако на его румянном лице не было морщин, а голос сохранил звучность.

— Добрый вечер, Джордж, — сказал он. — Я вижу, что на этот раз к нам в сектор попал только один из вас.

— Только один? — с недоумением повторил Джордж.

— Ну, на всей Земле таких, как вы, наберется несколько тысяч. Да, тысяч. Вы не одиноки.

Джордж почувствовал раздражение.

— Я ничего не понимаю, сэр, — сказал он. — Какова моя классификация? Что происходит?

— Полегче, друг мой. Ничего страшного. Это могло бы случиться с кем угодно. — Он протянул руку, и Джордж, машинально взяв ее, почувствовал крепкое пожатие. — Садитесь. Меня зовут Сэм Элленфорд.

Джордж нетерпеливо кивнул.

— Я хочу знать, в чем дело, сэр.

— Естественно. Во-первых, Джордж, вы не можете быть программистом. Я думаю, что вы и сами об этом догадались.

— Да, — с горечью согласился Джордж. — Но кем же я тогда буду?

— Это очень трудно объяснить, Джордж. — Он по-

молчал и затем отчетливо произнес: — Никем.

— Что?!

— Никем!

— Что это значит? Почему вы не можете дать мне профессию?

— Мы тут бессильны, Джордж, у нас нет выбора. За нас решает устройство вашего мозга.

Лицо Джорджа стало землистым, глаза выпучились.

— Мой мозг никуда не годится?

— Да как сказать. Но в отношении профессиональной классификации — можете считать, что он действительно не годится.

— Но почему?

Элленфорд пожал плечами.

— Вам, конечно, известно, как осуществляется на Земле программа образования. Практически любой человек может усвоить любые знания, но каждый индивидуальный мозг лучше подходит для одних видов знаний, чем для других. Мы стараемся по возможности сочетать устройство мозга с соответствующими знаниями в пределах квоты на специалистов каждой профессии.

Джордж кивнул.

— Да, я знаю.

— Но иногда, Джордж, нам попадается молодой человек, чей интеллект не подходит для наложения на него каких бы то ни было знаний.

— Другими словами, я не способен получить образование?

— Вот именно.

— Но это безумие. Ведь я умен. Я могу понять...— Он беспомощно оглянулся, как бы отыскивая какую-нибудь возможность доказать, что его мозг работает нормально.

— Вы неправильно меня поняли,— очень серьезно произнес Элленфорд.— Вы умны. Об этом вопроса не встает. Более того, ваш интеллект даже выше среднего. К сожалению, это не имеет никакого отношения к тому, подходит ли он для наложения знаний. Вообще сюда почти всегда попадают умные люди.

— Вы хотите сказать, что я не могу стать даже дипломированным чернорабочим? — пролепетал Джордж. Внезапно ему показалось, что даже это лучше, чем открывшаяся перед ним пустота.— Что особенного нужно знать, чтобы быть чернорабочим?

— Вы недооцениваете чернорабочих, молодой человек. Существует множество разновидностей этой профессии, и каждая из этих разновидностей имеет свой комплекс довольно сложных знаний. Вы думаете, не требуется никакого искусства, чтобы правильно поднимать тяжести? Кроме того, для профессии чернорабочего мы должны отбирать не только подходящий тип мозга, но и подходящий тип тела. Вы не годитесь для этого, Джордж. Если бы вы стали чернорабочим, вас хватило бы ненадолго.

Джордж знал, что не обладает крепким телосложением.

— Но я никогда не слышал ни об одном человеке без профессии,— возразил он.

— Таких людей немного,— ответил Элленфорд.— И мы оберегаем их.

— Оберегаете? — Джордж почувствовал, как в его душе растут смятение и страх.

— Вы находитесь под опекой планеты, Джордж. С того момента, как вы вошли в эту дверь, мы приступили к своим обязанностям.— И он улыбнулся.

Это была добрая улыбка. Джорджу она показалась улыбкой собственника, улыбкой взрослого, обращенной к беспомощному ребенку.

— Значит, я попаду в тюрьму? — спросил он.

— Ни в коем случае. Вы просто будете жить с себе подобными.

«С себе подобными!» Эти слова громом отдались в ушах Джорджа.

— Вам нужны особые условия. Мы позаботимся о вас,— сказал Элленфорд.

К своему ужасу, Джордж вдруг залился слезами. Элленфорд отошел в другой конец комнаты и, как бы задумавшись о чем-то, отвернулся.

Джордж напрягал все силы, и судорожные рыдания сменились всхлипываниями, а потом ему удалось подавить и их. Он думал о своем отце, о матери, о друзьях, о Тревельяне, о своем позоре...

— Я же научился читать! — возмущенно сказал он.

— Каждый нормальный человек может научиться этому. Нам никогда не приходилось сталкиваться с исключениями. Но именно на этом этапе мы обнаруживаем... э... э... исключения. Когда вы научились читать, Джордж, мы узнали об особенностях вашего мышле-



ния. Дежурный врач уже тогда сообщил о некотором его своеобразии.

— Неужели вы не можете попробовать дать мне образование? Ведь вы даже не пытались сделать это. Весь риск я возьму на себя.

— Закон запрещает нам это, Джордж. Но, послушайте, все будет хорошо. Вашим родителям мы представим дело в таком свете, что это не огорчит их. А там, куда вас поместят, вы будете пользоваться некоторыми привилегиями. Мы дадим вам книги, и вы сможете изучать все, что пожелаете.

— Собирать знания по зернышку,— горько произнес Джордж.— И к концу жизни я буду знать как раз достаточно, чтобы стать дипломированным младшим клерком в отделе скрепок.

— Однако, если не ошибаюсь, вы уже пробовали учиться по книгам.

Джордж замер. Его мозг пронзила страшная догадка.

— Так вот оно что...

— Что?

— Этот ваш Антонелли! Он хочет погубить меня!

— Нет, Джордж, вы ошибаетесь.

— Не разубеждайте меня.— Джорджа охватила безумная ярость.— Этот поганый ублюдок решил расквитаться со мной за то, что я оказался для него слишком умным. Я читал книги и пытался подготовиться к профессии программиста. Ладно, какого отступного вы хотите? Деньги? Так вы их не получите. Я уйду, и когда я объявлю об этом...

Он перешел на крик.

Элленфорд покачал головой и нажал кнопку.

В комнату на цыпочках вошли двое мужчин и с двух сторон приблизились к Джорджу. Они прижали его руки к бокам, и один из них поднес к локтевой впадине его правой руки воздушный шприц. Снотворное проникло в вену и подействовало почти мгновенно.

Крики Джорджа тут же оборвались, голова поникла, колени подогнулись, и только служители, поддерживавшие его с обеих сторон, не дали ему, спящему, рухнуть на пол.

Как и было обещано, о Джордже позаботились. Его окружили вниманием и были к нему неизменно добры —

Джорджу казалось, что он сам точно так же обращался бы с больным котенком.

Ему сказали, что он должен взять себя в руки и найти для себя какой-нибудь интерес в жизни. Потом ему объяснили, что большинство тех, кто попадает сюда, вначале всегда предается отчаянию и что со временем у него это пройдет. Но он даже не слышал их.

Джорджа посетил сам доктор Элленфорд и рассказал, что его родителям сообщили, будто он получил особое назначение.

— А они знают?.. — пробормотал Джордж.

Элленфорд поспешил успокоить его:

— Мы не вдавались в подробности.

Первое время Джордж отказывался есть и ему вводили питание внутривенно. От него спрятали острые предметы и приставили к нему охрану. В его комнате поселился Хали Омани, и флегматичность нигерийца подействовала на Джорджа успокаивающе.

Однажды, снедаемый отчаянной скукой, Джордж попросил какую-нибудь книгу. Омани, который сам постоянно что-то читал, поднял голову и широко улыбнулся. Не желая доставлять им удовольствия, Джордж чуть было не взял назад свою просьбу, но потом подумал: «А не все ли равно?»

Он не уточнил, о чем именно хочет читать, и Омани принес ему книгу по химии. Текст был напечатан крупными буквами, составлен из коротких слов и пояснялся множеством картинок. Это была книга для подростков, и Джордж с яростью швырнул ее об стену.

Таким он будет всегда. На всю жизнь он останется подростком, человеком, не получившим образования, и для него будут писать специальные книги. Изнывая от ненависти, он лежал на кровати и глядел в потолок, однако через час, угрюмо насупившись, встал, поднял книгу и принялся за чтение.

Через неделю он кончил ее и попросил другую.

— А первую отнести обратно? — спросил Омани.

Джордж нахмурился. Кое-чего он не понял, но он еще не настолько потерял чувство собственного достоинства, чтобы сознаться в этом.

— Впрочем, пусть остается, — сказал Омани. — Книги предназначены для того, чтобы их читали и перечитывали.

Это произошло в тот самый день, когда он наконец принял приглашение Омани посмотреть заведение, в котором они находились. Он плелся за нигерийцем, бросая вокруг быстрые злобные взгляды.

О да, это место не было тюрьмой! Ни запертых дверей, ни решеток, ни охраны. Оно напоминало тюрьму только тем, что его обитатели не могли его покинуть.

И все-таки было приятно увидеть десятки подобных себе людей. Ведь слишком легко могло показаться, что во всем мире только ты один так... искалечен.

— А сколько здесь живет человек? — пробормотал он.

— Двести пять, Джордж, и это не единственное в мире заведение такого рода. Их тысячи.

Где бы он ни проходил, люди поворачивались в его сторону и провожали его глазами — и в гимнастическом зале, и на теннисных кортах, и в библиотеке. (Никогда в жизни он не представлял себе, что может существовать такое количество книг; ими были битком — именно битком — набиты длинные полки.) Все с любопытством рассматривали его, а он бросал в ответ яростные взгляды. Уж они-то ничем не лучше его, как же они смеют глазеть на него, словно на какую-нибудь диковинку!

Всем им, по-видимому, было лет двадцать-двадцать пять.

— А что происходит с теми, кто постарше? — неожиданно спросил Джордж.

— Здесь живут только более молодые,— ответил Омани, а затем, словно вдруг поняв скрытый смысл вопроса Джорджа, укоризненно покачал головой и добавил: — Их не уничтожают, если ты это имеешь в виду. Для старшего возраста существуют другие приюты.

— А впрочем, мне наплевать...— пробормотал Джордж, почувствовав, что проявил к этому слишком большой интерес и ему угрожает опасность сдаться.

— Но почему? Когда ты станешь старше, тебя переведут в приют, предназначенный для лиц обоего пола.

Это почему-то удивило Джорджа.

— И для женщин тоже?

— Конечно. Неужели ты считаешь, что женщины не подвержены этому?

И Джордж поймал себя на том, что испытывает та-

кой интерес и волнение, каких не замечал в себе с того дня, когда... Он заставил себя не думать об этом.

Омани остановился на пороге комнаты, где стояли небольшая телевизионная установка и настольная счетная машина. Перед экраном сидели пять-шесть человек.

— Класная комната,— пояснил Омани.

— А что это такое? — спросил Джордж.

— Эти юноши получают образование,— ответил Омани.— Но не обычным способом,— быстро добавил он.

— То есть они получают знания по капле?

— Да. Именно так учились в старину.

С тех пор как он попал в приют, ему все время твердили об этом. Но что толку? Предположим, было время, когда человечество не знало диатермической печи. Разве из этого следует, что он должен довольствоваться сырым мясом в мире, где все остальные едят его вареным или жареным?

— Что толку от этого крохоборства? — спросил он.

— Нужно же чем-то занять время, Джордж, а кроме того, им интересно.

— А какая им от этого польза?

— Они чувствуют себя ечастливее.

Джордж размышлял над этим, даже ложась спать. На другой день он буркнул, обращаясь к Омани:

— Ты покажешь мне класс, где я смогу узнать что-нибудь о программировании?

— Ну конечно,— охотно согласился Омани.

Дело продвигалось медленно, и это возмущало Джорджа. Почему кто-то снова и снова объясняет одно и то же? Почему он читает и перечитывает какой-нибудь абзац, а потом, глядя на математическую формулу, не сразу ее понимает? Ведь людям за стенами приюта все это дается в один присест.

Несколько раз он бросал занятия. Однажды он не посещал классов целую неделю. Но всегда возвращался обратно. Дежурный наставник, который советовал им, что читать, вел телевизионные сеансы и даже объяснял трудные места и понятия, казалось, не замечал его поведения.

В конце концов Джорджу поручили постоянную работу в парке, а кроме того, когда наступала его очередь, он занимался уборкой и помогал на кухне. Ему

представили это как шаг вперед, но им не удалось его провести. Ведь тут можно было бы завести куда больше всяческих бытовых приборов, но юношам нарочно давали работу, чтобы создать для них иллюзию полезного существования. Только его, Джорджа, им провести не удалось.

Им даже платили небольшое жалованье. Эти деньги они могли тратить на кое-какие дополнительные блага из числа указанных в списке либо откладывать их для сомнительного использования в столь же сомнительной старости. Джордж держал свои деньги в открытой жестянке, стоявшей на полке стенного шкафа. Он не имел ни малейшего представления, сколько там накопилось. Ему это было совершенно безразлично.

Он ни с кем по-настоящему не подружился, хотя к этому времени уже вежливо здоровался с обитателями приюта. Он даже перестал (вернее, почти перестал) терзать себя мыслями о роковой ошибке, из-за которой попал сюда. По целым неделям ему уже не снился Антонелли, его толстый нос и дряблая шея, его злобная усмешка, с которой он заталкивал Джорджа в раскаленный зыбучий песок и держал его там до тех пор, пока тот не просыпался с криком, встречая участливый взгляд склонившегося над ним Омани.

Как-то раз в снежный февральский день Омани сказал ему:

— Просто удивительно, как ты приспособился.

Но это было в феврале, точнее, тринадцатого февраля, в день его рождения. Пришел март, за ним апрель, а когда уже не за горами был май, Джордж понял, что ничуть не приспособился.

Год назад он не заметил мая. Тогда, ко всему безразличный и потерявший цель в жизни, он целыми днями валялся в постели. Но этот май был иным.

Джордж знал, что повсюду на Земле вскоре начнется Олимпиада и молодые люди будут состязаться друг с другом в профессиональном искусстве, борясь за места на новых планетах. На всей Земле будет праздничная атмосфера, волнение, нетерпеливое ожидание последних новостей о результатах состязаний. Прибудут важные агенты-вербовщики с далеких планет. Победители будут увенчаны славой, но и потерпевшие поражение найдут чем утешиться.

Сколько было об этом написано книг! Как он сам

мальчишкой из года в год увлеченно следил за олимпийскими состязаниями! И сколько с этим было связано его личных планов...

Джордж Плейтен сказал с плохо скрытой тоской в голосе:

— Завтра первое мая. Начало Олимпиады!

И это вызвало его первую ссору с Омани, так что тот, сурово отчеканивая каждое слово, произнес полное название заведения, где находился Джордж.

Пристально глядя на Джорджа, Омани сказал раздельно:

— Приют для слабоумных.

Джордж Плейтен покраснел. Для слабоумных!

Он в отчаянии отогнал эту мысль и глухо сказал:

— Я уйду.

Он сказал это не думая, и смысл этих слов достиг его сознания, лишь когда они уже сорвались с языка.

Омани, который снова принялся за чтение, поднял голову.

— Что ты сказал?

Но теперь Джордж понимал, что говорит.

— Я уйду! — яростно повторил он.

— Что за нелепость! Садись, Джордж, и успокойся.

— Ну, нет! Сколько раз повторять тебе, что со мной попросту расправились. Я не понравился этому доктору, Антонелли, а все эти мелкие бюрокрашки любят покуражиться. Стоит только с ними не поладить, и они одним росчерком пера на какой-нибудь карточке стирают тебя в порошок.

— Ты опять за старое?

— Да, и не отступлю, пока все не выяснится. Я доберусь до Антонелли и выжму из него правду.— Джордж тяжело дышал, его была нервная дрожь. Наступал месяц Олимпиады, и он не мог допустить, чтобы этот месяц прошел для него безрезультатно. Если он сейчас ничего не предпримет, он окончательно капитулирует и погибнет навсегда.

Омани спустил ноги с кровати и встал. Он был почти шести футов ростом, и выражение лица придавало ему сходство с озабоченным сенбернартом. Он обнял Джорджа за плечи.

— Если я обидел тебя...

Джордж сбросил его руку.

— Ты просто сказал то, что считаешь правдой, а я докажу, что это ложь, вот и все. А почему бы мне не уйти? Дверь открыта, замков здесь никаких нет. Никто никогда не говорил, что мне запрещено выходить. Я просто возьму и уйду.

— Допустим. Но куда ты отправишься?

— В ближайший аэропорт, а оттуда — в ближайший большой город, где проводится какая-нибудь Олимпиада. У меня есть деньги.— Он схватил жестянку, в которую складывал свой заработок. Несколько монет со звоном упало на пол.

— Этого тебе, возможно, хватит на неделю. А потом?

— К этому времени я все улажу.

— К этому времени ты приползешь обратно,— сказал Омани с силой,— и тебе придется начинать все сначала. Ты сошел с ума, Джордж.

— Только что ты назвал меня слабоумным.

— Ну, извини. Останься, хорошо?

— Ты что, попытаешься удержать меня?

Омани сжал толстые губы.

— Нет, не попытаюсь. Это твое личное дело. Если ты образумишься только после того, как столкнешься с внешним миром и вернешься сюда с окровавленной физиономией, так уходи... Да, уходи!

Джордж уже стоял в дверях. Он оглянулся через плечо.

— Я ухожу.

Он вернулся, чтобы взять свой карманный несессер.

— Надеюсь, ты ничего не имеешь против, если я заберу кое-что из моих вещей?

Омани пожал плечами. Он опять улегся в постель и с безразличным видом погрузился в чтение.

Джордж снова помедлил на пороге, но Омани даже не взглянул в его сторону. Скрипнув зубами, Джордж повернулся, быстро зашагал по безлюдному коридору и вышел в окутанный ночной мглой парк.

Он ждал, что его задержат еще в парке, но его никто не остановил. Он зашел в ночную закусочную, чтобы спросить дорогу к аэропорту, и думал, что хозяин тут же вызовет полицию, но этого не случилось. Джордж вызвал скиммер, и водитель повез его в аэропорт, не задав ни одного вопроса.

Однако все это его не радовало. Когда он прибыл в

аэропорт, на душе у него было на редкость скверно. Прежде он как-то не задумывался над тем, что его ожидает во внешнем мире. И вот он оказался среди людей, обладающих профессиями. В закусочной над кассой была укреплена пластмассовая пластинка с именем хозяина. Такой-то, дипломированный повар. У человека, управлявшего скиммером, были права дипломированного водителя. Джордж остро почувствовал незаконченность своей фамилии и из-за этого ощущал себя как будто голым, даже хуже — ему казалось, что с него содрали кожу. Но он не поймал на себе ни одного подозрительного взгляда. Никто не остановил его, не потребовал у него профессионального удостоверения.

«Кому придет в голову, что есть люди без профессии?» — с горечью подумал Джордж.

Он купил билет до Сан-Франциско на стратоплан, улетающий в 3 часа ночи. Другие стратопланы в крупные центры Олимпиады вылетали только утром, а Джордж боялся ждать. Даже и теперь он устроился в самом укромном уголке зала ожидания и стал высматривать полицейских. Но они не явились.

В Сан-Франциско он прилетел еще до полудня, и городской шум обрушился на него, подобно удару. Он никогда еще не видел такого большого города, а за последние полтора года привык к тишине и спокойствию.

Да и к тому же это был месяц Олимпиады. Когда Джордж вдруг сообразил, что именно этим объясняются особый шум, возбуждение и суматоха, он почти забыл о собственном отчаянном положении.

Для удобства прибывающих пассажиров в аэропорту были установлены Олимпийские стенды, перед которыми собирались большие толпы. Для каждой основной профессии был отведен особый стенд, на котором значился адрес того Олимпийского зала, где в данный день проводилось состязание по этой профессии, затем перечислялись его участники с указанием места их рождения и называлась планета-заказчик (если таковая была).

Все полностью соответствовало традициям. Джордж достаточно часто читал в газетах описания Олимпийских состязаний, видел их по телевизору и даже однажды присутствовал на небольшой Олимпиаде дипломированных мясников в главном городе своего округа. Даже это состязание, не имевшее никакого отношения к



другим мирам (на нем, конечно, не присутствовало ни одного представителя иной планеты), привлекло множество зрителей.

Отчасти это объяснялось просто самим фактом состязания, отчасти — местным патриотизмом (о, что творилось, когда среди участников оказывался земляк, пусть даже совершенно незнакомый, но за которого можно было болеть!) и, конечно, до некоторой степени — возможностью заключать пари. Бороться с этим было невозможно.

Джордж убедился, что подойти поближе к стенду не так-то просто. Он поймал себя на том, что как-то поновому смотрит на оживленные лица вокруг.

Ведь было же время, когда эти люди сами участвовали в Олимпиадах. А чего они достигли? Ничего!

Если бы они были победителями, то не сидели бы на Земле, а находились бы где-нибудь далеко в глубинах Галактики. Кем бы они ни были, их профессии с самого начала сделали их добычей Земли. Или, если у них были высокоспециализированные профессии, они стали добычей Земли из-за собственной бездарности.

Теперь эти неудачники, собравшись здесь, взвешивали шансы новых, молодых участников состязаний. Стервятники!

Как страстно он желал, чтобы они прикидывали сейчас его шансы!

Он машинально шел мимо стендов, держась у самого края толпы. В стратоплане он позавтракал, и ему не хотелось есть. Зато ему было страшно. Он находился в большом городе в самый разгар суматохи, которая сопутствует началу Олимпийских состязаний. Это, конечно, для него выгодно. Город наводнен приезжими. Никто не станет расспрашивать Джорджа. Никому не будет до него никакого дела.

«Никому, даже приюту», — с болью подумал Джордж.

Там за ним ухаживали, как за больным котенком, но если больной котенок возьмет да убежит? Что поделаешь — тем хуже для него!

А теперь, добравшись до Сан-Франциско, что он предпримет? На этот вопрос у него не было ответа. Обратиться к кому-нибудь? К кому именно? Как? Он не знал даже, где ему остановиться. Деньги, которые у него остались, казались жалкими грошами.

Он вдруг со стыдом прикинул, не лучше ли будет

вернуться в приют. Ведь можно пойти в полицию... Но тут же яростно замотал головой, словно споря с реальным противником.

Его взгляд упал на слово «Металлурги», которое ярко светилось на одном из стендов. Рядом, помельче — «Цветные металлы». А под длинным списком фамилий завивались прихотливые буквы: «Заказчик — Новия».

На Джорджа нахлынули мучительные воспоминания: его спор с Тревельяном, когда он был так уверен, что станет программистом, так уверен, что программист намного выше металлурга, так уверен, что идет по правильному пути, так уверен в своих способностях...

И вот он расхвастался перед этим мелочным, мстительным Антонелли! Он же был так уверен в себе, когда его вызвали, и он еще постарался ободрить нервничавшего Тревельяна. В себе-то он был уверен!

У Джорджа вырвался всхлипывающий вздох. Какой-то человек обернулся и, взглянув не него, поспешил дальше. Мимо торопливо проходили люди, поминутно толкая его то в одну, то в другую сторону, а он не мог оторвать изумленных глаз от стенда.

Ведь стенд словно откликнулся на его мысли! Он настойчиво думал о Тревельяне, и на мгновение ему показалось, что на стенде в ответ обязательно возникнет слово «Тревельян».

Но там и в самом деле значился Тревельян. *Арманд Тревельян* (имя, которое так ненавидел Коротышка, ярко светилось на стенде для всеобщего обозрения), а рядом — название их родного города. Да и к тому же Трев всегда мечтал о Новии, стремился на Новию, ни о чем не думал, кроме Новии. А заказчиком этого состязания была Новия.

Значит, это действительно Трев, старина Трев! Почти машинально он запомнил адрес зала, где проводилось состязание, и стал в очередь на скиммер.

«Трев-таки добился своего! — вдруг угрюмо подумал он. — Он хотел стать металлургом и стал!»

Джорджу стало холодно и одиноко, как никогда.

У входа в зал стояла очередь. Очевидно, Олимпиада металлургов обещала захватывающую и напряженную борьбу. По крайней мере так утверждала горевшая высоко в небе надпись, и так же, казалось, думали тес-

нившиеся у входа люди.

Джордж решил, что, судя по цвету неба, день выдался дождливый, но над всем Сан-Франциско, от залива до океана, натянули прозрачный защитный купол. Это, конечно, стоило немалых денег, но, когда дело касается удобства представителей других миров, все расходы оправдываются. А на Олимпиаду их съедется сюда немало. Они швыряют деньги направо и налево, а за каждого нанятого специалиста планета-заказчик платила не только Земле, но и местным властям. Так что город, в котором представители других планет проводили месяц Олимпиады с удовольствием, внакладе не оставался. Сан-Франциско знал, что делает.

Джордж так глубоко задумался, что вздрогнул, когда его плеча мягко коснулась чья-то рука и вежливый голос произнес:

— Вы стоите в очереди, молодой человек?

Очередь продвинулась, и теперь Джордж наконец обнаружил, что перед ним образовалось пустое пространство. Он поспешно шагнул вперед и пробормотал:

— Извините, сэр.

Два пальца осторожно взяли его за локоть. Он испуганно оглянулся.

Стоявший за ним человек весело кивнул. В его волосах пробивалась обильная седина, а под пиджаком он носил старомодный свитер, застегивавшийся спереди на пуговицы.

— Я не хотел вас обидеть,— сказал он.

— Ничего.

— Вот и хорошо! — Он, казалось, был расположен благодушно поболтать.— Я подумал, что вы, может быть, случайно остановились тут, задержавшись из-за очереди, и что вы, может быть...

— Кто? — резко спросил Джордж.

— Участник состязания, конечно. Вы же очень молоды.

Джордж отвернулся. Он был не в настроении для благодушной болтовни и испытывал злость ко всем любителям совать нос в чужие дела.

Его внезапно осенила новая мысль. Не разыскивают ли его? Вдруг сюда уже сообщили его приметы или прислали фотографию? Вдруг этот Седой позади него ищет предлога получше рассмотреть его лицо?

Надо бы все-таки узнать последние известия. Задрав

голову, Джордж взглянул на движущуюся полосу заголовков и кратких сообщений, которые бежали по одной из секций прозрачного купола, непривычно тусклые на сером фоне затянутого облаками предвечернего неба. Но тут же решил, что это бесполезно, и отвернулся. Для этих сообщений его персона слишком ничтожна. Во время Олимпиады только одни новости заслуживают упоминания: количество очков, набранных победителями, и призы, завоеванные континентами, нациями и городами.

И так будет продолжаться до конца месяца. Очки будут подсчитываться на душу населения, и каждый город будет изыскивать способ подсчета, который дал бы ему возможность занять почетное место.

Его собственный город однажды занял третье место на Олимпиаде электротехников, третье место во всем штате! В ратуше до сих пор висит мемориальная доска, увековечившая это событие.

Джордж втянул голову в плечи и засунул руки в карманы, но тут же решил, что так скорее привлечет к себе внимание. Он расслабил мышцы и попытался принять безразличный вид, но от страха не избавился. Теперь он находился уже в вестибюле, и до сих пор на его плечо не опустилась властная рука блюстителя порядка. Наконец он вошел в зал и постарался пробраться как можно дальше вперед.

Вдруг он заметил рядом Седого и опять почувствовал страх. Он быстро отвел взгляд и попытался внушить себе, что это вполне естественно. В конце концов, Седой стоял в очереди прямо за ним.

К тому же Седой, поглядев на него с приветливой вопросительной улыбкой, отвернулся. Олимпиада вот-вот должна была начаться. Джордж приподнялся, высматривая Тревельяна, и на время забыл обо всем остальном.

Зал был не очень велик и имел форму классического вытянутого овала. Зрители располагались на двух галереях, опоясывающих зал, а участники состязания — внизу, в длинном и узком углублении. Приборы были уже установлены, а на табло над каждым рабочим местом пока светились только фамилии и номера состязующихся. Сами участники были на сцене. Одни читали, другие разговаривали. Кто-то внимательно разглядывал свои ногти. (Хороший тон требовал, чтобы они

проявляли полное равнодушие к предстоящему испытанию, пока не будет подан сигнал к началу состязания.)

Джордж просмотрел программу, которая выскочила из ручки его кресла, когда он нажал кнопку, и отыскал фамилию Тревельяна. Она значилась под номером двенадцать, и, к огорчению Джорджа, место его приятеля находилось в другом конце зала. Он нашел участника под двенадцатым номером: тот, засунув руки в карманы, стоял спиной к своему прибору и смотрел на галереи, словно пересчитывал зрителей, но лица его Джордж не видел.

И все-таки он сразу узнал Трева.

Джордж откинулся в кресле. Добьется ли Трев успеха? Из чувства долга он желал ему самых лучших результатов, однако в глубине его души нарастал бунт. Он, Джордж, человек без профессии, сидит здесь простым зрителем, а Тревельян, дипломированный металлург, специалист по цветным металлам, участвует в Олимпиаде.

Джордж не знал, выступал ли Тревельян олимпийским соискателем в первый год после получения профессии. Такие смельчаки находились: либо человек был очень уверен в себе, либо очень торопился. В этом крылся определенный риск. Как ни эффективен был процесс обучения, год, проведенный на Земле после получения образования («чтобы смазать механизм неразработавшихся знаний», согласно поговорке), обеспечивал более высокие результаты.

Если Тревельян выступает в состязаниях вторично, он, быть может, не так уж и преуспел. Джордж со стыдом заметил, что эта мысль ему даже приятна.

Он поглядел по сторонам. Почти все места были заняты. Олимпиада соберет много зрителей, а значит, участники будут больше нервничать, а может быть, и работать с большей энергией — в зависимости от характера.

«Но почему это называется Олимпиадой?» — подумал он вдруг в недоумении. Он не знал. Почему хлеб называют хлебом?

В детстве он как-то спросил отца:

— Папа, а что такое Олимпиада?

И отец ответил:

— Олимпиада — значит состязание.

— А когда мы с Коротышкой боремся, это тоже Олимпиада? — поинтересовался Джордж.

— Нет, — ответил Плейтен-старший. — Олимпиада — это особенное состязание. Не задавай глупых вопросов. Когда получишь образование, узнаешь все, что тебе положено знать.

Джордж глубоко вздохнул, вернулся к действительности и уселся поглубже в кресло.

Все, что тебе положено знать!

Странно, как хорошо он помнит эти слова! «Когда ты получишь образование...» Никто никогда не говорил: «Если ты получишь образование...»

Теперь ему казалось, что он всегда задавал глупые вопросы. Как будто его разум инстинктивно предвидел свою неспособность к образованию и придумывал всяческие расспросы, чтобы хоть по обрывкам собрать побольше знаний.

А в приюте поощряли его любознательность, проповедуя то же, к чему инстинктивно стремился его разум. Единственный открытый ему путь!

Внезапно он выпрямился. Черт возьми, что это он? Чуть было не попался на их удочку! Неужели он сдастся только потому, что там перед ним Трев, получивший образование и участвующий в Олимпиаде?

Нет, он не слабоумный! Нет!!

И, словно в ответ на этот мысленный вопль протеста, зрители вокруг зашумели. Все встали.

В ложу, расположенную в самом центре длинной дуги овала, входили люди, одетые в цвета планеты Новии, и на главном табло над их головами вспыхнуло слово «Новия».

Новия была планетой класса А с большим населением и высокоразвитой цивилизацией, быть может самой лучшей во всей Галактике. Каждый землянин мечтал когда-нибудь поселиться в таком мире, как Новия, или, если ему это не удастся, увидеть там своих детей. Джордж вспомнил, с какой настойчивостью стремился на Новию Тревельян, и вот теперь он состязается за право уехать туда.

Лампы над головами зрителей погасли, потухли и стены. Поток яркого света хлынул вниз, туда, где находились участники состязания.

Джордж снова попытался рассмотреть Тревельяна. Но тот был слишком далеко.

— Уважаемые новианские заказчики, уважаемые дамы и господа! — раздался отчетливый, хорошо поставленный голос диктора. — Сейчас начнутся Олимпийские состязания металлургов, специалистов по цветным металлам. В состязании принимают участие...

С добросовестной внятностью диктор прочитал список, приведенный в программе. Фамилии, названия городов, откуда прибыли участники, год получения образования. Зрители встречали каждое имя аплодисментами, и самые громкие доставались на долю жителей Сан-Франциско. Когда очередь дошла до Тревелияна, Джордж неожиданно для самого себя бешено завопил и замахал руками. Но еще больше его удивило то, что сидевший рядом с ним седой мужчина повел себя точно так же.

Джордж не мог скрыть своего изумления, и его сосед, наклонившись к нему и напрягая голос, чтобы перекричать шум, произнес:

— У меня здесь нет земляков. Я буду болеть за ваш город. Это ваш знакомый?

Джордж отодвинулся, насколько мог.

— Нет.

— Я заметил, что вы все время смотрите в том направлении. Не хотите ли воспользоваться моим биноклем?

— Нет, благодарю вас. (Почему этот старый дурак сует нос не в свое дело?)

Диктор продолжал сообщать другие официальные сведения, касавшиеся номера состязания, метода хронометрирования и подсчитывания очков. Наконец он дошел до самого главного, и публика замерла, обратившись в слух.

— Каждый участник состязания получит по бруску сплава неизвестного для него состава. От него требуется произвести количественный анализ этого сплава и сообщить все результаты с точностью до четырех десятых процента. Для этого все соревнующиеся будут пользоваться микроспектрографами Бимена, модель MD-2, каждый из которых в настоящее время неисправен.

Зрители одобрительно зашумели.

— Каждый участник должен будет определить неисправность своего прибора и ликвидировать ее. Для этого им даны инструменты и запасные детали. Среди

них может не оказаться нужной детали, и ее надо будет затребовать. Время, которое займет доставка, вычитается из общего времени, затраченного на выполнение задания. Все участники готовы?

На табло над пятым номером вспыхнул тревожный красный сигнал. Номер пять бегом бросился из зала и быстро вернулся. Зрители добродушно рассмеялись.

— Все готовы?

Табло остались темными.

— Есть какие-нибудь вопросы?

По-прежнему ничего.

— Можете начинать!

Разумеется, ни один из зрителей не имел возможности непосредственно определить, как продвигается работа у каждого участника. Некоторое представление об этом могли дать только надписи, вспыхивавшие на табло. Впрочем, это не имело ни малейшего значения. Среди зрителей только металлург, окажись он здесь, мог бы разобраться в сущности состязания. Но важно было, кто победит, кто займет второе, а кто — третье место. Для тех, кто ставил на участников (а этому не могли помешать никакие законы), только это было важно. Все прочее их не интересовало.

Джордж следил за состязанием так же жадно, как и остальные, поглядывая то на одного участника, то на другого. Он видел, как вот этот, ловко орудуя каким-то маленьким инструментом, снял крышку со своего микро-спектрографа; как тот всматривался в экран аппарата; как спокойно вставлял третий свой брусок сплава в зажим и как четвертый подкручивал верньер, причем настолько осторожно, что, казалось, на мгновение застыл в полной неподвижности.

Тревелиан, как и все остальные участники, был целиком поглощен своей работой. А как идут его дела, Джордж определить не мог.

На табло над семнадцатым номером вспыхнула надпись:

«Сдвинута фокусная пластинка».

Зрители бешено зааплодировали.

Семнадцатый номер мог быть прав, но мог, конечно, и ошибиться. В этом случае ему пришлось бы позже



дать другое заключение, потеряв на этом время. А может быть, он не заметил бы ошибки и не сумел бы сделать анализ. Или же, еще хуже, он мог получить совершенно неверные результаты.

Неважно. А пока зрители ликовали.

Зажглись и другие табло. Джордж не спускал глаз с табло номер двенадцать. Наконец оно тоже засветилось:

«Держатель децентрирован. Требуется новый зажим».

К Тревельяну подбежал служитель с новой деталью. Если Трев ошибся, это означает бесполезную задержку, а время, потраченное на ожидание детали, не будет вычтено из общего времени. Джордж невольно затаил дыхание.

На семнадцатом табло начали появляться светящиеся буквы результата анализа: «Алюминий — 41,2649, магний — 22,1914, медь — 10,1001».

И на других табло все чаще вспыхивали цифры.

Зрители бесновались.

Джордж недоумевал, как участники могли работать в таком бедламе, потом ему пришло в голову, что, может быть, это даже хорошо: ведь первоклассный специалист лучше всего работает в напряженной обстановке.

На семнадцатом табло вспыхнула красная рамка, знаменующая окончание работы, и семнадцатый номер поднялся со своего места. Четвертый отстал от него всего лишь на две секунды. Затем кончил еще один и еще.

Тревельян продолжал работать, определяя последние компоненты своего сплава. Он поднялся, когда почти все состязающиеся уже стояли. Последним встал пятый номер, и публика приветствовала его ироническими возгласами.

Однако это был еще не конец. Заключение жюри, естественно, задерживалось. Время, затраченное на всю операцию, имело определенное значение, но не менее важна была точность результатов. И не все задачи были одинаково трудны. Необходимо было учесть множество факторов.

Наконец раздался голос диктора:

— Победителем состязания, выполнившим задание за четыре минуты двенадцать секунд, правильно определившим неисправность и получившим правильный результат с точностью до семи десятитысячных процента,

является участник под номером... семнадцать, Генрих Антон Шмидт из...

Остальное потонуло в бешеном реве. Второе место занял восьмой номер, третье — четвертый, хороший показатель времени которого был испорчен ошибкой в пять сотых процента при определении количественного содержания ниобия. Двенадцатый номер даже не был упомянут, если не считать фразы «...а остальные участники...»

Джордж протолкался к служебному выходу и обнаружил, что здесь уже собралось множество людей — плачущие (кто от радости, кто от горя) родственники, репортеры, намеренные взять интервью у победителей, земляки, охотники за автографами, любители рекламы и просто любопытные. Были здесь и девушки, надеявшиеся обратить на себя внимание победителя, который почти наверняка отправится на Новию (а может быть, и потерпевшего поражение, который нуждается в утешении и имеет деньги, чтобы позволить себе такую роскошь).

Джордж остановился в сторонке. Он не увидел ни одного знакомого лица. Сан-Франциско был так далеко от их родного города, что вряд ли Трев приехал сюда в сопровождении близких, которые теперь печально поджидали бы его у двери.

Смущенно улыбаясь и кланяясь в ответ на приветствия, появились участники соревнования. Полицейские сдерживали толпу, освобождая им проход. Каждый из набравших большое количество очков увлекал за собой часть людей, подобно магниту,двигающемуся по кучке железных опилок.

Когда вышел Тревельян, у входа уже почти никого не было. (Джордж решил, что он долго выжидал эту минуту.) В его сурово сжатых губах была сигарета. Глядя в землю, он повернулся, чтобы уйти.

Это было первое напоминание о родном доме за без малого полтора года, которые показались Джорджу в десять раз дольше. И он даже удивился, что Тревельян несколько не постарел и остался все тем же Тревом, каким он видел его в последний раз.

Джордж рванулся вперед.

— Трев!

Тревельян в изумлении обернулся. Он с недоумением взглянул на Джорджа и сразу же протянул ему руку.

— Джордж Плейтен! Вот черт...

Появившееся на его лице радостное выражение тут же угасло, а рука опустилась, прежде чем Джордж успел пожать ее.

— Ты был там? — Тревельян мотнул головой в сторону зала.

— Был.

— Чтобы посмотреть на меня?

— Да.

— Я не слишком блеснул, а?

Он бросил сигарету, раздавил ее ногой, глядя в сторону улицы, где медленно рассасывавшаяся толпа окружала скиммеры и уже стояли новые очереди желающих попасть на следующие состязания.

— Ну и что? — угрюмо буркнул Тревельян. — Я проиграл всего во второй раз. А после сегодняшнего Новия может катиться ко всем чертям. Есть планеты, которые просто вцепятся в меня... Но послушай-ка, ведь я не видел тебя со Дня образования. Где ты пропадал? Твои родные сказали, что ты уехал по специальному заданию, но ничего не объяснили подробно. И ты ни разу мне не написал. А мог бы.

— Да, пожалуй, — неловко произнес Джордж. — Но я пришел сказать, как мне жаль, что сейчас все так обернулось.

— Не жалей, — возразил Тревельян. — Я ведь уже говорил тебе, что Новия может убираться к черту... Да я мог бы знать заранее! Все только и говорили, что использован будет прибор Бимена. Никто и не сомневался. А в проклятых лентах, которыми меня зарядили, был предусмотрен спектрограф Хенслера! Кто же теперь пользуется Хенслером? Разве что планеты вроде Гомена, если их вообще можно назвать планетами. Ловко это было подстроено, а?

— Но ты ведь можешь подать жалобу в...

— Не будь дураком. Мне скажут, что мой мозг лучше всего подходил для Хенслера. Пойди поспоря. Да и вообще мне не везло. Ты заметил, что мне одному пришлось послать за запасной частью?

— Но потраченное на это время вычиталось?

— Конечно! Только я, когда заметил, что среди запасных частей нет зажима, подумал, что напутал, и не сразу потребовал его. Это-то время не вычиталось! А будь у меня микроспектрограф Хенслера, я бы знал, что не ошибаюсь. Где мне было тягаться с ними? Пер-

вое место занял житель Сан-Франциско, и следующие три — тоже. А пятое занял парень из Лос-Анджелеса. Они получили образование с лент, которыми снабжают большие города. С самых лучших, которые только есть. Там и спектрограф Бимена и все, что хочешь! Куда же мне было до них! Я отправился в такую даль потому, что только эту Олимпиаду по моей профессии заказала Новия, и с тем же успехом мог бы остаться дома. Я заранее знал, что так получится! Но теперь все. На Новии космос клином не сошелся. Из всех проклятых...

Он говорил это не для Джорджа. Он вообще ни к кому не обращался. Джордж понял, что он просто отводит душу.

— Если ты заранее знал, что вам дадут спектрограф Бимена, разве ты не мог ознакомиться с ним? — спросил Джордж.

— Я же говорю тебе, что его не было в моих лентах.

— Ты мог почитать... книги.

Тремельян вдруг так пронзительно взглянул на него, что он еле выговорил последнее слово.

— Ты что, смеешься? — сказал Тремельян. — Остришь? Неужели ты думаешь, что, прочитав какую-то книгу, я запомню достаточно, чтобы сравняться с теми, кто действительно знает?

— Я считал...

— А ты попробуй. Попробуй... Кстати, а ты какую получил профессию? — вдруг ехидно спросил Тремельян.

— Видишь ли...

— Ну, выкладывай. Раз уж ты тут передо мной строишь такого умника, давай-ка посмотрим, кем стал ты. Раз ты все еще на Земле, значит, ты не программист и твое специальное задание не такое уж важное.

— Послушай, Трем,— сказал Джордж,— я опаздываю на свидание...

Он попятился, пытаясь улыбнуться.

— Нет, ты не уйдешь.— Тремельян в бешенстве бросился к Джорджу и вцепился в его пиджак.— Отвечай! Почему ты боишься сказать мне? Кто ты такой? Ты мне тычешь в нос мое поражение, а сам? Это у тебя не выйдет, слышишь!

Он неистово тряс Джорджа, тот вырывался. Так, отчаянно борясь и чуть не падая, они двигались через зал, но тут Джордж услышал глас Рока — суровый голос полицейского:

— Довольно! Довольно! Прекратите!

Сердце Джорджа мучительно сжалось и превратилось в кусок свинца. Сейчас полицейский спросит их имена и потребует удостоверения личности, а у Джорджа нет никаких документов. После первых же вопросов выяснится, что у него нет и профессии. А Тревельян, озлобленный своей неудачей, конечно, поспешит рассказать об этом всем знакомым в родном городке, чтобы утешить собственное уязвленное самолюбие.

Этого Джордж не мог вынести. Он вырвался и бросился было бежать, но ему на плечо легла тяжелая рука полицейского.

— Эй, постойте. Покажите-ка ваше удостоверение.

Тревельян шарил в карманах и говорил отрывисто и зло:

— Я Арманд Тревельян, металлург, специалист по цветным металлам. Я участвовал в Олимпиаде. А вот его проверьте хорошенько, сержант.

Джордж стоял перед ними, не в силах вымолвить ни слова. Губы его пересохли, горло сжалось.

Вдруг раздался еще один голос, спокойный и вежливый:

— Можно вас на минутку, сержант?

Полицейский шагнул назад.

— Что вам угодно, сэр?

— Этот молодой человек — мой гость. Что случилось?

Джордж оглянулся вне себя от изумления. Это был тот самый седой мужчина, который сидел рядом с ним на Олимпиаде. Седой добродушно кивнул Джорджу.

Его гость? Он что, сошел с ума?

— Эти двое затеяли драку, сэр,— объяснил полицейский.

— Вы предъявляете им какое-нибудь обвинение? Нанесен ущерб?

— Нет, сэр.

— В таком случае всю ответственность я беру на себя.

Он показал полицейскому небольшую карточку, и тот сразу отступил.

— Постойте...— возмущенно начал Тревельян, но полицейский свирепо перебил его:

— Ну? У вас есть какие-нибудь претензии?

— Я только...

— Проходите! И вы тоже... Расходитесь, расходитесь!

И собравшаяся вокруг толпа начала с неохотой расходиться.

Джордж покорно пошел с Седым к скиммеру, но вдруг решительно остановился.

— Благодарю вас,— сказал он,— но ведь я не ваш гость. (Может быть, по нелепой случайности его приняли за кого-то другого?)

Но Седой улыбнулся и сказал:

— Теперь вы уже мой гость. Разрешите представиться.— Я — Ладислас Индженеску, дипломированный историк.

— Но...

— С вами ничего дурного не случится, уверяю вас. Я ведь просто хотел избавить вас от неприятного разговора с полицейским.

— А почему?

— Вы хотите знать причину? Ну, ведь мы с вами, так сказать, почетные земляки. Мы же дружно болели за одного человека. А земляки должны держаться друг друга, даже если они только почетные земляки. Не правда ли?

И Джордж, не доверяя ни Индженеску, ни самому себе, все-таки вошел в скиммер. Они поднялись в воздух, прежде чем он успел передумать.

«Это, наверное, важная птица,— вдруг сообразил он.— Полицейский говорил с ним очень почтительно».

Только теперь он вспомнил, что приехал в Сан-Франциско вовсе не ради Тревельяна, а с целью найти достаточно влиятельного человека, который мог бы добиться переоценки его способностей.

А вдруг этот Индженеску именно тот, кто ему нужен? И его даже не придется искать!

Как знать, не сложилось ли все на редкость удачно... удачно... Но Джордж напрасно убеждал себя. На душе у него было по-прежнему тревожно.

Во время недолгого полета на скиммере Индженеску поддерживал разговор, любезно указывая на достопримечательности города и рассказывая о других Олимпиадах, на которых ему доводилось бывать. Джордж слушал его рассеянно, издавал невнятное хмыканье, когда Индженеску замолкал, а сам с волнением следил за направлением полета.

Вдруг они поднимутся к отверстию в защитном куполе и покинут город?

Но скиммер снижался, и Джордж тихонько вздохнул с облегчением. В городе он чувствовал себя в большей безопасности.

Скиммер опустился на крышу какого-то отеля, прямо у верхней двери, и, когда они вышли, Индженеску спросил:

— Вы не откажетесь пообедать со мной в моем номере?

— С удовольствием,— ответил Джордж и улыбнулся вполне искренне. Время второго завтрака давно прошло, и у него начало сосать под ложечкой.

Они ели молча. Наступили сумерки, и автоматически засветились стены. («Вот уже почти сутки, как я на свободе»,— подумал Джордж.)

За кофе Индженеску наконец заговорил.

— Вы вели себя так, словно подозревали меня в дурных намерениях,— сказал он.

Джордж покраснел и, поставив чашку, попытался что-то возразить, но его собеседник рассмеялся и покачал головой.

— Это так. Я внимательно наблюдал за вами с того момента, как впервые вас увидел, и, мне кажется, теперь я знаю о вас очень многое.

Джордж в ужасе приподнялся с места.

— Сядьте,— сказал Индженеску.— Я ведь только хочу помочь вам.

Джордж сел, но в его голове вихрем кружились мысли. Если старик знал, кто он, то почему он помешал полицейскому? Да и вообще, с какой стати он решил ему помогать?

— Вам хочется знать, почему я захотел помочь вам? — спросил Индженеску.— О, не пугайтесь, я не умею читать мысли. Видите ли, просто моя профессия позволяет мне по самой незначительной внешней реакции судить о мыслях человека. Вам это понятно?

Джордж отрицательно покачал головой.

— Представьте себе, каким я увидел вас,— сказал Индженеску.— Вы стояли в очереди, чтобы посмотреть Олимпиаду, но ваши микрореакции не соответствовали тому, что вы делали. У вас было не то выражение лица, не те движения рук. Отсюда следовало, что у вас какая-то беда, но, что самое интересное, необычная, не ле-

жащая на поверхности. Быть может, вы сами не сознаете, что с вами, решил я. И, не удержавшись, последовал за вами, даже сел рядом. После окончания состязания я опять пошел за вами и подслушал ваш разговор с вашим знакомым. Ну, а уж к этому времени вы превратились в такой интересный объект для изучения — простите, если это звучит бессердечно, — что я просто не мог допустить, чтобы вас забрали в полицию... Скажите же, что вас тревожит?

Джордж мучился, не зная, на что решиться. Если это ловушка, то зачем нужно действовать таким окольным путем? Ему же действительно нужна помощь. Ради этого он сюда и приехал. А тут помощь ему прямо предлагают. Пожалуй, именно это его и смущало. Что-то все получается уж очень просто.

— Разумеется, то, что вы сообщите мне как социологу, становится профессиональной тайной, — сказал Индженеску. — Вы понимаете, что это значит?

— Нет, сэр.

— Это значит, что с моей стороны будет бесчестным, если я расскажу о том, что узнаю от вас, с какой бы целью я это ни сделал. Более того, никто не имеет права заставить меня рассказать об этом.

— А я думал, вы историк, — подозрительно сказал Джордж.

— Это верно.

— Но вы же только сейчас сказали, что вы социолог.

Индженеску расхохотался.

— Не сердитесь, молодой человек, — извинился он, когда был в состоянии говорить. — Но право же, я смеялся не над вами. Я смеялся над Землей, над тем, какое большое значение она придает точным наукам, и над некоторыми практическими следствиями этого увлечения. Держу пари, что вы можете перечислить все разделы строительной технологии или прикладной механики и в то же время даже не слышали о социологии.

— Ну, а что же такое социология?

— Социология — это наука, которая занимается изучением человеческого общества и отдельных его ячеек и делится на множество специализированных отраслей, так же как, например, зоология. Так, существуют культурологи, изучающие культуру, ее рост, развитие и упадок. Культура, — добавил он, предупреждая вопрос



Джорджа,— это совокупность всех сторон жизни. К культуре относится, например, то, каким путем мы зарабатываем себе на жизнь, от чего получаем удовольствие, во что верим, наши представления о хорошем и плохом и так далее. Вам это понятно?

— Кажется, да.

— Экономист — не специалист по экономической статистике, а именно экономист — специализируется на изучении того, каким образом культура удовлетворяет материальные потребности каждого члена общества. Психолог изучает отдельных членов общества и то влияние, которое это общество на них оказывает. Прогнозист планирует будущий путь развития общества, а историк... Это уже по моей части.

— Да, сэр?

— Историк специализируется на изучении развития нашего общества в прошлом, а также обществ с другими культурами.

Джорджу стало интересно.

— А разве в прошлом что-то было по-другому?

— Еще бы! Тысячу лет назад не было образования, то есть образования, как мы понимаем его теперь.

— Знаю,— произнес Джордж.— Люди учились по книгам, собирая знания по крупицам.

— Откуда вы это знаете?

— Слышал,— осторожно ответил Джордж и добавил: — А какой смысл думать о том, что происходило в далеком прошлом? Я хочу сказать, что ведь со всем этим уже покончено, не правда ли?

— С прошлым никогда не бывает покончено, мой друг. Оно объясняет настоящее. Почему, например, у нас существует именно такая система образования?

Джордж беспокойно заерзал. Слишком уж настойчиво его собеседник возвращался к этой теме.

— Потому что она самая лучшая,— отрезал он.

— Да. Но почему она самая лучшая? Послушайте меня минутку, и я попытаюсь объяснить. А потом вы мне скажете, есть ли смысл в изучении истории. Даже до того, как начались межзвездные полеты...— Он внезапно умолк, заметив на лице Джорджа выражение глубочайшего изумления.— Неужели вы считали, что так было всегда?

— Я никогда не задумывался над этим, сэр.

— Вполне естественно. Однако четыре-пять тысяч

лет назад человечество было приковано к Земле. Но и тогда уже техника достигла высокого уровня развития, а численность населения увеличилась настолько, что любое торможение техники привело бы к массовому голоду и эпидемиям. Для того чтобы уровень техники не снижался и соответствовал росту населения, нужно было готовить все больше инженеров и ученых. Однако по мере развития науки на их обучение требовалось все больше и больше времени. Когда же впервые были открыты способы межпланетных, а затем и межзвездных полетов, эта проблема стала еще острее. Собственно говоря, из-за недостатка специалистов человечество в течение почти полутора тысяч лет не могло по-настоящему колонизировать планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Перелом наступил, когда был установлен механизм хранения знаний в человеческом мозгу. Как только это было сделано, появилась возможность создать образовательные ленты на основе этого механизма таким образом, чтобы сразу вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых знаний. Впрочем, это-то вы знаете. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов, и мы смогли приступить к тому, что впоследствии назвали «заполнением Вселенной». Сейчас в Галактике уже существует полторы тысячи населенных планет, и число их будет возрастать до бесконечности.

Вы понимаете, что из этого следует? Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для подготовки специалистов низкой квалификации, и это обеспечивает единство культуры для всей Галактики. Так, например, благодаря лентам чтения мы все говорим на одном языке... Не удивляйтесь. Могут быть и иные языки, и в прошлом люди на них говорили. Их были сотни. Земля, кроме того, экспортирует высококвалифицированных специалистов, и численность ее населения не превышает допустимого уровня. Поскольку при вызове специалистов соблюдается равновесие полов, они образуют самовоспроизводящиеся ячейки, и это способствует росту населения на тех планетах, где в этом есть необходимость. Более того, за ленты и специалистов платят сырьем, в котором мы очень нуждаемся и от которого зависит наша экономика. Теперь вы поняли, почему наша система образования действительно самая лучшая?

— Да, сэр.

— И вам легче понять это, зная, что без нее в течение полутора тысяч лет было невозможно колонизировать планеты других солнечных систем?

— Да, сэр.

— Значит, вы видите, в чем польза истории? — Историк улыбнулся. — А теперь скажите, догадались ли вы, почему я вами интересуюсь?

Джордж мгновенно вернулся из пространства и времени назад к действительности. Видимо, Индженеску неспроста завел этот разговор. Вся его лекция была направлена на то, чтобы атаковать его неожиданно.

— Почему же? — неуверенно спросил он, снова насторожившись.

— Социологи изучают общество, а общество состоит из людей.

— Ясно.

— Но люди не машины. Специалисты в области точных наук работают с машинами. А машина требует строго определенного количества знаний, и эти специалисты знают о ней все. Более того, все машины данного вида почти одинаковы, так что индивидуальные особенности машины не представляют для них интереса. Но люди... О, они так сложны и так отличаются друг от друга, что социолог никогда не знает о них все или хотя бы значительную часть того, что можно о них знать. Чтобы не утратить квалификации, он должен постоянно изучать людей, особенно необычные экземпляры.

— Вроде меня, — глухо произнес Джордж.

— Конечно, называть вас экземпляром невежливо, но вы человек необычный. Вы стóите того, чтобы вами заняться, и, если вы разрешите мне это, я в свою очередь по мере моих возможностей помогу вам в вашей беде.

В мозгу Джорджа кружился смерч. Весь этот разговор о людях и о колонизации, ставшей возможной благодаря образованию... Как будто кто-то разбивал и дробил заскорузлую, спекшуюся корку мыслей.

— Дайте мне подумать, — произнес он, зажав руками уши.

Потом он опустил руки и сказал историку:

— Вы можете оказать мне услугу, сэр?

— Если она в моих силах, — любезно ответил историк.

— Все, что я говорю в этой комнате,— профессиональная тайна? Вы так сказали.

— Так оно и есть.

— Тогда устройте мне свидание с каким-нибудь должностным лицом другой планеты, например с... с новианином.

Индженеску был, по-видимому, крайне удивлен.

— Право же...

— Вы можете сделать это,— убежденно произнес Джордж.— Вы ведь важное должностное лицо. Я видел, какой вид был у полицейского, когда вы показали ему свое удостоверение. Если вы откажетесь сделать это, я... я не позволю вам изучать меня.

Самому Джорджу эта угроза показалась глупой и бессильной. Однако на Индженеску она, очевидно, произвела большое впечатление.

— Ваше условие невыполнимо,— сказал он.— Новианин в месяц Олимпиады...

— Ну, хорошо, тогда свяжите меня с каким-нибудь новианином по видеофону, и я сам договорюсь с ним о встрече.

— Вы думаете, вам это удастся?

— Я в этом уверен. Вот увидите.

Индженеску задумчиво посмотрел на Джорджа и протянул руку к видеофону.

Джордж ждал, опьяненный новым осмыслением всей проблемы и тем ощущением силы, которое оно давало. Он не может потерпеть неудачу. Не может. Он все-таки станет новианином. Он покинет Землю победителем вопреки Антонелли и всей компании дураков из приюта (он чуть было не расхохотался вслух) для слабомных.

Джордж впился взглядом в засветившийся экран, который должен был распахнуть окно в комнату новиан, окно в перенесенный на Землю уголок Новии. И он добился этого за какие-нибудь сутки!

Когда экран прояснился, раздался взрыв смеха, но на нем не появилось ни одного лица, лишь быстро мелькали тени мужчин и женщин. Послышался чей-то голос, отчетливо прозвучавший на фоне общего гомона.

— Индженеску? Спрашивает меня?

И вот на экране появился он. Новианин. Настоящий

новианин. (Джордж ни на секунду не усомнился. В нем было что-то совершенно вземное, нечто такое, что невозможно было точно определить или хоть на миг спутать с чем-либо иным.)

Он был смугл, и его темные волнистые волосы были зачесаны со лба. Он носил тонкие черные усики и остроконечную бородку, которая только-только закрывала узкий подбородок. Но его щеки были такими гладкими, словно с них навсегда была удалена растительность.

Он улыбался.

— Ладислас, это уже слишком. Мы не возражаем, чтобы за нами, пока мы на Земле, следили — в разумных пределах, конечно. Но чтение мыслей в условии не входит!

— Чтение мыслей, почтенный?

— Сознайтесь-ка! Вы ведь знали, что я собирался позвонить вам сегодня. Вы знали, что я думал только допить вот эту рюмку.— На экране появилась его рука, и он посмотрел сквозь рюмку, наполненную бледно-сиреневой жидкостью.— К сожалению, я не могу угостить вас.

Новианин не видел Джорджа, находившегося вне поля зрения видефона. И Джордж обрадовался передышке. Ему необходимо было время, чтобы прийти в себя. Он словно превратился в сплошные беспокойные пальцы, которые непрерывно отбивали нервную дробь...

Но он все-таки был прав. Он не ошибся. Индженеску действительно занимает важное положение. Новианин называет его по имени.

Отлично! Все устраивается наилучшим образом. То, что Джордж потерял из-за Антонелли, он возместит с лихвой, используя Индженеску. И когда-нибудь он, став наконец самостоятельным, вернется на Землю таким же могущественным новианином, как этот, что небрежно шутит с Индженеску, называя его по имени, а сам оставаясь «почтенным»,— вот тогда он сведет счеты с Антонелли. Он оплатит ему за эти полтора года, и он...

Увлечшись этими соблазнительными грезами, он чуть не забыл обо всем на свете, но, внезапно спохватившись, заметил, что перестал следить за происходящим, и вернулся к действительности.

— ...не убедительно,— говорил новианин.— Новианская цивилизация так же сложна и так же высокоразвита, как цивилизация Земли. Новия — это все-таки не

Зестон. И нам приходится прилетать сюда за отдельными специалистами — это же просто смешно!

— О, только за новыми моделями,— примирительным тоном сказал Индженеску.— А новые модели не всегда находят применение. На приобретение образовательных лент вы потратили бы столько же, сколько вам пришлось бы заплатить за тысячу специалистов, а откуда вы знаете, что вам будет нужно именно такое количество?

Новианин залпом допил свое вино и расхохотался. (Джорджа покорило легкомыслие новианина. Он смущенно подумал, что тому следовало бы обойтись без этой рюмки и даже без двух или трех предыдущих.)

— Это же типичное ханжество, Ладислас,— сказал новианин.— Вы прекрасно знаете, что у нас найдется дело для всех последних моделей специалистов, которые нам удастся заполучить. Сегодня я раздобыл пять металлургов...

— Знаю,— сказал Индженеску.— Я был там.

— Следили за мной! Шпионили! — вскричал новианин.— Ну, так слушайте! Эта новая модель металлурга отличается от предыдущих только тем, что умеет обращаться со спектрографом Бимена. Ленты не были модифицированы ни на вот столечко (он показал самый кончик пальца) по сравнению с прошлогодними. Вы выпускаете новые модели только для того, чтобы мы приезжали сюда с протянутой рукой и тратились на их приобретение.

— Мы не заставляем вас их приобретать.

— О, конечно! Только вы продаете специалистов последней модели на Лондонум, а мы ведь не можем отставать. Вы втянули нас в заколдованный круг, вы лицемерные земляне. Но берегитесь, может быть, где-нибудь есть из него выход.— Его смех прозвучал не слишком естественно и резко оборвался.

— От всей души надеюсь, что он существует,— сказал Индженеску.— Ну, а позвонил я потому...

— Да, конечно, ведь это вы мне позвонили. Что ж, я уже высказал свое мнение. Наверное, в будущем году все равно появится новая модель металлурга, чтобы нам было за что платить. И она будет отличаться от нынешней только умением обращаться с каким-нибудь новым приспособлением для анализа ниобия, а еще через год... Но продолжайте. Почему вы позвонили?

— У меня здесь находится один молодой человек, и я бы хотел, чтобы вы с ним побеседовали.

— Что? — Видимо, новианина это не слишком обрадовало. — На какую тему?

— Не знаю. Он мне не сказал. По правде говоря, он даже не назвал мне ни своего имени, ни профессии.

Новианин нахмурился.

— Тогда зачем же отнимать у меня время?

— Он, по-видимому, не сомневается, что вас заинтересует то, что он собирается сообщить вам.

— О, конечно!

— И этим вы сделаете одолжение мне, — сказал Индженеску.

Новианин пожал плечами.

— Давайте его сюда, но предупредите, чтобы он говорил покороче.

Индженеску отступил в сторону и шепнул Джорджу:

— Называйте его «достопочтенным».

Джордж с трудом проглотил слюну. Вот оно!

Джордж почувствовал, что весь вспотел. Хотя эта мысль пришла ему в голову совсем недавно, он был убежден в своей правоте. Она возникла во время разговора с Тревельяном, потом под болтовню Индженеску перебродила и оформилась, а теперь слова новианина, казалось, поставили все на свои места.

— Достопочтенный, я хочу показать вам выход из заколдованного круга, — начал Джордж, используя метафору новианина.

Новианин смерил его взглядом.

— Из какого это заколдованного круга?

— Вы сами упомянули о нем, достопочтенный. Из того заколдованного круга, в который попадает Новия, когда вы прилетаете на Землю за... за специалистами. (Он не в силах был сиравиться со своими зубами, которые стучали, но не от страха, а от волнения.)

— Вы хотите сказать, что знаете способ, как нам обойтись без земного интеллектуального рынка? Я правильно вас понял?

— Да, сэр. Вы можете создать свою собственную систему образования.

— Гм. Без лент?

— Д-да, достопочтенный.

— Индженеску, подойдите, чтобы я видел и вас, — не спуская глаз с Джорджа, позвал новианин.

Историк встал за плечом Джорджа.

— В чем дело? — спросил новианин. — Не понимаю.

— Даю вам слово, уважаемый, что бы это ни было, молодой человек поступает так по собственной инициативе. Я ему ничего не поручал. Я не имею к этому никакого отношения.

— Тогда кем он вам приходится? Почему вы звоните мне по его просьбе?

— Я его изучаю, уважаемый. Он представляет для меня определенную ценность, и я исполняю некоторые его прихоти.

— В чем же его ценность?

— Это трудно объяснить. Чисто профессиональный момент.

Новианин усмехнулся.

— Что ж, у каждого своя профессия.

Он кивнул невидимому зрителю или зрителям за экраном.

— Некий молодой человек, по-видимому протеже Индженеску, собирается объяснить нам, как получать образование, не пользуясь лентами.

Он щелкнул пальцами, и в его руке появилась новая рюмка с бледно-сиреневым напитком.

— Ну, говорите, молодой человек.

На экране теперь появилось множество лиц. Мужчины и женщины отталкивали друг друга, чтобы поглядеть на Джорджа. На их лицах отражались самые разнообразные оттенки веселья и любопытства.

Джордж попытался принять независимый вид. Все они, и новиане, и землянин, каждый по-своему изучали его, словно жука, насаженного на булавку. Индженеску теперь сидел в углу и не спускал с него пристального взгляда.

«Какие же вы все идиоты», — напряженно подумал он. Но они должны понять. Он заставит их понять.

— Я был сегодня на Олимпиаде металлургов, — сказал он.

— Как, и вы тоже? — вежливо спросил новианин. — По-видимому, там присутствовала вся Земля.

— Нет, уважаемый, но я там был. В состязании участвовал мой друг, и ему очень не повезло, потому что вы дали участникам состязания прибор Бимена, а он получил специализацию по Хенслеру, — очевидно, уже устаревшая модель. Вы же сами сказали, что раз-



личие очень незначительно.— Джордж показал кончик пальца, повторяя недавний жест своего собеседника.— И мой друг знал заранее, что потребуется знакомство с прибором Бимена.

— И что же из этого следует?

— Мой друг всю жизнь мечтал попасть на Новию. Он уже знал прибор Хенслера. Он знал, что ему нужно ознакомиться с прибором Бимена, чтобы попасть к вам. А для этого ему следовало усвоить всего лишь несколько дополнительных сведений и, быть может, чуточку попрактиковаться. Если учесть, что на чашу весов была поставлена цель всей его жизни, он мог бы с этим справиться...

— А где бы он достал ленту с дополнительной информацией? Или образование здесь, на Земле, превратилось в частное домашнее обучение?

Лица на заднем плане расплылись в улыбках, которых, по-видимому, от них и ожидали.

— Поэтому-то он и не стал доучиваться, достопочтенный. Он считал, что ему для этого нужна лента. А без нее он и не пытался учиться, как ни заманчива была награда. Он и слышать не хотел, что без ленты можно чему-то научиться.

— Да неужели? Так он, пожалуй, даже не захочет летать без скиммера? — Раздался новый взрыв хохота, и новианин слегка улыбнулся.— А он забавен,— сказал он.— Продолжайте. Даю вам еще несколько минут.

— Не думайте, что это шутка,— сказал Джордж горючо.— Ленты попросту вредны. Они учат слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с их помощью, не представляет, как можно учиться по-другому. Он способен заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы, вместо того чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала учиться, так сказать вручную, он привык бы учиться самостоятельно и продолжал бы учиться дальше. Разве это не разумно? А когда эта привычка достаточно укрепитя, человеку можно будет прививать небольшое количество знаний с помощью лент, чтобы заполнить пробелы или закрепить кое-какие детали. После этого он сможет учиться дальше самостоятельно. Таким способом вы могли бы научить металлургов, знающих спектрограф Хенслера, пользоваться спектрографом Бимена, и вам не пришлось бы прилетать на Землю за

новыми моделями.

Новианин кивнул и отхлебнул из рюмки.

— А откуда можно получить знания помимо лент? Из межзвездного пространства?

— Из книг. Непосредственно изучая приборы. Думая.

— Из книг? Как же можно понять книги, не получив образования?

— Книги состоят из слов, а большую часть слов можно понять. Специальные же термины могут объяснить специалисты, которых вы уже имеете.

— А как быть с чтением? Для этого вы допускаете использование лент?

— По-видимому, ими можно пользоваться, хотя не вижу причины, почему нельзя научиться читать и старым способом. По крайней мере частично.

— Чтобы с самого начала выработать хорошие привычки? — спросил новианин.

— Да, да, — подтвердил Джордж, радуясь, что собеседник уже начал понимать его.

— А как быть с математикой?

— Это легче всего, сэр... достопочтенный. Математика отличается от других технических дисциплин. Она начинается с некоторых простых принципов и лишь постепенно усложняется. Можно приступить к изучению математики, ничего о ней не зная. Она практически и предназначена для этого. А познакомившись с соответствующими разделами математики, уже нетрудно разобратся в книгах по технике. Особенно если начать с легких.

— А разве есть легкие книги?

— Безусловно. Но если бы их не было, специалисты, которых вы уже имеете, могут написать их. Наверное, некоторые из них сумеют выразить свои знания с помощью слов и символов.

— Боже мой! — сказал новианин, обращаясь к сгрудившимся вокруг него людям. — У этого чертенка на все есть ответ.

— Да, да! — вскричал Джордж. — Спрашивайте!

— А сами-то вы пробовали учиться по книгам? Или это только ваша теория?

Джордж быстро оглянулся на Индженеску, но историк сохранял полную невозмутимость. Его лицо выражало только легкий интерес.

— Да,— сказал Джордж.

— И вы считаете, что из этого что-нибудь получается?

— Да, почтенный,— заверил Джордж.— Возьмите меня с собой на Новию. Я могу составить программу и руководить...

— Погодите, у меня есть еще несколько вопросов. Как вы думаете, сколько вам понадобится времени, чтобы стать металлургом, умеющим обращаться со спектрографом Бимена, если предположить, что вы начнете учиться, не имея никаких знаний, и не будете пользоваться образовательными лентами?

Джордж заколебался.

— Ну... может быть, несколько лет.

— Два года? Пять? Десять?

— Еще не знаю, почтенный.

— Итак, на самый главный вопрос у вас не нашлось ответа. Ну, скажем, пять лет. Вас устраивает этот срок?

— Думаю, что да.

— Отлично. Итак, в течение пяти лет человек изучает металлургию по вашему методу. Вы не можете не согласиться, что все это время он для нас абсолютно бесполезен, но его нужно кормить, обеспечить жильем и платить ему.

— Но...

— Дайте мне кончить. К тому времени, когда он будет готов и сможет пользоваться спектрографом Бимена, пройдет пять лет. Вам не кажется, что тогда у нас уже появятся усовершенствованные модели этого прибора, с которыми он не сумеет обращаться?

— Но ведь к тому времени он станет опытным учеником и усвоение новых деталей будет для него вопросом дней.

— По-вашему, это так. Ладно, предположим, что этот ваш друг, например, сумел самостоятельно изучить прибор Бимена; сможет ли сравниться его умение с умением участника состязания, который получил его посредством лент?

— Может быть, и нет... — начал Джордж.

— То-то же,— сказал новианин.

— Погодите, дайте мне кончить. Даже если он знает кое-что хуже, чем тот, другой, в данном случае важно то, что он может учиться дальше. Он сможет придумать новое, на что не способен ни один человек, полу-

чивший образование с лент. У вас будет запас людей, способных к самостоятельному мышлению...

— А вы в процессе своей учебы придумали что-нибудь новое? — спросил новианин.

— Нет, но ведь я один, и я не так уж долго учился...

— Да... Ну-с, дамы и господа, мы достаточно позабавились?

— Пойдите! — внезапно испугавшись, крикнул Джордж. — Я хочу договориться с вами о личной встрече. Есть вещи, которые я не могу объяснить по видеофону. Ряд деталей...

Новианин уже не смотрел на Джорджа.

— Индженеску! По-моему, я исполнил вашу просьбу. Право же, завтра у меня очень напряженный день. Всего хорошего.

Экран погас.

Руки Джорджа взметнулись к экрану в бессмысленной попытке вновь его оживить.

— Он не поверил мне! Не поверил!

— Да, Джордж, не поверил. Неужели вы серьезно думали, что он поверит? — сказал Индженеску.

Но Джордж не слушал.

— Почему же? Ведь это правда. Это так для него выгодно. Никакого риска. Только я и еще несколько... Обучение десятка людей в течение даже многих лет обошлось бы дешевле, чем один готовый специалист... Он был пьян! Пьян! Потому он и не понял меня.

Задыхаясь, Джордж оглянулся.

— Как мне с ним увидеться? Это необходимо. Все получилось не так, как нужно. Я не должен был говорить с ним по видеофону. Мне нужно время. И чтобы лично. Как мне...

— Он откажется принять вас, Джордж, — сказал Индженеску. — А если и согласится, то все равно вам не поверит.

— Нет, поверит, уверяю вас. Когда он будет трезв, он... — Джордж повернулся к историку, и глаза его широко раскрылись. — Почему вы называете меня Джорджем?

— А разве это не ваше имя? Джордж Плейтен?

— Вы знаете, кто я?

— Я знаю о вас все.

Джордж замер, и только его грудь тяжело вздымалась.

— Я хочу помочь вам, Джордж,— сказал Индженеску.— Я уже говорил вам об этом. Я давно изучаю вас и хочу вам помочь.

— Мне не нужна помощь! — крикнул Джордж.— Я не слабоумный! Весь мир выжил из ума, но не я! Он стремительно повернулся и бросился к двери. За ней стояли два полицейских, которые его немедленно схватили.

Как Джордж ни вырывался, шприц коснулся его шеи под подбородком. И все кончилось. Последнее, что осталось в его памяти, было лицо Индженеску, который с легкой тревогой наблюдал за происходящим.

Когда Джордж открыл глаза, он увидел белый потолок. Он помнил, что произошло. Но помнил, как сквозь туман, словно это произошло с кем-то другим. Он смотрел на потолок до тех пор, пока не наполнился его белизной, казалось, освобождавшей его мозг для новых идей, для иных путей мышления.

Он не знал, как долго лежал так, прислушиваясь к течению своих мыслей.

— Ты проснулся? — раздался чей-то голос.

И Джордж впервые услышал свой собственный стон. Неужели он стонал? Он попытался повернуть голову.

— Тебе больно, Джордж? — спросил голос.

— Смешно,— прошептал Джордж.— Я так хотел покинуть Землю. Я же ничего не понимал.

— Ты знаешь, где ты?

— Снова в... в приюте.— Джорджу удалось повернуться. Голос принадлежал Омани.

— Смешно, как я ничего не понимал,— сказал Джордж.

Омани ласково улыбнулся.

— Поспи еще...

Джордж заснул.

И снова проснулся. Сознание его прояснилось.

У кровати сидел Омани и читал, но, как только Джордж открыл глаза, он отложил книгу.

Джордж с трудом сел.

— Привет,— сказал он.

— Хочешь есть?

— Еще бы! — Джордж с любопытством посмотрел на Омани.— За мной следили, когда я ушел отсюда, так? Омани кивнул.

— Ты все время был под наблюдением. Мы считали, что тебе следует побывать у Антонелли, чтобы ты мог дать выход своим агрессивным эмоциям. Нам казалось, что другого способа нет. Эмоции тормозили твое развитие.

— Я был к нему очень несправедлив,— с легким смущением произнес Джордж.

— Теперь это не имеет значения. Когда в аэропорту ты остановился у стенда металлургов, один из наших агентов сообщил нам список участников. Мы с тобой говорили о твоём прошлом достаточно, для того чтобы я мог понять, как подействует на тебя фамилия Тре-вельяна. Ты спросил, как попасть на эту Олимпиаду. Это могло привести к кризису, на который мы надеялись, и мы послали в зал Ладисласа Индженеску, чтобы он занялся тобой сам.

— Он ведь занимает важный пост в правительстве?

— Да.

— И вы послали его ко мне. Выходит, что я сам много значу.

— Ты действительно много значишь, Джордж.

Принесли дымящееся ароматное жаркое. Джордж улыбнулся и откинул простыню, чтобы освободить руки. Омани помог ему поставить поднос на тумбочку. Некоторое время Джордж молча ел.

— Я уже один раз ненадолго просыпался,— заметил он.

— Знаю,— сказал Омани.— Я был здесь.

— Да, я помню. Ты знаешь, все изменилось. Как будто я так устал, что уже не мог больше чувствовать. Я больше не злился. Я мог только думать. Как будто мне дали наркотик, чтобы заглушить эмоции.

— Нет,— сказал Омани.— Это было просто успокоительное. И ты хорошо отдохнул.

— Ну, во всяком случае, мне все стало ясно, словно я всегда знал это, но не хотел прислушаться к внутреннему голосу. «Чего я ждал от Новии?» — подумал я. Я хотел отправиться на Новию, чтобы собрать группу юношей, не получивших образования, и учить их по книгам. Я хотел открыть там приют для слабоумных... вроде этого... а на Земле уже есть такие приюты... и много.

Омани улыбнулся, сверкнув зубами.

— Институт высшего образования — вот как точно называются эти заведения.

— Теперь-то я это понимаю, — сказал Джордж, — до того ясно, что только удивляюсь, каким я был слепым. В конце концов, кто изобретает новые модели механизмов, для которых нужны новые модели специалистов? Кто, например, изобрел спектрограф Бимена? По-видимому, человек по имени Бимен. Но он не мог получить образование через зарядку, иначе ему не удалось бы продвинуться вперед.

— Совершенно верно.

— А кто создает образовательные ленты? Специалисты по производству лент? А кто же тогда создает ленты для их обучения? Специалисты более высокой квалификации? А кто создает ленты... Ты понимаешь, что я хочу сказать. Где-то должен быть конец. Где-то должны быть мужчины и женщины, способные к самостоятельному мышлению.

— Ты прав, Джордж.

Джордж откинулся на подушки и устремил взгляд в пространство. На какой-то миг в его глазах мелькнула тень бывшего беспокойства.

— Почему мне не сказали об этом с самого начала?

— К сожалению, это невозможно, — ответил Омани. — А так мы были бы избавлены от множества хлопот. Мы умеем анализировать интеллект, Джордж, и определять, что вот этот человек может стать приличным архитектором, а тот — хорошим плотником. Но мы не умеем определять, способен ли человек к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, как, например, сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять тысяч. В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях из десяти оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают в такие заведения, как это.

— Но почему нельзя сказать людям, что один из... из ста тысяч попадает в такое заведение? — спросил Джордж. — Тогда тем, с кем это случается, было бы легче.

— А как же остальные? Те девяносто девять тысяч

девятьсот девяносто девять человек, которые никогда не попадут сюда? Нельзя, чтобы все эти люди чувствовали себя неудачниками. Они стремятся получить профессии и получают их. Каждый может прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист по тому-то или тому-то». Так или иначе каждый индивид находит свое место в обществе. Это необходимо.

— А мы? — спросил Джордж. — Мы, исключения? Один на десять тысяч?

— Вам ничего нельзя объяснить. В том-то и дело. Ведь в этом заключается последнее испытание. Даже после отсева в День образования девять человек из десяти, попавших сюда, оказываются не совсем подходящими для творчества, и нет такого прибора, который помог бы нам выделить из этой десятки того единственного, кто нам нужен. Десятый должен доказать это сам.

— Каким образом?

— Мы помещаем вас сюда, в приют для слабоумных, и тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. Быть может, это жестокий метод, но он себя оправдывает. Нельзя же сказать человеку: «Ты можешь творить. Так давай, твори». Гораздо вернее подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, и я буду творить, хотите вы этого или нет». Есть около десяти тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от них зависит технический прогресс полутора тысяч миров. Мы не можем позволить себе потерять хотя бы одного из них или тратить усилия на того, кто не вполне отвечает необходимым требованиям.

Джордж отодвинул пустую тарелку и поднес к губам чашку с кофе.

— А как же с теми, которые... не вполне отвечают требованиям?

— В конце концов они проходят зарядку и становятся социологами. Индженеску — один из них. Сам я — дипломированный психолог. Мы, так сказать, составляем второй эшелон.

Джордж допил кофе.

— Мне все еще непонятно одно, — сказал он.

— Что же?

Джордж сбросил простыню и встал.

— Почему эти состязания называются Олимпиадой?



# ВЫБОРЫ

**И**з всей семьи только одна десятилетняя Линда, казалось, была рада, что наконец наступило утро. Норман Маллер слышал ее беготню сквозь дурман тяжелой дремы. (Ему наконец удалось заснуть час назад, но это был не столько сон, сколько мучительное забытье.)

Девочка вбежала в спальню и принялась его расталкивать.

— Папа, папочка, проснись! Ну, проснись же!

Он с трудом удержался от стога.

— Оставь меня в покое, Линда.

— Папочка, ты бы посмотрел, сколько кругом полицейских! И полицейских машин понаехало!

Норман Маллер понял, что сопротивляться бесполезно, и, тупо мигая, приподнялся на локте. Занимался день. За окном едва брезжил серый и унылый рассвет, и так же серо и уныло было у Маллера на душе. Он слышал, как Сара, его жена, возится в кухне, готовя завтрак. Его тесть, Мэтью, яростно полоскал горло в ванной. Конечно, агент Хэндли уже дожидается его.

Ведь наступил знаменательный день.

День Выборов!

Поначалу этот год был таким же, как и все предыдущие. Может быть, чуть-чуть похуже, так как предстояли выборы президента, но, во всяком случае, не хуже любого другого года, на который приходились выборы президента.

Политические деятели разглагольствовали о суверенных избирателях и мощном электр-ронном мозге, который им служит. Газеты оценивали положение с помощью промысленных вычислительных машин (у «Нью-Йорк таймс» и «Сент-Луис пост диспэтч» имелись собственные машины) и не скупилась на туманные намеки относительно исхода выборов. Комментаторы и обозрева-

тели состязались в определении штата и округа в безмятежном противоречии друг с другом.

Впервые Маллер почувствовал, что этот год все-таки не будет таким же, как все предыдущие, вечером четвертого октября (ровно за месяц до выборов), когда его жена Сара Маллер сказала:

— Кэнгуэлл Джонсон говорит, что штатом на этот раз будет Индиана. Я от него четвертого это слышу. Только подумать, на этот раз наш штат!

Из-за газеты выглянуло мясистое лицо Мэтью Хортенвейлера. Посмотрев на дочь с кислой миной, он проворчал:

— Этим типам платят за вранье. Нечего их слушать.

— Но ведь уже четверо называют Индиану, папа, — кротко ответила Сара.

— Индиана действительно ключевой штат, Мэтью, — также кротко вставил Норман, — из-за закона Хоукинса — Смита и скандала в Индианаполисе. Значит...

Мэтью грозно нахмурился и проскрипел:

— Никто пока еще не называл Блумингтон или округ Монро, верно?

— Да ведь... — начал Маллер.

Линда, чье острое личико поворачивалось от одного собеседника к другому, спросила тоненьким голоском:

— В этом году ты будешь выбирать, папочка?

Норман ласково улыбнулся.

— Вряд ли детка.

Но все-таки это был год президентских выборов и октябрь, когда страсти разгораются все сильнее, а Сара вела тихую жизнь, пробуждающую мечтательность.

— Но ведь это было бы замечательно!

— Если бы я голосовал?

Норман Маллер носил светлые усики; когда-то их элегантность покорила сердце Сары, но теперь, тронутые сединой, они лишь подчеркивали заурядность его лица. Лоб изрезали морщины, порожденные неуверенностью, да и вообще говоря, его душе старательного приказчика была совершенно чужда мысль, что он рожден великим или волей обстоятельств еще может достигнуть величия. У него была жена, работа и дочка, и, кроме редких минут радостного возбуждения или глубокого уныния, он был склонен считать, что его жизнь сложилась вполне удачно.

Поэтому его смутила и даже встревожила идея, которой загорелась Сара.

— Милая моя, — сказала он, — у нас в стране живет двести миллионов человек. При таких шансах стоит ли тратить время на пустые выдумки?

— Послушай, Норман, двести миллионов здесь ни при чем, и ты это прекрасно знаешь, — ответила Сара. — Во-первых, речь идет только о людях от двадцати до шестидесяти лет, к тому же это всегда мужчины, и, значит, остается уже около пятидесяти миллионов против одного. А в случае, если это и в самом деле будет Индиана...

— В таком случае останется приблизительно миллион с четвертью против одного. Вряд ли бы ты обрадовалась, если бы я начал играть на скачках при таких шансах, а? Давайте-ка лучше ужинать.

Из-за газеты донеслось ворчание Мэтью:

— Дурацкие выдумки...

Линда задала свой вопрос еще раз:

— В этом году ты будешь выбирать, папочка?

Норман отрицательно покачал головой, и все пошли в столовую.

К двадцатому октября волнение Сары достигло предела. За кофе она объявила, что миссис Шульц, — а ее двоюродная сестра служит секретарем у одного члена Ассамблеи — сказала, что «Индиана — дело верное».

— Она говорит, президент Виллерс даже собирается выступить в Индианаполисе с речью.

Норман Маллер, у которого в магазине выдался нелегкий день, только поднял брови в ответ на эту новость.

— Если Виллерс будет выступать в Индиане, значит, он думает, что Мультивак выберет Аризону. У этого болвана Виллерса духу не хватит сунуться куда-нибудь поближе, — высказался Мэтью Хортенвейлер, хронически недовольный Вашингтоном.

Сара, обычно предпочитавшая, когда это не походило на прямую грубость, пропускать замечания отца мимо ушей, сказала, продолжая развивать свою мысль:

— Не понимаю, почему нельзя сразу объявить штат, потом округ и так далее. И все, кого это не касается, были бы спокойны.

— Сделай они так, — заметил Норман, — и политики налетят туда, как воронье. А едва объявили бы город, как уж там на каждом углу торчало бы по конгрессмену, а то и по два.

Мэтью сощурился и в сердцах провел рукой по жидким седым волосам.

— Да они и так настоящее воронье. Вот, послушайте...

Сара поспешила вмешаться:

— Право же, папа...

Но Мэтью продолжал свою тираду, не обратив на дочь ни малейшего внимания:

— Я ведь помню, как устанавливали Мультивак. Он положит конец борьбе партий, говорили тогда. Предвыборные кампании больше не будут пожирать деньги избирателей. Ни одно ухмыляющееся ничтожество не пролезет больше в Конгресс или в Белый дом, так как с политическим давлением и рекламной шумихой будет покончено. А что получилось? Шумихи еще больше, только действуют вслепую. Посылают людей в Индиану из-за закона Хоукинса — Смита, а других — в Калифорнию, на случай если положение с Джо Хэммером окажется более важным. А я говорю — долой всю эту чепуху! Назад к доброму старому...

Линда неожиданно перебила его:

— Разве ты не хочешь, дедушка, чтобы папа голосовал в этом году?

Мэтью сердито поглядел на внучку.

— Не в этом дело. — Он снова повернулся к Норману и Саре. — Было время, когда я голосовал. Входил прямо в кабину, брался за рычаг и голосовал. Ничего особенного. Я просто говорил: этот кандидат мне по душе, и я голосую за него. Вот как нужно!

Линда спросила с восторгом:

— Ты голосовал, дедушка? Ты и вправду голосовал?

Сара поспешила прекратить этот диалог, из которого легко могла родиться нелепая сплетня и разойтись по всей округе:

— Ты не поняла, Линда. Дедушка вовсе не хочет сказать, будто он голосовал, как сейчас. Когда дедушка был маленький, все голосовали, и твой дедушка тоже, только это было не настоящее голосование.

Мэтью взревел:

— Во все я тогда был не маленький! Мне уже исполнилось двадцать два года, и я голосовал за Лэнгли, и голосовал по-настоящему. Может, мой голос не очень-то много значил, но был не хуже всех прочих. Да, всех прочих. И никакие Мультиваки не...

Тут вмешался Норман:

— Хорошо, хорошо, Линда, пора спать. И перестань расспрашивать о голосовании. Вырастешь, сама все поймешь.

Он поцеловал ее нежно, но по всем правилам антисептики, и девочка неохотно ушла, после того как мать пригрозила ей наказанием и позволила смотреть вечернюю видеопрограмму до четверти десятого с условием, что она умоется быстро и как следует.

— Дедушка, — позвала Линда.

Она стояла, упрямо опустив голову и заложив руки за спину, и ждала, пока газета не опустилась и из-за нее не показались косматые брови и глаза в сетке тонких морщин. Была пятница, тридцать первое октября.

— Ну?

Линда подошла поближе и оперлась локтями о колено деда, так что он вынужден был отложить газету.

— Дедушка, ты правда голосовал? — спросила она.

— Ты ведь слышала, как я это сказал, так? Или, по-твоему, я вру? — последовал ответ.

— Н-нет, но мама говорит, тогда все голосовали.

— Правильно.

— А как же это? Как же могли голосовать все?

Мэтью мрачно посмотрел на внучку, потом поднял ее, посадил к себе на колени и даже заговорил несколько тише, чем обычно:

— Понимаешь, Линда, раньше все голосовали, и это кончилось только лет сорок назад. Скажем, хотели мы решить, кто будет новым президентом Соединенных Штатов. Демократы и республиканцы выдвигали своих кандидатов, и каждый человек говорил, кого он хочет выбрать президентом. Когда выборы заканчивались, подсчитывали, сколько народа хочет, чтобы президент был от демократов и сколько — от республиканцев. За кого подали больше голосов, тот и считался избранным. Поняла?

Линда кивнула и спросила:

— А откуда все знали, за кого голосовать? Им Мультитак говорил?

Мэтью свирепо сдвинул брови.

— Они решали это сами!

Линда отодвинулась от него, и он опять понизил голос:

— Я не сержусь на тебя, Линда. Ты понимаешь, порою нужна была целая ночь, чтобы подсчитать голоса, а люди не хотели ждать. И тогда изобрели специальные машины — они смотрели на первые несколько бюллетеней и сравнивали их с бюллетенями из тех же мест за прошлые годы. Так машина могла подсчитать, какой будет общий итог и кого выберут. Понятно?

Она кивнула:

— Как Мультивак.

— Первые вычислительные машины были намного меньше Мультивака. Но они становились все больше и больше и могли определить, как пройдут выборы, по все меньшему и меньшему числу голосов. А потом в конце концов построили Мультивак, и он может все решить по одному голосу.

Линда улыбнулась, потому что это ей было понятно, и сказала:

— Вот и хорошо.

Мэтью нахмурился и возразил:

— Ничего хорошего. Я не желаю, чтобы какая-то машина мне говорила, за кого я должен голосовать, потому, дескать, что какой-то зубоскал в Мильвоки высказался против повышения тарифов. Может, я хочу проголосовать не за того, за кого надо, коли мне так нравится, может, я вообще не хочу голосовать. Может...

Но Линда уже сползла с его колен и побежала к двери.

На пороге она столкнулась с матерью. Сара, не сняв ни пальто, ни шляпу, проговорила, еле переводя дыхание:

— Беги играть, Линда. Не путайся у мамы под ногами.

Потом, сняв шляпу и приглаживая рукой волосы, она обратилась к Мэтью:

— Я была у Агаты.

Мэтью окинул ее сердитым взглядом и, не удостоив это сообщение даже обычным хмыканьем, потянулся за газетой.

Сара добавила, расстегивая пальто:

— И знаешь, что она мне сказала?

Мэтью с треском расправил газету, собираясь вновь погрузиться в чтение, и ответил:

— Не интересуюсь.

Сара начала было: «Все-таки, отец...», но ссориться было некогда. Новость жгла ей язык, а слушателя под рукой, кроме Мэтью, не оказалось, и она продолжала:

— Ведь Джо, муж Агаты, — полицейский, и он говорит, что вчера вечером в Блумингтон прикатил целый грузовик с агентами секретной службы.

— Это не за мной.

— Как ты не понимаешь, отец! Агенты секретной службы, а выборы совсем на носу. *В Блумингтон!*

— Может, кто-нибудь ограбил банк.

— Да у нас в городе уже сто лет никто банков не грабит. Отец, с тобой бесполезно разговаривать.

И она сердито вышла из комнаты.

И Норман Маллер не слишком взволновался, узнав эти новости.

— Скажи, пожалуйста, Сара, откуда Джо знает, что это агенты секретной службы? — спросил он невозмутимо. — Вряд ли они расхаживают по городу, приклеив удостоверения на лоб.

Однако на следующий вечер, первого ноября, Сара торжественно заявила:

— Все до одного в Блумингтоне считают, что избирателем будет кто-то из местных. «Блумингтон ньюс» почти прямо сообщила об этом по видео.

Норман поежился. Жена говорила правду, и сердце у него упало. Если Мультивак и в самом деле обрушит свою молнию на Блумингтон, это означает несметные толпы репортеров, туристов, особые видеопрограммы — всякую непривычную суету.

Норман дорожил тихой и спокойной жизнью, и его пугал все нарастающий гул политических событий.

Он заметил:

— Все это пока только слухи.

— А ты подожди, подожди немножко.

Ждать пришлось недолго. Раздался настойчивый звонок, и, когда Норман открыл дверь со словами: «Что вам угодно?», высокий человек с хмурым лицом спросил его:

— Вы Норман Маллер?

Норман растерянным, замирающим голосом ответил:

— Да.

По тому, как себя держал незнакомец, можно было легко догадаться, что он лицо, облеченное властью, а цель его прихода вдруг стала настолько же очевидной, неизбежной, насколько за мгновение до того она казалась невероятной, немыслимой.

Незнакомец предъявил свое удостоверение, вошел,

закрыл за собой дверь и произнес ритуальные слова:

— Мистер Норман Маллер, от имени президента Соединенных Штатов я уполномочен сообщить вам, что на вас пал выбор представлять американских избирателей во вторник, четвертого ноября 2008 года.

Норман Маллер с трудом сумел добраться без посторонней помощи до стула. Так он и сидел — бледный как полотно, еле сознавая, что происходит, а Сара поила его водой, в смятении растирала руки и бормотала сквозь стиснутые зубы:

— Не заболейте, Норман. Только не заболейте. А то найдут кого-нибудь еще.

Когда к Норману вернулся дар речи, он прошептал:

— Прошу прощения, сэр.

Агент секретной службы уже снял пальто и, расстегнув пиджак, непринужденно расположился на диване.

— Ничего, — сказал он. (Он оставил официальный тон, как только покончил с формальностями, и теперь это был просто рослый и весьма доброжелательный человек.) Я уже шестой раз делаю это объявление — видел всякого рода реакции. Но только не ту, которую показывают по видео. Ну, вы и сами знаете: человек самоотверженно, с энтузиазмом восклицает: «Служить своей родине — великая честь!» В таком роде. — Агент добродушно засмеялся.

Сара вторила ему, но в ее смехе слышались истерически-визгливые нотки.

Агент продолжал:

— А теперь придется вам некоторое время потерпеть меня в доме. Меня зовут Фил Хэндли. Называйте меня просто Фил. До Дня Выборов мистеру Маллеру нельзя будет выходить из дому. Вам придется сообщить в магазин, миссис Маллер, что он заболел. Сами вы можете пока что заниматься обычными делами, но никому ни о чем ни слова. Договорились, миссис Маллер?

Сара энергично закивала.

— Да, сэр. Ни слова.

— Прекрасно. Но, миссис Маллер, — лицо Хэндли стало очень серьезным, — это не шутки. Выходите из дому только в случае необходимости, и за вами будут следить. Мне очень неприятно, но так у нас положено.

— Следить?

— Никто этого не заметит. Не волнуйтесь. К тому



же это всего на два дня, до официального объявления. Ваша дочь...

— Она уже легла, — поспешно вставила Сара.

— Прекрасно. Ей нужно будет сказать, что я ваш родственник или знакомый и приехал к вам погостить. Если же она узнает правду, придется не выпускать ее из дому. А вашему отцу не следует выходить в любом случае.

— Он рассердится, — сказала Сара.

— Ничего не поделаешь. Итак, значит, со всеми членами вашей семьи мы разобрались и теперь...

— Похоже, вы знаете про нас все, — еле слышно сказал Норман.

— Немало, — согласился Хэндли. — Как бы то ни было, пока у меня для вас инструкций больше нет. Я постараюсь быть полезным чем могу и не слишком надоедать вам. Правительство оплачивает расходы по моему содержанию, так что у вас не будет лишних затрат. Каждый вечер меня будет сменять другой агент, который будет дежурить в этой комнате. Значит, лишняя постель не нужна. И вот что, мистер Маллер...

— Да, сэр?

— Зовите меня просто Фил, — повторил агент. — Эти два дня до официального сообщения вам дают для того, чтобы вы успели привыкнуть к своей роли и предстали перед Мультиваком в нормальном душевном состоянии. Не волнуйтесь и постарайтесь себя убедить, что ничего особенного не случилось. Хорошо?

— Хорошо, — сказал Норман и вдруг яростно замолтал головой. — Но я не хочу брать на себя такую ответственность. Почему непременно я?

— Ладно, — сказал Хэндли. — Давайте сразу во всем разберемся. Мультивак обрабатывает самые различные факторы, миллиарды факторов. Один фактор, однако, неизвестен и будет неизвестен еще долго. Это умонастроение личности. Все американцы подвергаются воздействию слов и поступков других американцев. Мультивак может оценить настроение любого американца. И это дает возможность проанализировать настроение всех граждан страны. В зависимости от событий года одни американцы больше подходят для этой цели, другие меньше. Мультивак выбрал вас как самого типичного представителя страны для этого года. Не как самого умного, сильного или удачливого, а просто как самого

типичного. А выводы Мультивака сомнению не подлежат, не так ли?

— А разве он не может ошибиться? — спросил Норман.

Сара нетерпеливо прервала мужа:

— Не слушайте его, сэр. Он просто нервничает. Вообще-то он человек начитанный и всегда следит за политикой.

Хэндли сказал:

— Решения принимает Мультивак, миссис Маллер. Он выбрал вашего мужа.

— Но разве ему все известно? — упрямо настаивал Норман. — Разве он не может ошибиться?

— Может. Я буду с вами вполне откровенным. В 1993 году избиратель скончался от удара за два часа до того, как его должны были предупредить о назначении. Мультивак этого не предсказал — не мог предсказать. У избирателя может быть неустойчивая психика, невысокие моральные правила, или, если уж на то пошло, он может быть вообще нелояльным. Мультивак не в состоянии знать все о каждом человеке, пока он не получил о нем всех сведений, какие только имеются. Поэтому всегда наготове запасные кандидатуры. Но вряд ли на этот раз они нам понадобятся. Вы вполне здоровы, мистер Маллер, и вы прошли тщательную заочную проверку. Вы подходите.

Норман закрыл лицо руками и замер в неподвижности.

— Завтра к утру, сэр, — сказала Сара, — он придет в себя. Ему только надо свыкнуться с этой мыслью, вот и все.

— Разумеется, — согласился Хэндли.

Когда они остались наедине в спальне, Сара Маллер выразила свою точку зрения по-другому и гораздо энергичнее. Смысл ее нотаций был таков: «Возьми себя в руки, Норман. Ты ведь изо всех сил стараешься упустить возможность, которая выпадает раз в жизни».

Норман прошептал в отчаянии:

— Я боюсь, Сара. Боюсь всего этого.

— Господи, почему? Неужели так страшно ответить на один-два вопроса?

— Слишком большая ответственность. Она мне не по силам.

— Ответственность? Никакой ответственности нет.

Тебя выбрал Мультивак. Вся ответственность лежит на Мультиваке. Это знает каждый.

Норман сел в кровати, охваченный внезапным приступом гнева и тоски.

— Считается, что знает каждый. А никто ничего знать не хочет. Никто...

— Тише, — злобно прошипела Сара. — Тебя на другом конце города слышно.

— ...ничего знать не хочет, — повторил Норман, сразу понизив голос до шепота. — Когда говорят о правительстве Риджли 1988 года, разве кто-нибудь скажет, что он победил на выборах, потому что наобещал золотые горы и плел расистский вздор? Ничего подобного! Нет, они говорят «выбор сволочи Маккомбера», словно только Хамфри Маккомбер приложил к этому руку, а он-то отвечал на вопросы Мультивака и больше ничего. Я и сам так говорил, а вот теперь я понимаю, что бедняга был всего-навсего простым фермером и не просил назначать его избирателем. Так почему же он виноват больше других? А теперь его имя стало ругательством.

— Рассуждаешь, как ребенок, — сказала Сара.

— Рассуждаю, как взрослый человек. Вот что, Сара, я откажусь. Они меня не могут заставить, если я не хочу. Скажу, что я болен. Скажу...

Но Саре это уже надоело.

— А теперь послушай меня, — прошептала она в холодной ярости. — Ты не имеешь права думать только о себе. Ты сам знаешь, что такое избиратель года. Да еще в год президентских выборов. Реклама, и слава, и, может быть, куча денег...

— А потом опять становишься к прилавку.

— Никаких прилавков! Тебя назначат по крайней мере управляющим одного из филиалов, если будешь все делать по-умному, а уж это я беру на себя. Если ты правильно разыграешь свои карты, то «Универсальным магазинам Кеннелла» придется заключить с тобой выгодный для нас контракт — с пунктом о регулярном увеличении твоего жалованья и обязательством выплачивать тебе приличную пенсию.

— Избирателя, Сара, назначают не для этого.

— А тебя — как раз для этого. Если ты не желаешь думать о себе или обо мне — я же прошу не для себя! — то о Линде ты подумать обязан.

Норман застонал.

- Обязан или нет? — грозно спросила Сара.  
— Да, милочка,— прошептал Норман.

Третьего ноября последовало официальное сообщение, и теперь Норман уже не мог бы отказаться, даже если бы у него хватило на это мужества.

Они были полностью изолированы от внешнего мира. Агенты секретной службы, уже не скрываясь, преграждали всякий доступ в дом.

Сначала беспрерывно звонил телефон, но на все звонки с чарующе-виноватой улыбкой Филип Хэндли отвечал сам. В конце концов станция попросту переключила телефон на полицейский участок.

Норман полагал, что так его спасают не только от захлебывающихся от поздравлений (и зависти) друзей, но и от бессовестных приставаний коммивояжеров, чующих возможную прибыль, от расчетливой вкрадчивости политиканов со всей страны... А может, и от полоумных фанатиков, готовых разделаться с ним.

В дом запретили приносить газеты, чтобы оградить Нормана от их воздействия, а телевизор отключили — деликатно, но решительно, и громкие протесты Линды не помогли.

Мэтью ворчал и не покидал своей комнаты; Линда, когда первые восторги улеглись, начала дуться и капризничать, потому что ей не позволяли выходить из дому; Сара делила время между стряпней и планами на будущее; а настроение Нормана становилось все более и более угнетенным под влиянием одних и тех же мыслей.

И вот наконец настало утро четвертого ноября 2008 года, наступил День Выборов.

Завтракать сели рано, но ел один только Норман Маллер, да и то по привычке. Ни ванна, ни бритве не смогли вернуть его к действительности или избавить от чувства, что и вид у него такой же скверный, как душевное состояние.

Хэндли изо всех сил старался разрядить обстановку, но даже его дружеский голос не мог смягчить враждебности серого рассвета. (В прогнозе погоды было сказано: облачность, в первую половину дня возможен дождь.)

Хэндли предупредил:

— До возвращения мистера Маллера дом останется по-прежнему под охраной, а потом мы избавим вас от

своего присутствия.

Агент секретной службы на этот раз был в полной парадной форме, включая окованную медью кобуру на боку.

— Вы же совсем не были нам в тягость, мистер Хэндли,— сладко улыбнулась Сара.

Норман выпил две чашки кофе, вытер губы салфеткой, встал и произнес страдальческим голосом:

— Я готов.

Хэндли тоже поднялся.

— Прекрасно, сэр. И благодарю вас, миссис Маллер, за любезное гостеприимство.

Бронированный автомобиль, урча, несся по пустынным улицам. Даже для такого раннего часа на улицах было слишком пусто.

Хэндли обратил на это внимание Нормана и добавил:

— На улицах, по которым пролегает наш маршрут, теперь всегда закрывается движение — это правило было введено после того, как покушение террориста в девяносто втором году чуть не сорвало выборы Леверетта.

Когда машина остановилась, Хэндли, предупредительный, как всегда, помог Маллеру выйти. Они оказались в подземном коридоре, вдоль стен которого шеренги солдат замерли по стойке «смирно».

Маллера проводили в ярко освещенную комнату, где три человека в белых халатах встретили его приветливыми улыбками.

Норман сказал резко:

— Но ведь это же больница!

— Неважно,— тотчас же ответил Хэндли.— Просто в больнице есть все необходимое оборудование.

— Ну, так что же я должен делать?

Хэндли кивнул. Один из трех людей в белых халатах шагнул к ним и сказал:

— Вы передаете его мне.

Хэндли небрежно козырнул и вышел из комнаты.

Человек в белом халате проговорил:

— Не угодно ли вам сесть, мистер Маллер? Я Джон Полсон, старший вычислитель. Это Самсон Левин и Питер Дорогобуж, мои помощники.

Норман тупо пожал всем руки. Полсон был невысок, его лицо с расплывчатыми чертами, казалось, привыкло вечно улыбаться. Он носил очки в старомодной пластиковой оправе и накладку, плохо маскировавшую плешь.

Разговаривая, Полсон закурил сигарету. (Он протянул пачку и Норману, но тот отказался.)

Полсон сказал:

— Прежде всего, мистер Маллер, я хочу предупредить вас, что мы никуда не торопимся. Если понадобится, вы можете пробыть здесь с нами хоть целый день, чтобы привыкнуть к обстановке и избавиться от ощущения, будто в этом есть что-то необычное, какая-то клиническая сторона, если можно так выразиться.

— Это мне ясно, — сказал Норман. — Но я предпочел бы, чтобы это кончилось поскорее.

— Я вас понимаю. И тем не менее нужно, чтобы вы ясно представляли себе, что происходит. Прежде всего, Мультивак находится не здесь.

— Не здесь? — Все это время, как он ни был подавлен, Норман таил надежду увидеть Мультивак. По слухам, он достигал полумили в длину и был в три этажа высотой, а в коридорах внутри него — подумать только! — постоянно дежурят пятьдесят специалистов. Это было одно из чудес света.

Полсон улыбнулся.

— Вот именно. Видите ли, он не совсем портативен. Говоря серьезно, он помещается под землей, и мало кому известно, где именно. Это и понятно, ведь Мультивак — наше величайшее богатство. Поверьте мне, выборы не единственное, для чего используют Мультивак.

Норман подумал, что разговорчивость его собеседника не случайна, но все-таки его разбирало любопытство.

— А я думал, что увижу его. Мне бы этого очень хотелось!

— Разумеется. Но для этого нужно распоряжение президента, и даже в таком случае требуется виза Службы безопасности. Однако мы соединены с Мультиваком прямой связью. То, что сообщает Мультивак, можно расшифровать здесь, а то, что мы говорим, передается прямо Мультиваку; таким образом, мы как бы находимся в его присутствии.

Норман огляделся. Кругом стояли непонятные машины.

— А теперь разрешите мне объяснить вам процедуру, мистер Маллер, — продолжал Полсон. — Мультивак уже получил почти всю информацию, которая ему требуется для определения кандидатов, — в органы власти всей страны, отдельных штатов и местные. Ему нужно только

свериться с не поддающимся выведению умонастройством личности, и вот тут-то ему и нужны вы. Мы не в состоянии сказать, какие он задаст вопросы, но они и вам, и даже нам, возможно, покажутся почти бессмысленными. Он, скажем, спросит вас, как, на ваш взгляд, поставлена очистка улиц вашего города и как вы относитесь к централизованным мусоросжигателям. А может быть, он спросит, лечитесь ли вы у своего постоянного врача или пользуетесь услугами Национальной медицинской компании. Вы понимаете?

— Да, сэр.

— Что бы он ни спросил, отвечайте своими словами, как вам угодно. Если вам покажется, что объяснять нужно многое, не стесняйтесь. Говорите хоть час, если понадобится.

— Понимаю, сэр.

— И еще одно. Нам потребуется использовать кое-какую несложную аппаратуру. Пока вы говорите, она будет автоматически записывать ваше давление, работу сердца, проводимость кожи, биотоки мозга. Аппараты могут испугать вас, но все это совершенно безболезненно. Вы даже не почувствуете, что они включены.

Его помощники уже хлопотали около мягко поблескивающего агрегата на хорошо смазанных колесах.

Норман спросил:

— Это чтобы проверить, говорю ли я правду?

— Вовсе нет, мистер Маллер. Дело не во лжи. Речь идет только об эмоциональном напряжении. Если машина спросит ваше мнение о школе, где учится ваша дочь, вы, возможно, ответите: «По-моему, классы в ней переполнены». Это только слова. По тому, как работает ваш мозг, сердце, железы внутренней секреции и потовые железы, Мультивак может точно определить, насколько вас волнует этот вопрос. Он поймет, что вы испытываете, лучше, чем вы сами.

— Я об этом ничего не знал,— сказал Норман.

— Конечно! Ведь большинство сведений о методах работы Мультивака являются государственной тайной. И, когда вы будете уходить, вас попросят дать подписку, что вы не будете разглашать, какого рода вопросы вам задавались, что вы на них ответили, что здесь происходило и как. Чем меньше известно о Мультиваке, тем меньше шансов, что кто-то посторонний попытается повлиять на тех, кто с ним работает.— Он мрачно улыбнулся.—

У нас и без того жизнь нелегкая.

Норман кивнул.

— Понимаю.

— А теперь, быть может, вы хотите есть или пить?

— Нет. Пока что нет.

— У вас есть вопросы?

Норман покачал головой.

— В таком случае скажите нам, когда вы будете готовы.

— Я уже готов.

— Вы уверены?

— Вполне.

Полсон кивнул и сделал знак своим помощникам начинать.

Они двинулись к Норману с устрашающими аппаратами, и он почувствовал, как у него участилось дыхание.

Мучительная процедура длилась почти три часа и прерывалась всего на несколько минут, чтобы Норман мог выпить чашку кофе и, к величайшему его смущению, воспользоваться ночным горшком. Все это время он был прикован к машинам. Под конец он смертельно устал.

Он подумал с иронией, что выполнить обещание ничего не разглашать будет очень легко. У него уже от вопросов была полная каша в голове.

Почему-то раньше Норман думал, что Мультивак будет говорить загробным, нечеловеческим голосом, звучным и рокошущим; очевидно, это представление ему навяли бесконечные телевизионные передачи, решил он теперь. Действительность оказалась до обидного неромантической. Вопросы поступали на полосках какой-то металлической фольги, испещренных множеством проколов. Вторая машина превращала проколы в слова, и Полсон читал эти слова Норману, а затем передавал ему вопрос, чтобы он прочел его сам.

Ответы Нормана записывались на магнитофонную пленку, их проигрывали, и Норман слушал, все ли верно, и его поправки и добавления тут же записывались.

Затем пленка заправлялась в перфорационный аппарат и результаты передавались Мультиваку.

Единственный вопрос, запомнившийся Норману, был словно выхвачен из болтовни двух кумушек и совсем не вязался с торжественностью момента: «Что вы думаете о ценах на яйца?»



И вот все позади: с его тела осторожно сняли многочисленные электроды, распустили пульсирующую повязку на предплечье, убрали аппаратуру.

Норман встал, глубоко и судорожно вздохнул и спросил:

— Все? Я свободен?

— Не совсем.— Полсон спешил к нему с ободряющей улыбкой.— Мы бы просили вас задержаться еще на часок.

— Зачем? — встревожился Норман.

— Приблизительно такой срок нужен Мультиваку, чтобы увязать полученные новые данные с миллиардами уже имеющихся у него сведений. Видите ли, он должен учитывать тысячи других выборов. Дело очень сложное. И может оказаться, что какое-нибудь назначение окажется неувязанным, скажем, санитарного инспектора в городе Феникс, штат Аризона, или же муниципального советника в Уилксборо, штат Северная Каролина. В таком случае Мультивак будет вынужден задать вам еще несколько решающих вопросов.

— Нет,— сказал Норман.— Я ни за что больше не соглашусь.

— Возможно, этого и не потребуется,— заверил его Полсон.— Такое положение возникает крайне редко. Но просто на всякий случай вам придется подождать.— В его голосе зазвучали еле заметные стальные нотки.— Ваши желания тут ничего не решают. Вы обязаны.

Норман устало опустил на стул и пожал плечами.

Полсон продолжал:

— Читать газеты вам не разрешается, но, если детективные романы, или партия в шахматы, или еще что-нибудь в этом роде помогут вам скоротать время, вам достаточно только сказать.

— Ничего не надо. Я просто посижу.

Его провели в маленькую комнату рядом с той, где он отвечал на вопросы. Он сел в кресло, обтянутое пластиком, и закрыл глаза.

Хочешь не хочешь, а нужно ждать, пока истечет этот последний час.

Он сидел не двигаясь, и постепенно напряжение спало. Дыхание стало не таким прерывистым, и дрожь в пальцах уже не мешала сжимать руки.

Может, вопросов больше и не будет. Может, все кончилось.

Если это так, то дальше его ждут факельные шест-

вия и выступления на всевозможных приемах и собраниях. Избиратель этого года!

Он, Норман Маллер, обыкновенный продавец из маленького универмага в Блумингтоне, штат Индиана, не рожденный великим, не добившийся величия собственными заслугами, попал в необычайное положение: его вынудили стать великим.

Историки будут торжественно упоминать Выборы Маллера в 2008 году. Ведь эти выборы будут называться именно так — Выборы Маллера.

Слава, повышение в должности, сверкающий денежный поток — все то, что было так важно для Сары, почти не занимало его. Конечно, это очень приятно, и он не собирается отказываться от подобных благ. Но в эту минуту его занимало другое.

В нем вдруг проснулся патриотизм. Что ни говори, а он представляет здесь всех избирателей страны. Их чаяния собраны в нем, как в фокусе. На этот единственный день он стал воплощением всей Америки!

Дверь открылась, и Норман весь обратился в слух. На мгновение он внутренне сжался. Опять вопросы?!

Но Полсон улыбался.

— Все, мистер Маллер.

— И больше никаких вопросов, сэр?

— Ни единого. Прошло без всяких осложнений. Вас отвезут домой, и вы снова станете частным лицом, конечно, насколько вам позволит широкая публика.

— Спасибо, спасибо.— Норман покраснел и спросил: — Интересно, а кто избран?

Полсон покачал головой.

— Придется ждать официального сообщения. Правила очень строгие. Мы даже вам не имеем права сказать. Я думаю, вы понимаете.

— Ну, конечно,— смущенно ответил Норман.

— Агент Службы безопасности даст вам подписать необходимые документы.

— Хорошо.

И вдруг Норман ощутил гордость. Неимоверную гордость. Он гордился собой.

В этом несовершенном мире суверенные граждане первой на свете и величайшей Электронной Демократии через Нормана Маллера (да, через *него!*) вновь осуществили принадлежащее им свободное, ничем не ограниченное право выбирать свое правительство!

---

# САМИ БОГИ

---

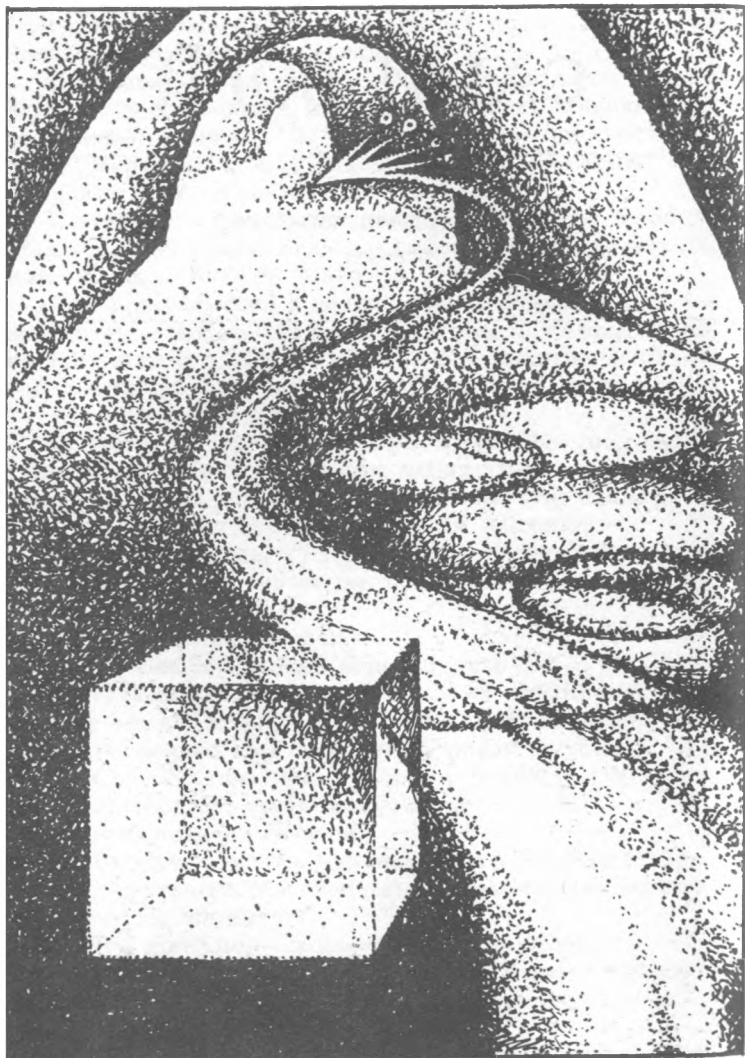
Научно-фантастический  
роман

---

---

Печатается по изд.: Азимов А. Сами боги: Пер. с англ.— М.: Мир, 1976. Пер. изд.: Asimov I.: The Gods Themselves.— Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1972.

© перевод на русский язык, «Мир», 1976



*Посвящается Человечеству  
в надежде, что война  
с безрассудством все-таки  
будет выиграна.*

## Часть первая

---

# ПРОТИВ ГЛУПОСТИ

---

### 6\*

— Без толку! — резко бросил Ламонт. — Я ничего не добился.

Лицо его было хмурым. Оно и всегда казалось на-супленным из-за глубоко посаженных глаз и чуть скошенного набок подбородка. Даже когда он был в хорошем настроении. Но сейчас его настроение никак нельзя было назвать хорошим. Второй официальный разговор с Хэллемом завершился еще большим фиаско, чем первый.

— Не впадай в мелодраму, — вяло посоветовал Майрон Броновский. — Ты ведь ничего другого и не ждал. Сам же говоришь.

Он подбрасывал вверх ядрышки арахиса и ловил их пухлыми губами. Прodelывал он это очень ловко — ни одно ядрышко не пролетало мимо. Броновский был не слишком высок и не очень строен.

— Так что же, мне теперь радоваться? Впрочем, ты прав — это значения не имеет. У меня есть другие средства, и я намерен к ним прибегнуть, а кроме того, я рассчитываю на тебя. Если бы тебе удалось...

— Не продолжай, Питер! Все это я уже слышал. От меня требуется всего лишь расшифровать мыслительные процессы вземного разума.

---

\* Повествование начинается с главы 6. Это не ошибка. У меня есть на то свои глубокие причины. А потому спокойно читайте и (надеюсь) получите удовольствие.

— Но зато высокоразвито! И ведь они там у себя, в паравселенной, явно добиваются, чтобы их поняли.

— Возможно, — вздохнул Броновский. — Но посредником-то служит мой разум, и хотя я считаю, что он, конечно, развит неимоверно высоко, однако все-таки не настолько. Ночью, когда не спится, меня начинают одолевать сомнения, а способны ли вообще разные типы разума понять друг друга. Ну, а если день выдался особенно скверный, то мне и вовсе мерещится, что слова «разные типы разума», не имеют ни малейшего смысла.

— Как бы не так! — свирепо сказал Ламонт, и его руки в карманах лабораторного халата сжались в кулаки. — Хэллем и я — вот тебе эти типы. То есть прославленный дурак доктор Фредерик Хэллем и я. И вот тебе доказательство: он попросту не понимает того, что я ему говорю. Его тупая физиономия багровеет еще больше, глаза вылезают на лоб, а уши глохнут. Я бы сказал, что его рассудок перестает функционировать, но у меня нет никаких оснований предполагать, что он вообще функционирует.

— Ай-ай-ай! Разве можно говорить так про Отца Электронного Насоса? — пробормотал Броновский.

— То-то и оно! Псевдоотец! Уж если кто тут ни при чем, так это он. Его вклад был минимальным. Я-то знаю.

— И я знаю. Ты мне это без конца твердишь! — Броновский подбросил очередное ядрышко. И опять не промахнулся.

## 1

За тридцать лет до этого разговора Фредерик Хэллем был заурядным радиохимиком. Его диссертационная работа еще пахла типографской краской, и ничто в нем не свидетельствовало о таланте, способном потрясти мир.

А потрясение мира началось, собственно, с того, что на рабочем столе Хэллеме стояла запыленная колба с ярлычком «Вольфрам». Ее поставил сюда не он. Он даже никогда к ней не прикасался. Она досталась ему в наследство от прежнего владельца кабинета, которому когда-то бог весть по какой причине понадобился вольфрам. Да и содержимое колбы уже, собственно говоря, перестало быть вольфрамом. Это были серые запылен-

ные крупинки, покрытые толстым слоем окиси. Их давно пора было выбросить.

И вот однажды Хэллем вошел в лабораторию (ну да, это произошло 3 октября 2070 года) и приступил к работе. Около десяти часов он поднял голову, уставился на колбу и вдруг схватил ее. Пыли на ней не стало меньше, выцветший ярлычок нисколько не изменился, но Хэллем тем не менее крикнул:

— Черт подери! Какой сукин сын трогал эту колбу?

Так по крайней мере утверждал Денисон, который слышал этот вопль и много лет спустя поведал о нем Ламонту. Парадный рассказ об обстоятельствах замечательного открытия, запечатленный во множестве книг и учебников, этой фразы не содержит. Перед читателем возникает образ пронизательного химика, который орлиным взором сразу же подметил изменения и мгновенно сделал далеко идущие выводы.

Куда там! Хэллему вольфрам был не нужен, он его совершенно не интересовал. И, в сущности, ему было все равно, трогал кто-то колбу или нет. Просто он (подобно многим другим людям) терпеть не мог, когда на его столе хозяйничали без его ведома, и всегда готов был заподозрить окружающих в таких посягательствах, продиктованных исключительно желанием ему насолить.

Но в покушении на колбу никто не признавался. Бенджамин Аллан Денисон услышал возглас Хэллема потому, что сидел в кабинете напротив лицом к открытой двери. Он поднял голову и встретил сверлящий взгляд Хэллема.

Хэллем не внушал ему особых симпатий (впрочем, он никому их не внушал), а в то утро Денисон плохо выспался и — как он вспоминал впоследствии — был даже рад сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Хэллем же был для этого идеальным объектом.

Когда Хэллем поднес колбу к самому его лицу, Денисон брезгливо отстранился.

— На какого дьявола мне понадобился бы ваш вольфрам? — спросил он саркастически. — Да и кому он вообще нужен? Если бы вы посмотрели на колбу повнимательнее, то заметили бы, что ее уже лет двадцать никто не открывал и что единственные следы на ней — от ваших же лап.

Хэллем побагровел. И сказал, еле сдерживаясь:

— Слушайте, Денисон. Кто-то подменил содержимое. Это не вольфрам.

Денисон позволил себе негромко фыркнуть.

— А вы-то почему знаете?

Вот из таких пустяков — мелочной досады и бесцельных уколов — рождается история.

Такой выпад не мог бы пройти бесследно при любых обстоятельствах. Академические успехи Денисона, который, как и Хэллем, еще совсем недавно работал над диссертацией, были куда более внушительными, и он слыл подающим надежды молодым ученым. Хэллем это знал. Знал это и сам Денисон — что было значительно хуже, поскольку он не трудился скрывать свое превосходство. Поэтому денисоновское «а вы-то почему знаете?» с ударением на «вы» оказалось достаточной причиной для всего, что последовало дальше. Без этой фразы Хэллем никогда не стал бы самым великим, самым почитаемым в истории ученым — так выразился Денисон в своей беседе с Ламонтом много лет спустя.

Согласно официальной версии в то знаменательное утро Хэллем, сев за свой рабочий стол, заметил, что серые запыленные крупинки исчезли (как и пыль на внутренних стенках колбы). Теперь за стеклом тускло поблескивал чистый темно-серый металл. Естественно, он начал исследовать...

Но оставим официальную версию. Причиной всему был Денисон. Если бы он ограничился простым «нет» или только пожал плечами, Хэллем скорее всего опросил бы других своих соседей, а затем ему надоело бы заниматься таким, пусть и необъясненным, пустяком, он отставил бы колбу в сторону и не предотвратил бы трагического исхода (то ли постепенного, то ли мгновенного — это уже зависело от того, насколько задержалось бы неизбежное открытие истины), который и определил бы грядущие события. Но в любом случае тогда оседлал бы смерч и вознесся бы на нем к вершинам славы отнюдь не Хэллем.

Однако, уязвленный до глубины души денисоновским «а вы-то почему знаете?», Хэллем взвизгнул:

— Я вам докажу, что знаю!

И он закусил удила. Теперь у него была одна задача — поскорее получить анализ металла в старой колбе, одна цель — стереть ироническую улыбку с узких



губ Денисона, добиться, чтобы тот перестал презрительно морщить тонкий нос.

Денисон не забыл их стычки, потому что брошенная им фраза принесла Хэллему Нобелевскую премию, а его самого ввергла в пучину безвестности.

Откуда ему было знать (впрочем, тогда он все равно не придал бы этому ни малейшего значения), что Хэллем в полной мере обладал тем ожесточенным упрямством, в которое выливается страх посредственности уронить себя в собственных глазах, и что в данных обстоятельствах это упрямство окажется куда более действенным оружием, чем его — Денисона — блестящие способности?

Хэллем начал действовать немедленно. Он отнес металл в лабораторию масс-спектрографии. Для него, специалиста по радиохимии, это был самый естественный ход. Он знал там всех лаборантов, он работал с ними и к тому же был напорист. Напорист до такой степени, что ради своего металла заставил отложить куда более важные и первоочередные задания.

В конце концов спектрометрист объявил:

— Это не вольфрам.

Плоское сумрачное лицо Хэллема сморщилось в злой улыбке.

— Чудесненько. Так мы и скажем вашему хваленому Денисону. Мне нужна справка по форме...

— Погодите, доктор Хэллем. Я сказал, что это не вольфрам, но что это такое, я не знаю.

— Как так не знаете?

— Получается черт-те что!— Спектрометрист помолчал.— Этого просто не может быть. Отношение заряда к массе не лезет ни в какие ворота.

— В каком смысле?

— Чересчур велико. Не может этого быть, и все тут.

— Ну, в таком случае,— начал Хэллем, и независимо от руководивших им побуждений продолжение этой фразы открыло ему дорогу к Нобелевской премии (причем, возможно, и с некоторым на то правом),— в таком случае определите частоту его характеристического рентгеновского излучения и рассчитайте заряд. Это будет лучше, чем сидеть сложа руки и твердить, будто что-то там «невозможно».

Когда спектрометрист несколько дней спустя вошел в кабинет Хэллема, на его лице были написаны растеря-

ность и тревога. Но Хэллем не умел замечать настроения других людей и спросил только:

— Ну как, установили вы...— но тут в свою очередь встревожился, покосился через коридор на Денисона и поспешил закрыть свою дверь.— Значит, вы установили заряд ядра?

— Да, но таких не бывает.

— Ну, тогда, Трейси, рассчитайте еще раз.

— Да я уже десять раз проверял и перепроверял! Все равно выходит чепуха.

— Если ваши измерения точны, значит, это так. И нечего спорить с фактами.

Трейси поскреб за ухом и сказал:

— Тут поспоришь! Если я приму это за факт, значит, вы мне дали плутоний сто восемьдесят шесть.

— Плутоний сто восемьдесят шесть? Что?! Плутоний... сто восемьдесят шесть???

— Заряд — плюс девяносто четыре. Масса — сто восемьдесят шесть.

— Но это же невозможно! Нет такого изотопа. И не может быть.

— А я что вам говорю? Но такой получается результат.

— То есть в ядре не хватает пятидесяти с лишним нейтронов? Плутоний сто восемьдесят шесть получить невозможно. Нельзя сжать девяносто четыре протона в одно ядро со всего только девяносто двумя нейтронами — такое вещество не просуществует и триллионной доли секунды.

— А я что вам говорю, доктор Хэллем? — терпеливо повторил Трейси.

Тут Хэллем умолк и задумался. У него пропал вольфрам. Изотоп этого элемента — вольфрам-186 — устойчив. Ядро вольфрама-186 содержит семьдесят четыре протона и сто двенадцать нейтронов. Неужто каким-то чудом двадцать нейтронов превратились в двадцать протонов? Да нет, это невозможно.

— А как насчет радиоактивности? — спросил Хэллем, ощупью отыскивая дорогу из лабиринта.

— Я проверял, — ответил спектрометрист. — Он устойчив. Абсолютно.

— Тогда это не может быть плутоний сто восемьдесят шесть.

— Ну, а я что говорю?

Хэллем сказал обессиленно:

— Ладно, давайте его сюда.

Оставшись один, он отупело уставился на колбу. Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240, но для того, чтобы девяносто четыре протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось сто сорок шесть нейтронов.

Так что же теперь делать? Проблема была явно ему не по зубам, и он уже раскаивался, что вообще связался в эту историю. В конце-то концов у него есть своя работа, а эта... эта загадка не имеет к нему никакого отношения. Трейси что-нибудь напутал, или масс-спектрометр начал врать, или...

Ну и что? Выбросить все это из головы, и конец!

Но на это Хэллем пойти не мог. Рано или поздно Денисон заглянет к нему и с мерзкой своей полуулыбочкой спросит про вольфрам. И что Хэллем ему ответит? «Да это оказался не вольфрам, как я вам и говорил»? А Денисон скажет: «Ах так! Что же это такое?» Хэллем представил себе, какие насмешки посыплются на него, если он ответит: «Это плутоний сто восемьдесят шесть!» Да ни за что на свете! Он должен выяснить, что это такое. И выяснить сам. Совершенно очевидно, что доверять никому нельзя.

И вот примерно через две недели он ворвался в лабораторию к Трейси, прямо-таки задыхаясь от ярости.

— Э-эй! Вы же сказали мне, что эта штука не радиоактивна!

— Какая штука? — с недоумением спросил Трейси.

— А та, которую вы называли плутонием сто восемьдесят шесть!

— Вот вы о чем! Ну да. Полнейшая устойчивость.

— В голове у вас полнейшая устойчивость! Если, по-вашему, это не радиоактивность, так идите в водопроводчики!

Трейси нахмурился.

— Ладно. Давайте проверим.— Через некоторое время он сказал.— Это надо же! Радиоактивна, черт! Самую чуточку — и все-таки не понимаю, как я мог проморгать в тот раз.

— Так как же я могу верить вашему бреду про плутоний сто восемьдесят шесть?

Хэллем был уже не в силах остановиться. Он не

находил разгадки и воспринимал это как личное оскорбление. Тот, кто в первый раз подменил колбу или ее содержимое, либо вновь проделал свой фокус, либо изготовил неизвестный металл, специально чтобы выставить его дураком. В любом случае он готов был разнести мир вдребезги лишь бы добраться до сути дела,— и разнес бы, если бы мог.

Упрямство и злость подстегивали его, и он пошел прямо к Г. К. Кантровичу, незаурядной научной карьере которого предстояло оборваться менее чем через год. Заручиться помощью Кантровича было нелегко, но, раз начав, он доводил дело до конца.

И уже через два дня Кантрович влетел в кабинет Хэллема вне себя от возбуждения.

— Вы руками эту штуку трогали?

— Почти нет,— ответил Хэллем.

— Ну и не трогайте. Если у вас есть еще, так ни-ни. Она испускает позитроны.

— Что-что?

— И позитронов с такой высокой энергией я еще не видел. А радиоактивность вы занизили.

— Как занизил?

— И порядочно. Меня только одно смущает: при каждом новом измерении она оказывается чуть выше.

## 6 (продолжение)

Броновский нащупал во вместительном кармане своей куртки яблоко, вытащил его и задумчиво надкусил.

— Ну хорошо, ты побывал у Хэллема и тебя попросили выйти вон, как и следовало ожидать. Что дальше?

— Я еще не решил. Но в любом случае его жирный зад зачесется. Я ведь был у него прежде — один раз, когда только поступил сюда, когда верил, что он — великий человек. Великий человек... Да он величайший злодей в истории науки! Он ведь переписал историю Насоса — вот тут переписал (Ламонт постучал себя по лбу). Он уверовал в собственный вымысел и отстаивает его с упорством маньяка. Это карлик, у которого есть только один талант — уменьшать другим, будто он великан.

Ламонт поглядел на круглое невозмутимое лицо

Броновского, которое расплылось в улыбке, и принужденно засмеялся.

— Ну, да словами делу не поможешь, и все это я тебе уже говорил.

— И не один раз,— согласился Броновский.

— Но меня просто трясет при мысли, что весь мир...

## 2

Когда Хэллем взял в руки колбу с подменным вольфрамом, Питеру Ламонту было два года. В двадцать пять лет, когда типографская краска его собственной диссертации была еще совсем свежа, он приступил к работе на Первой Насосной станции и одновременно получил место преподавателя на физическом факультете университета.

Для молодого человека это было блестящим началом. Правда, Первой станции не хватало технического глянца станций, построенных позже, но зато она была бабушкой их всех — всей цепи, опоясавшей планету за каких-нибудь два десятка лет. Такого стремительного скачка в масштабах всей планеты технический прогресс еще не знал, но ничего удивительного тут не было. Ведь речь шла о неограниченных запасах даровой и совершенно безопасной энергии, равно доступной для всех — волшебная лампа Аладдина, принадлежащая всему миру.

Ламонт пришел на Станцию, чтобы заниматься сложнейшими теоретическими проблемами, но неожиданно для себя заинтересовался поразительной историей создания Электронного Насоса и сразу столкнулся с тем фактом, что ни одна из книг, посвященных этой истории, не была написана человеком, который понимал бы его теоретические принципы (в той мере, в какой они вообще могли быть поняты) и в то же время сумел бы изложить их в доступной для широкого читателя форме. О, разумеется, сам Хэллем написал немало статей для научно-популярных журналов и передач, но они не слагались в последовательную и полностью обоснованную историю вопроса. И Ламонт возжаждал взять эту задачу на себя.

Для начала он проштудировал статьи Хэллема, а также все опубликованные воспоминания (единствен-

ные, так сказать, официальные документы) и добрался до потрясшей мир фразы Хэллема — Великого Прозрения, как ее нередко называли, и обязательно с большой буквы.

Ну, а потом, когда Ламонт пережил свое горькое разочарование, он принялся копать глубже и вскоре усомнился, что знаменитую фразу произнес действительно Хэллем. Она была сказана на семинаре, который, собственно, и привел к созданию Электронного Насоса, но выяснилось, что узнать подробности об этом историческом семинаре чрезвычайно трудно, а получить его звукозапись и вовсе невозможно.

В конце концов Ламонт заподозрил, что странная нечеткость следа, который семинар оставил в песках времен, отнюдь не случайна. Хитроумно сопоставив ряд отрывочных сведений, он пришел к выводу, что, по-видимому, нечто очень похожее на ошеломляющее заявление Хэллема сказал Джон Ф. К. Макфарленд, и главное — раньше Хэллема.

Он отправился к Макфарленду, который вообще не фигурировал ни в одном официальном отчете и занимался теперь изучением верхних слоев атмосферы и воздействия на них солнечного ветра. Это было не самое видное положение, но у него были свои преимущества и работа в значительной степени была связана с процессами, имеющими прямое отношение к Насосу. Макфарленд, несомненно, сумел избежать пучины безвестности, поглотившей Денисона.

Макфарленд принял Ламонта достаточно любезно и был готов беседовать с ним о чем угодно — кроме семинара. Все, что там произошло, просто изгладилось из его памяти.

Но Ламонт не отступал и перечислил факты, которые ему удалось собрать.

Макфарленд взял трубку, набил ее, тщательно проверил, плотно ли она набита, и сказал размеренно:

— Я не хочу ничего помнить, потому что это не имеет значения. Ни малейшего. Ну, предположим, я начну утверждать, будто сказал что-то. Ведь никто не поверит. Я буду выглядеть как дурак — к тому же дурак, страдающий манией величия.

— А Хэллем позаботится, чтобы вас отправили на пенсию?

— Этого я не говорю, но не думаю, чтобы подобное заявление оказалось для меня очень полезным. Да и ради чего, собственно?

— Ради исторической истины,— сказал Ламонт.

— А, чушь! Историческая истина состоит в том, что Хэллем довел дело до конца. Он прямо-таки принуждал людей браться за исследования, чуть ли не против их воли. Без него этот вольфрам в конце концов, несомненно, взорвался бы, унеся уж не знаю сколько человеческих жизней. Второго образчика могло бы и не найтись, и мы не получили бы Насоса. Так что вся честь его создания принадлежит Хэллему, хотя она ему и не принадлежит — а если это бессмысленно, то я тут ничего поделывать не могу: история всегда бессмысленна.

Ламонту волей-неволей пришлось удовлетвориться этим, поскольку больше Макфарленд об Электронном Насосе и его создании говорить не пожелал.

Историческая истина!

Во всяком случае, одно, по-видимому, было неоспоримо: великая карьера «хэллемовского вольфрама» (так его теперь называли по освященному временем обычаю) началась благодаря его странной радиоактивности. Вопрос о том, вольфрам ли это и не подменили ли его, утратил всякое значение, и даже тот факт, что загадочный металл по всем характеристикам выглядел изотопом, которого не могло быть, отошел на задний план. Слишком велико было изумление перед веществом, которое демонстрировало нарастающую радиоактивность, не подходившую ни под один тип радиоактивного распада, известный в то время.

...Некоторое время спустя Кантрович пробормотал:

— Надо бы его рассредоточить. Даже небольшие куски неизбежно испарятся или взорвутся, загрязнив полгорода. А может быть, и то и другое вместе.

Поэтому вещество превратили в порошок, разделили на мельчайшие доли и смешали с порошком обычного вольфрама, а когда и обычный вольфрам стал радиоактивным, использовали графит, эффективное сечение которого гораздо ниже.

Менее чем через два месяца после того, как Хэл-

лем заметил изменения в колбе, Кантрович прислал в «Ядерное обозрение» сообщение, подписанное и Хэллемом в качестве соавтора, об открытии плутония-186. Таким образом доброе имя Трейси было восстановлено, но в сообщении не упомянуто — как не упоминалось оно и впредь. С этой минуты хэллемовский вольфрам начал свой стремительный путь к превращению в благодетеля человечества, а Денисон ощутил первые симптомы процесса, который в конце концов превратил его в пустое место.

Существование плутония-186 уже само по себе выглядело черт знает чем. Но первоначальная устойчивость, которая затем сменялась нарастающей радиоактивностью, была еще хуже.

Для рассмотрения этой проблемы был организован семинар под председательством Кантровича — обстоятельство, исторически небезынтересное, поскольку с тех пор любым сколько-нибудь представительным собранием, которое было так или иначе связано с Электронным Насосом, непременно руководил Хэллем. Во всяком случае, Кантрович умер пять месяцев спустя, и таким образом с пути Хэллема исчез единственный человек, обладавший достаточным престижем, чтобы удерживать его в тени.

Семинар протекал на редкость бесплодно, пока Хэллем не возвестил о своем Великом Прозрении — однако по версии, созданной Ламонтом, все решилось во время перерыва на обед. Именно тогда Макфарленд, который согласно официальной версии никаких исторических фраз не произносил (хотя на семинаре, несомненно, присутствовал), задумчиво сказал: «А знаете, тут следовало бы немножко пофантазировать. Что, если...»

Он сказал это Дидерику ван Клеменсу, а ван Клеменс записал их разговор в дневнике с помощью собственной стенографической системы. Но он умер задолго до того, как Ламонт начал свое расследование. И хотя эти беглые заметки полностью убедили молодого ученого, он тем не менее отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они как официальное свидетельство не стоят ничего. К тому же не было никаких доказательств, что Хэллем слышал рассуждения Макфарленда. Ламонт готов был побиться об заклад хоть на миллион, что Хэллем в ту мину-



ту находился где-то рядом, но его готовность юридической силы не имела.

Но и сумей он это доказать, что тогда? Да, непомерное самолюбие Хэллема будет задето, но его положение останется неуязвимым. Ведь сам собой напрашивается аргумент, что Макфарленд просто фантазировал и вовсе не собирался выдвигать никакой гипотезы. Это Хэллем увидел проблеск истины. Это Хэллем не побоялся навлечь на себя град насмешек и смело провозгласил свою теорию. А Макфарленд вряд ли рискнул бы «немножко пофантазировать» на трибуне.

Ламонт, правда, мог бы возразить, что Макфарленду, известному ядерному физика, было что терять, а вот Хэллему, молодому радиохимику, любые публичные бредни, касающиеся ядерной физики, сошли бы с рук как неспециалисту.

Но что бы там ни было на самом деле, Хэллем, если верить официальной стенограмме, сказал следующее:

«Господа, мы зашли в тупик. А потому я намерен предложить гипотезу — не потому, что считаю ее заведомо верной, но потому лишь, что она все-таки менее нелепа, чем все, что я слышал до сих пор... Мы имеем дело с веществом, с плутонием сто восемьдесят шесть, которое согласно физическим законам нашей вселенной вообще существовать не может, а о том, чтобы оно хоть на самое короткое время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего. Но раз оно бесспорно существует и было сперва устойчивым, отсюда следует, что прежде оно, хотя бы какой-то срок, должно было находиться в месте, во времени или в условиях, где физические законы вселенной действуют не так, как они действуют здесь и теперь. Попросту говоря, вещество, которое мы изучаем, возникло вовсе не в нашей вселенной, а в иной, альтернативной, параллельной вселенной — называйте ее, как хотите.

Оказавшись здесь — каким образом это произошло, я объяснить не берусь, — оно некоторое время оставалось устойчивым, как я предполагаю, потому, что несло в себе законы своей вселенной. Тот факт, что постепенно оно стало радиоактивным и его радиоактивность все возрастает, возможно, означает, что оно

медленно проникается законами нашей вселенной, если вы позволите мне так выразиться.

Я хочу напомнить, что одновременно с появлением плутония сто восемьдесят шесть бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам сто восемьдесят шесть. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную вселенную. Ведь только логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение.

Быть может, в параллельной вселенной вольфрам сто восемьдесят шесть — такая же аномалия, как плутоний сто восемьдесят шесть у нас. Не исключено, что и он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться все более радиоактивным. И может послужить там источником энергии точно так же, как плутоний сто восемьдесят шесть здесь у нас».

По-видимому, аудитория онемела от удивления — во всяком случае, Хэллему как будто никто не перебивал, и он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли дивясь собственной наглости.

Тут кто-то из зала (предположительно Антуан-Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено) спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хэллему, некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «паравселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере до этого момента оно нигде зарегистрировано не было.

После некоторого молчания Хэллем, совсем уж закусив удила, объявил:

«Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша вселенная и паравселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним и извлекая взаимную выгоду из различий в физических законах, действующих там и здесь».

Вот это и было сутью Великого Прозрения.

Используя термин «паравселенная», Хэллем тем

самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос» (которое с тех пор писалось только с большой буквы).

Официальная версия создает впечатление, будто гипотеза Хэллема сразу завоевала признание. Но это было не так. Те немногие, кто вообще счел нужным высказаться по ее поводу, в лучшем случае отозвались о ней как о любопытном предположении. А Кантрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хэллема.

Сам Хэллем, конечно, не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих ученых. И такие ученые нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать свое имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно: когда пришел успех, широкая публика твердо знала, что все сделал Хэллем и только Хэллем. В глазах всего мира Хэллем и только Хэллем открыл таинственное вещество, именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего Великого Прозрения. А потому Хэллем и был Отцом Электронного Насоса.

Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки вольфрама. В одной лаборатории из десяти происходила замена и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми... Однако где бы ни появился плутоний-186, кто бы ни доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это была лишь новая порция «хэллемовского вольфрама».

И опять-таки Хэллем предложил широкой публике наиболее доходчивое объяснение теории паравселенной. К собственному удивлению (как он не преминул указать впоследствии), он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого.

В своей прославленной статье для воскресного еженедельника «Североамериканский тележурнал» Хэллем писал:

«Нам неизвестно, как и в чем законы паравселенной отличаются от наших, но, по-видимому, мы не

ошибемся, предположив, что сильное ядерное взаимодействие, самая могучая из известных сил нашей вселенной, в паравселенной много действеннее,— возможно, в сотни раз. А это значит, что протоны с большей легкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию и что ядру для достижения стабильности требуется меньше нейтронов.

Плутоний-186, устойчивый в их вселенной, содержит либо слишком много протонов, либо слишком мало нейтронов, чтобы сохранить устойчивость в условиях нашей вселенной, где ядерное взаимодействие не столь эффективно. Оказавшись в нашей вселенной, плутоний-186 начинает испускать позитроны, высвобождая при этом энергию. Каждый испущенный таким образом позитрон означает, что в ядре один протон превратился в нейтрон. В конце концов двадцать протонов ядра превращаются в нейтроны, и плутоний-186 становится вольфрамом-186, который в условиях нашей вселенной устойчив. На протяжении этого процесса из каждого ядра выделяются двадцать позитронов, которые сталкиваются с двадцатью электронами, вступают с ними во взаимодействие и аннигилируют, опять-таки высвобождая энергию. Таким образом, с каждым ядром плутония-186, посланным к нам, наша вселенная теряет двадцать электронов.

Наш же вольфрам-186, попадая в паравселенную, оказывается там неустойчивым по прямо противоположным причинам. По законам паравселенной он содержит или слишком много нейтронов, или слишком мало протонов. Ядра вольфрама-186 начинают испускать электроны, непрерывно высвобождая энергию. Каждый же испущенный электрон означает, что нейтрон превращается в протон, и в конце концов возникает плутоний-186. И с каждым ядром вольфрама-186, посланным в паравселенную, она приобретает двадцать электронов.

Такой обмен плутонием и вольфрамом между нашей вселенной и паравселенной может происходить бесконечно с выделением энергии то там, то здесь, причем заключением цикла для каждого отдельного ядра будет переход двадцати электронов из нашей вселенной к ним. И обе стороны получают энергию.

Явление это можно назвать своего рода «Межвселенским Электронным Насосом».

Претворение этой идеи в жизнь и создание реального Электронного Насоса, ставшего мощнейшим источником энергии, осуществилось с ошеломляющей быстротой, и каждый новый успех укреплял престиж Хэллема.

### 3

У Ламонта не было причин сомневаться в том, что этот престиж вполне заслужен. Задумав написать историю вопроса, он не без труда добился приема у Хэллема и вошел в кабинет с чувством, похожим на благоговение. (Впоследствии у него от одной мысли об этой телячьей восторженности начинали гореть уши, и он постарался изгладить ее из своей памяти, что ему отчасти и удалось.)

Хэллем держался снисходительно. За тридцать лет он вознесся на такие высоты славы, что можно было только удивляться, почему у него еще не течет кровь из носа. С возрастом он приобрел внушительность, хотя и лишенную одухотворенности. Его грузная фигура казалась представительной, а грубым чертам своего лица он научился придавать выражение умудренного спокойствия. Но он по-прежнему легко багровел, а его самовлюбленность и обидчивость стали присловьем.

Перед тем как принять Ламонта, Хэллем позаботился навести о нем справки и был во всеоружии. Он сказал:

— Вы доктор Питер Ламонт и занимаетесь паратеорией — довольно плодотворно, как я слышал. Я помню вашу диссертацию. О паратермоядерной реакции, не так ли?

— Совершенно верно, сэр.

— Ну, так напомните мне подробности. Расскажите мне о ваших выводах. Неофициально, разумеется, словно вы говорите с профаном. Ведь в конце-то концов, — он добродушно засмеялся, — в известном смысле я и есть профан. Я же всего только радиохимик, как вам, быть может, известно, и не ахти какой теоретик, разве что иной раз позволяю себе выдвинуть концепцию-другую.

В тот момент Ламонт принял все это за чистую

монету. Да, возможно, слова Хэллема вовсе и не были столь оскорбительно наглыми, как казалось ему потом. Но в дальнейшем Ламонт обнаружил (или, во всяком случае, уверил себя), что они были типичны для хэллемовского метода ознакомления с сутью чужих исследований. А потом Хэллем бойко рассуждал на эти темы, как правило, — а вернее никогда — не утруждая себя упоминанием о том, кому он обязан своими сведениями.

Но тот, более юный Ламонт был только польщен и сразу же заговорил — словоохотливо и с тем увлечением, которое обычно охватывает человека, когда он рассказывает о своих открытиях.

— Ну конечно, я сделал совсем не так уж много, доктор Хэллем. Ведь устанавливать физические законы паравселенной — паразаконны — дело очень рискованное. У нас слишком мало исходных данных. Я начал с того немногого, что нам известно, и не позволял себе никаких предположений, если они не опирались на уже имеющийся материал. Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние легких ядер должно происходить с меньшими затруднениями.

— Параслияние, — поправил Хэллем.

— Совершенно верно, сэр. Задача, следовательно, сводилась к установлению частных случаев. Над математикой пришлось-таки поломать голову, но после нескольких преобразований все стало много проще. Оказывается, например, что в паравселенной у гидрида лития термоядерная реакция начнется при температуре на четыре порядка ниже, чем здесь. У нас, чтобы взорвать гидрид лития, требуются температуры атомной бомбы, а в паравселенной для этого достаточно, так сказать, простого динамитного заряда. Возможно даже, что там гидрид лития вспыхнет от спички, но это маловероятно. Мы им предлагали гидрид лития, поскольку термоядерная энергия может быть у них там чем-то вроде природного ресурса, но они его не тронули.

— Да, я знаю.

— Совершенно очевидно, что для них это слишком опасно. Ну, как использовать нитроглицерин в ракетных двигателях тоннами — только еще рискованнее.

— Отлично. А кроме того, вы ведь работаете над историей Насоса?

— Для собственного удовольствия, сэр. И если это вас не слишком затруднит, сэр, не смогли бы вы ознакомиться с рукописью, когда она будет готова? Ведь никто не знает всю подоплеку этих событий так, как ее знаете вы, сэр, и ваши замечания были бы поистине неоценимыми. Да если бы и сейчас у вас нашлось для меня несколько лишних минут...

— Попробую найти. Так что же вам хотелось бы узнать? — сказал Хэллем с улыбкой, не подозревая, что ему уже больше никогда не захочется улыбаться в присутствии Ламонта.

— Эффективный и практичный Насос, профессор Хэллем, был создан в потрясающе короткий срок, — начал Ламонт. — Едва проект Насоса...

— Проект Межвселенского Электронного Насоса, — поправил Хэллем, все еще улыбаясь.

— Да, конечно, — Ламонт кашлянул. — Я просто употребил сокращенное название. Достаточно было начать, а уж само конструирование протекало удивительно быстро и без каких-либо видимых затруднений.

— Совершенно справедливо, — сказал Хэллем с легким самодовольством. — Меня постоянно уверяют, что это моя заслуга, что все объясняется моим энергичным и прозорливым руководством, но мне не хотелось бы, чтобы вы в вашей книге излишне это подчеркивали. Мы привлекли к работе над проектом немало высокоталантливых людей, и мне было бы неприятно, если бы чрезмерное преувеличение моей роли привело к некоторому затушевыванию блестящей работы отдельных членов группы.

Ламонт досадливо мотнул головой. Все это не относилось к делу. Он сказал:

— Меня интересует другое. Я имел в виду разумные существа той вселенной. Паралюдей, как их принято называть. Ведь начали они. Мы открыли их после первой замены вольфрама на плутоний. Но они-то открыли нас первыми, причем чисто теоретически, без той подсказки, которую получили от них мы. А та железная фольга, которую они переслали...

Вот тут-то улыбка Хэллема исчезла — исчезла навсегда. Он нахмурился и сказал, повысив голос:

— Символы расшифровке не поддались. Они ни в коей мере...

— Но, сэр, ведь геометрические фигуры, несомненно, были понятны. Я ознакомился с материалами, и нет никаких сомнений, что они представляют собой своего рода чертеж Насоса. По-моему...

Хэллем гневно скрипнул креслом.

— Хватит измышлений, молодой человек. Всю работу сделали мы, а не они.

— Да... Но разве не правда, что они...

— Что «они», что?!

Ламонт наконец осознал, какую бурю чувств он вызвал, но по-прежнему не понимал ее причины. Он сказал нерешительно:

— Что они более высоко развиты, чем мы, и что, в сущности, все сделали они. Разве это не так, сэр?

Хэллем, совсем пунцовый, с усилием поднялся на ноги.

— Конечно нет! — закричал он. — Никакой мистики в этом вопросе я не допущу. Ее и без того хватает. Послушайте, молодой человек! — Он надвинулся на ошеломленного Ламонта, который все еще продолжал растерянно сидеть, и погрозил ему толстым пальцем. — Если вы в своей истории исходите из того, что мы были марионетками, которых паралюди дергали за ниточки, то Первая станция не станет ее публиковать, да и никто ее не опубликует, если это будет зависеть от меня. Я не допущу, чтобы человечество унижали, чтобы паралюдям отводили роль богов.

Ламонт сделал единственное, что ему оставалось — он ушел. Ушел, ничего не понимая, расстроенный тем, что, действуя из самых лучших побуждений, он почему-то вызвал только гнев и озлобление.

А затем его исторические источники начали пересыхать один за другим. Люди, которые неделю назад охотно отвечали на его вопросы, теперь ничего не помнили и не находили времени для дальнейших бесед.

Вначале Ламонт сердился и недоумевал, а потом в нем начали нарастать ожесточение и злоба. Он оценил собранный им материал с новой точки зрения и принялся требовать и настаивать там, где прежде вежливо просил. Когда они с Хэллемом случайно оказывались рядом на совещаниях или официальных приемах, Хэллем хмурился, делая вид, будто не замечает



Ламонта, а Ламонт в свою очередь начинал презрительно морщиться.

В результате Ламонт обнаружил, что на избранной им ниве паратеории его явно не ждет ничего хорошего, и решительно обратился ко второй своей профессии — профессии историка науки.

#### 6 (продолжение)

— Ох, какой идиот! — пробормотал Ламонт, все еще во власти воспоминаний о тех днях. — Видел бы ты, Майк, в какую панику он впал при одном только предположении, что инициатива принадлежала им. Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует. Радуйся, что тебе с ним работать не приходилось.

— Я и радуюсь, — сказал Броновский скучным голосом. — Хотя и ты не ангел, если уж на то пошло.

— Не жалуйся! В твоей работе тебе никто палок в колеса не вставляет.

— Зато ею никто и не интересуется. Кому нужна моя работа, если не считать меня самого и еще пятерых человек в мире? Ну, может, шестерых. Помнишь?

Ламонт помнил.

— Ну, ладно-ладно, — сказал он.

#### 4

Добродушная вялость Броновского могла обмануть только совсем не знавших его людей. Он обладал на редкость острым умом, и раз взявшись за какую-нибудь задачу, терзал ее до тех пор, пока не находил решения или не оставлял от нее лишь жалкие клочья, которые явно доказывали, что она вообще решения не имеет.

Взять хотя бы этрусские надписи, принесшие ему известность. Этрусский язык был живым еще в первом веке нашей эры, но культурный шовинизм древних римлян уничтожил его с такой полнотой, что от него не осталось почти никаких следов. Буквы отдельных надписей, сохранившихся несмотря на вакханалию римской враждебности и — что еще хуже — всеобщее равнодушие, походили на греческие, что позволяло угадывать звучание слов. Но этим все и исчерпывалось. У этрусского языка словно бы не было родственников среди соседних языков, он казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским.

Это навело Броновского на мысль обратиться к другому языку, который тоже словно бы не был родственным ни одному из соседних языков, который тоже казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским, — но язык этот был вполне живым, и говорили на нем в области, расположенной не так уж далеко от тех мест, где некогда обитали этруски.

Язык басков? Броновский задумался. И положил в основу своих исследований баскский язык. Он не был тут первым, но его предшественники после тщетных попыток в конце концов отступались от этой идеи. Броновский не отступился.

Это была тяжелейшая работа, тем более что баскский язык, сам по себе на редкость трудный, оказался более чем скромным подспорьем. Но чем дольше занимался Броновский своими исследованиями, тем тверже становилась его уверенность, что между древними обитателями северной Италии и северной Испании, несомненно, существовала определенная культурная связь. У него набралось достаточно данных, чтобы построить убедительную гипотезу о широко заселявших Западную Европу пракельтах, язык которых явился предком и этрусского и баскского, хотя в своем дальнейшем развитии они очень разошлись. К тому же следовало учитывать, что этрусский язык остановился в своем развитии, а баскский продолжал развиваться еще две тысячи лет, испытав при этом значительное воздействие испанского. Логически вывести, какова была его структура в эпоху Древнего Рима, а затем связать полученные результаты с проблемами этрусского языка — значило поистине совершить редкостный по трудности интеллектуальный подвиг, и понятно, что филологи всего мира были поражены, когда Броновскому удалось это сделать.

Правда, содержание памятников этрусской письменности оказалось удивительно неинтересным и для истории не дало почти ничего — чуть ли не все они были ритуальными надгробными надписями. Но сам факт перевода был ошеломителен и в ходе дальнейших событий послужил для Ламонта спасительной соломинкой.

Однако далеко не вначале. Честно говоря, Ламонт только пять лет спустя после прочтения надписей впервые узнал, что когда-то существовали какие-то там этруски. Затем Броновский был приглашен выступить с докладом на ежегодных чтениях в университете, и хотя

Ламонт обычно пренебрегал своим долгом преподавателя и пропускал чтения, но на лекцию Броновского он пришел.

Не потому, что осознал важность темы или испытывал какое бы то ни было любопытство. Просто он тогда ухаживал за аспиранткой кафедры романских языков, и, не пойдя он на чтения, ему пришлось бы отправиться на музыкальный фестиваль, а эта перспектива увлекала его еще меньше. Роман этот был мимолетным, и никаких серьезных намерений у Ламонта не было, но тем не менее на лекцию он попал из-за него.

Впрочем, лекция ему скорее понравилась. Сама загадочная этруская цивилизация возбудила у него лишь легкий отвлеченный интерес, зато идея расшифровки неизвестного языка показалась ему увлекательной. Подростком он любил решать ребусы, но потом оставил их вместе с прочими детскими забавами ради куда более сложных ребусов, которые предлагает природа, и в конце концов посвятил себя паратеории.

И на лекции Броновского он вновь пережил мальчишескую радость неторопливого извлечения смысла из того, что на первый взгляд казалось случайным набором рисунков и знаков, когда трудности делали победу только слаще. Броновский же был ребусником первой величины, и Ламонт испытывал прямо-таки наслаждение, слушая рассказ о том, как логика упорядочивала и истолковывала неведомое и бесформенное.

Но даже это тройное совпадение — появление Броновского в университете, ламонтовское детское увлечение ребусами и флирт с хорошенькой аспиранткой, водившей своих поклонников на доклады и фестивали, — не привело бы ни к чему, если бы на следующий же день Ламонт не отправился на роковую аудиенцию к Хэллему и не погубил свою карьеру — причем безвозвратно, как он довольно скоро убедился.

Едва выйдя от Хэллема, Ламонт решил поговорить с Броновским о проблеме, которая ему самому представлялась совершенно очевидной, хотя Хэллем и пришел в бешенство при одном намеке на нее. Ламонт считал необходимым нанести ответный удар, потому что был прав, потому что именно его правота навлекла на него начальственный гнев — а для этого в первую очередь следовало доказать справедливость той идеи, которая этот гнев вызвала. Конечно, паралюди более высоко раз-

виты! Прежде он об этом, по правде говоря, не задумывался — это как-то само собой разумелось и особого значения не имело. Но теперь вопрос приобрел решающее значение. Он должен доказать, что прав — вбить эти доказательства в глотку Хэллему, и по возможности боком, чтобы труднее было проглотить.

Благоговение перед великим ученым уже успело угаснуть настолько, что Ламонт с наслаждением смаковал такую перспективу.

Броновский еще не уехал, и Ламонт, разыскав его, ворвался к нему чуть ли не силой.

Загнанный в угол Броновский держался с изысканной любезностью.

Ламонт нетерпеливо выслушал его вежливые фразы, назвал себя и сразу же перешел к делу.

— Доктор Броновский, — сказал он, — я страшно рад, что успел поймать вас до отъезда. Надеюсь, я сумею уговорить вас остаться тут на более длительный срок.

Броновский ответил:

— Возможно, это будет не так уж трудно. Меня приглашают к вам в университет читать курс.

— И вы думаете согласиться?

— Я еще не решил. Но это не исключено.

— Нет, вы должны согласиться. Вы сами это поймете, когда выслушаете меня. Доктор Броновский, чем, собственно, вы можете заняться теперь, когда вы уже расшифровали этрусские надписи?

— Я занимался не только этим, молодой человек. (Он был старше Ламонта на пять лет.) Я археолог, а этрусская культура не исчерпывается надписями, так же как италийская культура доклассического периода не исчерпывается одними этрусками.

— Но ведь вряд ли в этой области есть задачи, столь же увлекательные, как прочтение этрусских надписей?

— Тут вы правы.

— Тогда, наверно, вы будете рады найти проблему, еще более увлекательную, еще более сложную и в триллион раз более злободневную!

— Что вы имеете в виду, доктор... Ламонт, не так ли?

— У нас есть надписи, не связанные ни с какой мертвой культурой. И даже с Землей. И даже со всей вселенной. У нас есть то, что мы называем парасимволами.

— Я о них слышал. И даже видел их.

— Но в таком случае неужели вам не захотелось взяться за решение этой проблемы, доктор Броновский? Не захотелось узнать, что они означают?

— Нет, не захотелось, доктор Ламонт, поскольку никакой проблемы тут нет.

Ламонт бросил на него подозрительный взгляд.

— Вы что, их уже прочли?

Броновский покачал головой.

— Вы меня не поняли. Проблемы нет, потому что их вообще нельзя прочесть. И я этого не могу. И никто другой не сможет. Для этого нет исходной точки. Когда речь идет о земном языке, даже самом мертвом, можно с достаточной уверенностью рассчитывать, что найдется живой язык или мертвый, но уже известный, который окажется с ним в родстве, пусть самом отдаленном. И даже если такой аналогии не отыщется, можно исходить хотя бы из того, что на этом языке писали люди и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к парасимволам ни один такой способ не приложим, то есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения. А задача без решения — не задача.

Ламонт сдерживался, чтобы не перебить его, лишь с большим трудом. Но тут его терпение иссякло:

— Вы ошибаетесь, доктор Броновский! Не подумайте, что я хочу учить вас вашей профессии, но вы ведь не знаете ряда фактов, которые установили люди моей профессии. Мы имеем дело с паралюдьми, о которых нам практически ничего не известно. Мы не знаем, как они выглядят, как они мыслят, в каком мире обитают. То есть мы не знаем почти ничего о самом главном, о самом основном. В этом отношении вы правы.

— Но соль, по-видимому, заключается в «почти», не правда ли?

Броновский как будто нисколько не заинтересовался. Он достал из кармана пакетик с инжиром, распечатал его, сунул ягоду в рот и протянул пакетик Ламонту, но тот покачал головой.

— Вот именно! — объявил Ламонт. — Нам известен факт решающей важности. По развитию они стоят выше нас. Во-первых, они умеют осуществлять обмен через Межвселенское Окно, нам же достается чисто пассивная роль...

Не договорив фразы, он спросил:

— Вы что-нибудь знаете о Межвселенском Электронном Насосе?

— Достаточно, чтобы следить за вашими рассуждениями, доктор Ламонт, до тех пор, пока вы ограничиваетесь общими положениями.

Ламонт заговорил, не дослушав:

— Во-вторых, они прислали нам объяснения, как сконструировать нашу часть Насоса. Мы не смогли в них разобраться, но чертежи все-таки подсказали нам верный путь. В-третьих, они каким-то образом воспринимают нас. Во всяком случае, они, например, узнают, когда мы предлагаем им вольфрам. Они узнают его местонахождение и действуют соответственно. Мы ни на что аналогичное не способны. Есть еще частности, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, насколько паралюди выше нас по развитию.

— Мне кажется, — заметил Бронковский, — что тут вы одиноки. Полагаю, ваши коллеги с вами не согласны.

— О да! Но почему вы так решили?

— А потому, что, на мой взгляд, вы ошибаетесь.

— Факты, на которые я ссылаюсь, верны, так как же я могу ошибаться?

— Вы ведь доказываете только, что паралюди опередили нас в техническом отношении. Но как это связано с умственным развитием? Вот послушайте! — Бронковский встал, снял куртку и расположился в кресле поудобнее. Его полное мягкое тело уютно расслабилось, словно непринужденная поза помогала ему думать. — Примерно двести пятьдесят лет назад в гавань Токио вошла американская эскадра под командованием Мэтью Перри. Японцы, в ту эпоху отрезанные от остального мира, внезапно столкнулись с технической культурой, заметно превосходившей их собственную, и мудро решили, что открытое сопротивление было бы неразумным. Большая страна с давними военными традициями и многомиллионным населением оказалась бессильной перед несколькими чужеземными кораблями. Но доказывает ли это, что американцы стояли по умственному развитию выше японцев или просто что западная культура шла несколько иным путем? Разумеется, верно второе — не прошло и пятидесяти лет, как японцы освоили западную технику, а еще через полвека стали в один ряд с ведущими индустриальными странами мира,

несмотря на то, что примерно тогда же потерпели сокрушительное военное поражение.

Ламонт, который слушал с большим вниманием, сказал:

— Я об этом думал, доктор Броновский, хотя и не знал про японцев — у меня слишком мало времени, чтобы подробно знакомиться с историей прошлых веков, а жаль! Но тут другое. Речь идет не только о техническом превосходстве, а и об умственном развитии.

— Но ведь это только ваши догадки. Почему вы, собственно, так думаете?

— А потому, что они прислали нам инструкции. Они очень хотели, чтобы мы установили свою часть Насоса, и искали способа, как подтолкнуть нас на это. Сами они к нам попасть не могут — ведь даже железная фольга, на которой были выбиты их инструкции (а железо и у них и у нас самый устойчивый из элементов), даже она постепенно сделалась настолько радиоактивной, что ее стало опасно хранить целыми кусками. Но конечно, прежде чем принять необходимые меры, мы сняли точные копии.

Он умолк, чтобы перевести дух, и с досадой подумал, что говорит слишком взволнованно и настойчиво. Так ведь можно оттолкнуть, вместо того чтобы увлечь.

Броновский смотрел на него с любопытством.

— Ну хорошо. Они присылали нам инструкции. Какой, собственно, вывод вы пытаетесь из этого сделать?

— А вот какой: по их мнению, мы способны понять, что они нам пишут. Неужели они настолько глупы, что стали бы отправлять нам послания, иногда довольно длинные, если бы считали, что мы их не поймем?.. Без их чертежей мы ничего не смогли бы сделать. Если же они были уверены, что мы поймем, значит, они считают, что существа вроде нас, с технической культурой примерно их уровня (а это они каким-то образом установить сумели — еще одно подтверждение моей точки зрения) должны находиться примерно на той же ступени умственного развития, что и они, и без труда разберутся в их символах.

— С тем же успехом это можно считать доказательством их наивности, — спокойно возразил Броновский.

— То есть, по-вашему, они полагают, будто возможен всего один устный и письменный язык и что разумные

обитатели другой вселенной говорят и пишут так же, как они сами? Согласитесь, это уж слишком.

— Предположим даже, что вы правы, — сказал Бронновский. — Но что вы, собственно, хотите от меня? Я видел парасимволы. Думаю, в мире не найдется археолога или филолога, который бы их не видел. И я не понимаю, что я мог бы сделать. Думаю, и все остальные сказали бы то же. За двадцать с лишним лет дело не сдвинулось с места.

— Потому что все эти двадцать лет никто всерьез и не пытался что-нибудь сделать, — горячо возразил Ламонт. — Управление Насосными станциями вовсе не хочет, чтобы символы были прочитаны.

— Но отчего?

— А вдруг прямое общение с паралюдьми неопровержимо докажет, что их развитие выше? Вот тогда уже не удастся скрыть, что создатели Насоса — лишь номинальные его творцы, а это непереносимо для их самомнения. И, таким образом (Ламонт старался говорить без злости, но это ему не удавалось); Хэллем утратит право называться Отцом Электронного Насоса.

— Ну хорошо, предположим, символами захотели бы заняться всерьез. Что это дало бы? Ведь хотеть еще не значит мочь.

— Можно было бы заручиться сотрудничеством паралюдей. Можно было бы написать в паравселенную. Этого даже не пытались сделать, хотя ничего невозможного тут нет. Можно было бы подложить письмо на железной фольге под крупинку вольфрама.

— Вот как? Они что же, по-прежнему высматривают вольфрам, хотя Насос уже действует?

— Нет. Но они заметят вольфрам и сообразят, что мы стараемся привлечь их внимание. И вообще можно изготовить фольгу из вольфрама и написать прямо на ней. Если они заберут наше послание и хоть что-то поймут, то ответят, используя свои новые знания. Например, составят сравнительную таблицу своих слов и наших или используют наши слова в окружении своих. Это будет обмен — они нам, мы им, они нам и так далее.

— Причем львиную долю работы выполнят они, — добавил Бронновский.

— Вот именно.

Бронновский покачал головой.



— Ну, и что тут интересного? Меня, во всяком случае, это не прельщает.

Ламонт испепелил его гневным взглядом.

— Но почему? Или, по-вашему, вам будет мало чести? Славы вам не хватит? Вы что, такой уж специалист в вопросах славы? Да какую, собственно, славу принесли вам эти этрусские надписи, черт побери? Ну, утерли вы нос пятерым другим специалистам. Или даже шестерым. Вот для них одних во всем мире вы победитель, авторитет, и они вас ненавидят. А еще что? Ну, читаете вы лекции перед полусотней слушателей, которые на другой день уже не помнят вашей фамилии. Вас это прельщает?

— Не впадайте в мелодраму.

— Ладно, не буду. И найду кого-нибудь другого. Времени уйдет больше, но, как вы совершенно правильно заметили, львиную долю работы выполняют паралюди. В конце-то концов я и сам справлюсь.

— Вам это официально поручено?

— Нет, не поручено. Ну и что? Или это для вас еще одна причина держаться в сторонке? Блюдете академическую этику? Так нет же правил, запрещающих заниматься переводом, и почему я не имею права положить кусочек вольфрама на свой письменный стол? Я не стану сообщать о посланиях, которые могу получить взамен, и в этом смысле несколько отступлю от общепринятых норм научных исследований. Но когда ключ к переводу будет найден, кто об этом вспомнит? Согласны ли вы работать со мной, если я гарантирую вам полное отсутствие неприятностей и обещаю сохранить ваше участие в тайне? В результате вы лишитесь славы, но, может быть, свое спокойствие вы цените выше? Ну, что ж, — Ламонт пожал плечами. — Если мне придется работать одному, то по крайней мере не надо будет тратить время и силы на то, чтобы оберегать чье-то спокойствие.

Он встал, собираясь уйти. Оба были рассержены и держались теперь с той сухой корректностью, которая возникает между собеседниками, настроенными враждебно, но соблюдающими внешнюю вежливость.

— Полагаю, — сказал Ламонт, — мне необязательно просить вас считать нашу беседу конфиденциальной?

Броновский тоже поднялся.

— О, разумеется, — ответил он холодно, и они учтиво пожалы друг другу руки.

Ламонт решил, что на Броновского ему рассчитывать не приходится, и принялся убеждать себя, что он и сам может отлично справиться со всеми трудностями перевода.

Однако два дня спустя Броновский явился к Ламонту в лабораторию и сказал без всякого вступления:

— Я уезжаю, но в сентябре вернусь. Я принял приглашение работать здесь, так что, если это вас по-прежнему устраивает, я посмотрю тогда, может ли у меня что-нибудь получиться с переводом этих ваших символов.

Ламонт не успел даже оправиться от удивления и поблагодарить его, как Броновский сердито вышел из комнаты, словно согласиться ему было даже неприятнее, чем отказаться.

Со временем они подружились. И со временем Ламонт узнал, что заставило Броновского изменить первоначальное решение. На другой день после их спора Броновский был приглашен в преподавательский клуб на званый завтрак, на котором присутствовал весь цвет университетской администрации во главе, разумеется, с ректором. Во время завтрака Броновский объявил о своей согласии работать в университете упомянув, что необходимое официальное заявление придет несколько позже, и все выразили удовольствие по этому поводу.

Ректор сказал:

«Поистине, это великолепное перо в шляпу нашего университета, что в его стенах будет трудиться прославленный переводчик айтасканских надписей! Для нас это большая честь».

Конечно, никто даже не намекнул ректору на его ляпсус, и Броновский продолжал сиять улыбкой, правда, теперь несколько вымученной. После завтрака заведующий кафедрой древней истории сказал в извинение ректора, что он родом из Миннесоты и большой патриот своего штата, который знает много лучше античности, а поскольку озеро Айтаска является истоком великой Миссисипи, такая оговорка вполне естественна.

Но этот эпизод, словно подкреплявший насмешки Ламонта над его славой, несколько уязвил Броновского.

Когда Ламонт услышал эту историю, он расхохотался.

— Можешь не продолжать, — заявил он. — Я ведь и сам через это прошел. Ты сказал себе: «Черт подери

я сделаю такое, что даже этот олух вынужден будет запомнить».

— Что-то в этом роде, — согласился Броновский.

## 5

Однако год работы не принес практически никаких результатов. Их послания в конце концов попали по назначению, они получили ответные послания. И — ничего.

— Ну, попробуй догадаться, — лихорадочно требовал Ламонт. — Возьми хоть с потолка. И испробуй на них.

— Я этим и занимаюсь, Пит. Что ты нервничаешь? На этрусские надписи я потратил двенадцать лет. А ты что же, думал, на это потребуется меньше времени?

— Черт возьми, Майк. Двенадцать лет — это невысказано.

— А почему, собственно? Послушай, Пит, я ведь замечаю, что с тобой творится что-то неладное. Весь последний месяц ты был просто невозможен. Мне казалось, мы с самого начала знали, что дело быстро не пойдет и нам надо запастись терпением. Мне казалось, ты понимаешь, что у меня, кроме того, есть моя работа в университете. И ведь я уже несколько раз задавал тебе этот вопрос. Ну, так я его повторю: почему ты вдруг так заторопился?

— Потому что заторопился, — резко ответил Ламонт. — Потому что хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

— Поздравляю! — сухо сказал Броновский. — Представь себе, и я хочу того же. Послушай, уж не собираешься ли ты скончаться во цвете лет? Твой врач случайно не предупредил тебя, что ты неизлечимо болен?

— Да нет же, нет! — скрипнув зубами, сказал Ламонт.

— Так что же с тобой?

— Ничего, — и Ламонт поспешно ушел.

В тот момент, когда Ламонт решил заручиться помощью Броновского, его просто злило тупое упрямство Хэллема, не желавшего допустить даже мысли о том, что паралюди могут стоять по развитию выше землян. И стремясь установить с ними прямую связь, он хотел

только доказать, что Хэллем неправ. И ничего больше — в первые месяцы.

Но у него почти сразу же начались всяческие неприятности. Опять и опять его заявки на новое оборудование оставались без внимания, время, положенное ему для работы с электронной вычислительной машиной, урезывалось, на заявление о выдаче ему командировочных сумм он получил пренебрежительный отказ, а предложения, которые он вносил на межфакультетских совещаниях, даже не рассматривались.

Кризис наступил, когда освободившаяся должность старшего сотрудника, на которую все права имел Ламонт, была отдана Генри Гаррисону, много уступавшему ему и в стаже, и главное в способностях. Ламонт кипел от возмущения. Теперь ему уже было мало просто продемонстрировать свою правоту — он жаждал разоблачить Хэллему в глазах всего мира, сокрушить его.

Это чувство ежедневно, почти ежечасно подогревалось поведением остальных сотрудников Насосной станции. Ламонт был слишком колюч, чтобы пользоваться всеобщей любовью, но тем не менее многие ему симпатизировали.

Гаррисон же испытывал большую неловкость. Это был тихий молодой человек, старавшийся сохранять хорошие отношения со всеми, и на его лице, когда он остановился в дверях ламонтовской лаборатории, было написано боязливое смущение. Он сказал:

— Привет, Пит. Найдется у вас для меня пара минут?

— Хоть десять, — хмуро сказал Ламонт, избегая его взгляда.

Гаррисон вошел и присел на краешек стула.

— Пит, — сказал он. — Я не могу отказаться от этого назначения, но хотел бы вас заверить, что я о нем не просил. Это была для меня полнейшая неожиданность.

— А кто вас просит отказываться? Мне наплевать.

— Пит, что у вас вышло с Хэллемом? Если я откажусь, назначат еще кого-нибудь, но только не вас. Чем вы допекли старика?

Этого Ламонт не вынес.

— Скажите-ка, что вы думаете о Хэллеме? Что он за человек, по-вашему? — набросился он на бедного Гаррисона.

Гаррисон совсем растерялся. Он пожевал губами и почесал нос.

— Ну-у... — сказал он и умолк.

— Великий человек? Замечательный ученый? Блистательный руководитель?

— Ну-у...

— Ладно, так я вам сам скажу. Он шарлатан! Самозванец! Правдой и неправдой урвал себе сладкий кусок, а теперь трясется, как бы его не потерять! Он знает, что я его насквозь вижу. Вот этого-то он и не может мне простить!

Гаррисон испустил неловкий смешок.

— Неужто вы пошли к нему и сказали...

— Нет, прямо я ему ничего не говорил, — угрюмо перебил Ламонт. — Но придет день, и я скажу. Только он и без этого знает. Он понимает, что меня ему провести не удалось, пусть я пока и молчу.

— Послушайте, Пит, ну для чего вам это ему показывать? Я ведь тоже не считаю, что он такой уж гений, но зачем, собственно, кричать об этом на всех перекрестках? Погладьте его по шерстке. Ведь ваша карьера в его руках.

— Да неужто? А у меня в руках его репутация. Я его разоблачу! Я покажу, что у него за душой ничего нет.

— Каким образом?

— А уж это мое дело, — пробормотал Ламонт, который в ту минуту не мог бы ответить на этот вопрос даже самому себе.

— Но это же смешно, — сказал Гаррисон. — У вас нет никаких шансов на победу. Он сотрет вас в порошок. Пусть он на самом деле не Эйнштейн и не Оппенгеймер, но мир-то считает его выше их. В глазах всех обитателей земного шара он — Отец Электронного Насоса и, пока Насос служит ключом к'райской жизни, они останутся глухи. До тех пор Хэллем неуязвим, и надо быть сумасшедшим, чтобы вступать с ним в борьбу. Какого черта, Пит! Скажите ему, что он великий человек, и проглотите пилюлю. Очень вам нужно быть вторым Денисоном!

— Вот что, Генри! — крикнул Ламонт, внезапно приходя в ярость. — Шли бы вы заниматься своими делами!

Гаррисон вскочил и вышел, не сказав больше ни

слова. Ламонт обзавелся еще одним врагом, или, во всяком случае, потерял еще одного друга. Но, поразмыслив, он решил, что оно того стоило, так как этот разговор натолкнул его на новую идею.

Суть всех рассуждений Гаррисона исчерпывалась одной фразой: «...пока Электронный Насос служит ключом к райской жизни... Хэллем неуязвим».

Эти слова звенели в ушах Ламонта, и он впервые задумался не о Хэллеме, а о самом Электронном Насосе.

Действительно ли Электронный Насос — ключ к райской жизни? Или, черт подери, тут есть какой-то подвох?

История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох. А как обстоит дело с Электронным Насосом?

Ламонт, специалист по паратеории, конечно, знал, что проблема «подвоха» в свое время уже возникала. Едва было установлено, что работа Электронного Насоса в конечном счете сводится к перекачке электронов из нашей вселенной в паравселенную, со всех сторон слышались вопросы: «А что произойдет, когда будут перекачаны все электроны?»

Ответ был самый успокоительный. При той интенсивности перекачки, которая полностью покрывает всю практическую потребность человечества в энергии, запаса электронов во вселенной хватит по меньшей мере на триллион триллионов лет, помноженный на триллион, то есть на срок, который неизмеримо превосходит возможный период существования как вселенной, так и паравселенной, взятых вместе.

Следующее возражение было более хитрым. Перекачать все электроны нельзя даже теоретически. По мере их перекачки общий отрицательный заряд паравселенной будет увеличиваться, так же как и общий положительный заряд вселенной. С каждым годом по мере возрастания разницы перекачка электронов будет затрудняться все больше, поскольку потребуются преодолевать противодействие противоположных зарядов. Да, конечно, непосредственно перекачивались нейтральные атомы, но сопровождающее этот процесс возмущение орбитальных электронов создавало эффективный заряд, который колоссально увеличивался благодаря наступавшим вслед за этим радиоактивным превращениям.

Если бы заряды непрерывно накапливались в точках перекачки, их воздействие на перекачиваемые атомы

с возмущенными электронами почти немедленно оборвало бы весь процесс, но, разумеется, тут вступала в действие диффузия. Накапливающийся заряд диффундировал в атмосферу, и его воздействие на процесс перекачки следовало рассчитывать с учетом этого момента.

В результате возрастания общего положительного заряда Земли положительно заряженный солнечный ветер начинал отклоняться от нашей планеты на все большем расстоянии, а ее магнитосфера увеличивалась. Благодаря работам Макфарленда (того самого, кому, по убеждению Ламонта, принадлежала идея, обернувшаяся Великим Прозрением) удалось показать, что определенное равновесие обеспечивалось солнечным ветром, уносившим прочь все больше и больше накапливающихся положительно заряженных частиц, которые отталкивались от земной поверхности все выше в экзосферу. С нарастанием интенсивности перекачки, со вступлением в строй очередной Насосной станции общий положительный заряд Земли слегка увеличивался и магнитосфера на несколько миль расширялась. Изменение это, однако, было незначительным, а положительно заряженные частицы уносились солнечным ветром и распределялись по внешним областям Солнечной системы.

И все-таки даже при самой стремительной диффузии заряда неизбежно должно было наступить время, когда локальная разность зарядов вселенной и паравселенной возрастет настолько, что процесс прекратится, причем на это должна была уйти лишь малая доля того времени, которое потребовалось бы на перекачку всех электронов, — примерно одна триллионная одной триллионной.

То есть это означало, что перекачка может продолжаться триллион лет. Один-единственный триллион. Но и его было достаточно. Совершенно достаточно. За триллион лет мог исчезнуть не только человек, но и сама Солнечная система. А если человек (или какой-нибудь его наследник и преемник) будет существовать и тогда, он, уж конечно, сумеет найти наилучший выход из положения. Ведь за триллион лет можно сделать очень много.

Со всем этим Ламонт должен был согласиться.

Тут он попробовал взглянуть на проблему под другим углом и припомнил рассуждения Хэллема в одной из статей, рассчитанной на самых неискушенных читателей. Он отыскал эту статью и с некоторой брезгливостью

перечитал ее: прежде, чем идти дальше, необходимо было проверить, что именно утверждает Хэллем.

В статье он нашел такое место:

«Из-за действия вездесущей силы тяготения мы привыкли связывать выражение «под гору» со своего рода неизбежным изменением, которое мы можем использовать для получения энергии, которую в свою очередь мы можем преобразовать в полезную работу. В далеком прошлом текущая под гору вода вращала колеса, которые приводили в действие машины вроде насосов и турбин. Но что случится, когда вся вода стечет?

Дальнейшая работа окажется невозможной до тех пор, пока вода не будет поднята на гору — а это требует работы. И для того чтобы вернуть воду на гору, требуется больше работы, чем можно получить, пока она течет вниз. Работа всегда сопровождается потерей энергии. К счастью, тут за нас работает Солнце. Оно испаряет воду из океанов, водяные пары поднимаются высоко в атмосферу, образуют там облака, и в конце концов вода возвращается на Землю в виде осадков — дождя или снега. В результате вода проникает в почву на всех уровнях, вновь питая источники и потоки. Вот почему на Земле всегда есть вода, которая течет под гору.

Но длиться вечно это не может. Солнце способно поднимать воду вверх в виде водяных паров только потому, что оно само, если выразиться образно, имея в виду ядерную энергию, течет под гору. И течет со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость самых стремительных земных рек, причем нам неизвестны силы, которые способны были бы вновь поднять его на гору, когда оно протечет все.

Все до единого источники энергии в нашей вселенной текут под гору, и это от нас не зависит. Все течет под гору в одном направлении, и мы способны временно заставить поток течь обратно на гору, только воспользовавшись находящимся где-нибудь поблизости более мощным устремлением вниз. Если мы хотим получить вечный источник полезной энергии, нам требует-



ся дорога, которая в обоих направлениях уходит под гору. Таков парадокс нашей вселенной. Ведь само собой разумеется, что склон, уходящий вниз, одновременно является склоном, ведущим вверх.

Но должны ли мы ограничиваться одной лишь нашей вселенной? Поразмислим о паравселенной. И там тоже дороги в одном направлении ведут под гору, а в противоположном — в гору. Однако эти дороги не совпадают с нашими. И возможно отправиться из паравселенной в нашу по дороге, которая ведет под гору и будет вести по-прежнему под гору, когда мы захотим пойти по ней из нашей вселенной в паравселенную, — это возможно потому, что физические законы этих вселенных различны.

Электронный Насос использует дорогу, которая ведет под гору в обоих направлениях. Электронный Насос...»

Ламонт еще раз перечитал название статьи. «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях».

Он задумался. Конечно, он прекрасно знал и эту концепцию, и ее термодинамические следствия. Но почему бы не проверить исходные допущения? Ведь именно они составляют слабое звено любой теории. Что, если допущения, считающиеся верными по определению, в действительности неверны? Каковы будут следствия, если исходить из иных предпосылок? Противоположных?

Он начал искать вслепую, но не прошло и месяца, как к нему пришло ощущение, знакомое любому ученому, — ощущение, что каждый кусочек мозаики ложится на нужное место и досадные аномалии перестают быть аномалиями... Это ощущалась близость Истины.

Именно с этой минуты он и начал подгонять Бронновского.

Затем в один прекрасный день он заявил:

— Я собираюсь еще раз поговорить с Хэллемом. Бронновский поднял брови.

— Для чего?

— Для того, чтобы он меня выгнал.

— Это в твоём духе, Пит! Если твои неприятности начинают идти на убыль, тебе словно чего-то не хватает.

— Ты не понимаешь. Необходимо, чтобы он отказался выслушать меня. Я не хочу, чтобы потом говорили, будто я действовал через его голову, будто он не знал.

— Не знал о чем? О переводе парасимволов? Так они же еще не переведены. Не забегай вперед, Пит.

— Ах, дело не в этом! — но больше Ламонт ничего не сказал.

Хэллем не облегчил Ламонту его задачу — прошло несколько недель, прежде чем он наконец выбрал время, чтобы принять своего неуживчивого подчиненного. Но и Ламонт намеревался ничего Хэллему не спускать. Он вошел в кабинет, оцетинившись всеми невидимыми иголками. Хэллем встретил его ледяным взглядом и спросил резко:

— Что это еще за кризис вы обнаружили?

— Кое-что прояснилось, сэр,— ответил Ламонт бесцветным голосом.— Благодаря вашей статье.

— А? — Хэллем сразу оживился.— Какой же это?

— «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях». Вы программировали ее для «Мальчишек», сэр.

— Ну и что же?

— Я считаю, что Электронный Насос вовсе не ведет под гору в обоих направлениях, если мне будет дозволено воспользоваться вашей метафорой, которая, кстати, не так уж и подходит для образного описания второго закона термодинамики.

Хэллем нахмурился.

— Что, собственно, вы имеете в виду?

— Мне будет проще объяснить это, сэр, если я выведу уравнение для полей обеих вселенных, сэр, и продемонстрирую взаимодействие, которое до сих пор не рассматривалось,— на мой взгляд, совершенно напрасно.

С этими словами Ламонт направился к тиксо-табло и поспешно набрал уравнения, не переставая быстро говорить.

Он знал, что Хэллем оскорбится и выйдет из себя — эти области математики были ему не по зубам.

И он добился своей цели. Хэллем проворчал:

— Послушайте, молодой человек, у меня сейчас нет времени заниматься дискуссиями по отдельным аспектам паратеории. Пришлите мне развернутый доклад, а пока ограничьтесь кратким изложением, если

вам действительно есть что сказать.

Ламонт отошел от табло, пренебрежительно морщась.

— Ну хорошо,— сказал он.— Второй закон термодинамики описывает процесс, который неизбежно исключает крайние состояния. Вода не бежит под гору — на самом деле происходит выравнивание экстремальных значений гравитационного потенциала. Вода с такой же легкостью потечет в гору, если она окажется под давлением. Можно получить работу за счет использования двух разных температурных уровней, но в конце концов температура сравняется на какой-то промежуточной точке: нагретое тело остынет, холодное — нагреется. И остывание и нагревание одинаково представляют собой проявление второго закона термодинамики и в соответствующих условиях одинаково возможны.

— Не учите меня основам термодинамики, молодой человек! Что вам все-таки нужно? У меня мало времени.

Ламонт сказал, не меняя выражения и словно не замечая, что его подгоняют:

— Электронный Насос работает за счет выравнивания противоположностей. В данном случае противоположностями являются физические законы двух вселенных. Условия, обеспечивающие существование этих законов, какими бы эти условия ни были, поступают из одной вселенной в другую, и конечным результатом этого процесса будут две вселенные с одинаковыми физическими законами, представляющими собой нечто среднее между нынешними. Поскольку это неминуемо вызовет какие-то пока еще не ясные, но весьма значительные изменения в нашей вселенной, необходимо со всей серьезностью взвесить, не следует ли остановить Насосы' и полностью и навсегда прекратить перекачивание.

Ламонт твердо рассчитывал, что именно тут Хэллем взорвется и лишит его возможности продолжать объяснения. И Хэллем не обманул его ожиданий. Он вскочил с такой стремительностью, что опрокинул кресло. Пинком отшвырнув кресло в сторону, он шагнул к Ламонту:

Тот быстро отодвинулся вместе со стулом и тоже встал.

— Идиот! — кричал Хэллем, задыхаясь от ярости. — Вы что же, думаете, никто на Станции до сих пор и не подозревал об уравнивании физических законов? Вы смаете тратить мое время на пересказ того, что я знал, когда вы пешком под стол ходили! Убирайтесь вон и в любой момент, когда вам вздумается подать заявление об уходе, считайте, что я его принял!

Ламонт покинул кабинет, добившись того, чего хотел, и тем не менее его душила ярость при одной только мысли, что Хэллем посмел так с ним обойтись.

## 6 (окончание)

— Во всяком случае, — сказал Ламонт, — теперь путь расчищен. Я сделал попытку объяснить ему положение вещей. Он не захотел слушать. А потому я предпринимаю следующий шаг.

— А именно? — спросил Броновский.

— Я намерен добиться приема у сенатора Бэрта.

— У главы комиссии по техническому прогрессу и среде обитания?

— Вот именно. Значит, ты про него слышал?

— А кто про него не слышал? Но зачем, Пит? Что ты можешь сообщить ему такого, что его заинтересует? Перевод тут ни при чем, Пит. Я снова задаю тебе все тот же вопрос — что тебя тревожит?

— Как я тебе объясню? Ты не знаешь паратеории.

— А сенатор Бэрт ее знает?

— Думаю, лучше, чем ты.

Броновский укоризненно покачал пальцем.

— Пит, довольно играть в прятки. Может быть, и я знаю то, чего не знаешь ты. Мы не можем работать вместе, если будем работать друг против друга. Либо я член этого мозгового треста, состоящего из нас двоих, либо нет. Скажи мне, что тебя тревожит, и я тоже тебе кое-что скажу. Или же вообще кончим это.

Ламонт пожал плечами.

— Хорошо. Если хочешь, я объясню. И раз уж я разделался с Хэллемом, так, пожалуй, будет даже лучше. Дело в том, что Электронный Насос представляет собой передатчик физических законов. В паравселенной сильное ядерное взаимодействие в сто раз

сильнее, чем у нас, из чего следует, что для нас более характерно деление ядер, а для них — слияние. Если Электронный Насос будет действовать и дальше, неминуемо наступит равновесие, когда сильное ядерное взаимодействие будет одинаковым в обеих вселенных — у нас примерно в десять раз сильнее, чем сейчас, а у них — во столько же раз слабее.

— Но ведь это же известно?

— Разумеется. Это стало очевидным чуть ли не с самого начала. Даже до Хэллема дошло. Вот почему этот сукин сын так разъярился. Я принялся объяснять ему со всеми подробностями, будто думал, что он об этом никогда даже не слышал, и он сразу начал орать.

— Но в чем все-таки суть? Если взаимодействие уравнивается, это опасно?

— Само собой. А ты как думаешь?

— Я ничего не думаю. И когда же оно уравнивается?

— При нынешней скорости перекачки — через десять в тридцатой степени лет.

— А это долго?

— Пожалуй, хватит на то, чтобы триллион триллионов вселенных вроде нашей сменили друг друга — чтобы каждая возникла, отжила свой срок, состарилась и уступила место следующей.

— О черт! Так из-за чего же тут копыя ломать?

— А из-за того, — начал Ламонт, выговаривая слова четко и неторопливо, — что цифра эта, между прочим официальная, была выведена на основании некоторых предпосылок, которые, на мой взгляд, неверны. И если исходить из других предпосылок, которые, на мой взгляд, верны, то нам уже сейчас грозят неприятности.

— Напримёр?

— Ну, предположим, Земля за пять минут превратится в облачко газа — это, по-твоему, достаточная неприятность?

— Из-за перекачки?

— Из-за перекачки.

— А мир паралюдей? Ему тоже грозит гибель?

— Я в этом убежден. Опасность другого рода, но все-таки опасность.

Броновский вскочил и начал расхаживать по ком-

нате. Его каштановые волосы были густыми и длинными. Он запустил в них обе пятерни.

— Если, по-твоему, парашютисты так уж умны, зачем же они создали Насос? Ведь они раньше нас должны были понять, насколько он опасен.

— Мне это приходило в голову,— ответил Ламонт.— Вероятно, они наткнулись на идею перекачки совсем недавно и, подобно нам, слишком увлеклись непосредственными благами, которые она приносит, а о последствиях просто не задумались.

— Но ведь ты-то уже сейчас определил, какие будут последствия. Так что же они, тупее тебя?

— Все зависит от того, когда их заинтересуют эти последствия, да и заинтересуют ли вообще. Насос настолько полезная штука, что как-то не хочется искать в нем изъяны. Я и сам не стал бы в этом копаться, если бы не... Кстати, Майк, а о чем ты хотел мне рассказать?

Броновский остановился перед Ламонтом, посмотрел ему в глаза и сказал:

— По-моему, мы чего-то добились.

Ламонт секунду смотрел на него диким взглядом, потом вцепился в его рукав.

— С парасимволами? Да говори же, Майк!

— Видишь ли, когда ты был у Хэллема... Как раз когда ты с ним говорил. Я в первый момент не вполне разобрался, потому что не знал, в чем дело. Но теперь...

— Так что же?

— Я все-таки не совсем уверен. Видишь ли, они передали кусок фольги с пятью знаками...

— Ну?

— ...похожими на наши буквы. Их можно прочесть.

— Что?!

— Вот погляди.

И Броновский, как заправский фокусник, извлек неизвестно откуда полоску фольги. По ней, совершенно не похожие на изящные и сложные спирали и разноцветные блестящие парасимволы, растянулись пять корявых, совсем детских букв: «СТРАК».

— Что это может значить, как по-твоему? — с недоумением спросил Ламонт.

— Я прикидывал и так и эдак, но, мне кажется, скорее всего это слово «страх», написанное с ошибкой.

— Так вот почему ты меня допрашивал? Ты подумал, что кто-то у них испытывает страх?

— Да, и решил, что тут может быть какая-то связь с твоим явно нервным состоянием в последние месяцы. Откровенно говоря, Пит, я терпеть не могу, когда от меня что-то старательно скрывают.

— Ну, ладно тебе. Но давай не торопиться с выводами. Раз дело идет об обрывках фраз, тебе и карты в руки. Так, значит, по-твоему, паралюдям Электронный Насос начинает внушать страх?

— Вовсе не обязательно, — сказал Броновский. — Я ведь не знаю, в какой мере они способны воспринимать то, что происходит в нашей вселенной. Если они каким-то способом ощущают вольфрам, который мы им предлагаем, если они ощущают наше присутствие, то не исключено, что они ощущают и наши настроения. Может быть, они хотят нас успокоить, убедить, что причин для страха нет.

— Так почему же они так прямо и не написали — «не надо страха»?

— А потому, что настолько хорошо они нашего языка еще не знают.

— Хм-м. Ну, в таком случае Бэрту об этом рассказывать, пожалуй, рано.

— Да, не стоит. Слишком двусмысленно. И вообще я бы на твоём месте подождал обращаться к Бэрту. Кто знает, что они пытаются сообщить!

— Нет, Майк, я ждать не могу. Я знаю, что прав, и времени у нас остается очень мало.

— Ну что ж. Только ведь, отправившись к Бэрту, ты сожжешь свои корабли. Твои коллеги тебе этого не простят. Кстати, а не поговорить ли тебе со здешними физиками? Один ты не можешь повлиять на Хэллему, но все вместе...

Ламонт замотал головой.

— Ничего не выйдет. Тут выживают только бесхребетные субъекты. И против него ни один из них открыто не пойдет. Уговорить их нажать на Хэллему? А ты не пробовал скомандовать вареным макароном, чтобы они стали по стойке «смирно»?

Добродушное лицо Броновского стало непривычно хмурым.

— Возможно, ты и прав.

— Я знаю, что я прав, — хмуро ответил Ламонт.

Для того чтобы добиться приема у сенатора, потребовалось довольно много времени, и эта проволочка выводила Ламонта из себя, тем более что паралоюди больше не присылали буквенных сообщений. Никаких, хотя Броновский переслал не менее десятка полос с тщательно подобранными комбинациями парасимволов, а также вариантами «страк» и «страх».

Ламонт не мог понять, зачем ему понадобилось такое количество вариантов, но Броновский, казалось, очень на них рассчитывал.

Однако ничего не произошло, а Бэрт наконец принял Ламонта.

Глаза сенатора на худом морщинистом лице были цепкими и пронизывающими. Он достиг весьма почтенного возраста (комиссию по техническому прогрессу и среде обитания он возглавлял с незапамятных времен). К своим обязанностям сенатор относился с величайшей серьезностью, что неоднократно доказывал делом.

Бэрт поправил старомодный галстук, давно уже превратившийся в его эмблему.

— Сынок, я могу уделить вам только полчаса,— сказал он и поднес к глазам часы на широком браслете.

Ламонта это не смутило. Он не сомневался, что заставит сенатора забыть о времени. И он не стал начинать с азов — на этот раз его цель была иной, чем во время беседы с Хэллемом. Он сказал:

— Я не стану излагать математические доказательства, сенатор. Полагаю, вам и так известно, что благодаря перекачиванию происходит смешение физических законов двух вселенных.

— Перемешивание,— спокойно заметил сенатор,— причем полное равновесие будет достигнуто через десять в тридцатой степени лет. Я верно помню эту цифру? — Изогнутые брови придавали его изрытому морщинами лицу вечно удивленный вид.

— Совершенно верно. Но цифра эта опирается на допущение, что законы, просачивающиеся от нас к ним и наоборот, распространяются во все стороны от точки проникновения со скоростью света. Это только предположение, и я считаю, что оно ошибочно.

— Почему же?



— Измерена только скорость смещения внутри плутония сто восемьдесят шесть, переданного в нашу вселенную. Вначале оно протекает чрезвычайно медленно — предположительно из-за высокой плотности вещества, — а затем начинает непрерывно убыстряться. Если добавить к плутонию менее плотное вещество, скорость смещения начнет возрастать гораздо стремительнее. Измерений такого рода было сделано немного, но если положиться на них, то в вакууме скорость проникновения должна стать равной скорости света. Иновселенским законам требуется определенное время, чтобы проникнуть в атмосферу, заметно меньше времени, чтобы достичь ее верхних слоев, и практически мгновение, чтобы оттуда умчаться по всем направлениям в космос со скоростью триста тысяч километров в секунду, тотчас разреживаясь до полной безобидности.

Ламонт умолк, обдумывая, как перейти к дальнейшему, и сенатор сразу же уловил его нерешительность.

— Однако... — подсказал он тоном человека, берегущего свое время.

— Это очень удобное предположение, правдоподобное и не сулящее никаких неприятностей. Но что, если проникновению иновселенских законов препятствует не вещество, а самая структура нашей вселенной?

— А что такое — «самая структура»?

— Мне трудно объяснить это словами. Существует математическое выражение, которое, по-моему, тут подходит... но на словах ничего не получится. Структура вселенной — это то, что определяет ее физические законы. Структура нашей вселенной, например, делает обязательным сохранение энергии. Именно структура паравселенной, сконструированная, так сказать, не вполне по нашему образцу, и делает их ядерное взаимодействие в сто раз более сильным, чем у нас.

— И что же?

— Если проникновение идет в самую структуру, сэр, то наличие вещества независимо от его плотности имеет лишь второстепенное значение. Скорость проникновения в вакууме больше, чем в плотном веществе, но не намного. Скорость проникновения в космосе может быть чрезвычайно большой по сравнению с земными условиями и все же во много раз уступать скорости света.

— Из чего следует...

— Что иновселенская структура не рассеивается так быстро, как нам казалось, но, образно говоря, нагромождается в пределах Солнечной системы, где концентрация ее оказывается заметно выше, чем мы предполагали.

— Так-так,— кивнул сенатор.— И сколько же понадобится времени, чтобы космос в пределах Солнечной системы достиг равновесия? Наверное, цифра будет меньше десяти в тридцатой степени?

— Гораздо меньше, сэр. Думаю, даже меньше десяти в десятой степени. На это уйдет что-нибудь около пятидесяти миллиардов лет плюс-минус два-три миллиарда.

— Сравнительно немного, но вполне достаточно, э? И повода тревожиться сейчас у нас нет, э?

— Нет, сэр, боюсь, что есть. Непоправимое произойдет задолго до того, как будет достигнуто равновесие. Благодаря перекачиванию сильное ядерное взаимодействие в нашей вселенной с каждым мгновением становится все сильнее.

— Настолько, что это поддается измерению?

— Пожалуй, нет, сэр.

— Хотя перекачивание продолжается уже двадцать лет?

— Да, сэр.

— Так где же повод для тревоги?

— Видите ли, сэр, от степени сильного ядерного взаимодействия зависит скорость, с какой водород внутри солнечного ядра превращается в гелий. Если взаимодействие станет сильнее, хотя бы даже в самой ничтожной мере, скорость слияния ядер водорода и превращения их в ядра гелия внутри Солнца возрастет уже заметно. Равновесие же между тяготением и излучением внутри Солнца весьма хрупко, и если нарушить его в пользу излучения, как сейчас делаем мы...

— И что же?

— Это вызовет колоссальный взрыв. По законам нашей вселенной такая небольшая звезда, как наше Солнце, неспособна стать сверхновой. Но если они изменятся, это перестанет быть невозможным. И, насколько я могу судить, никакого предупреждения не будет. Когда процесс достигнет критической точки, Солнце взорвется, и через восемь минут после этого мы с вами перестанем существовать, а Земля превратится в расширяющееся газовое облако.

— И сделать ничего нельзя?

— Если равновесие уже необратимо нарушено, то ничего. Если же еще не поздно, необходимо прекратить перекачивание.

Сенатор кашлянул.

— Прежде чем согласиться принять вас, молодой человек, я навел о вас справки, так как вы были мне неизвестны. В частности, я обратился к доктору Хэллему. Вы с ним знакомы, я полагаю?

— Да, сэр,— голос Ламонта оставался ровным, хотя уголки его губ задергались.— Я с ним очень хорошо знаком.

— Он ответил мне,— продолжал сенатор, покосившись на листок у себя под рукой,— что вы безмозглый склочник, страдающий явным помешательством, и что он самым решительным образом требует, чтобы я вас ни в коем случае не принимал.

Ламонт сказал, стараясь сохранить хладнокровие:

— Это его слова, сэр?

— Его собственные.

— Так почему же вы меня приняли, сэр?

— При обычных обстоятельствах, получи я от Хэллема такой отзыв я бы вас не принял. Я ценю свое время, и безмозглых склочников и явных помешанных ко мне, свидетель бог, является более чем достаточно, и даже с самыми лестными рекомендациями. Но мне не понравилось хэллемовское «требую». Он сенаторов не требуют, и Хэллему полезно зарубить это себе на носу.

— Так вы мне поможете, сэр?

— В чем?

— Ну... прекратить перекачку.

— Прекратить? Нет. Это невозможно.

— Но почему? — почти крикнул Ламонт.— Вы ведь глава комиссии по техническому прогрессу и среде обитания, и ваша прямая обязанность — запретить перекачку, как и всякий другой технический процесс, который наносит среде обитания непоправимый ущерб. А можно ли представить себе ущерб страшнее и непоправимее того, которым грозит перекачивание?

— О, разумеется, разумеется! При условии, что вы правы. Но ведь пока все в конечном счете сводится к тому, что вы просто исходите из иных предположений, нежели те, которые приняты всеми. Однако

кто определит, какая система предположений верна, а какая нет?

— Сэр, моя гипотеза делает понятными несколько моментов, которым принятая теория объяснения не дает.

— В таком случае ваши коллеги должны были бы принять ваши поправки, а тогда вы вряд ли пришли бы ко мне, не так ли?

— Сэр, мои коллеги не хотят мне верить. Этому мешают их личные интересы.

— А вам личные интересы мешают поверить, что вы можете и ошибаться... Молодой человек, на бумаге я обладаю огромной властью, но осуществить ее могу, только если на моей стороне будет общественное мнение. Разрешите, я преподам вам урок практической политики.

Он поднес к глазам часы, откинулся в кресле и улыбнулся. Подобные предложения были не в его привычках, но утром в редакционной статье «Земных новостей» он был назван «тончайшим политиком, украшением Международного конгресса», и это все еще приятно щекотало его самолюбие.

— Большое заблуждение полагать,— начал он,— будто средний человек хочет, чтобы среда обитания оберегалась, а его жизнь ограждалась от гибели, и проникнется благодарностью к идеалисту, который будет бороться за эти цели. Он просто ищет личных удобств. Это ясно показал кризис среды обитания в двадцатом веке. Когда стало известно, что сигареты повышают вероятность заболевания раком легких, казалось бы, наиболее разумным выходом было покончить с курением вообще, однако желанным выходом стала сигарета, не вызывающая рака. Когда стало ясно, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу, наиболее очевидным выходом было бы вовсе отказаться от таких машин, однако желанный выход лежал в создании двигателей, которые не загрязняли бы воздуха. Так вот, молодой человек, не просите, чтобы я остановил перекачивание. На него опираются экономика и благосостояние всей планеты. Лучше подскажите мне способ, как сделать перекачку безопасной для Солнца и избежать его взрыва.

— Такого способа нет, сенатор. Тут мы имеем дело с основой основ, и играть с этим нельзя. Надо прекратить перекачивание.

— Но при этом вы можете предложить только

возврат к положению, которое существовало до появления Электронного Насоса?

— Иного выхода не существует.

— Тогда вам нужно представить четкие и неопровержимые доказательства своей правоты.

— Лучшим доказательством,— сказал Ламонт сухо,— был бы взрыв Солнца. Но, вероятно, вы не хотите, чтобы я зашел так далеко?

— Не вижу в этом необходимости. Почему вы не можете заручиться поддержкой Хэллема?

— Потому что он мелкий человечиска, который вдруг оказался Отцом Электронного Насоса. Так может ли он признать, что его дитя губит Землю?

— Я понимаю вас, но в глазах всего мира он действительно Отец Электронного Насоса, и только его слово могло бы иметь достаточный вес в подобном вопросе.

Ламонт покачал головой.

— Чтобы он добровольно пошел на это? Да он скорее сам взорвет хоть десять солнц.

— Ну, так заставьте его,— сказал сенатор.— У вас есть теория, но ничем не подкрепленная теория немного стоит. Неужели нет способа проверить ее? Скорость радиоактивного распада урана, например, зависит от внутриядерных взаимодействий. Изменяется ли эта скорость так, как предсказывает ваша теория вопреки общепринятой?

Ламонт снова покачал головой.

— Обычная радиоактивность зависит от слабого ядерного взаимодействия, и, к сожалению, эксперименты не позволят сделать окончательных выводов, а к тому времени, когда картина прояснится, будет уже поздно.

— Что-нибудь еще?

— Существует еще специфическое взаимодействие пионов, то есть пи-мезонов, в котором могли бы уже и сейчас обнаружиться четкие изменения. Есть даже лучший путь: некоторые комбинации кварк — кварк в последнее время ведут себя странно, и я убежден, что мог бы доказать...

— Ну, вот видите!

— Да, но получить эти данные, сэр, можно только с помощью большого синхрофазотрона на Луне, а работа с ним расписана по минутам на много лет впе-

ред — я выяснял это. Разве что кто-нибудь нажмет на кнопки...

— То есть я нажму?

— Да, вы, сенатор.

— Нет, сынок. Пока доктор Хэллем так вас аттестует,— уловатым пальцем сенатор постучал по лежащему перед ним листку,— я этого сделать не могу.

— Но существование мира...

— Докажите!

— Приструните Хэллема, и я докажу.

— Докажите, и я приструню Хэллема.

Ламонт глубоко вздохнул.

— Сенатор! Предположим, существует хотя бы ничтожная доля процента вероятности того, что я прав. Неужели от нее можно так просто отмахнуться? Ведь она означает все: человечество, саму нашу планету. Неужели ради них не стоит бороться?

— Вы хотите, чтобы я бросился в бой во имя городской цели? Заманчиво, ничего не скажешь. Отдать жизнь свою за други своя — это красиво. Кто из порядочных политиков порой не видел в мечтах, как он всходит на костер под ангельское пение. Но, доктор Ламонт, решиться на такой шаг можно только веря, что борьба все-таки не совсем безнадежна. Надо верить, что твое дело может победить, пусть шансы и невелики. Если я поддержу вас, я ничего не добьюсь. Чего стоит ваше ничем не подкрепленное слово против того, что дает перекачка? Могу ли я потребовать, чтобы люди отказались от удобств и благосостояния, которые обеспечил им Насос, потому лишь, что единственный человек кричит «волк!», причем остальные ученые не соглашаются с ним, а высокочтимый Хэллем называет его безмозглым идиотом? Нет, сэр, во имя заведомой неудачи я на костер не пойду.

— Ну, так помогите мне получить доказательства,— умоляюще сказал Ламонт.— Вам ведь не обязательно делать это открыто. Если вы боитесь...

— Я не боюсь,— перебил Бэрт резко.— Я трезво смотрю на вещи, и только. Доктор Ламонт, ваши полчаса давно истекли.

Ламонт посмотрел на сенатора с отчаянием, но лицо Бэрта было теперь холодным и замкнутым. Ламонт повернулся и вышел.

Сенатор Бэрт не стал приглашать следующего по-

сетителя. Минуты шли, а он все теребил галстук и хмуро смотрел на закрытую дверь. А что, если этот одержимый прав? Что, если он вопреки очевидности все-таки прав?

Да, конечно, было бы очень приятно подставить ножку Хэллему, ткнуть его лицом в грязь и поддерживать так... Но этого не произойдет. Хэллем неуязвим. У него с Хэллемом была только одна стычка, со времени которой прошло десять лет. Он тогда был прав, абсолютно прав, а Хэллем молот чепуху, и дальнейшее развитие событий показало это достаточно ясно. И тем не менее Бэрт был тогда публично отшлепан и в результате чуть было не проиграл на выборах.

Бэрт кивнул, словно отвечая на свои мысли. Ради благой цели можно рискнуть местом сенатора, но не вторичным унижением. Он позвонил, приглашая следующего посетителя, и поднялся ему навстречу со спокойной приветливой улыбкой.

## 8

Если бы Ламонт еще верил, что его научная карьера все-таки не совсем кончена, он, возможно, не решился бы на свой следующий шаг. Джошуа Чен был сомнительной фигурой, и всякий, кто прибегал к его помощи, сильно компрометировал себя в глазах властей предержавших. Чен был бунтарем-одиночкой, который, однако, заставлял прислушиваться к себе: во-первых, потому, что вкладывал в каждую свою кампанию неистовую энергию, а во-вторых, потому, что сумел превратить свою организацию в силу, с которой нельзя было не считаться,— политический талант, которому завидовало немало видных общественных деятелей.

Быстрота, с какой Электронный Насос вытеснил прежние энергетические источники, в определенной степени объяснялась именно его усилиями. Достоинства Электронного Насоса были ясны и очевидны (что может быть яснее абсолютной дешевизны и очевиднее отсутствия какого бы то ни было загрязнения окружающей среды?), и все-таки, если бы не Джошуа Чен, те, кто предпочитал атомную энергию просто в силу ее привычности, могли бы дольше сопротивляться такому новшеству.

Да, когда Чен начинал бить в свои барабаны, к нему прислушивались.

И вот он сидит перед Ламонтом — круглолицый, с широкими скулами, унаследованными от деда-китайца.

Чен спросил:

— Я хотел бы знать совершенно точно — вы выступаете только от своего имени?

— Да,— напряженно ответил Ламонт.— Хэллем меня не поддерживает. Честно говоря, Хэллем утверждает, что я сумасшедший. А вам, чтобы начать действовать, нужно одобрение Хэллема?

— Я ни в чем одобрении не нуждаюсь,— ответил Чен с вполне понятным высокомерием. Он задумался, а затем спросил:

— Так вы говорите, что в техническом отношении паралюди нас опередили?

Ламонт стал теперь осторожнее и старательно избегал слова «развитие». «Опередили в техническом отношении» звучало не так вызывающе, а означало практически то же самое.

— Это следует хотя бы из того,— ответил он,— что они способны пересылать вещество из одной вселенной в другую, а мы этого еще не умеем.

— В таком случае, если Насос опасен, зачем они установили его у себя? И почему продолжают им пользоваться?

Ламонт стал осторожнее не только в выборе слов. Он мог бы, например, ответить, что Чен не первый задает ему этот вопрос. Но он ничем не выдал досадливого нетерпения, которое могло бы показаться обидным, и ответил спокойно:

— Вероятно, вначале они, так же как и мы, видели в Насосе только безопасный источник энергии. Но у меня есть основания считать, что теперь он внушает им такую же тревогу, как и мне.

— Но ведь это опять-таки только ваше мнение. Никаких реальных свидетельств, подкрепляющих его, нет.

— Да, пока я таких свидетельств представить еще не могу.

— А одного вашего слова мало.

— Но можем ли мы пойти на риск...

— Мало, профессор, мало! А доказательств у вас нет. Я заслужил свою репутацию не стрельбой куда



попало. Нет, я каждый раз поражал цель, потому что твердо знал, что я делаю и зачем.

— Но когда я получу доказательства...

— Тогда я вас поддержу. Если ваши доказательства меня убедят, то, поверьте, ни Хэллем и никакие правительственные организации ничего не смогут сделать: общественное мнение возьмет верх. Итак, раздобудьте доказательства и приходите ко мне снова.

— К тому времени будет уже поздно.

Чен пожал плечами.

— Возможно. Но куда более вероятно другое: вы убедитесь, что ошибались и никаких доказательств попросту не существует.

— Нет, я не ошибаюсь,— Ламонт перевел дыхание и заговорил доверительно.— Мистер Чен! В нашей вселенной, возможно, существуют триллионы триллионов обитаемых планет, среди которых, конечно, можно насчитать миллиарды с высокоразвитой жизнью и технической культурой. Такое же положение скорее всего существует и в паравселенной. Отсюда неизбежно следует, что в прошлом обеих вселенных многие планеты и парапланеты вступали в обоюдный контакт и начинали перекачку. Наверное, существуют десятки, если не сотни Насосов в тех точках, где эти вселенные соприкасаются.

— Это уже чистейшие домыслы. Но если и так, то что отсюда следует?

— А то, что в десятках, если не в сотнях, случаев смешение физических законов локально достигало критической точки и солнце данной планеты взрывалось. Возможно, возникал цепной эффект: энергия сверхновой в совокупности с изменениями физических законов вызывала взрывы соседних звезд, а это в свою очередь приводило к дальнейшим взрывам. И со временем происходил взрыв центральной линзы галактики или одной из ее ветвей.

— Но лишь в вашем воображении, ведь так?

— Почему же? В нашей вселенной существуют сотни квазаров — крохотных тел, по размерам равных лишь нескольким солнечным системам, но излучающих свет, которого хватило бы на сто обычных больших галактик.

— Вы хотите сказать, что квазары возникают в результате перекачки?

— Это вполне вероятно. Ведь открыли их полтора века назад, но астрономы до сих пор не могут объяснить, каков источник их энергии. Во вселенной нет ничего, что хотя бы отдаленно подходило для такой роли. Разве не логично предположить...

— А паравселенная? В ней тоже полно квазаров?

— Думаю, что нет. Там другие условия. Паратеория не оставляет сомнения, что слияние ядер происходит там заметно легче, а потому в среднем их звезды должны быть намного меньше наших. Выделение энергии, равной энергии нашего Солнца, там требует значительно меньшего запаса легко сливающихся ядер водорода. Звезда такой величины, как наше Солнце, взорвалась бы там мгновенно. С проникновением наших законов в паравселенную слияние ядер водорода в ней слегка затрудняется, и паразвезды начинают понемногу остывать.

— Ну, это не так страшно,— заметил Чен.— С помощью перекачки они могут получать всю необходимую им дополнительную энергию. По вашим предположениям получается, что у них все обстоит отлично.

— Только на первый взгляд,— сказал Ламонт, вдруг осознав, что до сих пор он вообще как-то не задумывался о ситуации в паравселенной.— Если у нас произойдет взрыв, перекачка прекратится. Они не смогут продолжать ее без нас. Другими словами, они останутся с остывающей звездой, но без энергии, получаемой от перекачки. В сущности, их положение даже хуже: мы-то исчезнем в мгновенной вспышке, а они будут обречены на длительную агонию.

— У вас поразительное воображение, профессор,— сказал Чен,— но для меня этого мало. Я не представляю себе, как можно отказаться от перекачки, противопоставив ей лишь силу вашего воображения. Да отдаете ли вы себе отчет в том, что такое Насос для человечества? Это ведь не только гарантия даровой, чистой и неиссякаемой энергии. Взгляните на дело шире. Насос освобождает человечество от каждодневной борьбы за существование. Впервые оно получило возможность посвятить свою коллективную мысль полному развитию заложенного в нем потенциала. Например, несмотря на все успехи медицины за последние два с половиной века, средняя продол-

жительность человеческой жизни лишь немного превышает сто лет. А ведь геронтологи вновь и вновь повторяют, что теоретически бессмертие вполне достижимо — однако этой проблеме пока не уделяется достаточно внимания.

— Бессмертие! — гневно перебил Ламонт. — Это же мыльный пузырь!

— Вы, бессporno, специалист по мыльным пузырям, профессор, — ответил Чен. — Тем не менее я намерен добиваться принятия программы исследований по проблемам бессмертия. Но она окажется неосуществимой, если перекачка будет остановлена. Тогда нам придется вернуться к дорогой энергии, к скудной энергии, к грязной энергии. И людям, населяющим Землю, вновь придется думать только о том, как бы прожить завтрашний день, а мечта о бессмертии действительно останется мыльным пузырем.

— Это-то будет в любом случае. Какое уж тут бессмертие, когда никто из нас не проживет даже и нормального срока своей жизни!

— Ну, ведь это только ваше предположение.

Ламонт взвесил все «за» и «против» и решил рискнуть:

— Мистер Чен, в начале нашего разговора я упомянул, что по некоторым причинам мне не хотелось бы касаться того, почему я считаю возможным судить о настроении паралоудей. Но, пожалуй, без этого не обойтись. Мы получили от них фольгу с символами.

— Да, я знаю. Но разве вы способны их понять?

— Мы получили слово, составленное из наших букв.

Чен сдвинул брови, потом сунул руки в карманы, вытянул короткие ноги и откинулся на спинку стула.

— Какое же?

— «Страх»! (Ламонт не счел нужным сообщать об ошибке в последней букве.)

— Страх... — повторил Чен. — И как же вы это толкуете?

— По-моему, ясно, что перекачка вызывает у них серьезные опасения.

— Ничего подобного. Что им мешает в этом случае просто остановить Насос? Я думаю, они действительно боятся — но того, что Насос остановим мы.

Они уловили ваше намерение, а если мы последуем вашему совету и остановим Насос, им также придется его остановить. Вы же сами говорили, что продолжать перекачку без нас они не смогут. Эта палка ведь о двух концах. И неудивительно, если они боятся.

Ламонт ничего не ответил.

— Как видно, вам такое объяснение в голову не приходило,— сказал Чен.— Ну, в таком случае мы начнем борьбу за бессмертие. Мне кажется, подобная кампания будет более популярной.

— Популярной...— медленно повторил Ламонт.— Я ведь не знал, что для вас важно. Сколько вам лет, мистер Чен?

Чен вдруг замигал и отвернулся. Он быстро встал и, сжимая кулаки, поспешно вышел из комнаты.

Позже Ламонт заглянул в биографический справочник. Чену было шестьдесят лет, а его отец умер в шестьдесят два года. Но какое это имело значение!

## 9

— Судя по твоему лицу, тебе опять не повезло,— сказал Броновский.

Ламонт сидел в лаборатории, уставившись на носки своих ботинок, и думал о том, что они сильно поцарапаны. Он кивнул.

— Да.

— И великий Чен тоже не стал тебя слушать?

— Он ничего не хочет делать. Ему нужны доказательства. Они все требуют доказательств и старательно опровергают любой довод. На самом же деле они попросту хотят сохранить свой проклятый Насос, или свою репутацию, или свое место в истории. А Чен хочет бессмертия.

— А ты чего хочешь, Пит? — мягко спросил Броновский.

— Избавить человечество от грозящей ему опасности,— сказал Ламонт, но, заметив усмешку в глазах Броновского, добавил: — Ты мне не веришь?

— О, верю, верю! Но чего ты хочешь на самом деле?

— Ну ладно, черт побери! — Ламонт с силой хлопнул ладонью по столу.— Я хочу быть правым, а это у меня уже есть, потому что я прав!

— Ты уверен?

— Уверен! И я ни о чем не беспокоюсь, потому что добьюсь своего. Знаешь, когда я вышел от Чена, то чуть было не презирал себя.

— Ты — себя?

— Да, себя. И за дело. Мне все время в голову лезла мысль: Хэллем преграждает мне все пути. До тех пор, пока Хэллем против меня, у них у всех есть предлог не верить мне. Пока Хэллем стоит передо мной, как каменная стена, я обречен на неудачу. Так почему же я не попробовал прибегнуть к уловкам? Почему не подмазался к нему? Почему не попытался действовать через него вместо того, чтобы доводить его до белого каления?

— И ты думаешь, у тебя что-нибудь получилось бы?

— Наверняка нет. Но от отчаянья чего не придет в голову! Например, я мог бы отправиться на Луну. Бесспорно, когда я только-только раздражил Хэллему, о гибели Земли и речи не было, но ведь потом-то я сознательно испортил все еще больше. Впрочем, ты совершенно верно заметил, что от Насоса он все равно не отказался бы, как бы я его ни улещал.

— Но сейчас ты, по-видимому, себя больше не презираешь?

— Нет. Потому что мой разговор с Ченом не прошел впустую. Я понял, что напрасно теряю время.

— Да уж!

— Я не о том. Выход из положения вовсе не обязательно искать на Земле. Я сказал Чену, что наше Солнце может взорваться, а парасолнце уцелеет, но паралюдям все равно придется плохо, так как их часть Насоса без нашей работать не будет. Без нас они не смогут продолжать перекачку, понимаешь?

— А что же тут непонятного?

— Но ведь наоборот-то выходит то же самое: мы не сможем продолжать перекачку без них. А раз так, не все ли равно, остановим мы Насос или нет? Пусть это сделают паралюди.

— А если не сделают?

— Но они же передали нам: «С-Т-Р-А-К». А это значит, что они боятся. По мнению Чена, они боятся нас — боятся, что мы остановим Насос. Но я с ним не согласен. Они испытывают совсем другой страх. Я ни-

чего Чену не возразил — я просто промолчал, и он решил, что мне нечего сказать. Но он ошибся. Я только задумался о том, как нам убедить паралюдей, чтобы они остановили Насос. Мы должны этого добиться. Я больше ни на что не рассчитываю. И теперь все дело за тобой, Майк. Ты — надежда мира. Втолкуй им это. Как хочешь, но втолкуй.

Броновский засмеялся детски радостным смехом.

— Пит,— сказал он,— ты гений!

— А-а! Заметил наконец!

— Нет, я серьезно. Ты отгадываешь то, что я собираюсь сказать, прежде чем я успеваю открыть рот. Я посылаю полоску за полоской, располагая их символы в том порядке, который, по-моему, означает «Насос», и ставил рядом наше слово. И я использовал все клочки сведений, которые мы собрали за это время, чтобы расположить их символы в порядке, означающем неодобрение, и опять-таки поставил рядом соответствующее земное слово. Конечно, я не знал, действительно ли передаю что-то осмысленное или попадаю пальцем в небо, а ответа никакого не приходило, и я уже решил, что дело безнадежно.

— А мне ты даже не считал нужным рассказывать, чего добиваешься?

— Ну, это уж моя часть работы. А сам-то ты мне сразу объяснил паратеорию?

— Но что дальше?

— Вчера я послал всего два наших слова: НАСОС ПЛОХО».

— Ну, и?..

— Ну, и сегодня утром я, наконец, получил ответ. Очень простой и недвусмысленный. «ДА НАСОС ПЛОХО ПЛОХО ПЛОХО». Вот посмотри.

Ламонт взял фольгу дрожащими пальцами.

— Тут ведь не может быть ошибки? Это же подтверждение?

— Да, конечно. Кому ты это покажешь?

— Никому,— твердо ответил Ламонт.— Я ничего больше доказывать не буду. Они мне заявят, что я подделал фольгу, так какой смысл терять время? Пусть паралюди остановят Насос, и он остановится у нас. Только своими усилиями мы его вновь запустить не сможем. И тогда вся Станция примется изо

всех сил доказывать, что я был прав, что Насос действительно опасен.

— Это еще откуда следует?

— А что им останется делать, когда разъяренные толпы начнут требовать, чтобы Насос снова был запущен, а они его запустить не смогут? Ты со мной согласен?

— Не берусь судить. Меня беспокоит другое.

— А именно?

— Если паралюди убеждены, что Насос опасен, почему они его уже не остановили? Я недавно воспользовался удобным случаем и проверил. Насос работает как ни в чем не бывало.

Ламонт нахмурился.

— Ну, скажем, односторонняя остановка их не устраивает. Они считают нас равноправными партнерами и хотят, чтобы мы сделали это по взаимному согласию. Ведь так может быть, верно?

— Конечно. Но ведь, с другой стороны, систему нашего общения никак нельзя назвать совершенной. Не исключено, что они попросту не уловили смысла слова «ПЛОХО». А вдруг я совершенно исказил их символы и они решили, что «ПЛОХО» по-нашему значит «ХОРОШО»?

— Этого не может быть!

— Ну что ж, надейся. Но ведь надежда еще никого не спасала.

— Майк, ты продолжай посылать. Используй как можно больше слов, которыми пользуются они. Тут ты мастер. В конце концов они узнают необходимые слова и ответят яснее, а тогда мы объясним, что просим их остановить Насос.

— Мы не уполномочены на такие заявления.

— Конечно, но они-то этого не знают. А нас человечество в конце концов признает героями.

— Предварительно свернув нам шеи?

— Тем более... Дальнейшее зависит от тебя, Майк, и я уверен, что все решится в ближайшие дни.

## 10

Но ничто не решилось. Миновали две недели — и ни одной полоски. Ожидание становилось невыносимым.

Особенно тяжело оно сказалось на Броновском. От его недавнего радостного возбуждения не осталось и следа. И в этот день он вошел в лабораторию Ламонта, угрюмо нахмурившись.

Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец Броновский сказал:

— По всему университету только и разговоров, что тебя выгоняют...

Подбородок Ламонта покрывала двухдневная щетина. Лаборатория выглядела какой-то запыленной, словно бы уже покинутой. Ламонт пожал плечами.

— Ну и что? Это меня не трогает. Неприятно другое: «Физический бюллетень» не взял мою статью.

— Но ты ведь этого и ждал?

— Да, но я думал, что они объяснят, почему. Укажут на ошибки, на неточности, на неверные выводы. Чтобы я мог возразить.

— А они обошлись без объяснений?

— Ни единого слова. По мнению их рецензентов, статья для опубликования не подходит — кавычки закрыть. Они просто отмахнулись от нее... Перед такой всеобщей глупостью как-то теряешься. Если бы человечество обрекало себя на катастрофу по бесшабашности или порочности, честное слово, мне было бы легче. Но очень уж унижительно и обидно погибать из-за чьего-то тупого упрямства и глупости. Какой смысл быть мыслящими существами, если мы должны кончить вот так?

— Из-за глупости,— пробормотал Броновский.

— А как еще ты это назовешь? Например, от меня сейчас требуют официальных объяснений: мне предлагается представить основания, почему меня не следует увольнять за величайшее из преступлений — за то, что я прав.

— Откуда-то стало известно, что ты побывал у Чена?

— Да! — Ламонт устало потер пальцами веки.— По-видимому, я настолько сильно наступил ему на ногу, что он не поленился пожаловаться Хэллему. И теперь я обвиняюсь в том, что пытался сорвать работу Насоса, сея панику с помощью бездоказательных и ложных утверждений, а это противоречит профессиональной этике и делает мое дальнейшее пребывание на Станции невозможным.



— Все это они могут обосновать достаточно веско.

— Вероятно. Но это неважно.

— Что ты намерен предпринять?

— А ничего! — отрезал Ламонт. — Пусть делают, что хотят. Я рассчитываю на бюрократическую волокиту. Официальное оформление подобной истории займет недели, а то и месяцы, а ты пока работай. Паралюди успеют нам ответить.

Броновский болезненно поморщился.

— А если нет? Пит, может, тебе вернуться к той идее...

Ламонт встрепенулся.

— К какой идее?

— Объяви, что ты ошибался. Покайся. Бей себя в грудь. Уступи.

— Ни за что! Черт возьми, Майк! Ведь мы ведем игру, в которой ставка — весь мир, каждое живое существо!

— Да, но насколько это касается тебя лично? Ты не женат. Детей у тебя нет. Я знаю, что твой отец умер. Я ни разу не слышал, чтобы ты упомянул про свою мать или каких-нибудь родственников. По-моему, ты ни к кому не испытываешь любви или горячей привязанности. Ну, так брось все это и живи спокойно.

— А ты?

— И я. С женой я развелся, детей у меня нет, а милые отношения с милой женщиной будут продолжаться, пока не оборвутся. Живи, пока можешь! Радуйся жизни!

— А завтра как?

— А это уж не наша забота. Во всяком случае, смерть будет мгновенной.

— Я не способен принять подобную философию... Майк! Майк, да что это с тобой? Ты просто не хочешь сказать прямо, что у нас ничего не выйдет? Что ты не рассчитываешь установить связь с паралюдьми?

Броновский отвел глаза.

— Видишь ли, Пит, — сказал он, — я получил ответ. Вчера вечером. Я решил подождать и подумать, но думать, собственно, не о чем... Вот читай.

Ламонт взял фольгу, ошеломленно посмотрел на нее и начал читать. Знаков препинания не было.

«НАСОС НЕ ОСТАНОВИТЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ  
МЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ НАСОС МЫ НЕ СЛЫШАТЬ  
ОПАСНОСТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ  
СЛЫШАТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ  
ОСТАНОВИТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ЧТОБЫ МЫ  
ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ  
ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОСТАНО-  
ВИТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ НАСОС»

— Черт побери,— пробормотал Броновский.— Ведь это вопль отчаяния!

Ламонт смотрел на фольгу и молчал.

— Насколько я могу понять,— начал Броновский,— кто-то у них там похож на тебя. Пара-Ламонт, так сказать. Он тоже не может заставить своего пара-Хэллема остановить перекачку. И пока мы умоляем их спасти нас, они умоляют нас спасти их.

— Но если показать это...— глухо произнес Ламонт.

— Они скажут, что ты лжешь, что ты подделал эту фольгу, чтобы оправдать твой порожденный психозом кошмар.

— Про меня-то они скажут, но ведь про тебя этого сказать нельзя. Ты поддержишь меня, Майк. Ты официально заявишь, что получил эту фольгу, и расскажешь, при каких обстоятельствах.

Броновский густо покраснел.

— А что пользы? Они ответят, что в паравселенной отыскался маньяк вроде тебя и что двое сумасшедших нашли общий язык. Они скажут, что это сообщение свидетельствует лишь об одном: те, кто в паравселенной представляют ответственное руководство, убеждены в отсутствии какой бы то ни было опасности.

— Майк, но будем же драться!

— А что пользы, Пит? Ты сам сказал — глупость. Может быть, паралюди опередили нас в техническом отношении, может быть, они даже, как ты утверждаешь, стоят выше нас по развитию, но ведь ясно, что глупы они не меньше нашего, и на этом все кончается. Тут я согласен с Шиллером.

— С кем?

— С Шиллером. Был такой немецкий драматург лет триста назад. В пьесе о Жанне д'Арк он сказал примерно следующее: «Против глупости сами боги

бороться бессильны». А я не бог, и тем более не стану бороться. Брось, Пит, и займись чем-нибудь другим. Возможно, на наш век времени хватит, а если нет, так ведь изменить все равно ничего нельзя. Извини, Пит. Ты отлично дрался, но ты потерпел поражение, и я больше в этом не участвую.

Он вышел, и Ламонт остался один. Он сидел неподвижно, только его пальцы бесцельно барабанили и барабанили по столу. Где-то в глубинах Солнца протоны соединялись чуть более бурно, и с каждым мгновением это «чуть» увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось, приближая тот миг, когда хрупкое равновесие нарушится...

— И никто на Земле не успеет понять, что я был прав! — крикнул Ламонт и замигал, стараясь удержать слезы.

## Часть вторая

---

### ...САМИ БОГИ...

---

#### 1а

Дуа легко ускользнула от остальных. Она всегда опасалась, что это вызовет неприятности, но почему-то все обходилось благополучно. Более или менее.

А с другой стороны — что тут, собственно, такого? Ун, правда, возражал против этого со своим обычным высокомерием. «Не броди,— говорил он.— Ты же знаешь, как это раздражает Тритта». О своем раздражении он не упоминал — рационалы не сердятся из-за пустяков. И тем не менее он опекал Тритта почти так же заботливо, как Тритт опекал детей.

Правда, если она настаивает, Ун всегда позволяет ей делать то, что она хочет, и даже вступает за нее перед Триттом. Иногда он даже не скрывает, что гордится ее способностями, ее независимостью... «Как левник он вовсе не так уж плох»,— подумала она с рассеянной нежностью.

Ладить с Триттом труднее, и он очень хмуро смотрит на нее, когда она бывает... ну, когда она бывает такой, какой ей хочется. Впрочем, правники иначе не могут. Для нее-то он, конечно, правник, но ведь он еще и пестун, а потому дети заслоняют от него все остальное. Это и к лучшему — в случае неприятностей всегда можно рассчитывать, что кто-нибудь из детей отвлечет его внимание.

Не то чтобы Дуа очень считалась с Триттом. Если бы не синтез, она бы, наверное, вообще его игнорировала. Другое дело Ун. Он сразу показался ей удивительно интересным: от одного его присутствия ее очерта-

ния теряли четкость и начинали мерцать. И то, что он рационал, делало его только еще интереснее. Она не понимала, почему. Но это тоже было одной из ее странностей. Ну, она уже привыкла к своим странностям... почти привыкла.

Дуа вздохнула.

Когда она была ребенком и еще ощущала себя законченной личностью, самостоятельным существом, а не частью триады, она осознавала эти странности гораздо острее. Потому что их подчеркивали другие. Даже такая мелочь, как выход на поверхность под вечер...

Как ей нравилась поверхность в вечерние часы! Остальные эмоционали пугались холода, сгущающихся теней — они коалесцировали, едва она начинала описывать свои впечатления. Сами они с удовольствием выходили в теплое время дня, расстилались и ели, но оттого-то она и не любила поверхность в дневные часы: их болтовня наводила на нее скуку.

Конечно, не есть она не могла, но насколько приятнее питаться по вечерам, когда еды, правда, очень мало, зато кругом все тускло-багровое и она совсем-совсем одна! По правде сказать, в разговорах с другими эмоционалями она изображала поверхность куда более холодной и унылой, чем на самом деле, — просто чтобы посмотреть, как они, пытаясь вообразить подобный холод, становятся жесткими по краям — в той мере, конечно, в какой молодые эмоционали вообще способны обрести жесткость. Потом они начинали шептаться о ней, смеялись... и оставляли ее в одиночестве.

Маленькое солнце уже почти достигло горизонта и тонуло в таинственной алости, которую, кроме нее, никому было видеть. Она разостлалась, утолщилась по спинно-вентральной оси и принялась поглощать слабую жиденькую теплоту, неторопливо ее усваивая, смакуя чуть кисловатый, почти неуловимый вкус длинных волн. (Ни одной из знакомых ей эмоционалей этот вкус не нравился. Но не могла же она объяснить, что для нее он неразрывно связан со свободой — со свободой быть одной, без других.)

Даже сейчас пустынность, знобящий холод и глубокие багровые тона словно возвратили ее в дни детства, когда она еще не стала частью триады. И вдруг Дуа с поразительной ясностью словно вновь увидела

перед собой своего собственного пестуна, который неуклюже выбирался на поверхность, мучимый вечными опасениями, что она причинит себе какой-нибудь вред.

С ней он был особенно заботлив — ведь пестуны всегда лелеют крошку-серединку даже больше, чем крошку-левого и крошку-правого. Ее это раздражало, и она мечтала о том дне, когда он ее покинет. Ведь со временем все пестуны обязательно исчезали — и как же она тосковала без него, когда этот день настал!

Он вышел на поверхность предупредить ее — бережно и осторожно, хотя пестунам очень трудно облекать чувства в слова. В тот день она убежала от него — не потому, что хотела его подразнить, и не потому, что догадалась, о чем он хочет ее предупредить, а просто ей было весело. Днем она отыскивала удивительно удобное местечко далеко от других эмоционалей, наелась до отвала и испытала то щекотное чувство, которое требует разрядки в движениях и действиях. Она ползала по камням, запуская свои края в их поверхность. Она знала, что в ее возрасте делать это стыдно, что так играют только малыши, но зато какое приятное ощущение — бодрящее и в то же время баюкающее!

И тут, наконец, пестун ее нашел. Он долго стоял возле нее и молчал, а глаза у него делались все меньше и плотнее, точно он хотел задержать каждый лучик отражающегося от нее света, вобрать в них ее образ и сохранить его навсегда.

Сначала она тоже смотрела на него — в смущении, думая, что он заметил, как она забиралась в камни, и что ему стыдно за ее поведение. Но она не уловила излучения стыда и в конце концов спросила виновато:

«Ну что я сделала, папочка?»

«Дуа, время настало. Я ждал этого. И ты, наверное, тоже».

«Какое время?»

Она знала, но упрямо не хотела знать. Ведь если верить, что ничего нет, то, может быть, ничего и не будет. (Она до сих пор не избавилась от этой привычки. Ун говорил, что все эмоционали такие — снисходительным голосом рационала, сознающего свое превосходство.)

Пестун сказал:

«Я должен перейти. И больше меня с вами не будет».

А потом он только смотрел на нее, и она тоже молчала.

И еще он сказал:

«Объясни остальным».

«Зачем?»

Дуа сердито отвернулась, ее очертания расплылись, стали смутными, словно она старалась разредиться. Да она и старалась разредиться — совсем. Только, конечно, у нее ничего не получилось. Наконец, ей стало больно, боль сменилась немотой, и она опять сконцентрировалась. А пестун против обыкновения не побранил ее и не сказал даже, что неприлично так растягиваться — вдруг кто-нибудь увидит?

Она крикнула:

«Им ведь все равно!» — и тут же ощутила, что пестуну больно. Он же по-прежнему называл их «крошка-левый» и «крошка-правый», хотя крошка-левый думал теперь только о занятиях, а крошке-правому не терпелось войти в триаду — ничем другим он больше не интересовался. Из них троих только она, Дуа, еще чувствовала... Но ведь она была младшей, как и все эмоционалы, и у эмоционалей все происходило не так.

Пестун сказал только:

«Ты им все-таки объясни».

И они продолжали смотреть друг на друга.

Ей не хотелось ничего им объяснять. Они стали почти чужими. Не то что в раннем детстве. Тогда они и сами с трудом разбирались, кто из них кто — левый брат, правый брат и сестра-серединка. Они были еще прозрачными и разреженными — постоянно перепутывались, проползали друг сквозь друга и прятались в стенах. А взрослые и не думали их бранить.

Но потом братья стали плотными, серьезными и больше не играли с ней. А когда она жаловалась пестуну, он ласково отвечал: «Ты уже большая, Дуа, и не должна теперь разреживаться».

Она не хотела слушать, но левый брат отодвигался и говорил: «Не приставай. Мне некогда с тобой возиться». А правый брат теперь все время оставался совсем жестким и стал хмурым и молчаливым. Тогда она не могла понять, что с ними случилось, а пестун

не умел объяснить. Он только повторял время от времени, точно урок, который когда-то выучил наизусть: «Левые — рационалы, Дуа, а правые — пестуны. Они взросят каждый по-своему, своим путем».

Но ей их пути не нравились. Они уже перестали быть детьми, а ее детство еще не кончилось, и она начала гулять вместе с другими эмоционалями. Они все одинаково жаловались на своих братьев. Все одинаково болтали о будущем вступлении в триаду. Все расстилались на солнце и ели. И с каждым днем сходство между ними росло, и каждый день они говорили одно и то же.

Они ей опротивели, и она начала искать одиночества, а они в отместку прозвали ее «олевелая эм». (С тех пор, как она в последний раз слышала эту дразнилку, прошло уже много времени, но стоило ей вспомнить, и она словно вновь слышала их жиденькие пронзительные голоски, твердившие: «Олевелая эм, олевелая эм!» Они дразнили ее с тупым упоением, потому что знали, как это ей неприятно.)

Но ее пестун оставался с ней прежним, хотя, наверно, замечал, что все над ней смеются. И неуклюже старался оберегать ее от остальных. Он даже иногда выходил следом за ней на поверхность, хотя и чувствовал себя там очень тягостно. Но ему нужно было удостовериться, что с ней ничего не случилось.

Как-то раз она увидела, что он разговаривает с Жестким. Пестунам разговаривать с Жесткими было трудно — это она знала еще совсем крошкой. Жесткие разговаривали только с рационалами.

Она перепугалась и отпульсировала, но все-таки успела услышать, как ее пестун сказал: «Я хорошо о ней забочусь, Жесткий-ру».

Неужели Жесткий спрашивал про нее? Может быть, про ее странности? Но в ее пестуне не ощущалось виноватости. Даже с Жестким он говорил про то, как он о ней заботится. И ее охватила неясная гордость.

И вот теперь он прощался с ней, и внезапно независимость, которую Дуа так предвкушала, утратила свои манящие очертания и стала твердым пиком одиночества. Она сказала:

«Но почему ты должен перейти?»

«Должен, серединка моя».



Да, должен. Она это знала. И каждый рано или поздно должен перейти. Наступит день, когда и она, вздохнув, скажет: «Я должна».

«Но откуда ты знаешь, что время настало? Если ты можешь выбирать, так почему ты не хочешь назначить другое время и остаться подольше?»

Он ответил:

«Так решил твой левый породитель. Триада должна делать то, что он говорит».

Своего левого породителя и породительницу-середину она видела очень редко. Они были не в счет. Ей нужны не они, а только правый породитель, ее пестун, ее папочка, такой кубический, с совсем ровными гранями. Ни плавных изгибов, как у рационалов, ни зыбкости эмоционалей — она всегда заранее знала, что он сейчас скажет. Ну, почти всегда.

И теперь он, конечно, ответит: «Этого я крошке-эмоционали объяснить не могу».

Так он и ответил.

Дуа сказала в порыве горя:

«Мне будет грустно без тебя. Я знаю, ты думаешь, что я тебя не слушаюсь, что ты мне не нравишься, оттого что не позволяешь мне ничего делать. Но уж лучше ты мне совсем ничего не позволяй. Я не буду злиться, только бы ты был со мной».

А пестун просто стоял и смотрел. Он не умел справляться с такими порывами и, приблизившись к ней, образовал руку. Было видно, как ему трудно. Но он, весь дрожа, продолжал удерживать руку, и ее очертания стали мягкими — самую чуточку.

Дуа сказала: «Ой, папочка!», и заструила свою руку вокруг, и сквозь ее вещество его рука казалась зыбкой и мерцающей. Но Дуа была очень внимательна и не прикоснулась к нему — ведь ему это было бы неприятно.

Потом он убрал руку, и пальцы Дуа остались сомкнутыми вокруг пустоты. Он сказал:

«Вспомни про Жестких, Дуа. Они о тебе позаботятся. А мне... мне пора».

Он удалился, и больше она его никогда не видела.

И вот теперь она смотрела на закат, вспоминала и досадливо ощущала, что ее долгое отсутствие уже сердит Тритта и скоро он примется ворчать на Уна, а Ун примется растолковывать ей ее обязанности...

Ну и пусть.

Ун рассеянно ощущал, что Дуа бродит где-то по поверхности. При желании он мог бы сказать, в каком направлении она от него находится, и даже на каком расстоянии. Впрочем, осознай он свое ощущение, он был бы недоволен, так как способность взаимно ощущать друг друга на расстоянии давно уже начала притупляться, и это было ему приятно, хотя он сам не понимал, почему. Таков был естественный ход вещей — тело с возрастом продолжало развиваться.

У Тритта способность к взаимному ощущению на расстоянии не притупилась, но теперь она сосредоточивалась почти исключительно на детях. Развитие, безусловно, полезное, но, с другой стороны, роль пес-туна, несмотря на свою бесспорную важность, в сущности, довольно проста. Рационалы куда сложнее, с грустной гордостью подумал Ун.

Вот Дуа, конечно, была настоящей загадкой. Она так мало походила на прочих эмоционалей. Тритта это сбивало с толку, и он все больше замыкался в себе. Ун тоже порой испытывал недоумение и неловкость, но он, кроме того, ощущал ту особую силу, с какой Дуа индуцировала упоение жизнью, а одно, по всей видимости, было неотъемлемо от другого. И эта радость полностью искупала то раздражение, которое она иногда вызывала у него.

И, возможно, странные привычки Дуа также являются необходимым компонентом целого. Она даже как будто интересуется Жестких, а ведь обычно они обращают внимание только на рационалов. И вновь его охватила гордость: тем лучше для триады, если в ней незаурядна даже эмоциональ.

Все идет так, как должно идти. В этом заключалась основа, и он надеялся, что так будет до конца. Когда-нибудь он осознает, что настало время перейти, и тогда он не будет хотеть ничего другого. Так ему сказали Жесткие — они заверяли в этом всех рационалов, но добавили, что нужный момент ему точно укажет его внутреннее сознание. От них же он тут не должен ждать ни помощи, ни совета.

«Когда ты сам скажешь себе,— объяснял ему Лостен, медленно и внятно, как принято у Жестких, когда они говорят с Мягкими, словно подбирая понятия полегче,— что знаешь, почему ты должен перейти, тогда

ты перейдешь, и твоя триада перейдет вместе с тобой».

И Ун ответил:

«Сейчас мне не хотелось бы перейти, Жесткий-ру. Еще столькому можно научиться».

«Разумеется, левый мой. Ты чувствуешь так, потому что ты еще не готов».

Ун подумал тогда: «Но я ведь всегда буду чувствовать, что должен научиться еще многому. Так как же я почувствую, что готов?»

Но вслух он этого не сказал. Он твердо знал, что поймет, когда время для этого настанет.

Он поглядел на себя и в забывчивости чуть было не выбросил глаз вперед на придатке — даже самым зрелым рационалам бывают иногда свойственны чисто детские импульсы. А ведь это совершенно не нужно. Он способен ощущать себя не менее точно и тогда, когда его глаз плотно сидит на предназначенном для него месте. Он с удовольствием убедился, что в меру плотен — красивый четкий абрис, ровные изгибы закругляются в изящно сопряженные овоиды.

Его тело не обладало ни загадочно пленительным мерцанием, как у Дуа, ни приятной кубичностью Тритта. Он любит их обоих, но не стал бы меняться с ними внешностью. И, уж конечно, разумом. Естественно, вслух он этого никогда не скажет — зачем обижать их? — но он каждый день радуется, что на его долю не выпали ни ограниченное сознание Тритта, ни — тем более! — прихотливость мыслительных процессов Дуа. Впрочем, их, вероятно, не огорчают недостатки подобных типов мышления — ведь они ничего другого и не знают.

Он вновь смутно ощутил далекое присутствие Дуа и сознательно погасил это ощущение. Сейчас его к ней не влекло. Не то чтобы он нуждался в ней меньше обычного, но просто другие интересы были сильнее. Созревание рационала проявляется именно в том, что он получает все больше и больше удовольствия от чисто интеллектуальных занятий наедине с самим собой или в обществе Жестких.

Он постепенно привыкал к Жестким, все сильнее привязывался к ним. Он чувствовал, что так и должно быть: ведь он — рационал, а Жесткие в известном смысле — сверхрационалы. (Он как-то сказал об этом Лостену, самому внимательному из Жестких и, как ему почему-то казалось, самому молодому. Лостен из-

лучил веселость, но промолчал. Но ведь это же означало, что он не сказал «нет»!)

Жесткие всегда были рядом с тех пор, как Ун помнил себя. Его пестун почти все свое внимание и время отдавал последнему ребенку — крошке-эмоционали. Это было вполне естественно. То же произойдет и с Триттом, когда отпочкуется их последний ребенок — если только это когда-нибудь случится. (Ун заимствовал такое уточнение от Тритта, который теперь постоянно повторял это «если», чтобы упрекнуть Дуа.)

Но так вышло даже лучше. Пестун был все время занят, и Ун получил возможность начать образование сравнительно рано. К тому времени, когда произошла их встреча с Триттом, он уже почти избавился от детских привычек и успел узнать очень многое.

И все-таки их встреча, наверное, навсегда сохранится в его памяти. Словно бы она произошла вчера и они не прожили с тех пор еще такой же срок. Разумеется, он видел пестунов своего поколения, но, собственно говоря, пестунами они становились, только когда начинали взращивать первого ребенка, а до этого однозначность их мышления была далеко не такой явной. Совсем маленьким он играл со своим правым братом и не замечал никаких различий в их интеллектах (хотя различия существовали уже тогда — теперь, вспоминая, он это ясно видел).

Он примерно представлял себе и роль пестуна в триаде, потому что, конечно, еще в детстве слышал про синтез.

Но когда появился Тритт, когда Ун увидел его в первый раз, все изменилось. Впервые в жизни он ощутил какую-то особую внутреннюю теплоту и интерес к чему-то помимо мыслительных процессов и приобретения знаний. Он хорошо помнил, как его смущала эта потребность в другом существе.

Тритт, конечно, воспринял их встречу как нечто само собой разумеющееся. Пестуны ведь твердо чувствуют, что их назначение — быть основой триады, а потому не испытывают ни смущения, ни застенчивости. Как, впрочем, и эмоционали. Какую-то сложность это представляет только для рационалов.

«Вы, рационалы, слишком много думаете», — сказал Жесткий, которому Ун изложил свои сомнения.

Но такой ответ только еще больше запутал Уна — разве можно «думать слишком много»?

Тритт, когда они встретились, тоже только-только простился с детством и еще плохо умел замыкаться в себе — от радости он стал по краям совсем прозрачным, и такое неумение вести себя даже шокировало Уна. Чтобы рассеять неловкость, он спросил:

«Мы ведь прежде не встречались, правый?»

«Я тут прежде никогда не бывал. Меня сюда привели», — ответил Тритт.

Оба они прекрасно знали, что произошло: их встречу устроили нарочно. Кто-то (пестун, думал Ун тогда, но позже он понял, что это был один из Жестких) решил, что они подойдут друг другу — и не ошибся.

Интеллектуальной близости между ними, конечно, не было. Да и откуда? Ведь Ун стремился учиться, стремился постигать как можно больше нового — это было для него главным и, если не считать триады, единственным, что занимало все его помыслы. Тритт же вообще не понимал, что значит «учиться». Все, что Тритт знал, он знал изнутри, и не мог этому ни научиться, ни разучиться.

В те первые дни Ун, с упоением впитывая сведения об их мире, о его Солнце, об истории и устройстве жизни, обо всех «о», какие только существовали во вселенной, не выдерживал и начинал рассказывать о них Тритту.

Тритт слушал безмятежно, явно ничего не понимая, но ему нравилось слушать, а Уну нравилось излагать свои знания, хотя бы и впустую.

Но именно Тритт, подчиняясь заложенной в нем потребности, бессознательно стал организующим началом триады. Ун прекрасно помнил тот полдень, когда после краткого обеда принялся было сообщать Тритту сведения, которые узнал за утро. (Их более плотное вещество поглощало пищу так быстро, что им достаточно было просто прогуляться на солнце, тогда как эмоционали грелись в его лучах часами, свертывались и разреживались, словно нарочно стараясь затянуть этот процесс.)

Ун, попросту не замечавший эмоционалей, говорил так, как будто кругом никого не было, но Тритт, который прежде только молча смотрел на них, теперь вдруг утратил обычную невозмутимость.

Неожиданно он приблизился к Уну почти вплотную и выбросил протуберанец с такой поспешностью, что это оскорбило чувство формы, присущее Уну как всякому рационалу. Ун как раз впивал на десерт теплый ветерок, и небольшой участок его верхнего овоида замерзал. Тритт с видимым усилием уменьшил плотность протуберанца и приложил его к мерцающему пятну, заполняя пустоты там, где верхний слой оболочки Уна был разрезан. Ун с неудовольствием отстранился. Эти детские игры были ниже его достоинства.

«Не надо, Тритт», — сказал он раздраженно.

Тритт недоуменно помахал протуберанцем.

«Но почему?»

Ун уплотнился, как мог, стараясь сделать оболочку совсем жесткой.

«Я не хочу».

«А что тут такого?» — продолжал недоумевать Тритт.

Ун сказал первое, что пришло ему на ум: «Мне больно». (Собственно говоря, что было не так. Во всяком случае, не физически. Но ведь Жесткие всегда старались избегать прикосновения Мягких. Случайное взаимопроникновение оболочек причиняло им сильную боль. Правда, если быть честным до конца, строение Жестких заметно отличается от строения Мягких. Они попросту совсем другие.)

Тритт не поверил. Он инстинктивно знал, что тоже ощутил бы эту боль, а потому сказал обиженно:

«Не обманывай!»

«Видишь ли, для синтеза нужна еще эмоциональ».

И Тритт сказал:

«Так давай подыщем себе эмоциональ».

Давай подыщем! Прямолинейность Тритта была поразительной. Ну, как ему объяснить, что на все есть свой порядок?

«Это не так просто, правник мой», — начал он мягко.

Но Тритт нетерпеливо перебил:

«Пусть ее найдут Жесткие. Ты ведь с ними дружишь. Ну, так попроси их».

Ун пришел в ужас.

«Я не могу, пойми же! Время еще не настало», — продолжал он, бессознательно переходя на поучаю-

щий тон.— Не то я бы об этом знал. А пока время не настанет...»

Тритт не слушал.

«Тогда я попрошу!»

«Нет! — Ун совсем растерялся.— Ты в это не вмешивайся. Говорят же тебе, время еще не настало. Мне надо думать об образовании. Очень легко быть пестуном и ничему не учиться, но...»

Он тут же пожалел о своих словах, да к тому же они были ложью. Просто он старался избегать всего, что могло бы оказаться неприятным для Жестких и испортить их хорошее отношение к нему. Но Тритт несколько не обиделся, и Ун тут же сообразил, что пестун не видит ничего заманчивого и почетного в способности учиться, а потому даже не заметил его упрека.

С тех пор Тритт все чаще и чаще заговаривал об эмоционали. Каждый раз Ун с еще большей самозабвенностью погружался в занятия, стараясь уйти от разрешения этой проблемы.

И все-таки он порой с трудом удерживался, чтобы не заговорить о ней с Лостеном.

Лостена он знал лучше и ближе всех остальных Жестких, потому что Лостен специально им интересовался. Жестким была свойственна удручающая одинаковость — они не изменялись, никогда не изменялись. Их форма была зафиксирована раз и навсегда. Глаза у них находились всегда на одном и том же месте, и место это у них у всех было одним и тем же. Их оболочка была не то чтобы действительно жесткой, но она никогда не приобретала прозрачности, никогда не мерцала, не утрачивала четкости и не обладала проникающими свойствами.

Они были ненамного крупнее Мягких, но зато гораздо тяжелее. Их вещество было значительно более плотным, и они всячески остерегались соприкосновения с разреженными тканями Мягких.

Как-то раз, когда Ун был совсем еще крошкой и его тело струилось с такой же легкостью, как тело его сестры, к нему приблизился Жесткий.

Он так никогда и не узнал, кто именно это был, но — как ему стало ясно позднее — крошки-рационалы вызывали большой интерес у всех Жестких. Ун тогда потянулся к Жесткому — просто из любопыт-

ства. Жесткий еле успел отскочить, а потом пестун выбрал Уна за то, что он хотел прикоснуться к Жесткому.

Выговор был таким строгим, что Ун запомнил его навсегда. Став старше, он узнал, что атомы в тканях Жестких расположены очень тесно, и поэтому Жесткие испытывают боль даже от самого легкого соприкосновения с тканями Мягких. А уж о проникновении и говорить не приходилось. Ун подумал тогда, что и Мягким, возможно, становится при этом больно. Но потом другой юный рационал рассказал ему как случайно столкнулся с Жестким. Жесткий перегнулся пополам, а он ничего не почувствовал — ну, прямо ничегошеньки. Однако Ун заподозрил, что его приятель хвастает.

Были и другие запреты. В детстве он любил ползать по стенам пещеры — когда он проникал в камень, ему становилось тепло и приятно. Это было обычным развлечением всех крошек. Но когда он подрос, это перестало у него получаться с прежней легкостью. Правда, он еще мог разрезать оболочку и почесывать ее внутри камней, но как-то его застал за этим занятием пестун, и ему снова влетело. Он заспорил: ведь сестра только и делает, что лазает в стены, он сам видел!

«Ей можно, — сказал пестун. — Она ведь эмоциональ».

В другой раз Ун, поглощая учебную запись (он тогда уже сильно вырос), машинально выбросил парочку протуберанцев с такими разреженными краями, что их можно было протаскивать друг сквозь друга. Это было забавно и помогало слушать, но пестун увидел и... Ун даже тепер поежился, вспомнив, как он его стыдил за такие детские шалости.

Про синтез он тогда ничего толком не знал. Он учился, он вбирал в себя массу сведений, но они не имели никакого отношения к назначению и смыслу триады. Тритту тоже никто ничего не объяснял, но он был пестун, и знания ему заменял инстинкт. Ну, разумеется, когда, наконец, появилась Дуа, все стало ясно само собой, хотя она, по-видимому, знала обо всем этом даже меньше, чем сам Ун.

А в том, что она появилась, заслуги Уна не было никакой. Все сделал Тритт — Тритт, который так бо-



ялся Жестких, что всегда старательно избегал встречи с ними, Тритт, который во всем остальном был так покладист и уступчив, Тритт, который вдруг оказался способным упрямо настаивать на своем... Тритт... Тритт... Тритт...

Ун вздохнул. Тритт вторгся в его мысли потому, что был уже близко. Он ощутил, что Тритт раздражен, и понял, что Тритт снова будет требовать, требовать, требовать... Последнее время Ун все чаще с горечью замечал, что почти не бывает свободен от посторонних забот. А ведь именно сейчас ему, как никогда прежде, нужно было сосредоточиться, разобратся в своих мыслях...

— Ну, что тебе, Тритт? — спросил он.

## 1 в

Тритт осознавал свою кубичность. Но не думал, что она безобразна. Он вообще не задумывался о форме своего тела. А если бы вдруг и задумался, то решил бы, что она прекрасна. Его тело отвечало своему назначению, и отвечало наилучшим образом.

Он спросил:

— Ун, где Дуа?

— Где-то снаружи, — промямлил Ун, словно ему было все равно. Тритту стало обидно, что судьба триады заботит только его одного. С Дуа нет никакого сладу, а Уну все равно.

— Почему ты ее отпустил?

— А как я мог ее остановить? И что тут плохого, Тритт?

— Ты сам знаешь, что. Двое крошек у нас есть. Но что толку без третьей? А в нынешние времена взрастить крошку-серединку очень трудно. Она не отпочкуется, если Дуа будет мало есть. А она опять где-то бродит на закате. Разве на закате можно наестся досыта?

— Она просто не любит есть много.

— А мы просто останемся без крошки-серединки. Ун! — голос Тритта стал вкрадчивым. — Ведь без Дуа настоящего синтеза быть не может. Ты же сам говорил!

— Ну довольно! — буркнул Ун, и Тритт по обыкновению не понял, почему Уна так раздражает упо-

минание о самых простых и житейских вещах. Но он не отступал.

— Не забывай, это я раздобыл Дуа!

Но, может быть, Ун и вправду не помнит? Может быть, Ун вообще не думает о триаде и о том, как она важна? Порой Тритт испытывал такую безнадежность, что просто готов был... готов был... Собственно говоря, он не представлял, что мог бы сделать, и чувствовал только тупую безнадежность. Как в те далекие дни, когда им пора было получить эмоциональ, а Ун ничего не хотел делать.

Тритт знал, что не умеет говорить длинно и запутанно. Но, если у пестунов нет дара речи, они зато умеют думать! И думают о том, что по-настоящему важно. Вот Ун всегда толкует про атомы и энергию. Будто они кому-нибудь нужны — эти его атомы и энергия! Ну, а Тритт думает о триаде и о детях.

Ун как-то упомянул, что Мягких постепенно становится все меньше и меньше. Неужели это его не заботит? Неужели и Жестких это тоже не заботит? Неужели это заботит только одних пестунов?

Всего лишь две формы жизни во всем мире — Мягкие и Жесткие. А пища падает с неба вместе с солнечными лучами.

Ун однажды сказал, что Солнце остывает. Пищи становится меньше, сказал он, а потому сокращается и число людей. Тритт этому не поверил. Солнце ни чуточки не остыло с того времени, как он был крошкой. Просто людей перестала заботить судьба триад. Слишком много развелось поглощенных своим учением рационалов и глупых эмоционалей.

Лучше бы все Мягкие занялись тем, что по-настоящему важно. Вот как Тритт. Он занимается триадой. Отпочковался крошка-левый, потом крошка-правый. Дети растут и крепнут. Но необходима еще крошка-серединка. А ее взрастить труднее всего. Но без нее не сможет образоваться новая триада!

Почему Дуа стала такой? С ней всегда было трудно, но все-таки не так, как теперь.

Тритт ощутил смутную злость на Уна. Ун говорит и говорит всякие жесткие слова, а Дуа слушает. Ведь Ун готов без конца разговаривать с Дуа, точно она — рационал. А для триады это вредно.

Ун-то мог бы это сообразить!

Одному Тритту не все равно. И всегда Тритту приходится делать то, что необходимо сделать. Ун дружил с Жесткими, но он и не подумал с ними поговорить. Им нужна была эмоциональ, а Ун ничего про это не говорил. Он разговаривал с Жесткими про энергию, а про то, в чем нуждалась триада, молчал.

Это он, Тритт, все устроил! И Тритт с гордостью вспомнил, как все произошло. Он увидел, что Ун разговаривает с Жестким, направился прямо к ним, без всякой дрожи перебил их и заявил твердым голосом:

«Нам нужна эмоциональ».

Жесткий повернулся и посмотрел на него. Тритт еще ни разу в жизни не видел Жесткого так близко. Он был весь цельный — когда одна его часть поворачивалась, с ней поворачивались и все остальные. У него были протуберанцы, которые могли двигаться самостоятельно, но при этом они не меняли своей формы. Жесткие никогда не струились, они были несимметричны и неприятны на вид. И уклонялись от прикосновений.

Жесткий сказал:

«Это верно, Ун?»

С Триттом он говорить не стал.

Ун распластался. Распластался над самой поверхностью камней. Таким распластанным Тритт его еще никогда не видел. Он сказал:

«Мой правник излишне ревностен. Мой правник... он... он...»

Тут Ун начал заикаться, раздуваться и не мог дальше говорить.

А Тритт говорить мог. Он сказал:

«Без эмоционали мы не можем синтезироваться».

Тритт знал, что Ун онемел от смущения, но ему было все равно. Время пришло.

«А ты, левый мой,— сказал Жесткий, по-прежнему обращаясь только к Уну,— ты тоже так считаешь?»

Жесткие говорили почти как Мягкие, но гораздо более резко, почти без переходов. Их было трудно слушать. То есть ему, Тритту. А Ун как будто привык, и ему слушать было нетрудно.

«Да»,— промямлил наконец Ун.

Только тут Жесткий повернулся к Тритту.

«Напомни мне, юный правый, как давно ты знаком с Уном?»

«Достаточно давно, чтобы подумать об эмоционали,— сказал Тритт. Он старательно удерживал все свои грани и углы. Он не позволял себе бояться — слишком важной была его цель.— И меня зовут Тритт»,— добавил он.

Жесткому как будто стало весело.

«Да, выбор оказался неплохим. Вы с Уном очень друг другу подходите, но тем труднее выбрать для вас эмоциональ. Впрочем, мы почти уже решили. То есть я решил, и уже давно, однако надо убедить других. Наберись терпения, Тритт».

«Все мое терпение кончилось».

«Я знаю. И все-таки подожди»,— Жесткий опять говорил так, словно ему было весело.

Когда Жесткий оставил их вдвоем, Ун округлился и стал гневно разреживаться. Он сказал:

«Тритт, как ты мог? Ты знаешь, кто это?»

«Ну, Жесткий».

«Это Лостен. Мой специальный руководитель. Я не хочу, чтобы он на меня сердился».

«А чего ему сердиться? Я говорил вежливо».

«Ну, неважно»,— Ун уже почти принял нормальную форму.

Значит, он перестал злиться. Тритт почувствовал большое облегчение, хотя и постарался это скрыть. А Ун тем временем продолжал:

«Это же очень неловко, когда мой дурак-правый вдруг подходит и начинает разговаривать с моим Жестким».

«А почему ты сам не захотел?»

«Всему есть свое время».

«Только почему-то для тебя оно никогда своим не бывает».

Но потом они помирились и перестали спорить. А вскоре появилась Дуа.

Ее привел Лостен. Тритт этого не заметил. Он не смотрел на Жесткого, он видел только Дуа. Но после Ун объяснил ему, что ее привел Лостен.

«Вот видишь! — сказал Тритт.— Я с ним поговорил, и потому он ее привел».

«Нет,— ответил Ун.— Просто наступило время. Он все равно привел бы ее. Даже если бы ни ты, ни я

ничего ему не сказали».

Тритт ему не поверил. Он твердо знал, что они получили Дуа только благодаря ему.

И конечно, второй такой Дуа в мире быть не могло! Тритт видел много эмоционалей. Они все были привлекательны, и он обрадовался бы любой из них. Но, увидев Дуа, он понял, что никакая другая эмоциональ им не подошла бы. Только Дуа. Одна только Дуа.

И Дуа знала, что ей полагается делать. Совершенно точно знала. А ведь ей никто ничего не показывал, говорила она им потом. И ничего не объяснял. Даже другие эмоционали, потому что она старалась держаться от них подальше.

И все-таки, когда они все трое оказались вместе, каждый знал, что ему надо делать.

Дуа начала разреживаться. Тритту еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так разреживался. Он даже не представлял себе, что подобное разрежение возможно. Она превратилась в сверкающую цветную дымку, которая заполнила все вокруг. Он был ослеплен. Он двигался, не сознавая, что движется. Он погрузился в туман, который был Дуа.

Это совсем не походило на погружение в камни. Тритт не чувствовал никакого сопротивления или трения. Он словно парил. Он осознал, что тоже начинает разреживаться — легко, без тех отчаянных усилий, которых это обычно требовало. Теперь, когда Дуа пронизывала его всего, он в свою очередь без малейшего напряжения рассеялся в густой дым. Ему казалось, что он струится, исчезая и растворяясь в радости.

Смутно он увидел, что с другой, левой, стороны приближается Ун, тоже расходясь дымом.

Затем он соприкоснулся с Уном, смешался с ним. Он перестал чувствовать, перестал сознавать. Он не понимал — он ли окружает Уна, Ун ли окружает его. А может быть, они окружали друг друга или были раздельны.

Все растворилось в чистой радости бытия.

Она заслонила и смела и чувства, и сознание.

Потом они опять стали каждый сам по себе. Синтез длился много суток. Так полагалось. И чем полнее он был, тем больше времени занимал. Но для них

все исчерпывалось кратким мгновением. И память не сохраняла ничего.

Ун сказал:

«Это было чудесно».

А Тритт молчал и смотрел на Дуа.

Она коалесцировала, закручивала спирали, подергивалась. Из них троих только она, казалось, никак не могла прийти в себя.

«После,— сказала она торопливо.— Все после. А сейчас отпустите меня».

И она кинулась прочь. Они ее не остановили. Потрясение еще не прошло. Но так продолжалось и дальше. После синтеза она всегда исчезала. Каким бы полным он ни оказывался. Словно у нее была потребность в одиночестве.

Это беспокоило Тритта. Он замечал в ней все новые и новые отличия от прочих эмоционалей. А надо бы наоборот: ей следовало во всем походить на них.

Ун придерживался другого мнения. Он много раз повторял: «Ну почему ты не оставишь ее в покое, Тритт? Она не такая, как все остальные, но это потому, что она лучше остальных. С кем еще мы могли бы получить такой полный синтез? А ничто хорошее даром не дается».

Тритт не понял, но не стал в этом разбираться. Он знал только, что ей следует вести себя так, как полагается. Он сказал:

«Я хочу, чтобы она поступала правильно».

«Я понимаю, Тритт. Я понимаю. Но все-таки оставь ее в покое».

Сам Ун часто бранил Дуа за ее странные привычки, а Тритту этого делать не позволял.

«У тебя нет такта, Тритт»,— объяснял он.

Но Тритт не знал толком, что такое такт.

И вот теперь... С момента первого синтеза прошло очень много времени, а крошки-эмоционали у них все нет и нет. Сколько еще можно ждать? И так уж они это слишком затянули. А Дуа только все больше и больше времени проводит в одиночестве.

Тритт сказал:

— Она слишком мало ест.

— Когда настанет время...— начал Ун.

— Ты только и знаешь, что говоришь: «настанет время, не настанет время». Если на то пошло, ты ведь

так и не выбрал времени, чтобы раздобыть нам Дуа. А теперь у тебя все не время для крошки-эмоционали. Дуа должна...

Но Ун отвернулся. Потом он сказал:

— Она на поверхности, Тритт. Если ты хочешь отправиться за ней, точно ты ее пестун, а не правник, так и отправляйся. Но я говорю: оставь ее в покое.

Тритт попятился. Он хотел бы многое сказать, только не знал как.

## 2а

Дуа смутно улавливала, что ее левник и правник волнуются и препираются из-за нее, но это только усилило ее возмущение.

Если кто-нибудь из них явится за ней сюда (возможно даже, они поднимутся оба), все завершится синтезом, а самая мысль об этом выводила ее из себя. Для Тритта важны только дети — уже отпочковавшиеся, и главное их сестра, которой еще нет. А Тритт умеет поставить на своем. Заупрямившись, он подчиняет себе триаду. Уцепится за какую-нибудь примитивную идею и будет требовать и требовать, пока Ун и Дуа не уступят. Но на этот раз она не уступит. Ни за что...

И ей не стыдно. Ничуть не стыдно! Ун и Тритт гораздо ближе между собой, чем с ней. Она способна разреживаться сама, а они — только благодаря ее посредничеству (уж из-за одного этого они могли бы больше с ней считаться!). Тройственный синтез вызывает приятное ощущение, было бы глупо это оспаривать. Но она испытывает почти то же, когда проникает в каменные стены... уж от себя-то она скрывать не будет, что иногда тайком это проделывает. Ну, а Тритт и Ун давно утратили это умение, и, кроме синтеза, у них других радостей нет.

Впрочем, это не совсем так. Ун утверждает, что приобретение знаний или, как он выражается, «интеллектуальное развитие» — огромная радость. И она сама, Дуа, испытывала нечто подобное. Во всяком случае, настолько, что может об этом судить. Хотя удовольствие получаешь не такое, как при синтезе, но по-своему оно ничуть не меньше, и Ун предпочитает его всему на свете.

А вот у Тритта все иначе. У него нет других радостей, кроме синтеза и детей. Никаких. И когда он начинает настаивать со всем упрямством глупости, Ун уступает, и она, Дуа, тоже вынуждена уступить.

Как-то раз она взбунтовалась:

«Но что происходит, когда мы синтезируемся? Ведь мы вновь становимся самими собой только через много часов, а то и дней. Что происходит за это время?»

Тритт был шокирован.

«Так было всегда. Иначе не бывает».

Ун смутился. Он с утра до ночи только и делает, что смущается.

«Видишь ли, Дуа, это необходимо. Из-за... из-за детей».

Выговаривая последнее слово, он запульсировал.

«Почему ты пульсируешь? — резко сказала Дуа. — Мы давно взрослые, мы синтезировались уж не знаю сколько раз, и нам всем известно, что без этого нельзя взрастить детей. Ну, и говорил бы прямо. Только я ведь спрашивала о другом: почему синтез занимает столько времени?»

«Потому что это сложный процесс, — ответил Ун, все еще пульсируя. — Потому что он требует значительной энергии. Дуа, образование детской почки продолжается очень долго, и ведь почка далеко не всегда завязывается. А условия непрерывно ухудшаются... И не только для нас», — добавил он поспешно.

«Ухудшаются?» — тревожно переспросил Тритт. Но Ун больше ничего не сказал.

Со временем они взрастили ребенка — крошку-рационала, левульку, который так клубился и разреживался, что все трое прямо мерцали от умиления, и даже Ун брал его в ладони и позволял ему менять форму, пока Тритт наконец не вмешивался и не отбирал малыша. Ведь именно Тритт хранил его в своей инкубаторной сумке весь период формирования. От Тритта он отпочковался, когда обрел самостоятельность. И Тритт же продолжал его опекать.

После рождения крошки-левого Тритт начал бывать с ними гораздо реже. И Дуа радовалась, не вполне понимая, почему. Одержимость Тритта ее раздражала, но одержимость Уна, как ни странно, была ей приятна. Она все более четко ощущала его... его важ-



ность. В рационалах было что-то такое, что давало им возможность отвечать на вопросы, а ей все время хотелось спрашивать его то об одном, то о другом. И она скоро заметила, что он отвечает охотнее, когда Тритта нет рядом.

«Но почему это занимает столько времени, Ун? Мы синтезируемся, а потом не знаем, что происходило в течение нескольких суток. Мне это не нравится».

«Ведь нам ничего не грозит, Дуа,— убеждал ее Ун.— Подумай сама — с нами же никогда ничего не случилось, верно? И ты ни разу не слышала, чтобы с какой-нибудь другой триадой случилось несчастье, верно? Да и вообще тебе не следует задавать вопросов».

«Потому что я эмоциональ? Потому что другие эмоционали вопросов не задают? Ну так, если хочешь знать, я других эмоционалей терпеть не могу. А вопросы задавать буду!»

Она четко ощущала, что Ун смотрит на нее так, словно в жизни не видел никого прекраснее, и из чистого кокетства начала чуточку разреживаться — самую чуточку.

Ун сказал:

«Но ты ведь вряд ли сумеешь понять, Дуа. Для того чтобы вспыхнула новая искра жизни, требуется огромное количество энергии».

«Вот ты всегда говоришь про энергию. А что это такое? Объясни, но поточнее».

«Ну, это то, что мы едим».

«А почему же ты тогда не скажешь просто — «пища»?»

«Потому что пища и энергия — не совсем одно и то же. Наша пища поступает от Солнца — это один вид энергии. Но существуют и другие виды, которые в пищу не годятся. Когда мы едим, мы расстилаемся и поглощаем свет. Для эмоционалей это особенно трудно, потому что они очень прозрачные. То есть свет проходит сквозь них и не поглощается».

Как чудесно узнать, в чем тут дело, думала Дуа. Собственно, она все это знала, но не знала нужных слов — умных жестких слов, которыми пользовался Ун. А благодаря им все, что происходило, становилось более четким и осмысленным.

Теперь, когда она стала взрослой и больше не боялась дразнилок, когда ей выпала честь войти в триа-

ду Уна, Дуа порой присоединялась к другим эмоционалям, стараясь не обращать внимания на болтовню и скученность. Ведь время от времени ей все-таки хотелось поесть поплотнее, чем обычно, да и синтез после этого проходил удачнее. К тому же она иногда почти разделяла блаженную радость остальных эмоционалей, улавливая то удовольствие, которое они получали, выгибаясь и растягиваясь под солнечными лучами, томно утолщаясь и сжимаясь, чтобы стать как можно более плотными и эффективнее поглощать теплоту.

Но для Дуа вполне достаточно было незначительной доли того, что поглощали другие, словно были не в силах насытиться. Они как-то по-особому жадно подергивались, а Дуа этого не умела, и ей становилось невыносимо наблюдать такое чудовищное обжорство.

Так вот почему рационалы и пестуны столь мало задерживаются на поверхности. Их толщина позволяет им быстро насытиться и вернуться в пещеры. Эмоционали же извиваются на солнце часами — ведь едят они дольше, а энергии им требуется больше (во всяком случае, для синтеза).

Эмоциональ обеспечивает энергию, объяснял Ун (пульсируя так, что его сигналы стали почти невнятными), рационал — почку, а пестун — инкубаторную сумку.

После того, как Дуа узнала все это, ей стало понятней, почему Тритт так злится, когда она спускается к ним по-прежнему прозрачная, а не матово клубясь от пресыщения. Но почему, собственно, они должны быть недовольны? Разреженность, которую она сохраняет, только придает синтезу особую прелесть. Другие триады, должно быть, захлебываются энергией, просто чавкают, но ведь и в легкости и воздушности, конечно, тоже есть свое неповторимое очарование. И ведь крошка-левый и крошка-правый отпочковались, как им и положено, разве нет?

Но, конечно, крошка-эмоциональ, сестра-серединка, требовала куда больше энергии, и Дуа никак не могла накопить ее достаточно.

Даже Ун начал заговаривать об этом:

«Ты поглощаешь слишком мало солнечного света, Дуа».

«Больше, чем нужно», — поспешно сказала Дуа.

«Триада Гении только что отпочковала эмоциональ».

Дуа недолюбливала Гению. Она ее никогда не любила. Гения была дурочкой даже по нормам эмоционалей. И Дуа сказала высокомерно:

«А, так значит, она этим хвастает? В ней нет ни малейшей деликатности. Уж конечно, она шепчет всем, кто только готов слушать: «Я знаю, милочка, об этом вслух не говорят, но мой левник и мой правник, ты только представь себе...», — Дуа воспроизвела трепетные верещащие сигналы Гении с такой убийственной точностью, что Ун излучил веселость. И тем не менее он сказал:

«Пусть Гения пустышка, но она взрастила эмоциональ, и Тритт очень расстроен. Мы образовали триаду раньше их...»

Дуа отвернулась.

«Я поглощаю столько солнца, сколько могу выдержать. Я питаюсь, пока не теряю способности двигаться. Не понимаю, чего вы от меня хотите».

«Не сердись, — сказал Ун. — Я обещал Тритту поговорить с тобой. Он думает, что ты меня послушаешься».

«А, Тритт просто считает странным, что ты рассказываешь мне про науку. Он не понимает... Или ты хотел бы, чтобы у вас была середина такая же, как в остальных триадах?»

«Нет, — ответил Ун твердо. — Ты не похожа на других, и я этому рад. А если тебя интересует наука, то позволь, я тебе еще кое-что объясню. Солнце дает теперь меньше пищи, чем в древние времена. Световой энергии становится все меньше и впитывать ее приходится много дольше. Рождаемость снижается из века в век, и население мира уменьшилось по сравнению с прошлым во много раз».

«Я тут ничем помочь не могу!» — сердито сказала Дуа.

«Зато Жесткие как будто могут. Их численность также сокращается...»

«А они тоже переходят?» — Дуа вдруг почувствовала, что это ей интересно. Почему-то ей всегда казалось, что Жесткие бессмертны — что они не рождаются и не умирают. Кто, например, хоть раз видел крошку Жесткого? У них не бывает детей. Они не синте-

зируются. Они не едят.

Ун ответил задумчиво:

«Мне кажется, они переходят. Но о себе они со мной не разговаривают. Я даже не знаю точно, как они едят. Но есть они, конечно, должны. И они рождаются. Вот сейчас, например, среди них появился новый. Я его еще не видел... Ну, да дело не в этом. Видишь ли, они пытаются создать искусственную пищу...»

«Знаю,— сказала Дуа.— Я ее пробовала.»

«Как? А я ничего об этом не слышал!»

«О ней болтала компания эмоционалей. Они слышали, что Жесткие ищут желающих ее попробовать, и все боялись, идиотки. Говорили, что от нее можно навсегда стать жесткой, разучиться синтезироваться.»

«Какие глупости!» — раздраженно перебил Ун.

«Конечно. И я вызвалась попробовать. Тут уж им пришлось замолчать. С ними не хватит никакого терпения, Ун».

«Ну, и как тебе показалась новая пища?»

«Мерзость! — резко сказала Дуа.— Грубая и горькая. Конечно, другим эмоционалям я про это не сказала».

«Я ее пробовал,— заметил Ун.— И право, она все-таки не настолько плоха».

«Рационалы и пестуны не обращают внимания на вкус пищи».

Но Ун продолжал:

«Это ведь только первые попытки. Жесткие сейчас напряженно работают над ее улучшением. И особенно Эстуолд — тот новый, о котором я упоминал, тот, которого я еще не видел. Судя по словам Лостена, таких Жестких, как он, еще никогда не бывало. Гениальный ученый».

«А почему же ты его не видел?»

«Но ведь я просто Мягкий. Или, по-твоему, они мне обо всем говорят и все показывают? Наверное, когда-нибудь я его увижу. Он открыл новый источник энергии, который может нас спасти...»

«Мне искусственная пища не нравится»,— вдруг заявила Дуа и заструилась прочь.

Разговор этот происходил не так давно, и хотя с тех пор Ун ни разу не упоминал про Эстуолда, она знала, что скоро опять о нем услышит, и теперь на закате тревожно размышляла о будущем.

Она видела искусственную пищу один-единственный раз — светящийся шар, что-то вроде маленького Солнца в особой пещере, отведенной для него Жесткими. Два вновь ощутила горечь этой пищи.

А если они ее улучшат? Сделают приятной? Или даже восхитительной? Тогда ей придется есть до полного насыщения, и ее охватит желание разреживаться...

Она страшилась этого самопроизвольного импульса к разреживанию. Он не был похож на чувство, которое заставляло ее разреживаться, чтобы мог осуществиться синтез левника и правника. Такое самопроизвольное разреживание покажет, что она готова к возвращению крошки-серединки. А она... она не хочет этого!

Она далеко не сразу сказала правду даже себе. Она не хочет возвращать эмоциональ! Ведь после рождения всех троих детей неизбежно наступит время перехода, а она не хочет переходить. Ей вспомнился день, когда ее пестун навсегда ее покинул. Нет, с ней так не будет! Она была полна яростной решимости.

Остальные эмоционали ни о чем подобном не задумывались. Ведь они — пустышки, совсем не такие, как она. Как она — чудачка Два, олевелая эм. Так они ее прозвали, ну, она и будет такой! До тех пор, пока она не отпочкует третьего ребенка, она не перейдет, она останется жить.

А потому третьего ребенка не будет. Никогда. Никогда!

Но как это устроить! Как помешать Уну догадаться? А если Ун догадается, что тогда?

## 26

Ун выжидающе смотрел на Тритта. Он почти не сомневался, что на поверхность за Два Тритт подниматься не станет. Это значило бы оставить детей одних, чего он всегда избегал. Тритт молча медлил, а затем удалился — в сторону детской ниши.

Ун почувствовал облегчение. Не без горечи, конечно: ведь Тритт, рассердившись, замкнулся в себе, отчего взаимный контакт ослабел и возник барьер раздражения. Естественно, что Уну взгрустнулось — словно упала жизненная пульсация.

Но, может быть, и Тритт чувствует то же? Нет, это было бы несправедливо: Тритту хватает его особого отношения к детям.

Ну, а Дуа... Кто способен сказать, что чувствует Дуа? Да и вообще любая эмоциональ? Они настолько своеобразны, что рядом с ними левые и правые кажутся совершенно одинаковыми — если, конечно, не считать интеллекта. Но, даже и учитывая капризность эмоционалей, разве кто-нибудь способен сказать, что чувствует Дуа? Именно Дуа?

Вот почему Ун испытал облегчение, когда Тритт удалился. Дуа и в самом деле превратилась в загадку. Задержка с третьим ребенком действительно становилась опасной, а Дуа не только не прислушивалась к уговорам, но, наоборот, делалась все более упрямой. А в нем, в Уне, пробуждалось странное беспричинное беспокойство. Ему никак не удавалось определить, что это такое, и он решил обсудить вопрос с Лостеном.

Ун отправился в пещеры Жестких. Он спешил и двигался одним непрерывным струением, которое, однако, было гораздо изящнее легкомысленных всплесков и стремительных скачков, которые характеризовали кривую движения эмоционалей, или забавного переваливания тяжеловесных пестунов.

В его памяти всплыл мысленный образ: Тритт неуклюже гоняется за крошкой-рационалом, который в нежном возрасте почти не уступал в неуловимости молодым эмоционалям. В конце концов Дуа заблокировала крошку и вернула его в нишу, а Тритт нерешительно ахал, не зная, то ли хорошенько встряхнуть маленькую искорку жизни, то ли закутать ее в свое вещество. Ради детей Тритт умел разреживаться самым удивительным образом, а когда Ун его поддразнивал, Тритт, вообще не понимавший шутку, отвечал совершенно серьезно: «Пестунам можно, когда это нужно детям».

Ун гордился своим струением — грациозным и в то же время полным достоинства. Как-то он рассказал об этом Лостену — своему Жесткому руководителю, которому говорил о себе все. Лостен ответил: «А не кажется ли тебе, что эмоционалям и пестунам их манера передвижения нравится не меньше? Если вы думаете по-разному и действуете по-разному, то и удо-

вольствие вам должны доставлять разные вещи, не так ли? Видишь ли, триада не исключает индивидуальности».

Однако Ун не совсем понимал, что такое индивидуальность. По-видимому, это значит — быть самому по себе? Каждый Жесткий, бесспорно, всегда сам по себе. У них нет триад. Но как они это выдерживают?

Когда Ун впервые задался этим вопросом, он был совсем еще маленький. Его взаимоотношения с Жесткими только-только завязывались, и внезапно он сообразил, что ничего толком о них не знает. Откуда он, собственно, взял, будто у Жестких нет триад? Конечно, такая легенда бытует среди Мягких, но верна ли она? Поразмыслив, он решил, что нужно спросить, а не принимать чужие утверждения на веру.

И он спросил: «Ру, вы левый или правый?» (Позже при одном воспоминании об этом Ун начинал пульсировать. Надо быть поразительно наивным, чтобы обратиться к Жесткому с таким вопросом! И его несколько не утешала мысль, что каждый рационал обязательно в той или иной форме задавал его Жесткому. Да, рано или поздно, но это случалось всегда, причем чаще — рано.)

Лостен ответил невозмутимо: «Ни то и ни другое, крошка-левый. Жесткие не делятся на левых и правых».

«И у них нет се... эмоционалей?»

«Серединок? — и форма перманентной сенсорной области Жесткого изменилась (позже Ун убедился, что подобные изменения ассоциируются с весельем или удовольствием). — Нет. Серединок у нас тоже нет. Только Жесткие — и все одинаковые».

Тогда Ун спросил — сам не зная каким образом, почти против воли:

«Но как вы выдерживаете?»

«У нас ведь все по-другому, крошка-левый. Мы к этому привыкли».

Неужели Ун мог бы привыкнуть к чему-либо подобному? До сих пор его жизнь была неразрывно связана с родительской триадой, и он твердо знал, что в будущем, причем не таком уж отдаленном, станет членом собственной триады. Как же можно жить иначе?

Он иногда размышлял об этом с полным напряжением. Впрочем, он всегда размышлял с полным на-

пряжением, что бы его ни занимало. И порой он как будто улавливал, что это значит. У Жесткого есть только он сам. Ни левого брата, ни правого, ни сестры-середины, ни синтеза, ни детей, ни пестунов — ничего этого у Жестких нет: ничего, кроме интеллекта, кроме исследования вселенной.

Возможно, им этого достаточно. Становясь старше, Ун начинал все глубже постигать радость познания. Ее было достаточно... почти достаточно. Но тут он вспоминал Тритта, Дуа и решал, что даже вся вселенная не может заменить их вполне.

Разве что... Странно, но порой ему начинало казаться, будто со временем, в определенной ситуации, в определенных условиях... Затем мимолетное прозрение будущего угасало бесследно. А потом опять вдруг вспыхивало, и все чаще ему чудилось, что оно держится дольше и должно вот-вот запечатлеться в памяти.

Но сейчас важно другое. Надо что-то придумать с Дуа.

Он двигался по знакомой дороге. В первый раз его вел по ней пестун (скоро и Тритт поведет по ней их собственного маленького рационала, их крошку-левого).

Ну, и конечно, он вновь погрузился в воспомина-ния.

Как тогда было страшно! Рядом другие маленькие рационалы пульсировали, мерцали, меняли форму, как ни сигналили им пестуны, чтобы они оставались плотными, гладкими и не позорили триаду. А один маленький левый, приятель Уна, распластался и утончился совсем по-детски и не желал уплотняться, несмотря на все уговоры пестуна, изнемогавшего от смущения. (Тем не менее он стал прекрасным учеником... «Хотя до Уна ему и далеко», — не без самодовольства заключил Ун.)

В тот их первый школьный день с нимизнакоми-лось много Жестких. Жесткие останавливались перед каждым маленьким рационалом, специальными способами определяли тип его вибраций и затем решали, принять ли его сейчас или выждать новый срок, а если принять, то какой курс обучения подойдет ему больше всего.

Когда Жесткий приблизился к нему, Ун, напря-



гая все свои силы, разгладился и заставил себя не мерцать.

Жесткий сказал (и Ун, впервые услышав непривычные тона его голоса, с перепугу чуть было не забыл, что он теперь большой и должен сохранять плотность):

«Очень устойчивый рационал. Как ты определяешь себя, левый?»

В первый раз Уна назвали «левый», а не «левлечка» или «левуленька», и он проникся неведомой прежде устойчивостью, а потому сумел выговорить твердо: «Ун, Жесткий-ру», отчеканив вежливое обращение, совсем как наставлял его пестун.

Ун смутно помнил, как его водили по пещерам Жестких, где он видел их приборы, их машины, их библиотеки и терялся от непонятных зрелищ и звуков. Впрочем, помнил он не столько их, сколько свое отчаяние, свой страх. Что они с ним сделают?

Пестун объяснял ему, что он будет учиться. Но что такое «учиться»? Он не знал, а когда спросил пестуна, оказалось, что тот тоже не знает, хотя и был много старше Уна.

Только через некоторое время он обнаружил, что это очень приятный процесс — чрезвычайно приятный, хотя и не без своих отрицательных сторон.

Сперва его руководителем стал Жесткий, который первым назвал его «левый». Этот Жесткий научил его воспринимать смысл волновых записей, и вскоре то, что прежде казалось ему недоступным для понимания кодом, превратилось в слова — такие же осмысленные и понятные, как те, которые он производил с помощью своих вибраций.

Но затем первый Жесткий перестал появляться, и его сменил другой. Ун не сразу заметил, что у него другой руководитель (в те ранние дни все Жесткие казались ему одинаковыми, и он не умел различать их голоса). Но потом он все-таки разобрал, что это другой Жесткий. Мало-помалу он уверился в своем открытии и почувствовал страх. Такая замена была непонятной, а потому пугала. В конце концов он собрался с духом и спросил:

«Где мой руководитель, Жесткий-ру?»

«Гамалдан?.. Он больше не будет руководить тобой, левый».

Ун на минуту утратил дар речи. Затем он все-таки сказал:

«Но ведь Жесткие не переходят...» — он не решился закончить эту фразу.

Новый Жесткий промолчал и ничего не объяснил.

И так бывало всегда. В дальнейшем Ун убедился, что Жесткие избегают говорить о себе. Обо всем остальном они рассказывали охотно и подробно. Но о себе — ничего.

Некоторые факты в конце концов убедили Уна, что Жесткие тоже переходят, что они не бессмертны (хотя большинство Мягких было твердо уверено в обратном). Но Жесткие хранили молчание. Иногда Ун и другие рационалы-ученики обсуждали это между собой — неуверенно, боязливо. Каждый подмечал что-то, что, казалось, неопровержимо свидетельствовало о бренности Жестких, и все они думали: «Неужели?», но избегали очевидного вывода и торопились переменить тему.

Жесткие как будто были равнодушны к тому, что молодые рационалы подмечают свидетельства их бренности. Они и не думали их скрывать. Но сами об этом никогда не говорили. А если их об этом спрашивали прямо (что порой оказывалось неизбежным), они ничего не отвечали — ни «да», ни «нет».

Однако, если они переходят, значит, они должны и рождаться, но и об этом от них нельзя было ничего узнать, и Ун ни разу не видел крошки-Жесткого.

Ун полагал, что Жесткие получают энергию от камней, а не от Солнца — вернее, что они вводят в свое тело черный каменный порошок. И так думал не он один. Но другие ученики сердито отказывались верить этому. Однако прийти к окончательному выводу было нельзя, потому что никто из них своими глазами не видел, как едят Жесткие, а те хранили молчание.

В конце концов Ун привык к этой сдержанности как к неотъемлемому их свойству. Возможно, размышлял он, причиной тут индивидуальность Жестких — то, что они не создают триад. Из-за этого они словно окружают себя оболочкой скрытности.

А потом Ун узнал такие важные и серьезные вещи, что они совсем заслонили от него загадки жизни Жестких. Например, он узнал, что мир сжимается...

уменьшается...

Это сказал ему Лостен, его новый руководитель.

Ун задал вопрос о пустующих пещерах, которые бесконечными анфиладами уходили в самые недра мира, и Лостен, казалось, был доволен.

«Ты побаивался спросить об этом, Ун?»

(Теперь он был Ун, а не просто один из бесчисленных левых. Он всякий раз испытывал гордость, когда какой-нибудь Жесткий называл его по имени. А таких было немало. Ун усваивал звания с поразительной легкостью, и обращение по имени подчеркивало его исключительность. Лостен не раз упоминал, как он доволен тем, что Ун занимается именно у него.)

После некоторых колебаний Ун признался, что ему действительно было страшно спросить. Признаваться в недостатках Жестким было легче, чем однокашникам-рационалам, и куда легче, чем Тритту... Нет, Тритту он вообще не признался бы... (Разговор этот происходил в то время, когда Два еще не стала членом их триады.)

«Так почему же ты спросил?»

Ун снова заколебался, но потом все-таки сказал медленно:

«Я боюсь небитаемых пещер, потому что, когда я был маленьким, мне рассказывали, будто они полны всяких ужасов. Но по собственному опыту я этого не знаю. Мне известно лишь то, что мне рассказывали другие дети, которые тоже по собственному опыту знать этого не могли. Я хочу знать о них правду, и желание это выросло настолько, что любопытство во мне теперь пересиливает страх».

Лостен как будто был доволен.

«Очень хорошо! Любопытство — полезное чувство, а страх пользы не приносит. Твое внутреннее развитие, Ун, не оставляет желать ничего лучшего. И помни: твое внутреннее развитие — вот что в конечном счете важнее всего. А наша помощь играет второстепенную роль. Раз ты хочешь узнать, то мне легко будет объяснить, что небитаемые пещеры действительно небитаемы. Они пусты. В них нет ничего, кроме ненужных вещей, оставленных там в прошлые времена».

«Кем оставленных, Жесткий-ру?»

Эту официально-почтительную форму обращения Ун теперь употреблял лишь в тех случаях, когда вдруг

ощущал, насколько больше его Лостен осведомлен в том или ином вопросе.

«Теми, кто жил в них в прошлые времена. Множество циклов тому назад мир населяли сотни тысяч Жестких и миллионы Мягких. Нас стало гораздо меньше, Ун, чем было когда-то. Всего триста Жестких и менее десяти тысяч Мягких».

«Почему?» — Ун был потрясен. (Жестких осталось всего триста! Почти прямое признание, что Жесткие тоже переходят... но задумываться об этом пока не время.)

«Потому что энергии становится все меньше. Солнце остывает. И с каждым циклом становится все труднее жить и возвращать детей».

(А это разве не значит, что Жесткие тоже возвращают детей? И еще одно: следовательно, Жесткие также получают пищу от Солнца, а не из камней. Но и эти мысли Ун решил обдумать после.)

«Так будет продолжаться и дальше?» — спросил Ун.

«Да, пока Солнце совсем не истощится и не перестанет давать пищу».

«Значит ли это, что мы все перейдем? И Жесткие, и Мягкие?»

«А можно ли сделать иной вывод?»

«Но нельзя же допустить, чтобы мы все перешли. Если нам нужна энергия, а Солнце истощается, так надо найти другие источники. Другие звезды».

«Видишь ли, Ун, остальные звезды тоже истощаются. Наша вселенная приближается к своему концу».

«А мы можем получать пищу только от звезд? Других источников энергии не существует?»

«Нет. Конец наступает для всех источников энергии по всей вселенной».

Ун недовольно обдумал это, а потом сказал:

«Ну, а другие вселенные? Мы не должны гибнуть только потому, что гибнет наша вселенная».

Он весь пульсировал и с непростительной невежливостью расширился, стал почти прозрачным и заметно выше, чем Жесткий.

Однако Лостен излучил только большое удовольствие. Он сказал:

«Великолепно, левый мой. Об этом необходимо рассказать остальным».

От смущения и радости Ун мгновенно сжался до

нормальных размеров. Ведь еще никто — кроме, конечно, Тритта — не обращался к нему с ласково-доверительным «левый мой».

И вскоре Лостен сам привел к ним Дуа. Ун тогда подумал, нет ли тут связи с их разговором, но со временем оставил эти мысли. Слишком уж часто твердил Тритт, что это ему они обязаны появлением Дуа — кто, как не он, попросил Лостена? И Ун, совсем запутавшись, вовсе перестал обдумывать эту тему.

И вот сейчас он снова идет к Лостену. С тех пор, как он узнал, что вселенная приближается к концу и что (как вскоре выяснилось) Жесткие упорно ищут средства все-таки выжить, прошло много времени. Он уже стал специалистом в самых разных областях науки, и Лостен даже объявил, что физику Ун знает настолько полно, насколько ее вообще способен воспринять Мягкий. А тут новые рационалы достигли возраста обучения, и они с Лостеном виделись теперь все реже и реже.

Лостен занимался с двумя реционалами-подростками в радиационной камере. Он увидел Уна сквозь стеклянную стену и вышел к нему, тщательно закрыв за собой дверь.

— Левый мой! — сказал он, протягивая свои конечности. При виде этого дружеского движения Ун, как и прежде, испытал безрассудное желание сжать их, но сумел сдержаться.— Как поживаешь?

— Я не хочу мешать вам, Лостен-ру.

— Мешать? Эти двое прекрасно позанимаются и сами. Вероятно, они только рады, что я ушел. Мне кажется, им надоедает все время меня слушать.

— Ну, уж этого не может быть,— сказал Ун.— Я всегда готов был слушать вас без конца. И конечно, их ваши объяснения увлекают не меньше.

— Ну-ну, спасибо 'на добром слове. Я часто вижу тебя в библиотеке, и мне говорили, что твои успехи в завершающих занятиях по-прежнему блестящи, но я немножко скучаю без своего лучшего ученика. Как поживает Тритт? Все еще по-пестунски упрям?

— Он с каждым днем становится упрямее. Триада только им и держится.

— А Дуа?

— Дуа? Я ведь искал вас... Вам известно, какая она особенная.

Лостен кивнул.

— Да, я знаю,— сказал он с выражением, которое Ун научился истолковывать как грусть.

Он немного поколебался, а потом решил говорить прямо.

— Лостен-ру,— начал он,— ее привели к нам, к Тритту и ко мне, именно потому, что она особенная?

— А тебя это удивило бы? Ты ведь и сам особенный. И ты не раз говорил мне, что Тритт бывает не таким, как другие пестуны.

— Да,— убежденно сказал Ун.— Он совсем не такой.

— И значит, естественно, что для вашей триады требовалась особенная эмоциональ, не так ли?

— Но ведь особенность бывает разная,— задумчиво сказал Ун.— Некоторые своеобразные привычки Дуа сердят Тритта и тревожат меня. Можно мне с вами посоветоваться?

— Разумеется.

— Она... она избегает синтеза.

Но Лостен слушал невозмутимо, как будто речь шла о самых обычных вещах.

Ун продолжал:

— В тех случаях, когда она соглашается, разреживание ей как будто приятно не меньше, чем нам, и все-таки соглашается она очень редко.

— А что ищет в синтезе Тритт? — спросил Лостен.— Помимо приятного ощущения от разреживания? Что важно для него?

— Дети, конечно,— ответил Ун.— Я им рад, и Дуа тоже, но ведь Тритт — пестун. Вам это понятно? (Уну вдруг показалось, что Лостен неспособен уловить все тонкости внутренних взаимоотношений триады.)

— В какой-то мере,— ответил Лостен.— Следовательно, насколько я могу судить, Тритт получает от синтеза нечто большее, чем просто удовольствие. А как ты сам? Чем тебя привлекает синтез?

Ун задумался.

— По-моему, вы это знаете. Он дает мне своего рода интеллектуальную стимуляцию.

— Да, я знаю. Но мне нужно было проверить, насколько ты отдаешь себе в этом отчет. Я хотел убедиться, помнишь ли ты. Ведь ты не раз говорил мне, как, выходя из синтезированного состояния, которое сопряжено с загадочной и полной утратой ощущения

времени — и, по правде сказать, ты действительно исчезал на довольно долгие сроки, — ты обнаруживал, что вопросы, прежде трудные и неразрешимые, вдруг стали ясными и понятными, что твои знания расширились.

— Мой интеллект словно бы оставался активным и на протяжении этого интервала полной утраты сознания, — сказал Ун. — У меня создается впечатление, будто это время, хотя я не замечал его и не ощущал собственного существования, было мне необходимо и давало мне возможность сосредоточиться на чисто умственных процессах, от которых меня ничто не отвлекало, как случается при нормальных обстоятельствах.

— Да, — согласился Лостен. — Когда ты снова являлся ко мне, твое мышление словно бы совершало качественный скачок. Для вас, рационалов, это обычно, хотя нельзя не признать, что никто еще не развивался такими гигантскими скачками, как ты. Я совершенно искренне считаю, что за всю историю в мире не было другого такого рационала.

— Нет, правда? — пробормотал Ун, стараясь удержать свою радость в пристойных границах.

— Впрочем, я могу и ошибаться... — Лостена как будто развеселила внезапность, с какой Ун перестал мерцать, — но пока оставим это. Суть в том, что тебе, как и Тритту, синтез дает что-то сверх самого синтеза.

— Да. Безусловно.

— А что получает от синтеза Дуа — сверху самого синтеза?

Наступило долгое молчание.

— Не знаю, — сказал наконец Ун.

— И ты ее не спрашивал?

— Нет.

— В таком случае, — продолжал Лостен, — если для тебя и Тритта синтез — не самоцель, но в какой-то мере лишь средство, а для Дуа он не приносит ничего дополнительного, то и привлекать ее он должен меньше, чем вас.

— Но ведь другие эмоционали... — начал Ун, оправдываясь.

— Другие эмоционали не похожи на Дуа. Ты сам не раз говорил мне это и, по-моему, с гордостью.

Уну стало стыдно.

— Мне казалось, что причина не в этом.

— А в чем же?

— Это очень трудно объяснить. Мы, как члены триады, знаем друг друга, ощущаем друг друга и в какой-то мере представляем собой три части, из которых складывается единая личность. Личность неясная, которая то вырисовывается, словно в дымке, то снова исчезает. Почти всегда это происходит где-то за гранью сознания. Если мы стараемся сосредоточиться и понять, все сразу как бы расплывается, не оставляя сколько-нибудь четкого образа. Мы...— Ун растерянно помолчал.— Очень трудно объяснить триаду тому, кто...

— Но все-таки я попытаюсь понять. Тебе кажется, что ты уловил какие-то тайные мысли Дуа? То, что она хотела бы скрыть от вас?

— Если бы я знал! Но это лишь смутное впечатление, которое порой теплится на самой периферии моего сознания.

— Ну, и?..

— Иногда мне кажется, что Дуа просто не хочет возвращать крошку-эмоциональ.

Лостен внимательно посмотрел на него.

— У вас ведь, если не ошибаюсь, пока только двое детей? Крошка-левый и крошка-правый?

— Да, всего двое. Как вы знаете, взрастить эмоциональ очень трудно.

— Я знаю.

— А Дуа и не пытается поглощать необходимое количество энергии. Скорее даже наоборот. У нее всегда находится множество объяснений, но я им не верю. Мне кажется, она почему-то не хочет, чтобы у нас была эмоциональ. Сам я... ну, если Дуа действительно предпочла бы подождать, я предоставил бы решать ей. Но ведь Тритт — пестун, и он настаивает. Ему нужна крошка-эмоциональ. Без нее его потребность заботиться о детях не находит удовлетворения. И я не могу лишать Тритта его права. Даже ради Дуа.

— А если Дуа не хочет взрастить крошку-эмоциональ по какой-нибудь вполне рациональной причине, ты с ней посчитался бы?

— Конечно. Но я, а не Тритт. Для него нет ничего важнее детей.



— Но ты постарался бы убедить его? Уговорить не торопиться?

— Да. Насколько это в моих силах.

— А ты замечал, что Мягкие...— Лостен запнулся в поисках подходящего слова и употребил обычное выражение Мягких: — ...что они практически никогда не переходят до появления детей? Всех трех? Причем эмоциональ обязательно бывает последней?

— Я это знаю,— ответил Ун, недоумевая, почему Лостен решил, что ему могут быть неизвестны столь элементарные сведения.

— Другими словами, появление крошки-эмоциональ означает приближение времени перехода.

— Но ведь не раньше, чем эмоциональ вырастет настолько, чтобы...

— Тем не менее переход правращается в неизбежность. Так, может быть, Дуа не хочет переходить?

— Но это же немисливо, Лостен! Переход — это как синтез: если время для него наступило, он совершается сам собой. Как тут можно хотеть или не хотеть? (Ах да, ведь Жесткие не синтезируются, а потому, возможно, им это непонятно!)

— А что если Дуа решила вообще избежать перехода? Что бы ты сказал тогда?

— Но ведь мы обязательно должны перейти. Если Дуа хочет просто отложить взращивание последнего ребенка, я мог бы уступить ее желанию и, пожалуй, сумел бы уговорить Тритта. Но если она решила вообще не переходить, это недопустимо.

— Почему?

Ун задумался.

— Мне трудно объяснить, Лостен-ру. Но каким-то образом я знаю, что мы обязательно должны перейти. С каждым циклом это мое ощущение растет и крепнет. Иногда мне даже кажется, что я понимаю, в чем тут дело.

— Порой я готов думать, что ты философ, Ун,— сухогато заметил Лостен.— Но давай рассуждать. Когда крошка-эмоциональ появится и подрастет, Тритт выпестует всех положенных ему детей и спокойно примет переход, ощущая, что ему было дано изведать всю полноту жизни. И сам ты примешь переход с удовлетворением, как завершающий этап в твоём стремлении обогащаться все новыми знаниями. А Дуа?

— Я не знаю,— сказал Ун расстроено.— Другие эмоционали всю жизнь только и делают, что болтают друг с другом, и, очевидно, находят в этом какое-то удовольствие. Но Дуа всегда держалась и держится особняком.

— Да, она необычна. И ей совсем ничто не нравится?

— Она любит слушать, как я рассказываю про мои занятия,— пробормотал Ун.

— Не надо стыдиться этого, Ун. Все рационалы рассказывают своим правникам и серединам о своих занятиях. Да, конечно, все вы делаете вид, будто этого никогда не случается, тогда как на самом деле...

— Но Дуа меня слушает, Лостен-ру. По-настоящему.

— В отличие от прочих эмоционалей? Охотно верю. А тебе никогда не казалось, что после синтеза она тоже начинает лучше понимать?

— Пожалуй... Но я как-то не обращал внимания...

— Да, поскольку ты убежден, что эмоционали неспособны разбираться в подобных предметах. Но в Дуа как будто есть многое от рационала.

(Ун взглянул на Лостена с внезапной тревогой. Как-то раз Дуа рассказала ему, какой несчастной чувствовала она себя в детстве. Только один раз: о визгливых выкриках других эмоционалей, о гадком прозвище, которое они ей дали — «олевелая эм». Неужели Лостен каким-то образом узнал про это?.. Но нет — его взгляд, устремленный на Уна, оставался невозмутимым.)

— Мне тоже так казалось. И я горжусь, что это так! — вдруг не выдержал Ун.

— И очень хорошо, что гордишься,— заметил Лостен.— Но почему бы не сказать ей об этом? А если ей нравится пестовать в себе рациональность, так почему бы не помочь ей? Учи ее тому, что знаешь, более систематически. Отвечай на ее вопросы. Или это пороет вашу триаду позором?

— Пусть покрывает!.. И, собственно, что тут позорного? Тритт заявит, что это напрасная трата времени, но я сумею его уговорить.

— Втолкуй ему, что Дуа, если у нее возникнет ощущение полноты жизни, перестанет бояться перехода и скорее согласится взрастить крошку-эмоциональ-

Ун ощутил такую радость, словно можно было больше не опасаться катастрофы, которая уже казалась неминуемой. Он сказал торопливо:

— Вы правы. Я чувствую, что вы правы. Лостенру, вы все понимаете! Раз вы возглавляете Жестких, проект контакта с той вселенной не может потерпеть неудачи!

— Я? — Лостен излучил веселость. — Ты забыл, что сейчас нас возглавляет Эстуолд. Проект многим обязан ему. Без Эстуолда работа почти не продвинулась бы.

— Да, конечно... — Ун немного приуныл. Он еще не видел Эстуолда. И никто из Мягких с ним не встречался, хотя некоторые и утверждали, будто видели его издали. Эстуолд был новый Жесткий. Новый в том смысле, что Ун в детстве ни разу не слышал его имени. А ведь это скорее всего означало, что Эстуолд — молодой Жесткий и был крошкой-Жестким, когда Ун был крошкой-Мягким.

Но сейчас Уна это не интересовало. Сейчас он хотел только одного — вернуться домой. Конечно, он не мог коснуться Лостена в знак признательности, но он еще раз горячо поблагодарил его и радостно поспешил назад.

Радость его была отчасти эгоистичной. Ее порожидала не только надежда взрастить крошку-эмоциональ и не только мысль о том, как будет доволен Тритт. Даже сознание, что Дуа обретет полноту жизни, было не главным. В эти минуты он с восторгом предвкушал то, что ждало его самого. Он будет учить! И ведь ни один из остальных рационалов не может даже мечтать о подобном счастье! В чьей еще триаде есть такая эмоциональ, как Дуа?

Если только Тритт сумеет понять, что это необходимо, все будет чудесно. Надо поговорить с Триттом, убедить его набраться терпения.

## 2в

Тритт чувствовал, что больше терпеть нельзя. Да, он не понимает, почему Дуа поступает так, а не иначе. Он и не хочет ничего понимать. Его это не интересует. Откуда ему знать, почему эмоционали ведут себя так, как они себя ведут! А Дуа к тому же и ведет себя не так, как они.

Она никогда не думает о важном. Она любит смотреть на Солнце. А сама рассеивается до того, что свет и пища проходят сквозь нее. И объясняет, что так красивее. Но ведь это неважно. Важно есть досыта. И при чем тут красота? Да и вообще — что такое красота?

И с синтезом она все время что-то придумывает. Один раз даже сказала: «Давайте обсудим, что, собственно, происходит. Мы ведь никогда не говорим и даже не думаем про это».

А Ун твердит одно: «Не мешай ей, Тритт. Так лучше».

Ун чересчур уж терпеливый. Только и знает, что повторять — не надо торопиться, надо подождать, и все будет хорошо. Или говорит, что ему нужно обдумать вопрос.

А что значит «обдумать вопрос»? Неизвестно. То есть это значит, что Ун ничего делать не станет.

Вот как было тогда с Дуа. Ун и сейчас бы еще обдумывал вопрос. А он, Тритт, пошел и сказал, что им нужна эмоциональ. Вот как надо.

А теперь Ун говорит, что Дуа надо оставить в покое, и ничего не делает. А как же крошка-эмоциональ? Самое-самое важное? Ну ладно, раз Ун хочет обдумывать вопрос, тогда Тритт сам возьмется за дело.

И он уже взялся. Пока эти мысли мелькали в его сознании, он все продвигался и продвигался по длинному коридору и только сейчас заметил, какой большой путь уже проделал. Может, это и есть «обдумывать вопрос»? Нет, он не будет бояться. Он не повернет назад.

Тритт осторожно огляделся. Да, это дорога к пещерам Жестких. Скоро он поведет по ней своего левенького. Ун как-то показал ему эту дорогу.

Он не знал, что будет делать, когда доберется туда. Но страха он не чувствовал. Ему нужна крошка-эмоциональ. И Жесткие позаботятся, чтобы она у него была. Привели же они Дуа, когда он попросил!

Но только кого просить? Первого Жесткого, который ему встретится? Нет, он ведь уже все решил. Он же помнит имя. Он скажет его и будет говорить с тем Жестким, которого так зовут.

И он помнит не только имя. Он даже помнит, как услышал это имя в первый раз. Это случилось, когда

левенький впервые нарочно изменил свою форму. (Какой это был день! «Ун, скорее! Аннис собрался в овал и стал совсем твердым! Сам! Дуа, да посмотри же!» И они примчались. Аннис был у них тогда один. Им ведь столько времени пришлось ждать второго! Они примчались, а левенький как раз уплощился в уголке. Он закручивал края и расползался по своей постельке, словно жидкий. Ун сразу ушел, потому что ему было некогда. А Дуа сказала: «Ничего, Тритт, он сейчас опять это сделает!» Они ждали и ждали, но Аннис больше не пожелал овалиться.)

Тритт тогда обиделся, что Ун не захотел ждать. Он бы его выбрал, но Ун выглядел таким усталым! Его овоид был весь покрыт морщинками, а он даже не пробовал их разглядить. И Тритт встревожился: «Случилось что-нибудь плохое, Ун?»

«Просто у меня был тяжелый день, и, боюсь, до следующего синтеза я так и не сумею разобраться с дифференциальными уравнениями». (Тритт не был уверен, верно ли он запомнил жесткие слова. Во всяком случае, Ун сказал что-то в этом роде. Ун все время говорил жесткие слова.)

«Ты хочешь синтезироваться сейчас?»

«Ничего не выйдет. Я как раз видел, что Дуа отправилась на поверхность, а ты знаешь, она не любит, чтобы мы уводили ее оттуда. Время терпит. И еще вот что — появился новый Жесткий».

«Новый Жесткий?» — повторил Тритт без всякого интереса.

Ему вообще не нравилось, что Ун всегда ищет общества Жестких. Ни один из рационалов, живущих по соседству, не занимался с таким усердием тем, что Ун называл «образованием». Это было нечестно. Ун думает только об образовании. Дуа думает только о том, чтобы бродить одной по поверхности. И никто, кроме Тритта, не думает о триаде и не заботится о ней.

«Его зовут Эстуолд», — сказал Ун.

«Эстуолд?» — Тритту вдруг стало чуточку интересно. Может быть, потому, что он очень старательно настраивался на чувства Уна.

«Я его еще не видел, но они только о нем и говорят, — глаза Уна уплощились, как бывало всегда, когда он думал о своем. — Благодаря ему у них уже есть новое изобретение».

«А что это такое?»

«Позитронный На... Ты не поймешь, Тритт. Это одна новая вещь, которой обзавелись Жесткие. Она революционизирует весь мир».

«А что это такое — революционизирует?»

«Все станет другим».

Тритт сразу встревожился.

«Не надо, чтобы Жесткие все делали другим».

«Они все сделают лучше. Другое вовсе не обязательно значит плохое. Ну, во всяком случае, это придумал Эстуолд. Он удивительно умен. Такое у меня чувство».

«А почему он тебе не нравится?»

«Я этого не говорил».

«Но ты ощущаешься так, словно он тебе не нравится».

«Ничего подобного, Тритт. Просто... ну, просто...— Ун засмеялся.— Мне завидно. Жесткие настолько умны, что ни один Мягкий не может и мечтать с ними сравниться, но я с этим свыкся — ведь Лостен постоянно повторяет мне, что я удивительно умен... наверное, он имел в виду — для Мягкого. А теперь появился Эстуолд, и даже Лостен не помнит себя от восхищения. А я — ничто, пустое место».

Тритт выпятил переднюю плоскость, чтобы коснуться Уна, чтобы напомнить ему, что он не один. Ун посмотрел на него и улыбнулся.

«Но все это глупости. Как бы ни были умны Жесткие, а Тритта ни у одного из них нет!»

Потом они все-таки отправились искать Дуа. И надо же так случиться — она как раз кончила свои блуждания и сама спускалась вниз! Синтез получился очень полный, хотя длился всего один день. Тритту тогда было не до синтезов. Он боялся надолго отлучиться от маленького Анниса, хотя за ним, конечно, в это время присматривали другие пестуны.

После этого Ун время от времени упоминал про Эстуолда. Только он всегда называл его просто Новый, даже когда прошло уже много дней. Сам он его еще ни разу не видел. «Мне кажется, я его бессознательно избегаю,— сказал он как-то, когда с ним была Дуа.— Потому что он слишком хорошо осведомлен о новом изобретении. Я не люблю получать готовые сведения, гораздо интереснее самому все узнавать».

«Про Позитронный Насос?» — спросила тогда Дуа.

Еще одна ее странность, с раздражением подумал Тритт. Дуа умела выговаривать жесткие слова не хуже самого Уна. А эмоционали это не полагается.

И Тритт решил попросить Эстуолда. Ведь Ун говорил, что он удивительно умный. А раз Ун его не видал, Эстуолд уже не сможет сказать: «Я обсудил это с Уном, Тритт. Ты напрасно беспокоишься».

Все почему-то считают, что говорить с рационалом — значит говорить с триадой. А на пестунов никто даже внимания не обращает. Но уж теперь придется все-таки обратиться!

Он уже двигался внутри Жестких пещер, и вдруг его поразила странность всего того, что было вокруг. Он не видел ничего привычного. Все здесь было чужим, неправильным и пугало своей непонятностью. Но он подумал, что ему надо поговорить с Эстуолдом, и страх уменьшился. «Мне нужна крошка-серединка», — повторил он про себя и собрался с силами настолько, что смог двигаться дальше.

В конце концов он увидел Жесткого. Только одного. Он что-то делал. Нагибался над чем-то и что-то делал. Ун однажды сказал ему, что Жесткие всегда работают над своими... ну, над этими. Тритт не помнил, над чем, да и помнить не хотел.

Он приблизился к Жесткому ровным движением и остановился.

— Жесткий-ру! — сказал он.

Жесткий посмотрел на него, и воздух между ними завибрировал. Тритт вспомнил, как Ун рассказывал, что воздух всегда вибрирует, когда Жесткие говорят между собой. Но тут Жесткий словно бы, наконец, увидел Тритта по-настоящему и сказал:

— Да это же правый! Что ты тут делаешь? Ты привел своего левого? Разве семестр начинается сегодня?

Тритт и не старался понять, о чем говорит Жесткий. Он спросил:

— Где я могу найти Эстуолда, руководитель?

— Кого-кого?

— Эстуолда.

Жесткий долго молчал, а потом сказал:

— А какое у тебя дело к Эстуолду, правый?

Тритт упрямо посмотрел на него.

— Мне надо поговорить с ним об очень важном. Вы и есть Эстуолд, Жесткий-ру?

— Нет... А как тебя зовут, правый?

— Тритт, Жесткий-ру.

— А-а! Ты ведь правый в триаде Уна?

— Да.

Голос Жесткого словно стал мягче.

— Боюсь, ты сейчас не сможешь повидать Эстуолда. Его тут нет. Но, может быть, ты захочешь поговорить с кем-нибудь другим?

Тритт молчал, не зная, что ответить.

Тогда Жесткий сказал:

— Возвращайся домой. Поговори с Уном. Он тебе поможет. Ведь так? Возвращайся домой, правый.

И Жесткий отвернулся. Он, казалось, был занят чем-то, что совсем не касалось Тритта, и Тритт продолжал стоять в нерешительности. Потом он двинулся в другую пещеру, струясь совсем бесшумно. Жесткий даже и не посмотрел в его сторону.

Сначала Тритт не понимал, почему он свернул именно сюда. Просто он ощущал, что так будет лучше. А потом вдруг все стало ясно. Вокруг была легкая теплота пищи, и незаметно для себя он уже поглощал ее.

Тритт подумал, что вроде бы он и не был голоден — и все-таки он ест и получает от этого удовольствие.

Солнца нигде не было видно. Тритт инстинктивно посмотрел вверх, но, конечно, увидел только потолок пещеры. И тут он подумал, что на поверхности такой вкусной пищи ему ни разу попробовать не приходилось. Он с удивлением посмотрел по сторонам и задумался. А потом удивился еще больше — тому, что задумался.

Ун порой раздражал его, задумываясь о множестве вещей, которые не имели никакой важности. И вот теперь он — Тритт! — вдруг тоже задумался. Но ведь он задумался об очень важной вещи. Внезапно ему стало ясно, до чего она важная. На мгновение весь замерцав, он понял, что не смог бы задуматься, если бы что-то внутри не подсказало ему, насколько это важно.

Он сделал все очень быстро, поражаясь собственной храбрости. А затем отправился обратно. Поравнявшись с Жестким — с тем, которого он спрашивал



про Эстуолда, — он сказал:

— Я возвращаюсь домой, Жесткий-ру.

Жесткий ответил что-то невнятное. Он по-прежнему делал что-то, наклонялся над чем-то, занимался глупостями и не замечал самого важного.

«Если Жесткие действительно так могущественны и умны, — подумал Тритт, — то как же они могут быть такими глупыми?»

### 3а

Дуа почти незаметно для самой себя направилась в сторону Жестких пещер. Солнце село, а это все-таки была хоть какая-то, но цель. Что угодно, лишь бы оттянуть возвращение домой, где Тритт опять будет ворчать и требовать, а Ун смущенно советовать, не веря в пользу этих советов. К тому же Жесткие пещеры манили ее сами по себе.

Она давно ощущала их притягательную силу — собственно говоря с тех пор, как перестала быть крошкой — и теперь уже больше не могла притворяться перед собой, будто ничего подобного нет. Эмоционалям не полагалось испытывать подобные влечения. Правда, у иных из них в детстве проскальзывали такие наклонности (теперь Дуа была уже достаточно взрослой и опытной, чтобы понимать это), но увлечение проходило само собой, а если оно оказывалось слишком сильным, то его быстро гасили.

Впрочем, когда она сама была крошкой, она упрямо продолжала интересоваться и миром, и Солнцем, и пещерами, и... ну, всем, чем только возможно, и ее пестун все чаще повторял: «Ты не такая, как все, Дуа моя. Ты странная серединка. Что с тобой будет дальше?»

Сначала она никак не могла взять в толк, почему узнавать новое значит быть странной и не такой, как другие. Но очень скоро убедилась, что пестун просто неспособен отвечать на ее вопросы, и однажды попросила своего левого породителя объяснить ей что-то. А он сказал только — и не с ласковым недоумением, как пестун, но резко, почти грубо: «Зачем ты об этом спрашиваешь, Дуа?», и поглядел на нее испытующе и строго.

Она в испуге ускользнула и больше никогда не задавала ему вопросов.

А потом настал день, когда другая мальнькая эмоциональ, ее сверстница, взвизгнула «олевелая эм!» после того, как она сказала... Дуа уже не помнила, что она тогда сказала, но в тот момент это представлялось ей вполне естественным. Она растерялась, ей почему-то стало стыдно, и она спросила у своего левого брата, который был гораздо старше ее, что такое «олевелая эм». Он замкнулся в себе, смутился — смущение она восприняла очень четко — и пробормотал: «Не знаю», хотя ей было ясно, что он это прекрасно знает.

Поразмыслив, она пошла к своему пестуну и спросила: «Я олевелая эм, папочка?»

Он сказал: «А кто тебя так назвал, Дуа? Не надо повторять нехорошие слова».

Она обвинилась вокруг его ближнего уголка, немножко подумала и сказала:

«А это очень нехорошо?»

«С возрастом у тебя это пройдет», — сказал он и выпятился так, что она начала раскачиваться и вибрировать. Она всегда очень любила эту игру, но на этот раз ей не захотелось играть — ведь нетрудно было догадаться, что, в сущности, он ничего не ответил. Она заструилась прочь, раздумывая над его словами. «С возрастом у тебя это пройдет». Значит, сейчас у нее «это» есть. Но что «это»?

Даже тогда у нее не было настоящих подруг среди эмоционалей. Они любили перешептываться и хихикать, а она предпочитала струиться по каменным обломкам, которые нравились ей своей зазубренностью. Но некоторые из ее сверстниц-середин относились к ней без враждебности и не так ее раздражали. Например, Дораль. Она была, конечно, не умнее остальных, но зато от ее болтовни иногда становилось весело. (Дораль, когда выросла, вошла в триаду с правым братом Дуа и очень молодым левым из другого пещерного комплекса — этот левый показался Дуа не слишком симпатичным. Затем Дораль взрастила крошку-левого и почти сразу же — крошку-правого, а за ними через самый короткий промежуток последовала крошка-серединка. Сама Дораль стала теперь такой плотной, что казалось, будто в их триаде два пестуна, и Дуа не понимала, как они вообще могут синтезироваться. И тем не менее Тритт все чаще многозначительно говорил при ней о том, какую замечательную триаду помогла

создать Дораль.)

Как-то, когда они с Доралью сидели вдвоем, Дуа шепнула:

«Дораль, а ты не знаешь, что такое олевелая эм?»

Дораль захихикала, собралась в комок, словно стараясь стать как можно незаметнее, и ответила: «Это эмоциональ, которая держится, точно рационал. Ну, знаешь, как левый. Поняла? «Олевелая эм» — это значит «левая эмоциональ». Поняла?»

Разумеется, Дуа поняла. Стоило немножко подумать, и это стало очевидным. Она бы и сама разобралась, если бы могла вообразить подобное. Она спросила:

«А ты откуда знаешь?»

«А мне говорили старшие эмоционали», — вещество Дорали закружилась, и Дуа почувствовала, что ей это почему-то неприятно.

«Это неприлично!» — добавила Дораль.

«Почему?»

«Ну, потому что неприлично. Эмоционали не должны вести себя, как рационалы».

Прежде Дуа вообще не задумывалась над такой возможностью, но теперь она поразмыслила и спросила:

«Почему не должны?»

«А потому! И знаешь, что еще неприлично?»

Дуа почувствовала невольное любопытство.

«Что?»

Дораль ничего не ответила, но внезапно часть ее резко расширилась и задела Дуа, которая от неожиданности не успела втянуться. Ей стало неприятно, она сжалась и сказала:

«Не надо!»

«А знаешь, что еще неприлично? Можно забраться в камень!»

«Нет, нельзя», — заявила Дуа. Конечно, глупо было так говорить, ведь Дуа сама нередко забиралась во внешние слои камней, и ей это нравилось. Но хихиканье Дорали так ее уязвило, что она почувствовала гадливость и тут же убедила себя, что ничего подобного не бывает.

«Нет, можно. Это называется камнеедство. Эмоционали могут залезать в камни, когда захотят. А левые и правые — только пока они крошки. Они, когда

вырастут, смешиваются между собой, а с камнями не могут».

«Я тебе не верю! Ты все выдумала!»

«Да нет же! Ты знаешь Димиту?»

«Не знаю».

«А ты вспомни. Ну, такая, с уплотненным углом из Пещеры В».

«Та, которая струится как-то боком?»

«Ага. Это ей уголок мешает. Ну, так она один раз залезла в камень вся целиком — только уголок торчал наружу. А ее левый брат все видел и рассказал пестуну. Что ей за это было! С тех пор она и правда от камней шарахается».

Дуа тогда ушла встревоженная и расстроенная. После этого они с Доралью долгое время вообще не разговаривали, да и потом их полудружеские отношения не возобновились. Но ее любопытство росло и росло.

Любопытство? Почему бы прямо не сказать — «оле-велость»?

Однажды, убедившись, что пестуна поблизости нет, она проникла в камень — потихоньку и совсем немножко. Она уже позабыла, как это бывало в раннем детстве. Но, кажется, тогда она так глубоко все-таки не забиралась. Ее пронизывала приятная теплота, однако, выбравшись наружу, она испытала такое чувство, будто камень оставил на ней след и теперь все догадуются, чем она занималась.

Тем не менее она продолжала свои попытки, с каждым разом все более смело, и совсем перестала внутренне смущаться. Правда, по-настоящему глубоко в камень она никогда не забиралась.

В конце концов пестун поймал ее и выбралил. После этого она стала более осторожной. Но теперь она была старше и знала, что ничего особенного в ее поведении нет — как бы ни хихикала Дораль, а почти все эмоционали лазали в камни, причем некоторые открыто этим хвастали.

С возрастом, однако, эта привычка исчезала, и, насколько Дуа знала, ни одна из ее сверстниц не вспоминала детские проказы после того, как вступала в триаду. Она же — и это было ее заветной тайной, которой она не делилась ни с кем, — раза два позволила себе погрузиться в камень и после вступления в триаду. (Оба раза у нее мелькала мысль — а что, если узнает

Тритт?.. Такая перспектива не сулила ничего хорошего, и у нее портилось настроение.)

Она находила для себя неясное оправдание в том, что ее сверстницы смеялись над ней и дразнили. Вопль «олевелая эм!» преследовал ее повсюду, внушал ей ощущение неполноценности и стыда. В ее жизни наступил период, когда она начала прятаться, лишь бы не слышать этой клички. Вот тогда-то в ней окончательно окрепла любовь к одиночеству. Оставаясь одна, она находила утешение в камнях. Камнеедством, прилично оно или нет, заниматься можно было только в одиночку, а ведь они обрекали ее на одиночество.

Во всяком случае, так она убеждала себя.

Один раз она попыталась ответить им тем же и закричала дразнившим ее эмоционалям:

«А вы все — оправелые эм, оправелые, оправелые!»

Но они только засмеялись, и Дуа, потерпев поражение, ускользнула от них совсем расстроенная. Но ведь она сказала правду! Когда эмоционали достигали триадного возраста, они начинали интересоваться крошками и колыхались вокруг них совсем по-пестунски, а это Дуа находила отвратительным. Сама она никогда подобного интереса не испытывала. Крошки — это крошки, и опекать их должны правые братья.

Дуа становилась старше, и ее перестали дразнить. Тут сыграло известную роль и то, что она сохраняла юную разреженную структуру и умела струиться, как-то по-особенному матово клубясь — ни у одной из ее сверстниц это не получалось. А уж когда левые и правые начали проявлять к ней все более живой интерес, остальные эмоционали быстро обнаружили, что их насмешки обращаются против них же самих.

И тем не менее... тем не менее теперь, когда никто не посмел бы говорить с Дуа пренебрежительно (ведь всем пещерам было известно, что Ун — самый выдающийся рационал своего поколения и что Дуа — середина его триады), именно теперь к ней пришло твердое сознание, что она действительно олевелая эм и останется такой навсегда.

Однако теперь она была убеждена, что ничего неприличного в этом нет — ну, совершенно ничего. И все-таки порой ловила себя на мысли, что ей лучше было бы появиться на свет рационалом, и вся сжималась от стыда. Но, может быть, и другие эмоционали

иногда... или хотя бы очень редко... А может быть, именно поэтому — хотя бы отчасти — она не хочет взрастить крошку-эмоциональ?.. Потому что она сама — не настоящая эмоциональ... и плохо выполняет свои обязанности по отношению к триаде...

Ун как будто не имел ничего против ее олевелости. И, уж конечно, никогда не употреблял этого слова. Наоборот, ему нравилось, что ей интересна его жизнь, ему нравились ее вопросы — он отвечал на них с удовольствием и радовался, что она понимает его ответы. Он даже защищал ее, когда Тритт начинал ревновать... ну, собственно, не ревновать, а сердиться, потому что их поведение противоречило его узким и незыблемым представлениям о жизни.

Ун иногда водил ее в Жесткие пещеры, стараясь показать, чего он стоит, и открыто гордился тем, что умеет произвести на нее впечатление. И он действительно производил на нее впечатление, хотя больше всего Дуа поражалась не его знаниям и уму — в них она не сомневалась, — а его готовности разделить эти знания с ней. (Она хорошо помнила, с какой резкостью ее левый породитель оборвал ее только потому, что она попыталась задать ему вопрос.) И особенно остро она ощущала свою любовь к Уну именно в те минуты, когда он позволял ей разделять с ним его жизнь. Однако это тоже было свидетельством ее олевелости.

Возможно даже (она вновь и вновь возвращалась к этой мысли), что именно олевелость сближала ее с Уном, отдаляя от Тритта, и, наверное, именно поэтому упрямая узость правника была ей так неприятна. Ун никогда не выражал своего отношения к такому необычному положению вещей в их триаде, но Тритт, пожалуй, смутно ощущал что-то неладное и, хотя был неспособен понять, в чем дело, все же улавливал достаточно, чтобы чувствовать себя несчастным и не разбираясь в причинах.

Когда она впервые попала в Жесткие пещеры, ей довелось услышать разговор двух Жестких. Конечно, тогда она не поняла, что они разговаривают. Просто воздух вибрировал очень сильно и неравномерно, отчего у нее где-то глубоко внутри возник неприятный зуд. Она даже начала разреживаться, чтобы вибрации проходили насквозь, не задевая ее. Но тут Ун сказал:

«Это они разговаривают».

И поспешил добавить, предвосхищая ее недоуменный вопрос:

«По-своему. Мы так не можем. Но они друг друга понимают».

Дуа сразу сумела уловить это совершенно непривычное для нее представление — и радость познания нового стала еще больше потому, что Ун был очень доволен ее сообразительностью. (Он как-то сказал: «У всех рационалов, которых я знаю, эмоционали — совершенные дурочки. Мне удивительно повезло». А она ответила: «Но другим рационалам нравятся как раз дурочки. Почему ты не такой, как они?» Ун не стал отрицать, что другим рационалам нравятся дурочки, а просто заметил: «Я никогда над этим не размышлял, и, на мой взгляд, это не стоит размышлений. Просто я горжусь тобой и я горд своей гордостью».)

Она спросила: «А ты понимаешь, что говорят Жесткие, когда они говорят по-своему?»

«Не совсем,— ответил Ун.— Я не успеваю воспринимать различия в колебаниях. Иногда мне удается уловить ощущение общего смысла их речи — особенно после синтеза. Но далеко не всегда. Улавливать ощущения — это, собственно, свойство эмоционалей, но беда в том, что эмоциональ неспособна воспринять смысл того ощущения, которое она улавливает. А вот ты, пожалуй, сумела бы».

Дуа застеснялась.

«Я бы побоялась. А вдруг им это не понравится?»

«Ну, попробуй! Мне очень интересно знать, получится ли у тебя что-нибудь. Проверь, сможешь ли ты понять, о чем они говорят».

«Ты правда этого хочешь?»

«Правда. Если они поймают тебя на этом и рассердятся, я скажу, что это я тебе велел».

«Обещаешь?»

«Обещаю».

Сама почти вибрируя, Дуа рискнула настроиться на Жестких и замерла в полной пассивности, которая дает возможность воспринимать чужие ощущения.

Она сказала:

«Возбуждение! Они волнуются. Из-за кого-то нового».

«Может быть, это Эстуолд»,— заметил Ун.

Так Дуа в первый раз услышала это имя. Она сказала:

«Как странно!»

«Что странно?»

«Я ощущаю солнце. Очень большое солнце».

Ун стал серьезным.

«Да, они могут говорить про это».

«Но как же так? Где оно?»

Тут Жесткие заметили их, подошли поближе и ласково поздоровались, выговаривая слова так, как их выговаривают Мягкие. Дуа ужасно смутилась, и ей стало страшно — а вдруг они знают, что она на них настраивалась? Но они, даже если и заметили это, ничего ей не сказали.

(Потом Ун объяснил ей, что подсмотреть, как Жесткие разговаривают между собой по-своему, удастся очень редко. Они всегда считаются с присутствием Мягких и, увидев их, тотчас оставляют свою работу. «Они нас любят,— сказал Ун.— И они очень добрые».)

Ун и после этого иногда водил ее в Жесткие пещеры — обычно в те часы, которые Тритт всецело посвящал детям. И не считал нужным сообщать Тритту об этих их прогулках. Тритт непременно заговорил бы о том, что Ун без конца потакает Дуа и она того и гляди вовсе перестанет питаться, а тогда какой же будет толк от синтеза?.. С Триттом невозможно было и двух слов сказать без того, чтобы он так или иначе не упомянул про синтез.

Три раза она отправлялась в Жесткие пещеры совсем одна, хотя и пугалась собственной смелости. Правда, Жесткие, которые ей встречались, всегда были ласковы, или «очень добрые», как выразился Ун. Но они не принимали ее всерьез. Когда она задавала вопросы, они были довольны, но в то же время посмеивались — это она ощущала совершенно ясно. И отвечали так просто, что их слова не содержали никаких сведений. «Это машина, Дуа,— говорили они.— Может быть, Ун сумеет тебе объяснить, что это такое».

Интересно, а был ли среди них Эстуолд? У нее не хватало храбрости спрашивать Жестких, как их зовут. И по имени она знала только Лостена, с которым ее познакомил Ун и о котором она много слышала раньше. Иногда ей казалось, что вот этот Жесткий или вон тот, наверное, и есть Эстуолд. Ун гово-



рил об Эстуолде с величайшим почтением и с некоторой обидой.

Насколько она поняла, Эстуолд был так поглощен чрезвычайно важной работой, что почти никогда не заглядывал в пещеры, куда допускались Мягкие.

Она свела воедино то, о чем ей в разное время общал Ун, и мало-помалу поняла, что мир получает все меньше и меньше пищи. Впрочем, Ун почти никогда не говорил «пища», а только «энергия», объяснив, что так ее называют Жесткие.

Солнце остывало, оно умирало, но Эстуолд открыл, как можно добыть энергию из невероятной дали, которая лежит дальше Солнца, дальше семи звезд, светящихся в темном небе. (Ун как-то объяснил, что семь звезд — это семь солнц, только находящихся очень далеко, и что есть еще много звезд, еще более далеких, а потому их нельзя увидеть. Это услышал Тритт и спросил, зачем нужны звезды, если их нельзя увидеть, а потом заявил, что ничему этому не верит. Ун терпеливо произнес: «Ну, Тритт, оставь». Дуа как раз собиралась сказать примерно то же, что и Тритт, но после этого удержалась и промолчала.)

А теперь получалось, что в будущем энергии станет опять много — и уже навсегда. Пищи будет сколько угодно — как только Эстуолд и другие Жесткие сумеют сделать новую энергию достаточно вкусной.

Всего несколько дней назад она сказала Уну:

«Помнишь, как давным-давно, когда ты в первый раз привел меня в Жесткие пещеры и я настроилась на Жестких, я сказала, что поймала ощущение большого солнца?»

Он не сразу сообразил, о чем она говорит.

«Я что-то не помню. Но продолжай, Дуа. Почему ты об этом заговорила?»

«Я все думаю — ведь это большое солнце и есть источник новой энергии?»

А Ун ответил с радостью:

«Отлично, Дуа! Это не совсем точно, но такая интуиция у эмоционали — это великолепно!»

Дуа, хмуро перебирая все эти воспоминания, медленно двигалась и двигалась вперед. Она добралась до Жестких пещер и только тут заметила, что совсем утратила представление о времени и пространстве. Она уже подумала, что слишком задержалась и, пожалуй,

лучше будет все-таки вернуться домой и вытерпеть неизбежные упреки Тритта, как вдруг... словно причинной этому была мысль о Тритте... она ощутила Тритта совсем рядом.

Ощущение было удивительно сильным, и мелькнувшая было у нее мысль, что она вопреки всякой вероятности уловила его чувство через расстояние, отделяющее ее от домашней пещеры, тут же исчезла. Нет-нет! Он здесь, в Жестких пещерах, неподалеку от нее.

Но что он тут делает? Ищет ее? Собирается бранить ее здесь?! Или ему взбрело на ум пожаловаться Жестким? Нет, уж этого она не вынесет...

Но чувство холодного ужаса тут же угасло, сменившись изумлением. Тритт вовсе не думал о ней. Он не чувствовал ее присутствия. Она воспринимала только всепоглощающую решимость, к которой примешивались робость и страх перед тем, что он намеревался сделать.

Дуа могла бы проникнуть глубже и хотя бы в общих чертах узнать, что он собирается сделать и почему, но ничего подобного ей и на мысль не пришло. Раз уж Тритт не знает, что она тут, важно одно — чтобы он этого так и не узнал.

И она почти инстинктивно совершила то, что всего мгновение назад показалось бы ей невероятным, недопустимым ни при каких обстоятельствах.

Быть может (как она решила позже), все случилось оттого, что совсем недавно она вспоминала свои разговоры с Доралью и детское камнеедство (у камнеедства было сложное взрослое название, но детское смущало ее меньше).

Но как бы то ни было, не отдавая себе отчета в том, что она делает... в том, что уже сделала... Дуа торопливо скользнула в ближайшую стену.

Глубоко внутрь! Вся целиком!

Она ужаснулась своему поступку, но ей тут же стало легче оттого, что ее уловка оказалась не напрасной: Тритт прошел совсем рядом с ней, но в нем ни на миг не возникло даже смутного ощущения, что он мог бы сейчас дотронуться до своей эмоционали.

Впрочем, Дуа уже больше не думала о том, зачем Тритт явился в Жесткие пещеры, ищет он ее или нет.

Она попросту забыла про Тритта.

В это мгновение она не испытывала ничего, кроме всепоглощающего изумления. Ведь даже в детстве она

ни разу не смешивалась с камнем целиком и не встречала эмоционали, которая призналась бы в чем-нибудь подобном (хотя у каждой из них была наготове сплетня именно про такой случай с кем-то из подруг). И уж конечно, ни одна взрослая эмоциональ не проникала в камни целиком — да и не смогла бы, как бы ни старалась. Дуа ведь была удивительно разрежена даже для эмоционали (Ун часто и с гордостью говорил ей это), чему способствовало ее нежелание есть как следует (о чем постоянно твердил Тритт).

Случившееся доказывало степень ее разреженности куда весомее любых упреков правника. Ей стало стыдно, и она почувствовала жалость к Тритту.

Но тут же испытала другой и более мучительный стыд: что если ее обнаружат? Если кто-нибудь увидит, что взрослая эмоциональ...

Вдруг какой-нибудь Жесткий задержится в этой пещере как раз в ту минуту... Нет, никакие силы не заставят ее покинуть камень, если будет хоть малейшая опасность, что ее заметят... Но сколько времени можно оставаться в камне? И что произойдет, если ее обнаружат прямо в нем?

В тот же миг она ощутила Жестких и тут же, сама не зная как, поняла, что они далеко.

Она помедлила, стараясь успокоиться. Камень, окружавший и пронизывавший ее, придавал какую-то тусклость ее восприятию, но не притуплял его. Наоборот, оно даже обострилось. Она по-прежнему ощущала равномерное продвижение Тритта, уходящего все дальше и дальше, — причем так, словно он был рядом. И она воспринимала Жестких, хотя они находились через один пещерный комплекс от нее. Она их словно видела! Каждого в отдельности, каждого на его месте. Она улавливала малейшие оттенки их вибрирующей речи и даже кое-что понимала!

Никогда еще она не воспринимала с такой остротой. Ей даже не грезилось, что можно так воспринимать.

А потому Дуа, хотя она и могла бы сейчас выбраться из камня, твердо зная, что вокруг никого нет и никто ее не увидит, осталась там, где была. Ее удерживало удивление и еще тот странный жаркий восторг, который она испытывала от процесса понимания. Ей хотелось продлить его.

Ее восприимчивость достигла такой степени, что она даже осознала, чем объясняется подобная чувствительность. По словам Уна, после синтеза он начал без труда разбираться в том, что прежде казалось недоступным пониманию. Что-то в периоды синтеза невероятно повышало восприимчивость — поглощение и усвоение убыстрялись и усиливались. Все дело тут в более тесном расположении атомов, объяснял Ун.

Правда, Дуа не знала, что такое «более тесное расположение атомов», но одно было ясно: это состояние наступает при синтезе, а разве то, что происходит с ней сейчас, не похоже на синтез? Ведь она словно синтезировалась с камнем.

При синтезе триады вся совокупность их общей восприимчивости доставалась Уну. Благодаря этому рационал расширял свое понимание, сохраняя его и после окончания синтеза. Но в этом подобии синтеза все сознание принадлежит ей одной. Ведь тут нет никого, кроме нее и камня. И значит, «более тесное расположение атомов» (так ведь?) служит только ей.

Уж не потому ли камнеедство считается гадкой привычкой? Потому, что оно уравнивает эмоционалей с рационалами? Или только она, Дуа, способна на это благодаря своей разреженности (или, быть может, олеветости)?

Но тут Дуа перестала размышлять и только воспринимала, все больше увлекаясь. Она чувствовала, что Тритт возвращается, проходит мимо, удаляется — но ее сознание лишь машинально зарегистрировало все это. И столь же машинально, даже не удивившись, она заметила, что из Жестких пещер той же дорогой уходит Ун. Она настроилась только на Жестких, только на них, и старалась как можно глубже и полнее улавливать смысл того, что воспринимала.

Дуа выбралась из камня лишь много времени спустя. И она уже больше не боялась, что ее могут заметить: ее новая восприимчивость и чувствительность служили надежной гарантией против этого.

Она заструилась домой, поглощенная своими мыслями.

Когда Ун вернулся домой, его там ждал Тритт, но Дуа еще не появлялась. Тем не менее Тритта это, казалось, не волновало. То есть он несомненно был взволнован, но по какой-то другой причине. Его чувства были настолько сильны, что Ун улавливал их с большой четкостью, однако он не стал в них разбираться. Ему нужна была Дуа, и он вдруг поймал себя на том, что присутствие Тритта его сейчас раздражает — только потому, что Тритт не Дуа.

Это его удивило. Ведь от самого себя он не мог скрывать, что из них двоих всегда больше любил Тритта. Разумеется, все члены идеальной триады должны составлять единое целое и относиться друг к другу одинаково, не делая различия даже между собой и остальными двумя. Однако такой триады Ун еще никогда не встречал — и меньше всего к идеалу приближались именно те, кто громко хвастал, что их триада полностью ему соответствует. Один из трех всегда оказывался чуточку в стороне и обычно сознавал это.

Но только не эмоционали! Они оказывали друг другу взаимную внутриадную поддержку в степени, недоступной ни для рационалов, ни для пестунов. Недаром поговорка гласит: «У рационала — руководитель, у пестуна — дети, а у эмоционали — все другие эмоционали».

Эмоционали обсуждали между собой жизнь своих триад, и если какая-нибудь жаловалась на пренебрежение или остальные внушали ей, будто она позволяет помыкать собой, ее отсылали домой с визгливыми наставлениями отвердеть и требовать! А поскольку синтез в значительной мере зависел от эмоционали и ее настроений, левый и правый обычно всячески ей потакали и баловали ее.

Но ведь Дуа была такой неэмоциональной эмоциональю! Ее как будто вовсе не задевало, что Ун и Тритт не так близки с ней, как между собой, а среди эмоционалей у нее не было подруг, которые растолковали бы ей ее права.

Уну нравилось, что она так живо интересуется его занятиями, нравилась ее сосредоточенность и удивительная быстрота понимания, но это была интеллектуальная любовь. А по-настоящему дорог ему был медлительный глупый Тритт, который так хорошо знал свое

место и не вносил в их жизнь ничего, кроме самого нужного, самого главного — спокойной и надежной привычности.

И вот теперь Ун злился на Тритта!

Он спросил:

— Тритт, ты не знаешь, где сейчас Дуа?

Тритт не ответил прямо, а сказал только:

— Я занят. Я с тобой потом поговорю. У меня дела.

— А где дети? Ты что, тоже уходил? В тебе чувствуются следы другого места.

В голосе Тритта появилась явная досада.

— Дети хорошо воспитаны. Они остаются там, где за ними всегда могут приглядеть другие пестуны. Ун, они ведь давно уже не крошки.

Но он ничего не сказал про ощущение «другого места», которое от него исходило.

— Извини. Я просто хотел бы знать, где Дуа.

— А ты бы почаще этого хотел,— сказал Тритт.— Ты ведь все время твердишь, чтобы я оставил ее в покое. Ну, вот и ищи ее сам.

И Тритт удалился в дальнюю часть домашней пещеры.

Ун глядел вслед своему правнику с некоторым удивлением. При других обстоятельствах он непременно постарался бы проанализировать совершенно необычное волнение, которое пробивалось даже сквозь врожденную пестунскую невозмутимость. Что натворил Тритт?

...Но где же все-таки Дуа? С каждой минутой его тревога нарастала, и он тут же забыл про Тритта.

Беспокойство обострило восприимчивость Уна. Среди рационалов было даже принято гордиться низкой чувствительностью. Способность улавливать ощущения не принадлежала к сфере разума, это было преимущественно свойство эмоционалей. И Ун, рационал из рационалов, всегда особенно ценил в себе способность мыслить, а не чувствовать. Тем не менее теперь он как мог широко раскинул свою бедную сеть чувственного восприятия и даже вдруг на мгновение пожалел, что он не эмоциональ и сеть эта так несовершенна.

Однако оказалось, что и она в какой-то мере эффективна. Во всяком случае, он ощутил приближение Дуа на довольно большом (по крайней мере для него) расстоянии и поспешил ей навстречу. Кроме того, с

такого расстояния он острее обычного воспринял ее разреженность. Она была как легкая дымка, не больше...

«Тритт прав,— с внезапной жгучей тревогой подумал Ун.— Надо заставить Дуа питаться, синтезировать — необходимо пробудить в ней интерес к жизни».

Эта мысль настолько завладела им, что он даже не увидел ничего странного в том, как Дуа заструилась вокруг него, словно они были у себя дома, вдали от посторонних глаз. Она говорила:

— Ун, мне необходимо узнать... так много, так много!

Он отстранился — все-таки следовало считаться с приличиями! Но постарался сделать это как можно осторожнее, чтобы Дуа не подумала, будто он недоуолен.

— Пойдем! — сказал он.— Я просто вышел к тебе навстречу. Скажи, что ты хочешь узнать, и я объясню, если знаю сам.

Они быстро двигались к дому, и Ун охотно приспособивался к волнистому струению, обычному для эмоционалей.

Дуа сказала:

— Расскажи мне про другую вселенную. Почему она не такая? И чем она не такая? Расскажи мне все-все.

Дуа совершенно не представляла себе, как много она хочет узнать. Но Ун это себе представлял. Он ощутил невероятное богатство собственных сведений и чуть было не спросил: «Откуда ты узнала про другую вселенную столько, что она тебя заинтересовала?»

Но он удержался. Дуа возвращалась со стороны Жестких пещер. Может быть, с ней разговаривал Лостен, предположив, будто Ун все-таки слишком гордится статусом рационала и не снизойдет до того, чтобы удовлетворить любознательность своей середины.

«Как будто я на это способен!» — подумал Ун с полным сознанием своей ответственности. Не нужно ничего спрашивать. Он просто объяснит ей все, что сможет.

В домашней пещере их хлопотливо встретил Тритт.

— Если хотите разговаривать, так идите в комнату Дуа. У меня тут много дела. Мне нужно присмотреть, чтобы дети привели себя в порядок и сделали все упражнения. Времени синтезироваться у меня нет. И не думайте!

О синтезировании ни Ун, ни Дуа не думали, тем не менее они послушно свернули в комнату Дуа. Дом принадлежит пестуну. Рационалу открыты Жесткие пещеры на нижних уровнях, эмоциональ всегда может отправиться на поверхность. У пестуна же есть только дом. А потому Ун поспешил ответить:

— Хорошо, Тритт, мы не будем тебе мешать.

А Дуа излучила нежность и сказала:

— Мне приятно увидеть тебя, правый мой.

(Ун спросил себя, не объясняется ли ее нежность отчасти тем, что Тритт против обыкновения не стал требовать синтеза. Нельзя отрицать, что Тритт действительно придает синтезу излишнее значение. Другие пестуны далеко не так настойчивы.)

У себя в комнате Дуа вдруг уставилась на кормильник, хотя обычно она старалась даже не смотреть в его сторону.

Установить кормильник придумал Ун. Он знал о существовании подобных приспособлений и объяснил Тритту, что, раз уж Дуа не хочет питаться рядом с другими эмоционалями, можно без всякого труда доставлять солнечную энергию прямо в пещеру — пусть Дуа питается дома.

Тритт пришел в ужас. Никто же так не делает! Все будут смеяться! Триада покроет себя позором! Почему Дуа не хочет вести себя как полагается?

«Конечно, это было бы лучше, Тритт,— сказал тогда Ун.— Но раз уж она не ведет себя как полагается, так почему бы не помочь ей? Что тут, собственно, плохого? Она будет питаться дома, наберется энергии — а от этого станет лучше и ей, и нам,— и, может быть, она даже начнет выходить на поверхность с другими эмоционалями».

Тритт согласился, и даже Дуа согласилась, хотя и после долгих уговоров, но настояла при этом на самой простой конструкции. А потому Уну при конструировании кормильника пришлось ограничиться двумя примитивнейшими стержнями, которые служили электродами и передавали в пещеру солнечную энергию. Они были установлены так, чтобы Дуа могла поместиться между ними. Впрочем, пользовалась она ими очень редко.

Однако на этот раз Дуа долго смотрела на кормильник, а потом сказала:



— Тритт его украсил... Или это ты, Ун?

— Я? Ну конечно нет.

У основания обоих электродов были выложены узоры из цветной глины.

— Наверное, он решил таким способом напомнить, чтобы я не забыла поесть,— заметила Дуа.— А я и правда проголодалась. К тому же, пока я буду есть, Тритт нас перебивать не станет, ведь верно?

— Разумеется,— сказал Ун с глубоким убеждением.— Тритт способен был бы остановить мир, если бы вдруг подумал, что его вращение мешает тебе питаться.

— Ну... я и правда проголодалась,— повторила Дуа.

Уну показалось, что он уловил ощущение виноватости. Из-за Тритта? Из-за того, что она голодна? Но почему Дуа должна чувствовать себя виноватой, если ей захотелось есть? Или она занималась чем-то таким, что поглотило очень много энергии, и теперь испытывает...

Он раздраженно отбросил эти мысли. Избыток рациональности, пожалуй, все-таки не украшает рационала. Несомненно, прослеживание каждой частной идеи наносит ущерб главному. А сейчас главным был разговор с Дуа.

Она расположилась между электродами. Для этого ей пришлось сжаться, и Ун еще отчетливей осознал, какая она маленькая. Тут он понял, что и сам голоден. Он заметил это потому, что это свечение электродов представлялось ему более ярким, чем обычно, а кроме того, он ощущал вкус пищи даже на таком расстоянии, и вкус этот казался ему восхитительным. А ведь, проголодавшись, всегда воспринимаешь вкус пищи острее и на большем расстоянии... Ну, ничего, он поест позже.

— Не молчи, левый мой,— сказала Дуа.— Расскажи мне про ту вселенную. Я хочу знать.

Она приняла (бессознательно?) форму овоида — форму рационала, словно убеждая его говорить с ней, как с рационалом.

— Всего я объяснить не могу,— начал Ун.— То есть научную сторону. У тебя ведь нет нужной подготовки. Но я постараюсь говорить как можно проще и понятнее, а ты слушай и не перебивай. Когда я

кончу, ты скажешь, что для тебя осталось неясным, и тогда я попробую тебе это растолковать. Ну, во-первых, я хочу тебе напомнить, что все на свете состоит из мельчайших частиц, которые называются атомами и в свою очередь состоят из еще более мелких субатомных частиц.

— Да-да! — сказала Дуа. — Благодаря этому мы и можем синтезироваться.

— Совершенно верно. Ведь в действительности мы состоим почти из пустоты. Частицы эти разделены значительными расстояниями, и твои частицы могут перемешиваться с частицами Тритта и моими потому, что каждая структура беспрепятственно входит в пустоты другой структуры. Но вещество все же не распадается, потому что эти крохотные частицы обладают способностью удерживать друг друга даже через разделяющее их расстояние. В систему их объединяют силы притяжения, из которых самая могучая — та, которую мы называем ядерной силой. Она удерживает главные из субатомных частиц в тесных скоплениях, которые располагаются на довольно значительных расстояниях друг от друга, но тем не менее остаются вместе благодаря действию более слабых сил. Тебе это понятно?

— Не все, — ответила Дуа.

— Ничего. Мы вернемся к этому позже... Вещество может существовать в различных состояниях. Оно может быть очень разреженным, как в эмоционалях — как в тебе, Дуа. Или же оно может быть более плотным, как в рационалах и пестунах. Или еще плотнее, как в камнях. Оно может быть и очень сжатым, то есть сгущенным — как в Жестких. Потому-то они и Жесткие. Они состоят сплошь из частиц.

— Значит, в них вовсе нет пустоты? Ты это имеешь в виду?

— Нет, не то чтобы вовсе... — Ун запнулся, подыскивая подходящее объяснение. — В них пустоты много, но гораздо меньше, чем в нас. Частицам обязательно требуется определенное количество пустого пространства, и если они его займут, другие частицы уже не могут в него втиснуться. Если же их вгоняют насильно, возникает боль. Вот почему Жесткие не любят, чтобы мы к ним прикасались. У нас, у Мягких, пустого пространства между частицами больше, чем им требуется, а потому находится место и другим частицам.

Дуа, по-видимому, не могла полностью охватить эту мысль, и Ун заторопился.

— В другой вселенной правила другие. У них ядерная сила слабее, чем у нас. А значит, их частицам требуется больше пустого пространства.

— Почему?

Ун покачал верхним овоидом.

— Потому что... Ну, потому что волновые формы частиц там распространяются дальше. Понятнее я объяснить не могу. Раз ядерная сила слабее, частицам требуется больше пространства, и два отдельных объема вещества неспособны смешиваться с такой же легкостью, как в нашей вселенной.

— А мы можем увидеть ту вселенную?

— О нет! Это невозможно. Мы можем только сделать некоторые выводы из ее основных законов, которые там известны. Однако Жесткие умеют очень многое. Мы научились пересылать туда вещество и получать вещество от них. Мы можем изучать их вещество, понимаешь? И мы создали Позитронный Насос. Ты ведь про него знаешь?

— Ну, ты говорил, что с его помощью мы получаем энергию. Но я не знала, что он работает, потому что существует другая вселенная... А какая она? У них там есть звезды и миры, как у нас?

— Превосходный вопрос, Дуа! — Ун теперь наслаждался ролью учителя даже сильнее, чем раньше, потому что, так сказать, заручился одобрением Жестких. (До сих пор ему все время мешало ощущение, что пытаться объяснять эмоционали подобные вещи не совсем прилично.)

Он продолжал:

— Мы не можем увидеть другую вселенную, но, зная ее законы, можем представить себе, какой она должна быть. Видишь ли, звезды светят благодаря тому, что простые комбинации частиц постепенно преобразуются в более сложные. Мы называем это ядерным слиянием.

— И у них в той вселенной тоже так?

— Да. Но, поскольку ядерная сила у них слабее, слияние происходит гораздо медленнее. Отсюда следует, что звезды в той вселенной должны быть гораздо, гораздо больше, иначе происходящего в них слияния будет недостаточно для того, чтобы они сияли.

В той вселенной звезды величиной с наше Солнце были бы холодными и мертвыми. А если бы наши звезды были больше, то происходящее в них слияние количественно настолько увеличилось бы, что они мгновенно взорвались бы. Отсюда следует, что число наших, маленьких, звезд в нашей вселенной должно в тысячи раз превышать число их, больших, звезд в их вселенной.

— Но у нас же только семь...— начала было Дуа и тут же поправилась.— Ах да, я забыла!

Ун снисходительно улыбнулся. Так легко забыть об остальных неисчислимых звездах, если их можно видеть только с помощью специальных приборов!

— Да, это бывает. Но тебе не скучно меня слушать?

— Совсем нет! — воскликнула Дуа.— Мне очень интересно. Даже пища приобретает какой-то особенно приятный вкус! — и она блаженно заколыхалась между электродами.

Ун обрадовался — он еще никогда не слышал, чтобы Дуа говорила о еде без пренебрежения.

— Разумеется, срок жизни их вселенной много больше, чем нашей,— продолжал он.— Здесь у нас ядерное слияние происходит с такой скоростью, что все частицы должны войти в более сложные соединения за миллион циклов.

— Но ведь есть еще множество других звезд!

— Конечно. Но видишь ли, этот процесс происходит в них во всех одновременно. И вся наша вселенная умирает. В той вселенной, где звезд много меньше, но они гораздо больше по величине, слияние происходит настолько медленнее, что их звезды живут в тысячи, в миллионы раз дольше, чем наши. Впрочем, сравнивать трудно, так как не исключено, что у них и у нас время движется с разной скоростью.— Помолчав, он добавил с неохотой: — Этого я и сам хорошенько не понимаю. Это одно из положений теории Эстуолда, а я ее еще толком не изучал.

— Значит, все это открыл Эстуолд?

— Не все, но многое.

— До чего же чудесно, что мы научились получать пищу из той вселенной,— сказала Дуа.— Ведь теперь уже не страшно, что наше Солнце умрет. Всю необходимую пищу нам даст та вселенная.

— Именно.

— Но ничего плохого не происходит? У меня такое... такое чувство, что не все хорошо.

— Ну,— сказал Ун,— для того, чтобы Позитронный Насос работал, мы передаем вещество то туда, то сюда, и в результате обе вселенные чуть-чуть смешиваются. Наша ядерная сила слегка ослабевает, а потому слияние в нашем Солнце немного замедляется и оно остывает быстрее. Но убыстрение это ничтожно мало, а к тому же мы теперь можем обойтись и без Солнца.

— Нет, мое чувство «что-то плохо» не связано с этим. Но, если ядерная сила становится чуть-чуть слабее, значит, атомы начинают занимать больше пространства — верно? А что же произойдет с синтезированием?

— Оно чуть-чуть затруднится, но пройдут миллионы циклов, прежде чем синтезирование станет по настоящему трудным. Не исключено, что придет день, когда оно окажется вовсе невозможным, и Мягкие вымрут. Однако прежде пройдут миллионы и миллионы циклов, а если мы не будем получать пищу из той вселенной, мы все погибнем от голода гораздо раньше.

— Нет, «что-то плохо» я ощущаю не поэтому...— Дуа говорила все медленнее, потом ее голос замер.

Она изгибалась между электродами, и Ун с радостью думал, что она стала заметно больше и плотнее, как будто его объяснения питали ее не хуже, чем солнечная энергия.

Лостен был прав! Знания приносят ей ощущение полноты жизни! Ун никогда еще не чувствовал в Дуа такой беззаботной упоенности. Она сказала:

— Ун, спасибо тебе, что ты мне все объяснил. Ты — замечательный левник.

— Хочешь, чтобы я продолжал? — польщенно спросил Ун (он был необыкновенно доволен).— Ну, так что еще тебе интересуется?

— Очень-очень многое. Но только не теперь, Ун. А теперь, Ун, теперь... Ты знаешь, чего я хочу?

Ун понял сразу, но он боялся что-нибудь сказать: слишком редко Дуа сама заговаривала о синтезе, и он боялся спугнуть ее настроение. Если бы Тритт не возился с детьми...

Но Тритт уже был в комнате. Неужели он ждал

за дверью?.. Но если и так? Сейчас не время думать об этом.

Дуа заструилась из пространства между электродами, и Ун был ошеломлен ее красотой. Теперь она была между ним и Триттом. Сквозь ее дымку Тритт весь мерцал, и его очертания вспыхивали невероятными красками.

Такого еще никогда не бывало. Никогда!

Ун старался продлить это мгновение, но его вещество атом за атомом уже смешивалось с Дуа, с Триттом, и мысли исчезли, растворились в невероятной, невыразимой радости бытия.

Никогда еще со дня возникновения триады период вневременного бессознательного существования не продолжался так долго.

### Зв

Тритт был доволен. Он получил от синтеза все, чего хотел. Все прошлые не шли с этим ни в какое сравнение. Мысль о том, что произошло, переполняла его ликованием. Но он молчал. Он чувствовал, что говорить об этом не надо.

Ун и Дуа тоже были счастливы. Он это ощущал. И даже дети так и светились.

Но счастливей всех был он, Тритт — а как же иначе?

Он слушал разговоры Уна с Дуа и ничего не понимал. Но теперь это не имело больше никакого значения. Его не задевало, что им как будто вполне достаточно друг друга. У него была своя радость, а потому он слушал с удовольствием.

Как-то Дуа сказала:

— Значит, они действительно пытаются вступить в общение с нами?

(Тритт так и не разобрался, что это были за «они», хотя понял, что «вступать в общение» попросту означает «разговаривать». Почему бы так прямо и не сказать? Иногда ему хотелось вмешаться. Но если он задаст вопрос, Ун ответит только: «Да ну же, Тритт!», а Дуа нетерпеливо заклубится.)

— Несомненно,— ответил Ун.— Жесткие в этом уверены. На веществе, которое мы получаем, иногда есть метки, и Жесткие говорят, что подобные метки вполне могут служить для общения. Сначала Жесткие

даже сами использовали метки, чтобы объяснить тем существам, как сконструировать их часть Позитронного Насоса.

— Интересно, а как выглядят те существа? Ты можешь себе это представить?

— Исходя из законов той вселенной, мы можем установить свойства ее звезд, потому что это просто. Но как установить свойства живых существ? Нет, мы никогда не узнаем, какие они.

— А не могли бы они сообщить это?

— Пожалуй... если бы мы понимали, что они общаются. Но мы не понимаем их меток.

Дуа как будто огорчилась.

— Неужели и Жесткие не понимают?

— Не знаю. Во всяком случае, мне они про это не говорили. Лостен как-то сказал, что совершенно не важно, какие они, лишь бы Позитронный Насос работал и мощность его становилась больше.

— Может быть, у него не было времени и он не хотел, чтобы ты ему мешал?

— Я никогда ему не мешаю,— обиженно ответил Ун.

— Ты ведь понимаешь, что я хотела сказать. Просто ему не хотелось говорить об этом подробно.

Тут Тритт перестал слушать. А они еще долго спорили, надо ли просить Жестких, чтобы Дуа позволили посмотреть на метки. Дуа сказала, что она попробовала бы уловить их смысл.

Тритт даже рассердился. Ведь Дуа — всего только Мягкая, и даже не рационал. Наверно, зря Ун столько ей рассказывает. Она уже воображает себя неведомо кем...

Тритт заметил, что Ун тоже рассердился. Сначала он засмеялся. Потом сказал, что все это слишком сложно для эмоционали. А потом вообще замолчал. И Дуа долго к нему ластилась, а он никак не хотел мириться.

А один раз рассердилась Дуа — просто в бешенство пришла.

Сначала все было очень тихо. Они пустили к себе детей. И Ун позволил им возиться возле него. Даже когда Торун, правуленька, начал его тянуть, он не рассердился, хотя потерял при этом форму самым потешным образом. Но он только смеялся и начал сам менять форму. Верный признак, что он в хорошем

настроении. Тритт отдыхал в уголке, и все, что происходило, было ему очень приятно.

Дуа тоже смеялась над бесформенностью Уна и, поддразнивая, заструила свое вещество по его шишкам. А ведь Тритт знал, что ей хорошо известно, какой чувствительной бывает поверхность левых, когда они утрачивают форму овоида.

Дуа говорила:

— Я все думаю, Ун... Если законы той вселенной понемножку переходят к нам через Позитронный Насос, так значит, и наша вселенная по капельке отдаст им свои?

Ун охнул от ее прикосновения и отдернулся, но так, чтобы не напугать малышей.

— Если ты хочешь, чтобы я отвечал, так перестань, серединка ты эдакая,— пропыхтел он.

Дуа перестала его щекотать, и он сказал:

— Отличное предположение, Дуа. Ты поразительна! Ну, конечно, смешение — двусторонний процесс... Тритт, уведи малышей, хорошо?

Но они уже сами удрали. Да и какие они малыши? Вон какие выросли! Аннис скоро начнет свое образование, а Торун уже оквадратился, как настоящий пестун.

Тритт остался и начал думать о том, что Дуа выглядит очень красивой, когда Ун ведет с ней такие разговоры.

— Но если те законы замедляют реакции в нашем Солнце и охлаждают его,— сказала Дуа,— значит, наши законы ускоряют реакции в тех солнцах и нагревают их?

— Совершенно верно, Дуа. Ни один рационал не сделал бы более точного вывода.

— И намного нагреваются их солнца?

— Нет. Они становятся чуточку теплее, лишь самую чуточку.

— Но у меня именно тут появляется чувство «что-то плохо»,— сказала Дуа.

— Видишь ли, беда в том, что их солнца слишком уж велики. Если наши маленькие солнца остывают чуть быстрее, это никакого значения не имеет. Даже если они вообще погаснут, это не страшно до тех пор, пока у нас есть Позитронный Насос. Но на огромные, колоссальные звезды самое легкое нагревание



может подействовать очень сильно. В каждой из этих звезд столько вещества, что даже самое ничтожное ускорение ядерного слияния заставит ее взорваться.

— Как взорваться? А что тогда будет с людьми?

— С какими людьми?

— С теми, которые живут в той вселенной.

Ун некоторое время недоумевающе смотрел на нее, а потом ответил:

— Я не знаю.

— Ну, а что случилось бы, если бы вдруг взорвалось наше Солнце?

— Оно не может взорваться.

(Тритт был не в силах понять, отчего они так волнуются. Ну как Солнце может взорваться? Два словно бы рассердилась, а Ун смутился.)

Два сказала:

— Ну, а все-таки? У нас тут станет тогда очень горячо?

— Наверное.

— И мы все погибнем, ведь так?

Ун промолчал, а затем сказал с явной досадой:

— Но, Два, ведь это не имеет ни малейшего значения! Нашему Солнцу взрыв не грозит, и, пожалуйста, не задавай глупых вопросов.

— Ты сам просил меня задавать вопросы, Ун! И это имеет значение, потому что Позитронный Насос может работать только в обеих вселенных сразу. И без них у нас ничего не получится.

Ун внимательно посмотрел на нее:

— Я ведь тебе этого не говорил!

— Но я ощущаю!

— Ты чересчур много ощущаешь, Два...— сказал Ун.

И вот тут Два начала кричать вне себя от ярости. Тритт никогда еще не видел ее такой.

— Не уклоняйся от темы. Ун! И не замыкайся в себе, не делай вида, будто я полная дура — просто эмоциональ, и больше ничего. Ты сам говорил, что я скорее похожа на рационала, и неужели так трудно сообразить, что Позитронный Насос без тех существ работать не будет? Если люди в той вселенной погибнут, Позитронный Насос остановится, а наше Солнце станет еще холоднее, и мы все умрем с голоду. Как по-твоему, имеет это значение или нет?

Ун тоже начал кричать:

— Вот и видно, сколько ты знаешь! Нам нужна их помощь потому, что концентрация энергии очень низка и мы вынуждены обмениваться с ними веществом. Но если то Солнце взорвется, возникнет гигантский поток энергии, которого хватит на миллионы циклов. Энергии будет столько, что мы сможем получать ее непосредственно, без передачи вещества. А потому они нам не нужны, и то, что произойдет, не имеет ни малейшего значения...

Они теперь почти соприкасались. Тритт был охвачен ужасом. Он понимал, что должен что-то сказать, развести их в разные стороны, уговорить их. Но он все не мог придумать, что бы такое сказать. А потом и придумывать не пришлось.

К их пещере приблизился Жесткий. И не один Жесткий, а целых три. Они что-то говорили, но их невозможно было расслышать.

Тритт пронзительно крикнул:

— Ун, Дуа!

И умолк, весь дрожа. Он с испугом ощутил, что они пришли для того...

И он решил уйти.

Но один из Жестких протянул свой постоянный непрозрачный протуберанец и сказал:

— Останься.

Он говорил резко, неласково, и Тритт испугался еще больше.

#### 4а

Дуа пылала гневом. Он так ее переполнял, что она была буквально не в состоянии ощутить присутствие Жестких. Гнев слагался из отдельных элементов, и каждый элемент сам по себе пронизывал ее всю целиком: Ун хотел ей солгать; целый мир людей обречен на гибель; она так легко усваивает знания, а ей не давали учиться. Каждое из этих ощущений говорило о чем-то неправильном и плохом, и каждое это ощущение было невыносимо.

После того раза, когда ей пришлось спрятаться в камне, она еще дважды побывала в Жестких пещерах. Дважды, никем не замеченная, она погружалась в камень и каждый раз улавливала что-то и понимала.

А потом, когда Ун начинал ей объяснять, она заранее знала, каким будет это объяснение.

Так почему Жесткие не стали учить ее, как они учили Уна? Почему они занимаются только с рационалами? Или у нее есть эта способность потому лишь, что она — олевелая эм, плохая середина триады? Ну, и тем более пусть учат, раз она такая. А оставлять ее без знаний плохо и неправильно.

В конце концов она все-таки начала улавливать слова Жесткого. Она увидела Лостена, но говорил не он, а незнакомый Жесткий, который стоял впереди. Она его не знала — но ведь кого из них она знает? Этот Жесткий спросил:

— Кто из вас недавно был в нижних пещерах? В Жестких пещерах, как вы их называете?

Дуа не ощутила ничего, кроме возмущения. Они узнали про ее камнеедство, а ей все равно! Пусть рассказывают всем, кому хотят. Да она и сама им скажет!

— Я бывала. Много раз.

— Одна? — спокойно спросил Жесткий.

— Одна. Много-много раз! — выкрикнула Дуа. (Была она там всего три раза, но разве сейчас время считать!)

— Ну и, конечно, я постоянно бываю в нижних пещерах, — пробормотал Ун.

Жесткий не стал его слушать, а повернулся к Тритту и сказал резко:

— А ты, правый?

Тритт пошел рябью.

— Бывал, Жесткий-ру.

— Один?

— Да, Жесткий-ру.

— Часто?

— Всего раз.

Дуа почувствовала досаду. Бедняга Тритт перепугался совершенно напрасно. Ведь это делала она, и она сумеет постоять за себя.

— Он тут ни при чем, — сказала она. — Этим занималась я.

Жесткий неторопливо повернулся к ней.

— Чем? — спросил он.

— Ну... тем, — когда настал решительный момент, у нее все-таки не хватило твердости прямо ска-

зять, чем она занималась. Нет, только не при Уне!

— Хорошо, мы поговорим и с тобой. Но сначала все-таки ответь мне, правый... Тебя зовут Тритт, не так ли? Так зачем ты отправился один в нижние пещеры?

— Поговорить с Жестким, которого зовут Эстуолд, Жесткий-ру.

Тут Дуа, не выдержав, снова вмешалась:

— Это вы Эстуолд?

— Нет,— коротко ответил Жесткий.

Ун недовольно сморщился, словно он смутился от того, что она не узнала Жесткого. Но ей было все равно! А Жесткий спросил у Тритта:

— Что ты унес из Жестких пещер?

Тритт не ответил.

Жесткий сказал, не излучая никакого чувства:

— Мы знаем, что ты кое-что взял. Но мы хотим выяснить, знал ли ты, что берешь. Ведь это могло кончиться очень плохо.

Тритт продолжал молчать, но тут вмешался Лостен и ласково попросил:

— Пожалуйста, ответь, Тритт. Мы знаем теперь, что это был ты, а нам не хотелось бы прибегать к строгости.

— Я взял питательный шар,— промямлил Тритт.

— А-а! — Это снова заговорил первый Жесткий.— И что же ты с ним сделал?

И тут Тритт не выдержал.

— Я взял его для Дуа,— бормотал он.— Она не хотела есть. Я взял его для Дуа.

Дуа подскочила и закоалесцировала от удивления.

Жесткий тут же повернулся к ней.

— Ты об этом не знала?

— Нет!

— И ты? — обратился он к Уну.

Ун стоял неподвижно, как замороженный. Он ответил:

— Нет, Жесткий-ру.

Несколько мгновений воздух дрожал от неприятных вибраций: Жесткие разговаривали между собой, словно не замечая триады.

То ли периоды камнеедства обострили ее восприимчивость, то ли этому способствовал недавний взрыв гнева — Дуа не знала, в чем тут было дело, и не

хотела в этом разбираться, но, как бы то ни было, она улавливала смысл... Нет, не слов, а общего хода их разговора...

Они заметили пропажу некоторое время назад. Поиски они начали, не поднимая шума. И лишь с большой неохотой пришли к выводу, что виновниками должны быть Мягкие. В результате расследования они сосредоточили внимание на триаде Уна — с еще большей неохотой. (Почему? Дуа не сумела уловить причину этой неохоты.) По их мнению, ни Ун, ни Дуа виновниками быть не могли. Ун просто не сделал бы такой глупости. Подозревать Дуа было бы нелепо. Ну, а о Тритте они даже думать не стали.

Затем третий Жесткий (тот, который пока ни к кому из триады не обращался) припомнил, что как-то видел Тритта в Жестких пещерах («Верно!» — подумала Дуа. В тот самый день, когда она впервые забралась в камень. Она же тогда ощутила присутствие Тритта. Но только она совсем про это забыла.)

Однако подобное предположение выглядело настолько невероятным, что они пришли сюда только после того, как все остальные поиски ничего не дали, а дальнейшее промедление могло привести к серьезным последствиям. Они были бы рады посоветоваться с Эстуолдом, но когда подозрение пало на Тритта, Эстуолда с ними уже не было.

Все это Дуа восприняла за единый миг и уставилась на Тритта с удивлением и злостью.

Лостен обеспокоенно провибрировал, что все обошлось благополучно, что у Дуа прекрасный вид и что это можно считать полезным экспериментом. Жесткий, с которым Тритт разговаривал в пещере, соглашался с Лостеном, но третий все еще излучал озабоченность.

Впрочем, Дуа уже не следила за ними с прежним вниманием. Она смотрела на Тритта.

Первый из Жестких спросил:

— Тритт, а где сейчас питательный шар?

Тритт показал им.

Шар был спрятан очень надежно, а проводники, хотя и выглядели неказисто, вполне отвечали своему назначению.

Жесткий спросил:

— Ты сам все это сделал, Тритт?

— Да, Жесткий-ру.

— А откуда ты знал, что надо сделать?

— Я поглядел, как это было устроено в Жестких пещерах. И сделал все точно так же, как было там.

— А ты не подумал, что можешь причинить вред своей середине?

— Я ей не повредил! Я ни за что не стал бы делать ей плохо. Я...— Тритт как будто на мгновение потерял дар речи, а потом сказал: — Я не хотел делать ей плохо. Я думал о том, чтобы ее накормить. Я сделал так, чтобы пища текла в кормильник, а кормильник я украсил. Я хотел, чтобы она начала есть. И она начала есть! В первый раз за долгое-долгое время она поела досыта. И мы синтезировались,— он умолк, а потом страстно выкрикнул: — И у нее наконец достало энергии взрастить крошку-эмоциональ. Она сгустила почку из Уна и отдала ее мне. И почка теперь растет у меня в сумке. У меня в сумке растет крошка-эмоциональ!

Дуа не могла говорить. Она откинулась назад и устремила к двери так беспорядочно, что Жесткие не успели отстраниться. Она ударилась о протуберанец того, кто стоял впереди, пронизала его насквозь и вырвалась с резким звуком.

Протуберанец бессильно повис, а Жесткий излучил сильнейшую боль. Ун хотел было обогнуть его и догнать Дуа, но Жесткий сказал, хотя это и далось ему с большим трудом:

— Оставь ее. И так уже допущено слишком много ошибок. Мы примем меры.

## 46

Уну казалось, что все происходит в каком-то кошмаре. Дуа исчезла. Жесткие ушли. Остался только Тритт. Но Тритт молчал.

«Как все это могло случиться? — мучительно думал Ун.— Как мог Тритт один найти дорогу в Жесткие пещеры? Как мог он взять аккумулятор, заряженный Позитронным Насосом и хранящий энергию гораздо более высокой концентрации, чем солнечный свет? Как он мог рискнуть...»

Сам Ун никогда на это не решился бы! Так как же смог это сделать Тритт, неуклюжий, невежественный Тритт? Или и он незауряден? Ун — умнейший

рационал, Дуа — любознательная эмоциональ, а Тритт — предприимчивый и смелый пестун?

Он сказал:

— Тритт, как ты мог?

— А что я такого сделал? — горячо возразил Тритт. — Я накормил ее. Накормил досыта, как она никогда еще не ела. И мы наконец взрастили крошку-эмоциональ. Мы ведь и без того ждали слишком долго. А если бы мы стали дожидаться, пока Дуа сама накопит энергию, так не дождались бы этого и до перехода.

— Но разве ты не понимаешь, Тритт? Ты мог бы причинить ей вред. Это ведь не обычный солнечный свет, а экспериментальный источник энергии, возможно, настолько концентрированной, что она не годится для прямого употребления.

— Я не понимаю того, что ты говоришь, Ун. Какой вред? Я пробовал пищу, которую Жесткие приготавливали раньше. У нее был плохой вкус. Ты ведь тоже пробовал. Вкус у нее был очень противный, и все-таки никакого вреда она нам не причинила. Из-за ее мерзкого вкуса Дуа и прикоснуться к ней не пожелала. А потом я нашел питательный шар. У него был хороший вкус. Я сам поел, и вкус был очень приятный. А как может приятное причинять вред? И ведь Дуа ела, ты сам видел. Ей понравилось. И энергии хватило на крошку-эмоциональ. Так что же я сделал плохого?

Ун больше не пытался объяснять. Он сказал только:

— Дуа очень рассердится.

— Ничего, пройдет.

— Не знаю. Послушай, Тритт, она ведь не похожа на остальных эмоционалей. Поэтому с ней так трудно ладить, но поэтому же она умеет сделать жизнь такой полной и прекрасной. А теперь неизвестно, согласится ли она еще когда-нибудь синтезироваться.

Все грани Тритта были четкими и прямыми. Он сказал:

— Ну и что?

— Как — «ну и что»? Уж от тебя-то я ждал таких слов меньше всего. Или ты не хочешь больше синтезироваться?

— Нет, почему же. Но если она не захочет, то пусть. Я получил мою третью крошку, и мне теперь

все равно. Я, конечно, знаю, что в прежние времена Мягкие иногда повторяли все рождения во второй раз. Но мне все равно. С меня хватит и наших троих детей.

— Но, Тритт, значение синтеза не исчерпывается только детьми.

— Разве? Да, я помню, ты как-то говорил, что после синтеза быстрее приобретаешь знания. Ну, так приобретай их медленнее. Мне все равно. Я получил мою третью крошку.

Ун отвернулся, весь дрожа, и рывками заструился из комнаты. Какой смысл бранить Тритта? Он все равно не поймет. Да и он сам — действительно ли он понимает?

Как только третья крошка отпочкуется и немного подрастет, нужно ждать времени перехода. И сигнал подаст он. Он должен будет сказать, когда наступит пора перехода, а переходить надо без страха. Иначе — позор или что-то даже еще хуже. Но без синтезирования — откуда ему взять решимость? Даже теперь, когда возвращены все трое детей? Синтезирование каким-то образом должно уничтожить страх. Быть может, потому, что синтезирование само похоже на переход. Сознание на какой-то срок отключается, однако ничего плохого не происходит. словно ты и не существуешь вовсе, и все-таки это отвечает какой-то глубочайшей потребности. Синтезирование поможет ему набраться храбрости, чтобы встретить переход без страха и без...

О Солнце и все прочие звезды! Ведь это же никакой не «переход»! К чему такая велеречивость? Он знает другое слово, которое, правда, употребляют только дети, чтобы подразнить старших. И это слово — «умереть». Они не переходят, они умирают. И он должен подготовиться к тому, чтобы умереть без страха, чтобы Дуа и Тритт умерли вместе с ним.

А он не знает как... И без синтезирования не сможет...

#### 4в

Тритт остался в комнате один. Ему было страшно, так страшно! Но он твердо решил не показывать и вида. Он получил свою третью крошку. Он чувствует ее в сумке. Вот сейчас.



Только это и важно.

Только это одно и важно.

Но тогда почему же где-то в самой глубине прячется упрямое смутное ощущение, что важно не только это?

## 5а

Дуа испытывала нестерпимый стыд. Прошло очень много времени, прежде чем ей, наконец, удалось справиться с собой настолько, чтобы собраться с мыслями. Сначала она хотела только одного: уйти как можно дальше и как можно скорее от пещеры, которая стала для нее отвратительной. И она мчалась, мчалась, сама не зная куда, не разбирая дороги, не замечая ничего по сторонам.

По ночам порядочные Мягкие не поднимаются на поверхность — на это не решится ни одна даже самая взбалмошная эмоциональ. А сейчас была ночь. И Дуа с чем-то похожим на радость подумала, что Солнце взойдет еще нескоро. Ведь Солнце означало пищу, а теперь — после того, что с ней сделали, — при одной мысли о пище она ощущала ненависть и омерзение.

На поверхности было холодно, но Дуа почти не замечала этого. Да и ей ли бояться холода, думала она, после того, как ее раскормили, чтобы она выполнила свое назначение — раскормили и тело, и сознание! Нет, теперь голод и холод — ее единственные друзья.

Тритта она видела насквозь. Бедняга, его так легко понять! Все его действия подчиняются только врожденным инстинктам, и он даже заслуживает похвалы за мужество, с каким следовал велениям этих инстинктов. Он так смело унес из Жестких пещер питательный шар (и она, она сама ощутила тогда его присутствие и, конечно, поняла бы, что он затеял, но только Тритт, ошеломленный собственной дерзостью, совсем перестал думать. А ее восприятие было притуплено — ведь ее тоже ошеломили дерзость того, что она сделала, и новые ощущения, которые ей открылись. Вот почему она, как выяснилось теперь, не заметила самого важного!).

Тритт принес этот шар домой и соорудил нелепую ловушку, старательно украсив кормильник, чтобы подманить ее. А она вернулась, остро сознавая свою разреженность, стыдясь ее, жалея Тритта. И от стыда, от

жалости она уступила, она поела... и помогла взрастить эмоциональ.

После этого единственного раза она, как и прежде, ела очень мало и больше не пользовалась кормильником. У нее просто не было желания, а Тритт не настаивал. У него был довольный вид (еще бы!), и она перестала чувствовать себя виноватой. А питательный шар Тритт так и оставил в тайнике. Он, наверное, побоялся отнести его обратно. Своего он добился и проще было не трогать шар и поскорее забыть про его существование.

...Пока его не изобличили.

Но умный Ун, разгадав план Тритта, конечно, заметил, что к электродам что-то подключено, и, конечно, понял — зачем. Разумеется, Тритту он ничего не сказал — ведь это только смутило бы и напугало бедного правника, а Ун всегда заботливо оберегал Тритта от всех неприятностей.

Да и зачем ему было что-то говорить? Он и без этого сумел сделать все необходимое, чтобы глупая затея Тритта принесла нужные результаты.

Пора отказаться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Она, конечно, заметила бы вкус питательного шара, уловила бы его особую терпкость, осознала бы, что перенасыщается, не испытывая даже легкой сытости,— если бы Ун не отвлекал ее разговорами!

Они действовали против нее вдвоем, пусть даже Тритт этого и не подозревал. Но она! Как могла она не заметить фальши, когда Ун вдруг превратился во внимательного наставника и начал с такой охотой отвечать на все ее вопросы? Как могла она не заметить его тайных побуждений? Да, она была им нужна, но лишь как средство для завершения новой триады, а сама она для них — ничто.

Ну, ладно же...

Тут Дуа вдруг ощутила, насколько она устала, и поспешила забраться в узкую расселину, чтобы спрятаться от пронзительного холодного ветра. Две из семи звезд оказались в поле ее зрения, и она рассеянно смотрела на них, занимая свои внешние чувства пустяками, чтобы полнее сосредоточиться на внутренних мыслях.

У нее больше нет иллюзий.

— Меня предали,— бормотала она.— Предали!

Неужели Ун и Тритт неспособны видеть ничего, кроме самих себя?

Тритт, конечно, так уж устроен, что готов хоть весь мир обречь на гибель, лишь бы получить своих крошек. В нем говорит только инстинкт. Но Ун?

Ун мыслит. Так неужели ради возможности мыслить он согласен спокойно принести в жертву все остальное? Неужели все, что создает разум, служит лишь тому, чтобы оправдывать его же собственное существование, а прочее не имеет для него никакой цены? Эстуолд сконструировал Позитронный Насос — но разве можно использовать его, не задумываясь, подчиняя ему само существование мира, и Жестких, и Мягких, ставя их в зависимость от обитателей той вселенной? А что, если те остановят его, что, если мир останется без Позитронного Насоса после того, как он успеет остудить Солнце?

Но нет. Те люди его не остановят. Их убедили воспользоваться Насосом, так убедят пользоваться им и дальше, до тех самых пор, пока они не погибнут, а тогда рационалы, и Жесткие, и Мягкие, перестанут в них нуждаться.

Вот как она, Дуа, теперь, когда она перестала быть нужна, должна будет перейти — иначе говоря, погибнуть.

И ее, и тех людей одинаково предали.

Незаметно для себя она все глубже и глубже погружалась в камень. Она уже не видела звезд, не ощущала ветра, не сознавала окружающего. Она превратилась в чистую мысль.

Эстуолд — вот кого она ненавидит! Олицетворение эгоизма и жестокости. Он изобрел Позитронный Насос и готов спокойно уничтожить целый мир, населенный, быть может, тысячами, а то и десятками тысяч разумных существ. Он настолько замкнут в себе, что никогда нигде не показывается, и обладает такой силой, что даже другие Жесткие его как будто боятся.

Ну, а она вступит с ним в борьбу. Она принудит его остановиться!

Люди той вселенной помогли установить Позитронный Насос после того, как с ними был налажен контакт с помощью меток. Об этом говорил Ун. Где хранятся эти метки? Какие они? Нельзя ли использовать их для новых контактов?

Удивительно, как ясны ее мысли. Поразительно.

И какое жгучее наслаждение — использовать мысль, чтобы взять верх над безжалостными служителями мысли!

Помешать ей они не смогут. Ведь она способна проникать туда, куда ни один Жесткий, ни один рационал, ни один пестун проникнуть не смогут, а ни одна эмоциональ не посмеет.

Возможно, когда-нибудь они ее все-таки поймают, но ей все равно. Она будет добиваться своего любой ценой — да, любой! Пусть даже ей придется прятаться в камне, жить в камне, обшаривать Жесткие пещеры, воровать пищу из аккумуляторов, если у нее не останется другого выхода, или впитывать солнечный свет на поверхности, скрываясь среди других эмоционалей.

Она преподаст им всем хороший урок, а потом пусть делают с ней, что хотят. Тогда она даже будет готова перейти... тогда, но не раньше!

## 56

Ун присутствовал при отпочковании новой крошки-эмоционали, безупречной во всех отношениях, но не испытал никакого восторга. Даже Тритт, который заботился о ней со всем пестунским тщанием, выглядел каким-то притихшим.

Миновало уже много дней, и Уну начинало казаться, что Дуа исчезла навсегда. Нет, она не перешла. Мягкий может перейти только вместе с остальными двумя членами триады. Но с ними ее не было. Словно она перешла, не переходя.

С тех пор как она умчалась, узнав, что помогла взрастить новую крошку, он видел ее один раз. Всего один раз. И это было уже давно.

Он тогда поднялся на поверхность в нелепой надежде отыскать ее и наткнулся на скопление эмоционалей. Они захихикали (рационал, прогуливающийся возле скопления эмоционалей, — это такая редкость!) и кокетливо истончились (дуры!), только чтобы продемонстрировать свою эмоциональность.

Ун испытывал к ним брезгливое презрение, и ни один из его ровных изгибов даже не замерцал. Он сразу начал думать о Дуа — о том, как она непохожа на них. Дуа никогда не истончалась просто так, из желания быть привлекательной, и потому была особен-

но привлекательна. И конечно, если бы она принудила себя присоединиться к скоплению дурочек, ее сразу можно было бы узнать потому, что она не только не истончилась бы, а, наоборот, уплотнилась — наперекор остальным.

Ун обвел взглядом нежащихся на солнце эмоционалей и увидел, что одна из них действительно осталась плотной.

Он повернулся и кинулся к ней, не обращая внимания на пронзительные вопли остальных эмоционалей, которые шарахались от него, матово клубились и взвизгивали, опасаясь слипнуться друг с другом — что, если такое случится на глазах у всех, да еще в присутствии чужого рационала!

Это действительно была Дуа. Она не попыталась скрыться, а спокойно осталась на месте.

«Дуа,— сказал он робко,— когда ты вернешься домой?»

«У меня нет дома, Ун»,— ответила она. Без гнева, без ненависти, отчего ему стало совсем страшно.

«Дуа, как ты можешь сердиться на Тритта за его поступок? Ты же знаешь, что бедняга не умеет думать».

«Но ты-то умеешь, Ун! И ты отвлекал мое сознание, пока он старался перекормить мое тело, ведь так? Твое умение думать подсказало тебе, что ты скорее сумеешь поймать меня в ловушку, чем он».

«Нет, Дуа! Нет!»

«Что — нет? Разве ты не притворялся, будто хочешь учить меня, делиться со мной знаниями?»

«Да, но я не притворялся. Я на самом деле этого хотел. И вовсе не из-за того, что устроил Тритт. Про его затею я ничего не знал».

«Не верю!»

Она неторопливо заструилась прочь. Он последовал за ней. Теперь они были совсем одни среди багровых отблесков Солнца.

Дуа повернулась к нему.

«Разреши задать тебе один вопрос, Ун. Почему ты хотел учить меня?»

«Потому что хотел. Потому что мне нравится учить, потому что это мне интереснее всего на свете. Не считая того, чтобы учиться самому, конечно».

«И еще синтезироваться... Но неважно,— добавила

она, предупреждая его возражения.— Не объясняй, что ты имеешь в виду сознание, а не инстинкт. Если ты сказал правду, что тебе нравится учить, если я все-таки могу верить твоим словам, может быть, ты сумеешь понять то, что я тебе сейчас скажу.

С тех пор, как я рассталась с вами, Ун, я узнала очень много. Каким образом — не имеет значения. Но это так. И я теперь эмоциональ только физически. А во всем, что по-настоящему важно, я рационал, хотя мне хотелось бы верить, что чувствовать я умею лучше остальных рационалов. И среди многого другого, Ун, я узнала, что мы такое — и ты, и я, и Тритт, и все прочие триады на планете. Я узнала, что мы такое и чем были всегда».

«А именно?» — спросил Ун. Он был готов покорно слушать столько времени, сколько ей захочется, лишь бы она потом вернулась с ним домой. Он вытерпит любое испытание, сделает все, что от него может потребоваться. Но она должна вернуться... и что-то неясное, смутное внутри него говорило, что вернуться она должна добровольно.

«Что мы такое, Ун? Да в сущности ничего,— ответила она равнодушным голосом, почти со смехом.— Странно, правда? Жесткие — единственный вид по-настоящему живых существ на планете. Разве они тебя этому не учили? Да, по-настоящему живы только они одни, потому что и ты, и я, и все Мягкие — не живые существа. Мы — машины, Ун. Это так, и потому-то живыми можно назвать только Жестких. Неужели они тебя этому не учили, Ун?»

«Дуа, это вздор»,— ошеломленно пробормотал Ун.

Голос Дуа стал более резким.

«Да, машины, Ун! Машины, которые Жесткие сначала собирают, а потом уничтожают. Живут только они — Жесткие. Только они. Про это они почти не разговаривают. Зачем? Они ведь и так знают. Но я научилась думать, Ун, и вывела правду из отдельных намеков. Они живут чрезвычайно долго, но в конце концов все же умирают. Теперь они уже не в состоянии иметь детей — Солнце дает для этого слишком мало энергии. И хотя умирают они редко, детей у них нет, и их число очень медленно, но сокращается. И у них нет молодежи, которая создавала бы новое, порождала бы новые мысли, а потому старые, живущие

долго-долго Жесткие томятся от скуки. И что же они, по-твоему, делают, Ун?»

«Что?» — невольно спросил Ун с ужасом, к которому примешивался виноватый интерес.

«Они конструируют механических детей, которых можно учить. Ты же сам сказал, что тебе ничего не надо — только учить, и учиться самому и, может быть, еще синтезироваться. Рационалы созданы по образу сознания Жестких. Жесткие не синтезируются, учиться самим им очень трудно, потому что они и так уже знают невероятно много. Так какое же удовольствие им остается? Только учить. И рационалы создаются лишь для одной цели — чтобы их можно было учить. Эмоционалы и пестуны создаются как необходимые части самовозобновляющихся машин, которые изготавливают новых рационалов. А новые рационалы требуются постоянно, потому что старые становятся ненужными, едва их научат всему, чему можно научить. Когда старые рационалы вбирают в себя все, что могут, они уничтожаются, но их позаботились заранее утешить сказочкой о том, будто они «переходят». И с ними, разумеется, переходят эмоционалы и пестуны. Ведь после того, как они способствовали появлению материала для новой триады, от них больше нет никакой пользы».

«Дуа, это невероятно», — с трудом выговорил Ун.

У него не было доводов, чтобы опровергнуть ее бредовую систему, но он был неколебимо убежден, что она ошибается. Однако где-то глубоко внутри он ощутил щемящее сомнение: а вдруг это убеждение просто привито ему? Нет, не может быть. Ведь тогда бы и Дуа носила в себе такое же убеждение... Или она потому и отличается от других эмоционалей, что ее изготовили небрежно?... О чем он думает! Нет, он такой же сумасшедший, как, она.

«Ты как будто взволнован, Ун. Так ли уж ты абсолютно уверен, что я ошибаюсь? Ну конечно, теперь у них есть Позитронный Насос, и они будут получать столько энергии, сколько им может потребоваться. Если не сейчас, так в недалеком будущем. Скоро у них опять появятся дети. Если уже не появились. Надобность в Мягких машинах отпадет, и мы все будем уничтожены... Ах, прошу прощения! Мы все перейдем».

«Нет, Дуа! — категорически сказал Ун, стараясь образумить не столько ее, сколько себя. — Не знаю,

откуда ты набралась этих идей, но Жесткие — не такие. Нас не уничтожают».

«Не обманывай себя, Ун. Они именно такие. Ради своей пользы они готовы уничтожить мир тех людей — целую вселенную, если понадобится. Так неужели они поколеблются уничтожить горстку Мягких, которые им не нужны? Но они допустили один просчет. Каким-то образом произошла путаница, и сознание рационала попало в тело эмоционали. Я ведь «олевелая эм», тебе это известно? Меня так дразнили в детстве. Но я действительно «олевелая эм». Я способна мыслить, как рационал, и я способна чувствовать, как эмоциональ. И я воспользуюсь своими особенностями, чтобы бороться с Жесткими».

Ун не знал, что делать. Конечно, Дуа обезумела, но сказать ей об этом он не решался. Ее необходимо уговорить, чтобы она вернулась с ним. Он сказал убежденно:

«Дуа, когда мы переходим, нас не уничтожают».

«Да? Ну, а что же случается?»

«Я... Я не знаю. По-моему, мы переходим в другой мир, более прекрасный и счастливый, и становимся... становимся... Ну, много лучше, чем мы сейчас».

Дуа рассмеялась.

«Где ты это слышал? Это тебе Жесткие рассказали?»

«Нет, Дуа. В этом меня убеждают мои собственные мысли. Я очень много думал после того, как ты нас покинула».

«Ну, так думай меньше и не будешь так глуп,— сказала Дуа.— Бедный Ун! Прощай же».

И она заструилась прочь, совсем разреженная. Она казалась очень усталой.

«Подожди, Дуа! — крикнул Ун ей вслед.— Неужели ты не хочешь увидеть свою крошку-серединку?»

Она не ответила.

«Когда ты вернешься домой?»

Она продолжала молчать.

Он не стал ее преследовать и только с тоской смотрел, как она исчезает вдаль.

Ун не сказал Тритту о том, что встретил Дуа. Зачем? Больше с тех пор он ее не видел. Он завел привычку бродить возле тех мест, где любили питаться эмоционали, и отправлялся туда снова и снова, хотя



нередко замечал, что вслед за ним на поверхность выбираются пестуны и глядят на него с тупым подозрением. (По сравнению с большинством пестунов Тритт казался интеллектуальным гигантом.)

Отсутствие Дуа с каждым днем отзывалось внутри него все более мучительно. И с каждым проходящим днем внутри него рос странный безотчетный страх, как-то связанный с ее отсутствием. Но в чем тут было дело, он не понимал.

Как-то, вернувшись в пещеру, он застал там Лостена, который дожидался его. Лостен вежливо и внимательно слушал Тритта, который показывал ему новую крошку, всячески стараясь, чтобы этот легкий клочок дымки не прикоснулся к Жесткому.

— Да, она прелестна, Тритт,— сказал Лостен.— Так ее зовут Дерала?

— Дерола,— поправил Тритт.— Я не знаю, когда вернется Ун. Он теперь всегда где-то бродит...

— Я здесь, Лостен,— торопливо сказал Ун.— Тритт, унеси крошку, будь так добр.

Тритт унес Деролу, а Лостен с явным облегчением обернулся к Уну и сказал:

— Вероятно, ты очень счастлив, что триада завершена.

Ун попытался что-то вежливо ответить, но ничего не придумал и продолжал уныло молчать. Одно время он чувствовал, что между ним и Жесткими возникло нечто вроде дружбы, он ощущал себя в чем-то равным им и разговаривал с ними свободно и просто. Но безумие Дуа все омрачило и испортило. Ун знал, что она ошибается, и все-таки сейчас он почувствовал в присутствии Лостена ту же скованность, которую испытывал в давно прошедшие дни, когда считал, что стоит неизмеримо ниже их, как ... словно ... машина?

— Ты видел Дуа? — спросил Лостен. Это был настоящий вопрос, а не вежливое начало беседы.

— Всего один раз, Жес... (он чуть было не сказал «Жесткий-ру», словно ребенок или пестун!) — Всего один раз, Лостен. Она не хочет возвращаться домой.

— Она должна вернуться,— негромко сказал Лостен.

— Я не знаю, как это устроить.

Лостен хмуро посмотрел на него.

— Тебе известно, что она делает?

Ун не осмеливался поднять на него глаза. Может

быть, Лостен узнал про сумасшедшие теории Дуа? Как он в этом случае поступит?

И Ун ничего не ответил, ограничившись отрицательным жестом.

— Она ведь совершенно необычная эмоциональ,— сказал Лостен.— Ты это знаешь, Ун, не так ли?

— Да,— вздохнул Ун.

— Как и ты — на свой лад, и как Тритт — на свой. Не думаю, что в мире найдется еще один пестун, у которого хватило бы смелости и предприимчивости, чтобы стащить аккумулятор, или сметки, чтобы использовать его так, как использовал Тритт. Вы трое составляете такую необычайную триаду, каких, насколько мы можем судить, еще не было.

— Благодарю тебя.

— Но оказалось, что такая триада таит в себе и неприятные неожиданности, которых мы не предвидели. Мы хотели, чтобы ты учил Дуа, рассчитывая, что это наиболее мягкий и действенный способ подтолкнуть ее на добровольное выполнение той функции, которую она должна выполнить. Но мы не предвидели, что Тритту вздумается совершать столь самоотверженный поступок, а также, если сказать правду, совершенно не ожидали, что неизбежная гибель той вселенной подействует на Дуа таким странным образом.

— Мне следовало бы осторожнее отвечать на ее вопросы,— тоскливо сказал Ун.

— Это не помогло бы. Она умеет сама узнавать то, что ее интересует. А мы и этого не предвидели. Ун, мне очень грустно, но я обязан сказать тебе следующее: Дуа теперь представляет собой смертельную опасность. Она пытается остановить Позитронный Насос.

— Но ей с этим не справиться! Она не может до него добраться, а кроме того, у нее нет необходимых знаний.

— Добраться до него она может без труда...— Лостен нерешительно помолчал.— Она прячется в коренных породах, где мы не можем ее достать.

Ун не сразу понял смысл этих слов. Он растерянно пробормотал:

— Ни одна взрослая эмоциональ никогда... Дуа ни за что...

— Нет, это так. Не трать времени на бесплодные возражения... Она способна проникнуть в любую пещеру.

От нее ничего нельзя скрыть. Она изучила метки, которые мы получали из той вселенной. У нас нет прямых доказательств, но иначе никак нельзя объяснить то, что происходит.

— А-а-а! — Ун раскачивался взад и вперед, и вся его поверхность помутнела от стыда и горя.— И Эстуолд знает об этом?

— Пока еще нет, но со временем несомненно узнает,— угрюмо сказал Лостен.

— Зачем ей понадобились эти метки?

— Она старается найти способ послать сообщение в ту вселенную.

— Но она же не умеет ни переводить, ни передавать.

— Она учится и тому и другому. Об этих метках она знает даже больше самого Эстуолда. Она — крайне опасное явление: эмоциональ, которая способна мыслить и вышла из-под контроля.

Ун вздрогнул. Вышла из-под контроля? Словно речь идет о машине!

— Но ведь это не может быть настолько уж опасно! — сказал он.

— К сожалению, может. Она передала одно сообщение и, боюсь, она советует тем существам, чтобы они остановили их часть Позитронного Насоса. Если они его остановят до того, как взорвется их Солнце, мы тут ничего сделать не сможем.

— Но ведь тогда...

— Ей необходимо помешать, Ун.

— Но... но как? Вы намерены взорвать... — его голос пресекался.

Ему смутно припомнилось, что у Жестких есть какие-то приспособления для высверливания пещер в коренных породах — приспособления, которые перестали применяться с тех пор, как сотни циклов тому назад численность мирового населения начала сокращаться. Что, если Жесткие решили найти Дуа в глубине камня и взорвать его вместе с ней?

— Нет! — категорически сказал Лостен.— Мы не способны причинить Дуа вред.

— Эстуолд мог бы...

— Эстуолд тоже неспособен причинить ей вред.

— Так что же делать?

— Все зависит от тебя, Ун. От тебя одного. Мы

бессильны, и нам остается только рассчитывать на тебя.

— На меня?! Но что я могу?

— Думай об этом,— настойчиво сказал Лостен.—  
Думай!

— Но о чем?

— Больше я тебе ничего не имею права сказать,—  
ответил Лостен страдальчески.— Думай! Времени оста-  
ется так мало.

Он повернулся и ушел — с быстротой, необычной  
для Жестких. Он торопился так, словно не доверял  
себе и опасался сказать что-то лишнее.

Ун беспомощно смотрел ему вслед, охваченный смя-  
тением и ужасом.

## 5в

У Тритта было много дел. Крошки всегда требуют  
забот, но даже два юных левых и два юных правых,  
взятые вместе, вряд ли могли бы причинить столько  
забот, сколько одна крошка-серединка, да к тому же  
серединка такая безупречная, как Дерола. Нужно было  
следить, чтобы она проделывала все упражнения, успо-  
каивать ее, не давать ей забираться во все, с чем она  
соприкасалась, улещать и уговаривать, чтобы она сгусти-  
лась и отдохнула.

Он даже не замечал, что уже очень давно не видит  
Уна — впрочем, ему было все равно. Для него теперь  
не существовало никого, кроме Деролы. А потом вдруг  
он увидел Уна в углу его собственной ниши. Ун радужно  
переливался от напряженных мыслей. Тут Тритт вдруг  
вспомнил и спросил:

— Лостен сердился из-за Дуа?

Ун вздрогнул и очнулся.

— Лостен?.. Да, он очень сердился. Дуа причиняет  
большой вред.

— Ей бы надо вернуться домой, правда?

Ун пристально посмотрел на Тритта.

— Тритт,— сказал он,— мы должны убедить Дуа,  
чтобы она вернулась домой. Но прежде ее надо отыскать.  
Ты можешь это сделать. Ведь у нас новая крошка,  
и поэтому твоя пестунская восприимчивость снова  
обострилась. Используй ее, чтобы найти Дуа.

— Нет,— возмущенно и растерянно сказал Тритт.—  
Она для Деролы. И не годится тратить ее на то,

чтобы искать Дуа. А кроме того, раз Дуа не возвращается, когда она так нужна нашей крошке-серединке... и ведь она сама была прежде крошкой-серединкой! — то мы должны научиться жить без нее, и все тут.

— Тритт, разве ты не хочешь больше синтезироваться?

— Новая триада завершена.

— Но синтезирование этим не исчерпывается.

— А где искать Дуа? — спросил Тритт. — Я нужен крошке Дероле. Она еще совсем маленькая. Я не могу оставить ее без присмотра.

— Жесткие позаботятся, чтобы с Деролой ничего не случилось. А мы с тобой пойдем в Жесткие пещеры и отыщем Дуа.

Тритт обдумал эти слова. Ему было все равно, есть Дуа или нет. И почему-то ему даже было почти все равно, есть ли Ун или нет. Важнее всего Дерола. И он сказал:

— Как-нибудь сходим. Когда Дерола подрастет. А раньше нельзя.

— Тритт, — настойчиво сказал Ун. — Мы должны найти Дуа, а не то... А не то у нас отнимут крошек.

— Кто отнимет? — спросил Тритт.

— Жесткие.

Тритт молчал. Ему нечего было сказать. Он ни разу не слышал ни о чем подобном. И не мог даже представить себе, что это возможно. А Ун говорил:

— Тритт, нам пора переходить. И теперь я знаю — почему. Я думал об этом все время после того, как Лостен... Но неважно. Дуа и ты — вы тоже должны перейти. Теперь, когда я понял почему, и ты почувствуешь, что должен перейти. И я надеюсь... я верю, Дуа тоже почувствует, что она должна перейти. И надо, чтобы это произошло как можно скорее, потому что она губит наш мир!

Тритт отступил к стене.

— Ун, не смотри на меня так!.. Ты меня заставляешь... ты меня заставляешь...

— Я тебя не заставляю, Тритт, — грустно сказал Ун. — Просто я понял, и поэтому ты должен... Но нам необходимо найти Дуа.

— Нет, нет! — Тритт испытывал невыразимые муки, пытаясь воспротивиться. В Уне было что-то новое, страшное, и его, Тритта, существование неумолимо при-

ближалось к концу. Больше не будет Тритта, и не будет крошки-серединки. Все другие пестуны ухаживали за своими серединками очень долго, а он должен лишиться своей почти сразу.

Это несправедливо. Несправедливо!

Тритт сказал, задыхаясь:

— Это Дуа виновата. Так пусть она перейдет первой!

Ун ответил с мертвящим спокойствием:

— По-другому нельзя. Мы должны все сразу...

И Тритт понял, что это так... что это так... что это так...

## ба

Дуа чувствовала себя истончившейся, холодной, совсем прозрачной. После того как Ун отыскал ее на поверхности, она оставила попытки отдыхать там и поглощать солнечный свет. А энергией из аккумуляторов Жестких она могла питаться лишь изредка, от случая к случаю. Она боялась надолго покидать свой надежный приют в камне, а потому ела торопливо и никогда не бывала сыта.

Она непрерывно ощущала голод, который казался еще сильнее оттого, что постоянное пребывание в камне было очень утомительно. Она словно терпела теперь наказание за то, что прежде предпочитала любоваться закатами и питалась кое-как.

Если бы она не была так увлечена работой, то вряд ли выдержала бы усталость и голод. Порой ей даже хотелось, чтобы Жесткие ее уничтожили — но только после того, как она добьется своего.

Пока она оставалась в камне, Жесткие ничего не могли против нее предпринять. Иногда она ощущала их рядом с камнем. Они боялись. Порой ей казалось, что они боятся за нее, но это было нелепо. С какой стати им бояться за нее — бояться, что она перейдет от голода и истощения? Нет, этого не может быть — они боятся ее, боятся машины, которая отказалась работать по их предначертаниям. Невероятность этого приводит их в трепет, они цепенеют от ужаса.

И Дуа старательно избегала Жестких. Она всегда знала, где они находятся, а потому они не могли ни поймать ее, ни помешать ей. Они были не в состоянии поставить охрану повсюду. К тому же ей, по-ви-

димому, удавалось глушить ту слабую восприимчивость, которой они все-таки обладали.

Она клубами вырывалась из камня и изучала копии меток, полученных из той вселенной. Они не знали, что именно это было ее целью. Но если бы они и спрятали копии куда-нибудь еще, она все равно нашла бы их. И даже уничтожь они все копии, это им уже не помогло бы — Дуа помнила все метки до последней черточки.

Сперва она не могла в них разобраться, но от постоянного пребывания в камне ее восприимчивость все больше обострялась и метки становились понятными, хотя сознанием она их по-прежнему не понимала. Она не знала, что означают эти символы, но они вызывали в ней ощущения.

Она выбрала нужные метки и поместила их там, откуда они должны были попасть в ту вселенную. Метки были такие: С Т Р А К. Нет, она не знала, каков их смысл. Однако эта комбинация внушала ей страх, и Дуа постаралась запечатлеть этот страх в метках. Может быть, те существа, изучая метки, тоже испытывают страх.

Когда начали приходить ответы, Дуа улавливала в них волнение. Ей удавалось увидеть не все ответы. Иногда Жесткие находили их первыми. Конечно, теперь они уже знали, чем она занимается. Но они не умели истолковывать метки, не могли даже уловить вложенные в них чувства.

А потому ей было все равно. Что бы ни думали Жесткие, остановить ее они не смогут, и она доведет дело до конца.

Теперь она ожидала меток, в которых было бы заключено нужное ей чувство. И они появились: Н А С О С П Л О Х О.

Каждую метку пронизывали страх и ненависть, на которые она надеялась. И она переслала их обратно, повторив несколько раз, чтобы было больше страха, больше ненависти... Теперь те люди поймут. Теперь они остановят Насос. Жестким придется найти какой-нибудь другой источник энергии, разработать другой способ ее получения. Нельзя, чтобы энергия принесла смерть тысячам и тысячам обитателей той вселенной.

Она спохватилась, что отдыхает слишком долго, погрузившись внутри камня в какое-то странное ощущение. Ей мучительно хотелось есть, и она выжида-

ла удобного момента, чтобы выбраться наружу. Но, как ни томила ее мысль о пище в аккумуляторе, еще больше ей хотелось бы найти его пустым. Она мечтала высосать из него всю пищу до последней частицы, зная, что новой порции в него не поступит, что её задача выполнена.

Наконец она выбралась наружу и, забыв об осторожности, сосала и сосала содержимое аккумулятора. Она жаждала опустошить его, убедиться, что энергии в него больше не поступает... Но он был неисчерпаем... неисчерпаем... неисчерпаем...

Дуа вздрогнула и с омерзением отодвинулась от аккумулятора. Значит, Позитронные Насосы по-прежнему работают. Неужели ей не удалось убедить обитателей той вселенной? Или они не получили ее метки? Не уловили их смысла?

Надо попробовать еще раз. Надо сделать так, чтобы все было ясно, абсолютно ясно. Она использует все комбинации символов, в которых улавливает ощущение опасности, все комбинации, которые в той вселенной должны сложиться в мольбу остановить Насосы.

Вне себя от отчаяния Дуа начала вплавлять символы в металл, неистово расходуя энергию, которую только что всосала из аккумулятора. И расходовала до тех пор, пока не осталось ничего, и ее вновь сковала невероятная усталость. НАСОС НЕ ОСТАНОВИТЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ МЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ НАСОС МЫ НЕ СЛЫШАТЬ ОПАСНОСТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ВЫ ОСТАНОВИТЬ ЧТОБЫ МЫ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАЛУЙСТА ВЫ ОСТАНОВИТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ ОСТАНОВИТЬ НАСОС.

Больше у нее не было сил. Ее терзала свирепая боль. Она поместила метки туда, откуда они должны были попасть в ту вселенную, но не стала ждать, чтобы Жесткие переслали их, сами того не подозревая. В глазах у нее мутилось, она чувствовала, что энергии в ней нет больше совсем, и все-таки повернула рукоятки, как это делали Жесткие.

Металл исчез, а с ним и пещера, вдруг заполнившаяся фиолетовым мерцанием, которое туманило мысли.



Она... переходит... от истощения...

Ун... Тритт...

66

И Ун появился. Он никогда еще не струился с такой стремительностью. Вначале он полагался на восприимчивость Тритта, обострившуюся с появлением новой крошки, но, когда расстояние сократилось, его более тупые чувства тоже начали улавливать близость Дуа. Он уже сам воспринимал прерывистые угасающие вспышки ее сознания и рвался вперед, а Тритт как мог поспевал за ним, задыхаясь и вскрикивая:

— Скорее! Скорее!

Ун нашел ее в глубоком обмороке. Жизнь в ней еле теплилась, и она стала совсем крошечной — он даже не представлял, что взрослая эмоциональ может так уменьшиться.

— Тритт, — распорядился он. — Неси сюда аккумулятор. Нет-нет! Не трогай ее. Она так истончилась, что ее нельзя нести. Если она погрузится в пол...

В пещеру входили Жесткие. Конечно, они опоздали — ведь они неспособны воспринимать на расстоянии другие существа. Нет, без него и Тритта они не успели бы спасти ее. И она не перешла бы! Нет, она по-настоящему погибла бы... и... с ней погибло бы нечто неимоверно важное, о чем она даже не подозревала.

Теперь она медленно впитывала консервированную энергию и с нею жизнь, а Жесткие молча стояли возле них.

Ун поднялся — новый Ун, который совершенно точно знал, что происходит. Сердитым жестом он властно отослал Жестких... и они ушли. Молча. Не возражая.

Дуа шевельнулась.

— Она оправилась, Ун? — спросил Тритт.

— Тише, Тритт, — сказал Ун. — Дуа, ты меня слышишь?

— Ун? — она всколыхнулась и прошептала: — Мне показалось, что я уже перешла.

— Нет, Дуа, пока еще нет. Сначала ты должна поесть и отдохнуть.

— А Тритт тоже здесь?

— Вот я, Дуа, — сказал Тритт.

— Не старайся вернуть меня к жизни, — сказала

Дуа.— Все кончено. Я сделала то, что хотела сделать. Позитронный Насос... скоро остановится. Я верю в это. И Мягкие по-прежнему будут нужны Жестким, и Жесткие позаботятся о вас, и уж, во всяком случае, о детях.

Ун ничего не сказал и сделал Тритту знак молчать. Он давал Дуа энергию небольшими порциями, медленно, очень медленно, делая перерывы, чтобы дать ей отдохнуть.

Дуа бормотала:

— Хватит, хватит!

Ее вещество трепетало все сильнее.

Но он продолжал ее кормить.

Потом он заговорил:

— Дуа, ты ошиблась,— сказал он.— Мы не машины. Я знаю совершенно точно, что мы такое. Я бы пришел к тебе раньше, если бы узнал это раньше, но я понял, только когда Лостен попросил меня подумать. И я думал. Со всем напряжением. И все-таки это чуть было не вышло преждевременно.

Дуа застонала, и Ун умолк.

— Послушай, Дуа,— сказал он после паузы.— В нашем мире действительно есть только один вид живых существ, и живут в нем действительно только Жесткие. Ты уловила это, и тут ты не ошиблась. Но отсюда вовсе не следует, что Мягкие — машины, а не живые существа. Нет, просто мы принадлежим к этому же виду. Мягкие — это первичная форма Жестких. Мы появляемся на свет, как Мягкие, становимся взрослыми, как Мягкие, а потом мы переходим в Жестких. Ты поняла?

— Что? Что? — спросил Тритт тихо и растерянно.

— погоди, Тритт,— сказал Ун.— Не сейчас. Потом ты тоже поймешь. А пока я говорю для Дуа.

Он следил за тем, как Дуа обретает матовость.

— Послушай, Дуа! — сказал он потом.— Всякий раз, когда мы синтезируемся, когда синтезируется любая триада, мы образуем Жесткого. Каждый Жесткий триедин, потому-то он и жесткий. И весь срок утраты сознания в период синтезирования мы живем в форме Жесткого. Но лишь временно, а потом, выходя из синтеза, мы все забываем. И долго оставаться Жестким мы не можем, нам необходимо возвращаться в мягкое состояние. Однако всю свою жизнь мы развиваемся от стадии к стадии. Отпочкование каждого ребенка отме-

чает такую стадию. Появление третьего ребенка — крошки-эмоционали — открывает путь к заключительной стадии, когда сознание рационала само, без содействия остальных двух, обретает память о кратких периодах существования в форме Жесткого. Тогда и только тогда он становится способен провести безупречный синтез, который создаст Жесткого уже навсегда и обеспечит триаде новую единую интеллектуальную жизнь, посвященную приобретению знаний. Я ведь говорил тебе, что переход — это как бы новое рождение. Тогда я лишь нащупывал эту неясную мысль, но теперь я говорю то, что знаю твердо.

Дуа смотрела не него, силясь улыбнуться. Она сказала:

— Как ты можешь настолько обманываться, Ун? Будь это так, почему Жесткие не рассказали тебе об этом раньше? Да и всем нам тоже?

— Они не могли, Дуа. Когда-то, тысячи тысяч циклов тому назад, синтезирование представляло собой лишь соединение атомов тела. Но в результате эволюции у первоначальных форм постепенно развились разные типы сознания. Слушай, Дуа. Синтезирование включает в себя и слияние сознаний, а это процесс гораздо более сложный и тонкий. Рационал может слить их правильно и навсегда, только когда он созреет для этого. Зрелость же наступает в тот момент, когда он сам, без чьей-либо помощи, постигает сущность происходящего, когда его сознание наконец становится способным вместить воспоминания о том, что происходило в периоды временных слияний. Если рационалу объяснить все заранее, естественность развития будет безнадежно искажена, он уже не сумеет определить правильный момент для безупречного синтеза, и новый Жесткий получится ущербным. Когда Лостен умолял меня думать, он очень рисковал. И не исключено, что... Хотя я надеюсь... Видишь ли, Дуа, мы ведь особый случай. Из поколения в поколение Жесткие старательно подбирали триады так, чтобы появлялись особо одаренные новые Жесткие. И наша триада — лучшая из тех, которые им удалось до сих пор подобрать. А особенно ты, Дуа. Особенно ты. Лостен — это слившаяся триада, чьей крошкой-серединой когда-то была ты. Какая-то его часть была твоим пестуном. Он следил за тобой. Он привел тебя к нам с Триттом.

Дуа приподнялась. Голос ее стал почти нормальным.

— Ун! Ты придумал все это, чтобы утешить меня?

Но, опередив Уна, ей ответил Тритт:

— Нет, Дуа! Я это тоже чувствую. Да, чувствую. Я не совсем понял, что, но я это чувствую.

— Он говорит правду, Дуа,— сказал Ун.— И ты это тоже почувствуешь. Разве ты уже не припоминаешь хоть немного, как мы были Жестким в период нашего синтеза? Разве ты не хочешь еще раз синтезироваться? В последний раз? В самый последний?

Он помог ей подняться. В ней чувствовался жар, и она, хоть и сопротивлялась, уже начала разреживаться.

— Если ты сказал правду, Ун,— произнесла она, задыхаясь,— если мы должны стать Жестким, то по твоим словам получается, что мы будем кем-то очень важным. Ведь так?

— Самым важным. Самым лучшим, который когда-либо синтезировался. Я не преувеличиваю... Тритт, стань вот тут. Мы не растаемся, Тритт. Мы будем вместе, как нам всегда хотелось. И Дуа тоже. И ты тоже, Дуа.

— Тогда мы сможем убедить Эстуолда, что Насос надо остановить,— сказала Дуа.— Мы заставим...

Синтезирование началось. В комнату один за другим входили Жесткие. Ун еле различал их, потому что он уже сливался с Дуа.

Этот синтез не был похож на прежние — ни упоенного восторга, ни острой радости бытия, а лишь непрерывный, спокойный, блаженно-безмятежный процесс. Он чувствовал, что становится единым с Дуа, и весь мир словно хлынул в его/ее обостренное восприятие. Позитронные Насосы все еще работали — он/она чувствовали это ясно. Почему они работают?

Он был также и Триттом — его/ее/его сознание исполнилось ощущением горькой потери. О мои крошки...

И он вскрикнул — последний крик, рожденный еще сознанием Уна, но каким-то образом кричала Дуа:

— Нет, мы не сможем остановить Эстуолда. Эстуолд — это мы. Мы...

Крик, который был криком Дуа и не ее криком, оборвался — Дуа перестала быть. И больше никогда не будет Дуа. И Уна. И Тритта. Никогда.

Эстуолд шагнул к стоящим в молчании Жестким и печально сказал с помощью звуковых вибраций:

— Теперь я навсегда с вами. Нам предстоит сделать так много...

## Часть третья

---

# ...БОРОТЬСЯ БЕССИЛЬНЫ?

---

### 1

Селена Линдстрем просияла профессиональной улыбкой и пошла дальше. Ее легкая пружинистая припрыжка уже больше не удивляла туристов, и теперь им даже начинало казаться, что в этой непривычной походке есть своя грациозность.

— Пора перекусить! — объявила она жизнерадостно. — Завтрак исключительно из продуктов местного производства, уважаемые дамы и господа. Вкус может показаться вам несколько непривычным, но все они высокопитательны... Вот сюда, сэр. Я знаю, вы не станете возражать, если я посажу вас с дамами... Одну минутку. Места хватит для всех... Мне очень жаль, но дежурное блюдо всего одно, хотя напитки вы можете заказать по желанию. Сегодня телятина... Нет-нет. И вкус и консистенция создаются искусственным образом, но общий результат превосходен, можете мне поверить.

Затем она села сама, не удержавшись от легкого вздоха, и даже любезная улыбка на ее лице чуть-чуть поблекла.

Один из туристов остановился у стула напротив — Разрешите? — спросил он.

Селена бросила на него внимательный оценивающий взгляд. Он казался безобидным, а она привыкла с полным на то основанием полагаться на свою пронырливость.

— О, пожалуйста! — ответила она. — Но ведь вы по-моему, тут с кем-то?

Он покачал головой.

— Нет. Я один. Но в любом случае общество земляшек меня не особенно прельщает.

Селена снова поглядела на него. Лет около пятидесяти, лицо усталое, но глаза живые и умные. Ну, и конечно, впечатление неуклюжей грузности, которое всегда производят земляне, впервые попавшие в условия лунного тяготения. Она сказала:

— Земляшки — это чисто лунное словечко, и к тому же довольно грубое.

— Я ведь сам с Земли,— ответил он,— а потому, мне кажется, имею право его употреблять. Но, конечно, если вам неприятно...

Селена только пожала плечами, словно говоря: «Как вам угодно!»

Глаза у нее были чуть раскосыми, как у большинства лунных девушек, но волосы цвета спелой пшеницы и крупноватый нос никак не вязались с традиционным представлением о восточных красавицах. Однако, несмотря на неправильные черты лица, она была очень привлекательна.

Землянин глядел на металлический флажок с ее именем, который она носила на груди слева. И Селена ни на секунду не усомнилась, что интересуется его действительно флажок.

— А тут много Селен? — спросил он.

— О да! Они исчисляются по меньше мере сотнями. Так же, как Синтии, Дианы и Артемиды. Но особенно популярны Селены, хотя половина знакомых мне Селен предпочитает сокращение «Лена», а вторая половина именуется Селиями.

— А какое сокращение выбрали вы?

— Никакого. Я — Селена. Все три слога. Се-ЛЕ-на,— произнесла она, подчеркнуто выделив ударный слог.— Так называют меня те, кто вообще называет меня по имени.

Губы землянина сложились в улыбку — с некоторой неловкостью, словно для них это было что-то не вполне привычное. Он сказал:

— А когда вас спрашивают, на что вы сели, Селена?

— Больше он этого вопроса не повторит! — ответила она с полной серьезностью.

— Но спрашивают?

— Дураков в мире хватает.

К их столику подошла официантка и быстрыми плавными движениями расставила блюда.

На землянина это произвело явное впечатление. Он повернулся к официантке и сказал:

— Они у вас словно парят в воздухе.

Официантка улыбнулась и отошла к следующему столику. Селена сказала предостерегающе:

— Только не вздумайте ей подражать. Она при-  
выкла к нашей силе тяжести и умеет ею пользо-  
ваться.

— Другими словами, я все перебью!

— Во всяком случае, вы устроите нечто очень эф-  
фектное.

— Ну хорошо. Не буду!

— Но кто-нибудь непременно попробует! Тарелка спланирует на пол, он попытается поймать ее на лету и свалится со стула. Я пробовала предупреждать, но, конечно, это не помогает, и бедняга потом только сильнее смущается. А все остальные хохочут. То есть остальные туристы. А мы столько раз видели такие спектакли, что нам уже не смешно, да к тому же потом кому-то приходится все это убирать.

Землянин с большой осторожностью поднес вилку ко рту.

— Да, вы совершенно правы. Даже простейшие движения даются с некоторым трудом.

— Нет, вы быстро освоитесь. Во всяком случае, с несложными операциями вроде еды. Ходьба, например, дается тяжелее. Мне еще не приходилось видеть землянина, который был бы способен бегать тут по-настоящему. То есть легко и быстро.

Некоторое время они ели молча. Потом землянин спросил:

— А что означает это «Л»?

Он опять глядел на ее флажок, на котором было написано: «Селена Линдстрем, Л.»

— Всего лишь «Луна»,— ответила Селена равнодушно.— Чтобы отличать меня от иммигрантов. Я родилась здесь.

— Неужели?

— А что тут удивительного? Люди живут и работают на Луне уже более пятидесяти лет. Или вы полагали, что у них не может быть детей? У многих



луноорожденных есть уже внуки.

— А сколько вам лет?

— Тридцать два года.

На его лице отразилось неподдельное удивление, но он тут же пробормотал:

— Ах да, конечно.

Селена подняла брови.

— Значит, вы понимаете? Большинству землян приходится объяснять, в чем тут дело.

— Ну, я достаточно осведомлен для того, чтобы сообразить, что большинство внешних признаков возраста появляется в результате неминуемой победы силы тяжести над тканями тела — вот почему обвисают щеки и животы. Поскольку сила тяжести на Луне равна лишь одной шестой силы тяжести на Земле, нетрудно догадаться, что люди тут должны выглядеть молодыми очень долго.

— Да, но только выглядеть,— сказала Селена.— У нас тут нет ничего похожего на бессмертие, и средняя продолжительность жизни соответствует земной. Однако старость мы, как правило, переносим лучше.

— Ну, это уже немало... Но, конечно, у медали есть и обратная сторона? — он как раз отхлебнул кофе.— Вам, скажем, приходится пить вот это...— он умолк, подыскивая нужное слово, но, по-видимому, оно оказалось не слишком удобопроизносимым, потому что он так и не закончил фразу.

— Мы могли бы ввозить продукты питания и напитки с Земли,— сказала она, улыбнувшись.— Но в таких мизерных количествах, что их хватило бы лишь для очень ограниченного числа людей и к тому же на очень ограниченный срок. Так какой же смысл отнимать ради этого место у по-настоящему важных грузов? Да мы и привыкли к этому пойлу. Или вы хотели употребить слово покрепче?

— Не для кофе,— сказал он.— Я приберегал его для еды. Но «пойло» вполне подойдет... Да, кстати, мисс Линдстрем, в программе нашей поездки я не нашел упоминания о посещении синхрофазотрона.

— Синхрофазотрона? — она почти допила кофе и уже поглядывала по сторонам, выбирая момент, чтобы встать и собрать группу.— Это собственность Земли, и он не входит в число достопримечательностей, которые показывают туристам.

— Вы хотите сказать, что доступ к нему для лунян закрыт?

— О, ничего подобного! Его штат укомплектован почти одними лунянами. Просто правила пользования синхрофазотроном устанавливает Земля, и туристам его не показывают.

— А мне бы очень хотелось взглянуть на него!

— Да, конечно... А вы принесли мне удачу,— весело добавила она.— Ни одна тарелка и ни один турист не очутились на полу!

Она встала из-за стола и сказала:

— Уважаемые дамы и господа! Мы отправляемся дальше через десять минут. Пожалуйста, оставьте на столах все, как есть. Если кто-нибудь хочет привести себя в порядок, туалетные комнаты направо. Сейчас мы отправимся на пищевую фабрику, благодаря которой мы смогли пообедать так, как пообедали.

## 2

Квартира Селены была, разумеется, небольшой и умещалась по сути в одной комнате, но догадаться об этом сразу было трудно. Три панорамных окна сверкали звездами, которые двигались медленно и беспорядочно, образуя все новые и новые созвездия, не имевшие даже отдаленного сходства с настоящими. При желании Селена могла менять настройку и созерцать их словно в сильный телескоп.

Бэррон Невилл не выносил этих звездных видов и всегда сердито их выключал, повторяя каждый раз: «Как только ты их терпишь? Из всех моих знакомых одной тебе нравится эта безвкусица. И ведь этих туманностей и звездных скоплений в действительности даже не существует!»

А Селена спокойно пожимала плечами и отвечала: «А что такое «существует в действительности»? Откуда ты знаешь, что те, которые можно увидеть с поверхности, действительно существуют? А мне они дают ощущение свободы и движения. Неужели я не могу обставить свою квартиру, как мне нравится?»

После этого Невилл бормотал что-то невнятное и без особой охоты шел к окнам, чтобы вновь их включить, а Селена говорила: «Оставь!»

Мебель отличалась округлостью линий, а стены были покрыты неярким геометрическим орнаментом на приятно приглушенном фоне. Нигде не было ни одного изображения, которое хотя бы отдаленно напоминало живое существо.

«Живые существа принадлежат Земле,— говорила Селена.— А тут Луна».

Вернувшись домой в этот вечер, она, как и ожидала, увидела у себя в комнате Невилла. Он полулежал на маленькой легкой кушетке, задрал ногу в сандалиии. Вторая сандалия валялась рядом на полу. На его груди, там, где он ее задумчиво почесывал, проступили красные полосы.

Селена сказала:

— Бэррон, свари кофе, ладно? — и, грациозно изогнувшись, одним гибким движением сбросила платье на пол и носком ноги отшвырнула его в угол.

— Уф! — сказала она.— Какое облегчение! Пожалуй, хуже всего в этой работе то, что приходится одеваться, как земляшки.

Невилл, который возился в кухонной нише, ничего не ответил. Он слышал это десятки раз. Через минуту он спросил с раздражением:

— Что у тебя с подачей воды? Еле капает.

— Разве? — рассеянно сказала она.— Ну, значит, я перерасходовала. Ничего, сейчас натечет.

— Сегодня у тебя были какие-нибудь неприятности?

— Нет,— Селена пожала плечами.— Обычная канитель. Смотришь, как они ковыляют, как притворяются, будто еда им не противна, и наверняка все время думают про себя, предложат им ходить раздетыми или нет... Бррр! Ты только представь себе, как это выглядело бы!

— Ты, кажется, становишься ханжой?

Бэррон вернулся к столу, неся две чашечки кофе.

— Не понимаю, при чем тут ханжество. Дряблая кожа, отвислые животики, морщины и всякие микроорганизмы. Карантин карантином, только они все равно нашпигованы всякими микробами... А у тебя ничего нового?

Бэррон покачал головой. Для лунянина он был сложен очень плотно. Привычка постоянно шуриться придавала хмурое, почти угрюмое выражение его ли-

цу. А если бы не это, подумала Селена, оно было бы очень красиво. Он сказал:

— Да ничего особенного. Мы по-прежнему ждем смены представителя. Прежде всего надо посмотреть, что такое этот Готтштейн.

— А он может помешать?

— Не больше, чем нам мешают сейчас. В конце-то концов, что они могут сделать? Подослать шпиона? Но как земляшку ни переодевай, за лунянина он сойти не сможет! — Тем не менее в его голосе слышалась тревога.

Селена внимательно смотрела на него, со вкусом прихлебывая кофе.

— Но ведь и лунянин внутренне может быть вполне убежденным земляшкой.

— Конечно, но как их узнаешь? Иногда мне кажется, что я не могу доверять даже... Ну, да ладно. Я трачу уйму времени на мой синхροфазотронный проект и ничего не могу добиться. Все время что-то оказывается более срочным.

— Возможно, они тебе попросту не доверяют, да и неудивительно! Вольно же тебе расхаживать с видом заядлого заговорщика!

— Ничего подобного! Я бы с величайшим восторгом раз и навсегда ушел из синхροфазотронного комплекса, но тогда они и правда встревожатся... Если ты растратила свою водную квоту, Селена, о второй чашке кофе, наверное, не стоит и думать?

— Да, не стоит. Но если уж на то пошло, то ведь ты усердно помогал мне транжирить воду. На прошлой неделе ты дважды принимал у меня душ.

— Я верну тебе водяной талон. Мне и в голову не приходило, что ты все подсчитываешь.

— Не я, а водомер.

Она допила свой кофе и, задумчиво посмотрев на дно чашки, сказала:

— Они всегда строят гримасы, когда пьют наш кофе. То есть туристы. Не понимаю, почему. Я его всегда пью с удовольствием. Ты когда-нибудь пробовал земной кофе, Бэррон?

— Нет,— ответил он резко.

— А я пробовала. Всего раз. Один турист тайком провез несколько пакетиков кофе — растворимого, как он его назвал. И предложил мне попробовать, рас-

считывая на... Ну, ты понимаешь. По его мнению, это был справедливый обмен.

— И ты попробовала?

— Из любопытства. Очень горький, с металлическим привкусом. Просто омерзительный. Тут я объяснила этому туристу, что смешанные браки не входят в лунные обычаи, и он сразу тоже приобрел горький и металлический привкус.

— Ты мне об этом прежде не рассказывала! И он себе что-нибудь позволил?

— А собственно, какое тебе дело? Нет-нет, он себе ничего не позволил. Не то с непривычки к нашей силе тяжести он у меня полетел бы отсюда до коридора номер первый.— Кстати,— продолжала она после паузы,— меня сегодня обхаживал еще один земляшка. Подсел ко мне за обедом.

— И что же он предложил тебе взамен... «ну, ты понимаешь», по твоему столь изящному выражению?

— Он просто сидел и ел.

— И поглядывал на твою грудь?

— Нет, только на именной флажок... Но в любом случае не все ли тебе равно, на что он поглядывал? Или, по-твоему, я только и думаю о том, чтобы завести роман с землянином и любоваться, как он хорохорится наперекор непривычной силе тяжести? Да, конечно, подобные случаи бывали, но не со мной, и, насколько мне известно, ни к чему хорошему такие романы не приводили. С этим вопросом все ясно? Могу ли я вернуться к моему обеденному собеседнику? Которому почти пятьдесят? Впрочем, он и в двадцать явно не был сногсшибательным красавцем. Правда, лицо у него интересное, не стану отрицать.

— Ну ладно, ладно. Портрет его меня не интересует. Так что же он?

— Он спрашивал про синхрофазотрон.

Невилл вскочил, слегка пошатнувшись (обычное следствие быстрых движений при малой силе тяжести).

— Что именно?!

— Да ничего особенного. Что с тобой? Ты просил, чтобы я тебе рассказывала о туристах все вплоть до мелочей, если эти мелочи хоть в чем-то выходят за рамки стандартного поведения. Ну так вот, о синхро-

фазотроне меня еще никто ни разу не спрашивал.

— Ну хорошо! — он помолчал, а затем спросил уже спокойнее: — Почему его интересует синхрофазотрон?

— Не имею ни малейшего представления, — ответила Селена. — Он просто спросил, нельзя ли его посмотреть. Может быть, он любит осматривать научные учреждения. А может быть, он просто это придумал, чтобы заинтересовать меня.

— Что ему, кажется, и удалось! Как его зовут?

— Не знаю. Я не спросила.

— Почему?

— Потому что он меня несколько не заинтересовал. Ты уж выбирай что-нибудь одно! Впрочем, сам его вопрос показывает, что он — простой турист. Будь он физиком, ему бы не пришлось задавать таких вопросов. Его пригласили бы туда и без них.

— Дорогая моя Селена! — сказал Невилл. — Ну хорошо, я повторю все с азов. При нынешнем положении вещей любой человек, задающий вопросы про синхрофазотрон, уже потенциально опасен, а поэтому нам нужно знать о нем как можно больше. И почему, собственно, он обратился с таким вопросом именно к тебе?

Невилл быстро прошелся по комнате, словно сбрасывая излишек энергии. Потом сказал:

— Ты специалистка по таким вещам. Он показался тебе интересным?

— Как мужчина?

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Перестань увливать, Селена!

Она ответила с явной неохотой:

— Он интересен, в нем даже есть что-то интригующее. Но я не могу сказать, что именно. В его словах и поведении не было ничего хоть сколько-нибудь необычного.

— Интересен, в нем есть что-то интригующее? В таком случае тебе нужно встретиться с ним еще раз.

— Ну, предположим, мы встретимся — и что же я должна буду делать?

— Откуда я знаю? Это уж тебе виднее. Узнай его имя. Выясни все, что будет возможно. Используй свои несомненные умственные способности для интеллек-

туального выноживания.

— Ну ладно,— ответила она.— Приказ начальства? Будет исполнено.

### 3

По размерам резиденция представителя Земли ничем не отличалась от стандартной лунной квартиры. На Луне не было лишнего пространства — в том числе и для высокопоставленных землян. Никакие соображения престижа не могли изменить того факта, что на Луне люди жили глубоко под поверхностью планеты в условиях малой силы тяжести, и даже самому прославленному из землян пришлось бы смириться с отсутствием такой недоступной роскоши, как простор.

— Человек привыкает ко всему! — вздохнул Луис Монтес.— Я прожил на Луне два года, и порой у меня возникало желание остаться тут и дольше, но... Я уже не молод. Мне пошел пятый десяток, и если я не хочу остаться тут навсегда, то должен уехать немедленно, или я уже не сумею вновь приспособиться к полной силе тяжести.

Конраду Готтштейну было только тридцать четыре года, а выглядел он еще моложе. Его лицо было круглым, с крупными чертами — среди лунян такой тип лица настолько редок, что оно стало непременной принадлежностью земляшек на лунных карикатурах. Однако фигура у него была сухощавой и стройной — посылать на Луну дородных землян, как правило, избегали,— а потому его голова казалась непропорционально большой.

Он сказал (произнося слова общепланетного эсперанто с несколько иным акцентом, чем Монтес):

— Вы как будто извиняетесь.

— Вот именно, вот именно! — воскликнул Монтес. (Если лицо Готтштейна производило впечатление безмятежного благодушия, то лицо Монтеса, изборожденное глубокими складками, было печальным до комизма.) — И даже в двух отношениях. Я испытываю потребность оправдываться, потому что покидаю Луну — очень привлекательный и интересный мир. И чувствую себя виноватым потому, что ощущаю такую потребность. Мне стыдно, что я словно побаиваюсь принять на себя бремя Земли — и силу тяжести, и все прочее.

— Да, могу себе представить, что эти добавочные пять шестых дадутся вам не очень легко,— сказал Готтштейн.— Я пробыл на Луне всего несколько дней, и уже нахожу, что одна шестая земной силы тяжести — прекрасная штука.

— Ну, вы перемените мнение, когда ваше пищеварение взбунтуется и вам неделями придется жить на касторке,— со вздохом заметил Монтес.— Впрочем, это пройдет... Но хотя вы и ощущаете легкость во всем теле, лучше все-таки не изображайте из себя легкую серну. Для этого требуется большое уменье.

— Я понимаю.

— О нет, Готтштейн, вам только кажется, будто вы понимаете. Вы ведь еще не видели кенгуровой припрыжки?

— Видел по телевизору.

— Ну, это совсем не то. Надо самому попробовать. Лучший способ быстрого передвижения по ровной лунной поверхности. Вы отталкиваетесь обеими ступнями, словно для прыжка в длину на Земле. В воздухе вы выносите ноги вперед, а в последний момент опускаете их и снова отталкиваетесь. И так далее. По земным меркам это происходит довольно-таки медленно, поскольку тяжесть, обеспечивающая толчок, невелика, зато с каждым прыжком человек покрывает свыше двадцати футов, а для того чтобы удерживаться в воздухе — то есть если бы тут был воздух,— необходимы лишь минимальные мышечные усилия. Ощущение такое, будто ты летишь...

— Значит, вы пробовали? Вы умеете передвигаться кенгуровой припрыжкой?

— Да, я пробовал, но у землянина это по-настоящему получиться не может. Мне удавалось сделать до пяти прыжков подряд — вполне достаточно, чтобы возникло ощущение полета и чтобы захотелось прыгать дальше. Но тут вы обязательно допускаете просчет, слишком замедляете или убыстряете движения и катитесь кубарем четверть мили, если не больше. Луняне вежливы и никогда над вами не смеются. Сами же они начинают с раннего детства, и для них это все просто и естественно.

— Это ведь их мир,— усмехнулся Готтштейн.— А вы представьте себе, как они выглядели бы на Земле.

— Но ведь они в таком положении оказаться ни-



как не могут. Им пути на Землю нет. Тут мы имеем перед ними преимущество. Нам открыты и Земля и Луна. А они способны жить только на Луне. Мы порой забываем об этом, потому что подсознательно путаем лунян с грантами.

— С кем, с кем?

— Так они называют иммигрантов с Земли. Тех, кто почти постоянно живет на Луне, но родился и вырос на Земле. Иммигранты могут при желании вернуться на Землю, но у настоящих лунян ни кости, ни мышцы не приспособлены к тому, чтобы выдерживать земное тяготение. В начале лунной истории это не раз приводило к подлинным трагедиям.

— Вот как?

— К сожалению. Родители возвращались на Землю с детьми, которые родились на Луне... Мы про это как-то забываем. Это ведь были годы решительного перелома, и смерть горстки детей прошла в тот момент почти незамеченной. Внимание человечества было поглощено общемировой ситуацией и ее окончательным разрешением в конце двадцатых годов. Но здесь, на Луне, помнят всех лунян, не выдержавших жизни в условиях земной силы тяжести... По-моему, это помогает им ощущать себя самостоятельными и независимыми.

— Мне казалось, что на Земле я получил всю необходимую информацию,— сказал Готтштейн,— но, по-видимому, мне предстоит узнать еще очень многое.

— Изучить Луну полностью по сведениям, поступающим на Землю, попросту невозможно, а потому я подготовил для вас исчерпывающее резюме. То же сделал для меня мой предшественник. Вы убедитесь, что Луна необычайно интересна, а в некоторых отношениях и способна довести человека до помешательства. Вряд ли вы пробовали на Земле лунную пищу, а никакие описания не помогут вам приготовиться к тому, что вас ждет... И все-таки вам придется смириться с необходимостью: выписывать сюда земные деликатесы было бы плохой политикой. Тут мы едим и пьем продукты исключительно местного производства.

— Вы ведь прожили на них два года. Надеюсь, и я тоже выдержу.

— Два года — но с некоторыми перерывами. Нам

полагается через регулярные промежутки проводить несколько дней на Земле. И эти отпуска обязательны, хотим мы того или нет. Но вас, вероятно, предупредили?

— Да,— ответил Готтштейн.

— Как бы вы ни следили здесь за своим физическим состоянием, вам все-таки необходимо время от времени напоминать вашим костям и мышцам, что такое полная сила тяжести. А уж попав на Землю, вы отъедаетесь вволю. Ну, и, кроме того, порой удастся провезти тайком кое-какие лакомства.

— Мой багаж, разумеется, был подвергнут тщательному осмотру,— сказал Готтштейн.— Но потом я обнаружил в кармане пальто банку тушёнки. Я совсем про нее забыл, а таможенники ее не заметили.

Монтес улыбнулся и сказал нерешительно:

— Я подозреваю, что вы намерены поделиться со мной.

— Нет,— торжественно ответил Готтштейн, наморщив свой толстый короткий нос.— Я намеревался произнести со всем трагическим благородством, на какое я только способен: «О Монтес, съешь ее всю сам — твоя нужда больше моей!» — последнюю фразу он произнес с запинкой, поскольку ему редко приходилось ставить глаголы общепланетарного эсперанто во второе лицо единственного числа.

Улыбка Монтеса стала шире, однако он с сожалением покачал головой.

— Спасибо, но ни в коем случае. Через неделю я получу возможность есть любую земную пищу в любых количествах. Вам же в ближайшие годы она будет перепадать лишь изредка, и вы вновь и вновь будете раскаиваться в нынешней своей щедрости. Оставьте всю банку себе... Прошу вас. Я вовсе не хочу, чтобы в дальнейшем вы меня люто возненавидели.

Он дружески положил руку на плечо Готтштейна и посмотрел ему в глаза.

— Кроме того,— продолжал он,— нам с вами предстоит разговор на весьма важную тему, а я не знаю, как его начать, и эта тушёнка послужила бы мне удобным предлогом, чтобы снова его оттянуть.

Готтштейн тотчас спрятал банку. Его круглое лицо было органически неспособно принять выражение сосредоточенности, но голос стал очень серьезным:

— Значит, есть что-то, о чем вы не могли сообщить в своих донесениях на Землю?

— Я пытался, Готтштейн, но все это достаточно зыбко, а Земля не сумела или не пожелала разобраться в моих намеках, и вопрос повис в воздухе. Возможно, вам удастся добиться чего-то более определенного. Я от души на это надеюсь. По правде говоря, я не просил о продлении срока моих полномочий, в частности, именно потому, что ответственность слишком велика, а я не сумел убедить Землю.

— Если судить по вашему тону, это действительно что-то очень серьезное.

— Да, если судить по тону! Но я отдаю себе отчет, что выглядит все довольно глупо. На Луне постоянно живет около десяти тысяч человек, и уроженцы Луны не составляют из них и половины. Им не хватает ресурсов, им мешает теснота, они живут на очень суровой планете, и все же... все же...

— И все же? — подсказал Готтштейн.

— Тут что-то происходит — я не знаю точно, что именно, но, возможно, что-то опасное.

— То есть как — опасное? Что они, собственно, могут сделать? Объявить Земле войну? — казалось, Готтштейн с трудом сдерживает улыбку.

— Нет-нет. Все это гораздо тоньше.— Монтес провел рукой по лицу и раздраженно протер глаза.— Разрешите, я буду с вами откровенным. Земля утратила прежний дух.

— Что вы под этим подразумеваете?

— Ну, а как это назвать по-другому? Примерно в то время, когда на Луне появилось первое поселение, Земля пережила экологический перелом. Полагаю, мне не надо вам о нем рассказывать?

— Разумеется,— хмуро ответил Готтштейн.— Но ведь в конечном счете Земля от него выиграла, не так ли?

— О, без сомнения! Но он оставил после себя непреходящее недоверие к технике, определенную апатию, ощущение, что всякая перемена чревата рискованными побочными следствиями, которые трудно предвидеть заранее. Многообещающие, но опасные исследования были прекращены, потому что даже полный их успех, казалось, не оправдывал сопряженного с ними риска.

— Насколько я понимаю, вы говорите о програм-

ме генетического конструирования?

— Да, это наиболее яркий пример, но, к сожалению, не единственный,— ответил Монтес с грустью.

— Честно говоря, отказ от генетического конструирования меня лично несколько не огорчает. С самого начала и до конца это была цепь срывов и неудач.

— Человечество утратило шанс на развитие интуитивизма.

— Но ведь так и осталось неясным, насколько интуитивизм был бы полезен, а вот его возможные минусы были более чем очевидны... Кстати, а как же Луна? Какие еще нам нужны доказательства, что Земля вовсе не погрузилась в апатию?

— Наоборот! — вскричал Монтес.— Лунная колония — это наследие эпохи, предшествовавшей перелому, последний бросок человечества вперед, а затем началось отступление.

— Вы преувеличиваете, Монтес.

— Не думаю. Земля отступила, человечество отступило повсюду, кроме Луны. Луна олицетворяет замечательнейшее завоевание человека не только физически, но и психологически. Это мир, где нет живой и уязвимой природы, где можно не опасаться нарушить хрупкое равновесие сложной среды обитания. На Луне все, что необходимо человеку, создано самим человеком. Луна — мир, сотворенный человеком с начала и до конца. У него нет прошлого.

— Ну, и что же?

— На Земле нам мешает тоска по пасторальному единению с природой, которого никогда в действительности и не было. Но даже существуй оно когда-то, возродить его все равно было бы невозможно. А у Луны нет прошлого, о котором можно мечтать или тосковать. Тут есть только одна дорога — вперед.

Монтес, казалось, загорался от собственных слов все больше и больше.

— Готтштейн, я наблюдал эти два года. Вам предстоит наблюдать тоже два года, если не больше. Луна охвачена огнем — огнем деятельности. Причем поле этой деятельности все время расширяется. И физически — каждый месяц бурятся все новые коридоры, оборудуются все новые жилые комплексы, обеспечивая дальнейший рост населения. И в смысле ресурсов — все время открываются новые строительные

материалы, новые источники воды, новые залежи полезных ископаемых. Расширяются поля солнечных аккумуляторов, растут электронные заводы... Полагаю, вам известно, что эти десять тысяч человек здесь, на Луне, обеспечивают всю Землю миниэлектронными приборами и прекрасными биохимическими препаратами?

— Да, я знаю, что это довольно важный их источник.

— Земля предается приятному самообману. Луна — основной их источник. А в недалеком будущем может стать и единственным. Они здесь, на Луне, растут и интеллектуально. Готтштейн, я убежден, что на Земле не найдется ни одного начинающего молодого ученого, который иногда — а может быть, и далеко не иногда — не мечтал бы со временем уехать на Луну. Ведь во многих областях техники Луна начинает занимать ведущие позиции.

— Вероятно, вы имеете в виду синхрофазотрон?

— И его тоже. Когда был построен на Земле последний синхрофазотрон? И это лишь наиболее яркий пример, но отнюдь не единственно важный. И даже не самый важный. Если хотите знать, то решающий фактор в области науки на Луне — это...

— Нечто столь секретное, что мне о нем не сообщили?

— Нет. Нечто столь очевидное, что его просто не замечают. Я имею в виду десять тысяч интеллектов, отборных человеческих интеллектов, которые и по убеждению и по необходимости посвятили себя служению науке.

Готтштейн беспокойно заерзал и хотел подвинуть стул. Но стул был привинчен к полу, и Готтштейн едва не соскользнул на ковер. Монтес удержал его за локоть.

— Простите! — досадливо покраснев, пробормотал Готтштейн.

— Ничего, вы скоро освоитесь со здешней силой тяжести.

Но Готтштейн не слушал.

— Согласитесь все-таки, что вы сильно преувеличиваете, Монтес. Ведь Земля — это вовсе не такая уж отсталая планета. Например, Электронный Насос. Он создан Землей. Ни один лунянин не принимал уча-

ствия в работе над ним.

Монтес покачал головой и пробормотал что-то по-испански — на своем родном языке. Судя по всему, что-то очень энергичное. Потом он спросил на эсперанто:

— Вам доводилось встречаться с Фредериком Хэллемом?

Готтштейн улыбнулся.

— А как же. Отец Электронного Насоса! По-моему, он вытатуировал этот титул у себя на груди.

— Ваша улыбка и ваши слова — уже аргумент в мою пользу. Спросите себя: а мог ли человек вроде Хэллема действительно создать Электронный Насос? Тем, кто предпочитает не размышлять над такими вопросами, это представляется само собой разумеющимся. Но стоит задуматься, и сразу становится ясно, что у Насоса вообще не было отца. Его изобрели паралюди, обитатели паравселенной, каковы бы они ни были и какой бы ни была она. Хэллему же случайно досталась роль их орудия. Да и вся Земля для них — всего лишь средство, помогающее достижению какой-то их цели.

— Но мы сумели извлечь пользу из их инициативы.

— Да, как коровы умеют извлечь пользу из сена, которым мы их снабжаем. Насос — вовсе не доказательство прогресса человечества. Скорее наоборот.

— Ну, если Насос, по-вашему, символизирует шаг назад, то подобный шаг назад можно только приветствовать. Мне не хотелось бы остаться без него.

— Мне тоже! Но речь идет о другом. Насос удивительно хорошо отвечает нынешнему настроению Земли. Неисчерпаемый источник энергии, абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и содержание станций, и никакого загрязнения среды обитания! Но на Луне нет Электронных Насосов.

— Так ведь они тут и не нужны, — заметил Готтштейн. — Солнечные аккумуляторы, насколько мне известно, с избытком обеспечивают Луну необходимой энергией, тоже абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и обслуживание, и тоже не загрязняющей среду обитания... Я верно запомнил заклинание?

— О да, вполне. Но ведь солнечные аккумуляторы созданы человеком. Вот о чем я говорю. Кстати, на Луне собирались установить Электронный Насос, и такая попытка была сделана.

— И что же?

— Ничего не вышло. Паралюди не забрали вольфрама. Не произошло ровно ничего.

— Я этого не знал. А почему?

Монтес выразительно поднял брови и развел руками.

— Кто может знать? Отчего не предположить, например, что паралюди живут на планете, не имеющей спутника, и не в состоянии представить себе второй обитаемый мир в близком соседстве с первым? Или же, отыскав то, что им было нужно, они попросту прекратили дальнейшие поиски? Как знать? Важно другое: они не забрали вольфрама, а сами мы без них ничего сделать не смогли.

— Сами мы...— задумчиво повторил Готтштейн.— Под этим вы подразумеваете землян?

— Да.

— А луняне?

— Они в этом участия не принимали.

— Но Электронный Насос их интересовал?

— Не знаю... Этим, собственно, и объясняются моя неуверенность, мои опасения. У лунян... и особенно у родившихся тут... существуют собственная точка зрения. Я не знаю их намерений, их планов. И мне ничего не удалось выяснить.

Готтштейн задумался.

— Но что, собственно, они могут сделать? Какие у вас есть основания полагать, что они злоумышляют против нас? А главное, какой вред они в силах причинить Земле, даже если бы и захотели?

— Я ничего не могу ответить. Все они — очень обаятельные и умные люди. Мне кажется, в них нет ни ненависти, ни злобы, ни даже страха. Но вдруг мне это только кажется? Я тревожусь именно потому, что ничего не знаю твердо.

— Если не ошибаюсь, научно-исследовательские установки на Луне подчинены Земле?

— Совершенно верно. Синхрофазотрон. Радиотелескоп на обратной стороне. Трехсотдюймовый оптический телескоп... Другими словами, большие уста-

новки, которые действуют уже пятьдесят с лишним лет.

— А что было добавлено с тех пор?

— Землянами? Очень мало.

— А лунянами?

— Не могу сказать точно. Их ученые работают на больших установках. Но я однажды проверил их табели. В них есть большие пробелы.

— Какие пробелы?

— Значительную часть времени они проводят где-то еще. Так, словно у них есть собственные лаборатории.

— Но ведь это естественно, если они производят миниэлектронное оборудование и высококачественные биохимические препараты?

— Да, и все-таки... Готтштейн, говорю же вам — я не знаю. И эта моя неосведомленность внушает мне страх.

Они помолчали. Потом Готтштейн спросил:

— Насколько я понял, Монтеc, вы рассказали мне все это для того, чтобы я был настороже и постарался без шума выяснить, чем занимаются луняне?

— Пожалуй,— невесело сказал Монтеc.

— Но ведь вы даже не знаете, действительно ли они чем-то занимаются.

— И все-таки я убежден, что это так.

— Странно! — сказал Готтштейн.— Мне следовало бы убеждать вас, что ваши необъяснимые страхи абсолютно беспочвенны... и тем не менее очень странно...

— Что именно?

— На том же корабле, что и я, летел еще один человек. То есть летела большая группа туристов, но лицо одного показалось мне знакомым. Я с этим человеком не разговаривал — просто не пришлось — и сразу же забыл о нем. Но этот наш разговор опять мне о нем напомнил...

— А кто он?

— Мне как-то довелось быть членом комиссии, рассматривавшей некоторые вопросы, связанные с Электронным Насосом. А точнее, вопрос о безопасности его использования. То недоверие к технике, о котором вы говорили,— Готтштейн улыбнулся.— Да,



мы все проверяем и перепроверяем. Но так ведь и надо, черт побери. Я уже забыл подробности, но на одном из заседаний комиссии я и видел человека, который теперь летел вместе со мной на Луну. Я убежден, что это он.

— По-вашему, тут что-то кроется?

— Не знаю. Но его лицо ассоциируется у меня с чем-то тревожным. Я постараюсь вспомнить. Во всяком случае, полезно будет затребовать список пассажиров и посмотреть, не значится ли в нем какая-нибудь знакомая фамилия. Как ни жаль, Монтес, но вы, кажется, обратили меня в свою веру.

— О чем же тут жалеть! — ответил Монтес. — Наоборот, я очень рад. Ну, а этот человек, возможно, просто турист и уедет через две недели. И все-таки очень хорошо, что я заставил вас задуматься.

Готтштейн бормотал, не слушая его:

— Он физик... или, во всяком случае, ученый. В этом я убежден. И он ассоциируется у меня с какой-то опасностью...

#### 4

— Здравствуйте! — весело сказала Селена.

Землянин оглянулся и сразу ее узнал.

— Селена! Я не ошибаюсь? Вы ведь — Селена?

— Правильно. Имя вы вспомнили совершенно точно. Ну, как вам тут нравится?

— Очень! — серьезно сказал землянин. — Я как-то по-новому понял, в каком неповторимом веке мы живем. Еще совсем недавно я был на Земле и чувствовал, насколько я устал от своего мира, устал от самого себя. И тут я подумал: живи я сто лет назад, у меня не было бы другого способа покинуть свой мир, кроме одного — умереть. Но теперь я могу уехать на Луну! — и он улыбнулся невеселой улыбкой.

— И что же, на Луне вы чувствуете себя счастливее? — спросила Селена.

— Немножко, — он огляделся. — Но где же туристы, которых вы пасете?

— Сегодня я свободна, — ответила она, засмеявшись. — Возможно, я возьму еще два-три свободных дня. Это ведь очень скучная работа.

— Как же вам не повезло! Только решили отдохнуть и сразу же наткнулись на туриста.

— Вовсе я на вас не наткнулась. Я вас специально разыскивала. И должна сказать, это было нелегкой задачей. А вам все-таки не следовало бы бродить в одиночестве.

Землянин посмотрел на нее с любопытством.

— А зачем, собственно, вы меня разыскивали? Вы что, так любите землян?

— Нет,— ответила она с непринужденной откровенностью.— Они мне до смерти надоели. Я в принципе отношусь к ним без особых симпатий, а оттого, что мне постоянно приходится иметь с ними дело в силу моих профессиональных обязанностей, они милей не становятся.

— И все-таки вы специально меня разыскивали, а ведь нет такой силы на Земле, то есть я хотел сказать — на Луне, которая могла бы убедить меня, будто я молод и красив.

— Ну, это ничего не изменило бы! Земляне меня совершенно не интересуют, как известно всем, кроме Бэррона.

— В таком случае почему же вы меня разыскивали?

— Потому что в человеке интересны не только молодость и красота, и еще потому, что вами заинтересовался Бэррон.

— А кто такой Бэррон? Ваш приятель?

Селена засмеялась.

— Ему было интересно. Он держался совершенно сколько больше, чем приятель.

— Я именно это и имел в виду. У вас есть дети?

— Сын. Ему десять лет. Он живет в интернате для мальчиков. Я избавлю вас от необходимости задавать мне следующий вопрос. Его отец — не Бэррон. Возможно, Бэррон будет отцом моего следующего ребенка, если мы с ним не разойдемся к тому времени, когда я получу право иметь второго ребенка. Если я такое право получу... Впрочем, в этом я не сомневаюсь.

— Вы очень откровенны.

— Разумеется. Какой смысл придумывать несуществующие секреты? Вот если бы... Ну, а чем бы вы хотели заняться сейчас?

Они шли по коридору, пробитому в молочно-белой породе. Его отполированные стены были инкрусти-

рованы дымчатыми осколками «лунных топазов», которые валялись на лунной поверхности практически повсюду. Сандалии Селены, казалось, почти не прикасались к полу, а на землянине были башмаки на толстой утяжеленной свинцом подошве, и только благодаря им каждый шаг не был для него мукой.

Движение в коридоре было одностороннее. Время от времени их нагоняли миниатюрные электромобили и бесшумно проносились мимо.

Землянин сказал:

— Чем бы я хотел заняться? У этого предложения слишком широкий спектр. Лучше задайте граничные условия, чтобы я ненароком не нарушил каких-либо запретов.

— Вы физик?

— Почему вы об этом спросили? — спросил землянин после нерешительной паузы.

— Только чтобы услышать, как вы мне ответите. А что вы физик, я и так знаю.

— Откуда?

— А кто еще попросит задать «граничные условия»? Тем более что, едва попав на Луну, тот же человек в первую очередь пожелал осмотреть синхрофазотрон.

— Ах, так вот почему вы постарались меня найти? Потому что решили, будто я физик?

— Поэтому Бэррон послал меня разыскивать вас. Он ведь физик. А я согласилась потому, что вы мне показались непохожим на обычных землян.

— В каком смысле?

— Ничего особенно лестного для вас, если вы спрашиваетесь на комплименты. Просто вы как будто не питаете особой любви к остальным землянам?

— Откуда вы это взяли?

— Я видела, как вы держитесь с остальными членами вашей группы. И вообще я это как-то чувствую. Ведь на Луне обычно оседают те земляне, которые недолюбливают своих сопланетников. Что возвращает меня к моему первому вопросу... Чем бы вы хотели заняться? Скажите, и я определю граничные условия. То есть в смысле объектов осмотра.

Землянин внимательно посмотрел на нее.

— Все это как-то странно, Селена. У вас сегодня выходной. Ваша работа настолько вам неинтересна и

даже неприятна, что вы с радостью взяли бы еще два-три свободных дня. Однако отдыхать вы намерены, опять исполняя свои профессиональные обязанности, причем ради одного меня... И все из-за мимолетного любопытства.

— Не моего, а Бэррона. Он пока занят, так почему бы не послужить вам гидом, пока он не освободится? К тому же это совсем другое дело! Неужели вы сами не понимаете? Моя работа заключается в том, чтобы нянчить десятка два земляшек... Вас не обижает, что я употребила это определение?

— Я сам им пользуюсь.

— Да. Потому что вы землянин. Но туристы с Земли считают его насмешливой кличкой, и им не нравятся, когда ее употребляет лунянин.

— То есть лунатик?

Селена покраснела.

— Вот именно.

— Ну, так давайте не придавать значения словам. Вы ведь начали что-то говорить мне про вашу работу.

— Так вот. Я обязана не допускать, чтобы эти двадцать земляшек сломали себе шеи. Я должна водить их по одному и тому же маршруту, произносить одни и те же фразы, следить, чтобы они ели, пили и ходили, соблюдая все правила и инструкции. Они осматривают положенные по программе достопримечательности и проделывают все, что принято проделывать, а я обязана быть безупречно вежливой и по-матерински заботливой.

— Ужасно! — сказал землянин.

— Но мы с вами можем делать, что захотим. Вы готовы рисковать, а я не обязана следить за тем, что я говорю.

— Я ведь вам уже сказал, что вы спокойно можете называть меня земляшкой.

— Ну, так значит, все в порядке. Я провожу свой выходной день в обществе туриста. Итак, чем бы вы хотели заняться?

— На это ответить нетрудно. Я хотел бы осмотреть синхрофазотрон.

— Только не это. Возможно, Бэррон что-нибудь устроит после того, как вы с ним поговорите.

— Ну, в таком случае я, право, не знаю, что ту

еще может быть интересного. Радиотелескоп, насколько мне известно, находится на обратной стороне, да и не такая уж это новинка... Предлагайте вы. Что обычно осматривают туристы?

— Существует несколько маршрутов. Например, бассейны с водорослями. Нет, не фабрика, где они обрабатываются в стерильных условиях. Ее вы уже видели. Это комплекс, где их выращивают. Однако они очень сильно пахнут, и земляшки... земляне находят этот запах не слишком аппетитным... Земляш... земляне и так давятся нашей едой.

— Это вас удивляет? А вы знакомы с земной кухней?

— Практически нет. И думаю, что земная еда мне вряд ли понравится. Это ведь вопрос привычки.

— Да, наверное,— ответил землянин со вздохом.— Если бы вам подали настоящую говядину, жесткие волокна и жирок, пожалуй, отбили бы у вас аппетит.

— Можно побывать на окраине, где ведется пробивка новых коридоров. Но тогда надо надеть защитные костюмы. Есть еще заводы...

— Я полагаюсь на ваш выбор, Селена.

— Хорошо, я возьму это на себя, но только если вы честно ответите мне на один вопрос.

— Пока' я не услышу вопроса, я не могу обещать, что отвечу на него.

— Я сказала, что земляшки, которым не нравятся другие земляшки, обычно остаются на Луне. Вы не стали возражать. Значит, вы намерены остаться на Луне?

Землянин устался на тупые носки своих тяжелых башмаков. Он сказал, не поднимая глаз:

— Селена, визу на Луну я получил с большим трудом. Меня предупредили, что я слишком стар для такой поездки и, если мое пребывание на Луне затянется, мне скорее всего уже нельзя будет вернуться на Землю. А потому я заявил, что намерен поселиться на Луне навсегда.

— И вы не лгали?

— В тот момент я еще не решил. Но теперь я думаю, что, вероятно, останусь.

— Странно! После такого заявления они тем более должны были бы вас не пустить.

— Почему?

— Обычно Земля предпочитает, чтобы ее физики не оставались на Луне насовсем.

Губы землянина тронула горькая улыбка.

— В этом отношении мне никаких препятствий не чинили.

— Что же, раз вы намерены стать одним из нас, вам, пожалуй, следует осмотреть гимнастический комплекс. Земляне часто изъявляют желание посетить его, но, как правило, мы предпочитаем их туда не водить, хотя официально это не запрещено. Иммигранты — другое дело.

— А почему такие сложности?

— Ну, например, мы занимаемся там практически нагими. А что тут, собственно, такого? — в ее голосе появилась досада, словно ей надоело оправдываться. — Температура в городе поддерживается оптимальная, чистота везде стерильная, а то, что общепринято, ничьего внимания не привлекает. Кроме, конечно, туристов с Земли. Одни туристы возмущаются, другие хихикают, а третьи и возмущаются и хихикают. А нам это мешает. Менять же ради них мы ничего не собираемся и потому просто стараемся их туда не пускать.

— А как же иммигранты?

— Пусть привыкают. Они ведь сами скоро будут одеваться по лунным модам. А им посещать спортивный комплекс нужнее, чем урожденным лунянам.

— И мы тоже должны будем раздеться? — спросил он весело.

— Как зрители? Зачем же? Можно, конечно, но лучше не надо. Вам с непривычки будет неловко, да и с эстетической точки зрения вы поступите разумнее, если не станете спешить.

— Вы прямолинейны, ничего не скажешь.

— Что же делать? Взгляните правде в глаза. А поскольку я упражняться не собираюсь, то и мне проще обойтись без переодевания.

— Но наше появление никаких возражений не вызовет? То есть мое присутствие там — присутствие земляшки с не слишком эстетической внешностью?

— Не вызовет, если вы придете со мной.

— Ну хорошо, Селена. А идти далеко?

— Мы уже почти пришли. Вот сюда.

— А, так вы с самого начала собирались показать мне ваш гимнастический комплекс?

— Я подумала, что это может оказаться интересным.

— Почему?

— Ну, я просто так подумала,— улыбнулась Селена.

Землянин покачал головой.

— Я начинаю думать, что вы никогда ничего просто так не думаете. Дайте-ка я попробую догадаться. Если я останусь на Луне, мне необходимо будет время от времени заниматься гимнастикой, чтобы мышцы, кости, а может быть, и внутренние органы функционировали как следует.

— Совершенно верно. Это необходимо нам всем, но иммигрантам с Земли — особенно. Довольно скоро вы начнете посещать спортивный комплекс каждый день.

Они вошли в дверь, и землянин остановился как вкопанный.

— Впервые я вижу тут что-то, что напоминает Землю!

— Чем?

— Размерами. Мне и в голову не приходило, что на Луне есть такие огромные помещения. Письменные столы, конторское оборудование, секретарши...

— В шортах,— невозмутимо dokonчила Селена.

— Согласен, что здесь сходство с Землей кончается.

— У нас есть скоростная шахта и лифты для земляшек. Комплекс расположен на нескольких уровнях... Минутку!

Селена подошла к одному из столов и вполголоса заговорила с секретаршей. Землянин тем временем с доброжелательным любопытством посматривал по сторонам.

— Все в порядке,— сказала Селена, вернувшись.— И сейчас как раз начинается довольно интересный матч. Я знаю обе команды — на них стоит посмотреть.

— Послушайте, а это место производит внушительное впечатление. Очень внушительное.

— Если вы имеете в виду размеры, то этот комплекс все-таки тесноват, хотя он и больше остальных двух. Пока у нас их три. Это самый большой.

— Почему-то мне очень приятно, что, несмотря на спартанские условия Луны, вы позволяете себе пожертвовать такое количество свободного пространства на развлечения.

— Как на развлечения? — Селена даже обиделась. — Почему вы так решили?

— Но ведь вы сказали — матч? То есть речь идет об игре?

— Дело не в названии. На Земле у вас есть возможность устраивать спортивные состязания ради развлечения. Десять человек соревнуются, десять тысяч смотрят. На Луне все по-другому. То, что для вас — развлечение, для нас — жизненная необходимость... Вот сюда. Мы поедem на лифте, так что придется немного подождать.

— Простите. Я вовсе не хотел вас обидеть.

— Я не обиделась, но попробуйте немножко подумать. Вы, земляне, приспособились к земной силе тяжести добрых триста миллионов лет — с того самого момента, как живые организмы выбрались на сушу. Вы можете обходиться и без упражнений. А у нас еще не было времени приспособиться к лунной силе тяжести.

— Однако у вас уже выработался свой тип.

— У тех, кто родился и вырос в условиях лунной силы тяжести, кости и мышцы, естественно, менее массивны, чем у земляшек, но это лишь внешнее различие. Наш организм все же плохо к ней приспособлен и требует постоянной тренировки, чтобы функционировать нормально. И это касается, в частности, таких сложных и тонких функций, как пищеварение, выделение гормонов и тому подобное. Оттого что мы придаем упражнениям форму веселой игры, они не становятся пустым развлечением... Но вот и лифт.

Землянин невольно попятился, и Селена продолжала все с тем же легким раздражением, словно устав от необходимости непрерывно объяснять и оправдываться:

— Вам конечно, не терпится сказать, что это не лифт, а плетеная кошелка. Еще ни один землянин не сел в него без такого вступления. Но в условиях лунной силы тяжести он достаточно прочен.

Лифт медленно пошел вниз. Они были в нем одни. Землянин заметил:



— По-видимому, им пользуются очень редко.

На этот раз Селена улыбнулась.

— Вы совершенно правы. Скоростная шахта быстрее и приятнее.

— А что это такое?

— Именно то, о чем говорит название... Мы приехали. Нам ведь надо было спуститься всего на два уровня. Скоростная шахта — это вертикальная труба с поручнями. Человек опускается или поднимается, придерживаясь за них. Но земляшек мы предпочитаем возить на лифтах.

— Слишком опасно?

— Сам спуск вовсе не опасен. Поручнями можно пользоваться, точно лестницей. Но молодые ребята обычно летят вниз с большой скоростью, а земляшки не умеют увертываться. Ну, а столкновения бывают довольно болезненными. Но со временем вы привыкнете. Собственно говоря, то, что вы увидите сейчас, — это тоже своего рода скоростная шахта, предназначенная для любителей острых ощущений.

Они направились к барьеру, отгораживавшему широкий круглый провал. У барьера, облокотившись на него, стояли люди, одетые по большей части в легкие сандалии и шорты. Все непринужденно разговаривали, кое-кто ел. У многих через плечо были надеты сумки. Проходя мимо юноши, который с аппетитом выскребал зеленоватую массу из бумажного стаканчика, землянин невольно поморщился.

— С зубами на Луне дело, наверное, обстоит не так уж хорошо, — сказал он.

— Да, не слишком, — согласилась Селена. — Будь у нас такая возможность, мы предпочли бы обходиться совсем без них.

— Без зубов?

— Ну, возможно, не совсем. Мы, наверное, сохранили бы резцы и клыки из косметических соображений. А кроме того, они бывают полезны. И их трудно чистить. Но для чего нам коренные зубы? Как свидетельство нашего земного происхождения?

— И вы что-нибудь для этого делаете?

— Нет, — ответила Селена сдержанно. — Генетическое конструирование запрещено. На этом настаивает Земля.

Она наклонилась над барьером и сказала:

— Лунная площадка для игр!

Землянин заглянул за барьер. Шахта уходила вертикально вниз футов на пятьсот и имела в поперечнике около пятидесяти футов. К ее гладким розовым стенам словно в хаотическом беспорядке были прикреплены металлические перекладки. Кое-где они отходили от стен перпендикулярно, а некоторые полностью пересекали ее по диаметру.

Окружающие не обратили на землянина никакого внимания. Одни, скользнув взглядом по его одежде и лицу, равнодушно отворачивались. Другие приветственно махали рукой Селене и тоже отворачивались. Сильнее подчеркнуть полное отсутствие интереса они, пожалуй, не могли бы, хотя ничего демонстративного в их поведении не было.

Землянин опять заглянул в шахту. Стройные фигуры на дне казались непропорционально укороченными, потому что он смотрел на них сверху. Он заметил, что на одних были красные трико, а на других — синие. Чтобы различать команды, решил он. Трико, по-видимому, выполняли еще и защитную функцию, так же как сандалии, перчатки и эластичные повязки над коленями и у локтей.

— А,— пробормотал он,— женщины участвуют наравне с мужчинами.

— Совершенно верно,— сказала Селена.— Тут все решает ловкость, а не сила.

Раздался негромкий барабанный бой, и двое участников начали стремительно подниматься по противоположным стенкам шахты. В первые секунды они взбились словно по приставной лестнице, но затем их движения убыстрились, и они уже только отталкивались от перекладин, звонко хлопая по ним ладонями.

— На Земле невозможно проделать это с таким изяществом,— восхищенно сказал землянин и тут же поправился.— То есть вообще невозможно.

— И дело ведь не только в малой силе тяжести,— заметила Селена.— Вот попробуйте, и сами убедитесь! Для этого требуется долгая и упорная тренировка.

Гимнасты добрались до барьера и вспрыгнули на площадки, игравшие роль трамплинов. Одновременно перекувырнувшись в воздухе, они начали спуск.

— Они умеют двигаться очень быстро, когда хо-

тят,— заметил землянин.

— Еще бы! — ответила Селена под всплеск аплодисментов.— Я прихожу к выводу, что у землян, то есть у настоящих землян, никогда не бывавших на Луне, идея передвижения по Луне твердо ассоциируется со скафандрами. Другими словами, они рисуют себе мысленную картину лунной поверхности. Там передвижение действительно бывает медленным. Скафандр заметно увеличивает массу, а это означает большую инерцию при малой силе тяжести, которая могла бы ей противодействовать.

— Вы правы,— сказал землянин.— В мои школьные годы я видел все классические фильмы о первых космонавтах — их движения больше всего напоминали движения пловца под водой. И от этого представления потом трудно избавиться, даже если знаешь, что теперь все уже не так.

— Ну, теперь мы и на поверхности умеем передвигаться очень быстро, несмотря на скафандры и все прочее,— объявила Селена.— А уж тут, в недрах планеты, мы передвигаемся так же быстро, как земляне у себя дома. Правильное использование мускулатуры вполне компенсирует слабое притяжение.

— Но вы умеете, кроме того, двигаться и медленно,— землянин внимательно следил за гимнастами. Если вверх они буквально взлетали, то спуск сознательно старались замедлить. Они планировали и по перекладинам теперь хлопали для того, чтобы затормозить падение, а не ускорить подъем, как было вначале. Наконец, они достигли пола, и вверх начала подниматься новая пара. Затем настала очередь третьей пары, четвертой... Пара за парой, то от одной команды, то от другой, состязалась в виртуозности.

Движения партнеров были на редкость согласованными, и от пары к паре они становились все более сложными и разнообразными. Особенно громкие аплодисменты заслужили гимнасты, которые одновременно оттолкнулись, пронеслись через шахту навстречу друг другу по пологой параболе и, красиво разминувшись в воздухе, ухватились за поручни — каждый за тот, от которого оттолкнулся партнер.

— Боюсь, у меня не хватит опыта, чтобы по достоинству оценить тонкости этого искусства,— заметил землянин.— Они все — урожденные луняне?

— Разумеется,— ответила Селена.— Комплекс открыт для всех граждан Луны, и многие иммигранты показывают совсем неплохие результаты. Но такой виртуозности могут достичь лишь те, чьи родители освоились с лунной силой тяжести задолго до их рождения. Они не только физически заметно более приспособлены к здешним условиям, но и проходят необходимую подготовку с самого раннего детства. Большинству из соревнующихся нет еще и восемнадцати лет.

— Вероятно, это опасно даже в лунных условиях.

— Да, переломы не такая уж редкость. Смертельных случаев, по-моему, не было ни разу, но один гимнаст сломал позвоночник, и наступил полный паралич. Это было ужасно! Все произошло у меня на глазах... Но погодите, сейчас начнется вольная программа.

— Какая-какая?

— До сих пор проделывались обязательные упражнения, заданные заранее.

Барабанный бой стал глуше. Гимнаст внезапно взмыл в воздух, одной рукой ухватился за поперечную перекладину, перевернулся вокруг нее, вытянувшись в струнку, и спланировал на пол.

Землянин не упустил ни одного его движения.

— Это поразительно,— сказал он.— Он крутился вокруг перекладины, как настоящий гиббон.

— А это что такое? — спросила Селена.

— Гиббон? Человекообразная обезьяна — собственно говоря, единственная из человекообразных обезьян, которая еще живет в лесах на воле. Они... — он взглянул на лицо Селены и поспешил добавить: — Я не имел в виду ничего обидного, Селена. Гиббоны — удивительно грациозные создания.

— Я видела обезьян на картинках,— хмуро ответила Селена.

— Однако вряд ли вы видели гиббонов в движении... Возможно, некоторые земляшки называют лунян «гиббонами», вкладывая в это слово не менее оскорбительный смысл, чем вы — в тех же «земляшек». Но я ничего подобного в виду не имел.

Он облокотился о барьер, не спуская глаз с гимнастов. Казалось, они танцуют в воздухе.

— А как на Луне относятся к иммигрантам с Земли, Селена? — вдруг спросил он.— К тем, кто решил остаться тут на всю жизнь? Поскольку они мо-

гут не все, на что способны луняне...

— Это не имеет никакого значения. Гранты — такие же граждане, как и мы. И официально им предоставляются те же возможности.

— То есть как — официально?

— Но вы же сами сказали, что им не все по силам. И определенные различия существуют. Например, в чисто медицинском плане. Как правило, их здоровье бывает несколько хуже. Если они переезжают в зрелом возрасте, то выглядят... старше своих лет.

Землянин смущенно отвел взгляд.

— А браки между иммигрантами и лунянами разрешены?

— Конечно. Чем их гены хуже? Да мой собственный отец был грантом, хотя по матери я лунянка во втором поколении.

— Но ваш отец, вероятно, приехал сюда совсем... О господи! — он вцепился в барьер и судорожно перевел дух. — Я думал, он промахнулся.

— Он? — сказала Селена. — Да это же Марко Фор. Он любит выбрасывать руку в самый последний момент. Собственно говоря, это считается дешевым трюком, и настоящие чемпионы никогда к нему не прибегают. Но тем не менее... Мой отец приехал на Луну, когда ему было двадцать два года.

— Да, это, вероятно, оптимальный вариант. Молодой организм, способный легко адаптироваться, никаких прочных эмоциональных связей с Землей...

Селена внимательно следила за гимнастами.

— Вон опять Марко Фор. Когда он не старается привлекать к себе внимание, он по-настоящему хорош. И его сестра почти ему не уступает. Вместе они творят из движения настоящую поэзию. Смотрите, смотрите! Сейчас они сойдутся на одной перекладине и будут вертеться вокруг нее, словно одно тело, брошенное поперек нее. Он иногда бывает несколько экстравагантен, но координация у него безупречна.

Все гимнасты поднялись наверх и выстроились вдоль внутренней стороны барьера, держась за него одной рукой — красные напротив синих. Руки, обращенные к провалу, были подняты. Аплодисменты стали громче. У барьера собралась теперь довольно большая толпа.

— А почему бы не установить тут сиденья? — спросил землянин.

— С какой стати? Это ведь не зрелище, а упражнение. И мы предпочитаем, чтобы число зрителей ограничивалось теми, кто может с удобством встать прямо у барьера. И вообще нам следует быть в шахте, а не здесь.

— Другими словами, Селена, вы тоже способны проделывать все эти трюки?

— Ну, не все, но значительную часть. Это умеют все луняне. Но я далеко не так ловка, как они. И я никогда не была членом команды... Сейчас начнется коктейль — вольные упражнения для всех сразу. Вот это действительно опасно. Обе десятки будут в воздухе одновременно. Задача каждой стороны — сбросить вниз противников.

— По-настоящему сбросить?

— Насколько выйдет.

— И бывают несчастные случаи?

— Иногда. В теории подобные упражнения не одобряются. Вот их и правда считают пустым развлечением, а численность нашего населения не настолько велика, чтобы мы могли спокойно терять полезных членов общества ради игры. Тем не менее коктейль пользуется большой популярностью, и нам не удастся собрать достаточное число голосов, чтобы запретить его официально.

— А вы за что проголосовали бы, Селена?

Она порозовела.

— А, неважно! Начинается! Смотрите внимательнее.

Барабаны вдруг оглушительно загремели, и гимнасты молниеносно прыгнули вперед. На мгновение в воздухе образовался настоящий клубок, но когда он распался, каждый гимнаст успел ухватиться за перекладину. Они напряженно выжидали. Затем один прыгнул. За ним второй, и опять в воздухе хаотично замелькали тела. Это повторилось еще раз. И еще.

— Счет очков тут довольно сложен,— сказала Селена.— Каждый прыжок приносит очко, как и каждое касание. Два очка, если заставишь противника промахнуться, и десять, если он окажется на полу. Штрафы за различные недозволенные приемы.

— А кто ведет счет?

— Предварительное решение выносят судьи. В спорных случаях по требованию гимнаста просматривается видеозапись. Впрочем, довольно часто и по записи ничего решить нельзя.

Неожиданно раздалась возбужденные крики: девушка в синем пронеслась мимо юноши в красном и звонко хлопнула его по бедру. Тот попытался увернуться, но не успел и, хватаясь за перекладину, неуклюже ударился коленом о стену.

— Куда он смотрел? — негодуя спросила Селена. — Он же так ее и не заметил!

Борьба разгоралась, и землянин уже не пытался следить за всеми ее перипетиями. Порой гимнаст только касался перекладины и не успевал за нее ухватиться. Тогда все зрители наклонялись над барьером, словно готовые прыгнуть ему на помощь. Марко Фор получил удар по кисти, и кто-то крикнул: «Штраф!»

Фор не сумел схватить перекладину и упал. На взгляд землянина падение это было довольно медленным. Фор гибко изворачивался, протягивал руку то к одной перекладине, то к другой, но каждый раз чуть-чуть не доставал до них. Остальные гимнасты замерли, словно на время падения игра прерывалась.

Фор падал уже довольно быстро, хотя дважды слегка притормозил, успев хлопнуть ладонью по перекладине.

До пола оставалось совсем немного, но тут Фор сделал резкое движение в сторону и повис головой вниз, зацепившись правой ногой за поперечный брус. Раскинув руки, он висел так в десяти футах над полом, пока не смолкли аплодисменты, а затем вывернулся и мгновенно взлетел вверх по перекладинам.

— Его сбили запрещенным приемом? — спросил землянин.

— Если Джин Вонг действительно схватила Марко за запястье, а не хлопнула по нему, то за это полагается штраф. Но судья признал честную блокировку, и не думаю, чтобы Марко потребовал проверки по видеозаписи. Он мог бы остановить свое падение гораздо раньше, но он обожает эффектные трюки в последний момент. Когда-нибудь он не рассчитает и сломает руку или ногу... Ого!

Землянин удивленно оглянулся на нее, но Селена смотрела не в шахту.

— Это один из секретарей представителя Земли, и, по-видимому, он ищет вас, — сказала она.

— Но почему...

— А кого же еще? Ни к кому другому у него тут дела быть не может.

— Но с какой стати...— начал было землянин.

Однако секретарь — судя по его сложению и походке, тоже землянин или недавний иммигрант — направился прямо к нему, явно чувствуя себя неловко под обращенными на него взглядами, в которых за равнодушием пряталась легкая насмешка.

— Сэр,— сказал он,— представитель Готтштейн просит вас...

## 5

Квартира Бэррона Невилла была не такой уютной, как квартира Селены. Повсюду валялись книги, печатное устройство компьютера в углу было открыто, а на большом письменном столе царил полный хаос. Окна были просто матовыми.

Едва войдя, Селена скрестила руки на груди и сказала:

— Бэррон, человек, живущий среди такого беспорядка, вряд ли может мыслить логично.

— Уж как-нибудь! — ворчливо ответил Бэррон.— А почему ты не привела своего землянина?

— Его затребовал к себе представитель. Новый представитель.

— Готтштейн?

— Вот именно. Почему ты не мог освободиться раньше?

— Потому что мне нужно было время, чтобы сориентироваться. Нельзя же действовать вслепую.

— Ну, в таком случае делать нечего, придется подождать,— сказала Селена.

Невилл покусал ноготь на большом пальце и свирепо уставился на обгрызанный край.

— Просто не знаю, как следует оценить сложившуюся ситуацию... Что ты о нем скажешь?

— Он мне нравится,— решительно ответила Селена.— Держится для земляшки очень неплохо. Соглашался идти, куда я его вела. Ему было интересно. Он воздерживался от категорических суждений, не смотрел сверху вниз... А я ведь нет-нет, да и говорила ему не слишком приятные вещи.

— Он опять спрашивал про синхрофазотрон?

— Нет. Но ему и не нужно было спрашивать.

— Почему?



— Я ведь сказала ему, что ты хочешь с ним встретиться, и упомянула, что ты физик. Поэтому, мне кажется, все вопросы он намерен задавать тебе.

— И ему не показалось странным, что у гида его группы вдруг оказался знакомый физик?

— Что тут странного? Я сказала, что ты мой приятель. А для таких отношений профессия большого значения не имеет, и даже физик может снизойти до презренного гида при условии, что этот гид — достаточно привлекательная женщина.

— Селена, хватит!

— Ах, так... Послушай, Бэррон, по-моему, если бы он плел какую-нибудь тайную паутину и искал моего общества только потому, что рассчитывал с моей помощью добраться до тебя, он держался бы более напряженно. Чем сложнее и нелепее заговор, тем он уязвимее и тем больше нервничает тот, кто заинтересован в его успехе. А я нарочно вела себя чрезвычайно непосредственно. Я говорила обо всем, кроме синхрофазотрона. Я повела его на коктейль.

— И что же он?

— Ему было интересно. Он держался совершенно спокойно и наблюдал за гимнастами с большим любопытством. Я не знаю, чего он хочет, но никаких коварных замыслов он, по-видимому, не вынашивает.

— Ты уверена? А почему же представитель так поспешно потребовал его к себе и помешал нашей встрече? По-твоему, это хороший признак?

— Не вижу, почему его надо считать дурным. Приглашение, переданное в присутствии двух десятков лунян, тоже как-то не выглядит тонким коварством.

Невилл откинулся, заложив руки за голову.

— Селена, будь добра, воздержись от безосновательных выводов. Они меня раздражают. Начать хотя бы с того, что он никакой не физик. А ведь тебе он говорил, что он физик?

Селена задумалась.

— Нет. Это сказала я. А он не стал отрицать. Но сам он ничего подобного прямо не утверждал. И все-таки... все-таки я убеждена, что он физик.

— Это ложь через умолчание, Селена. Возможно даже, что он искренне считает себя физиком, но он не получил соответствующего образования и никогда как физик не работал. Да, он что-то там кончил, но

научной работой никогда не занимался. Пытался, но у него ничего не вышло. Не нашлось лаборатории, которая захотела бы его взять. Он занесен в черный список Фреда Хэллема и много лет возглавляет этот список.

— Это точно?

— Я все проверил, можешь не сомневаться. Ты же сама меня упрекнула, что я так задержался... Все выглядит настолько замечательным, что это даже подозрительно.

— Но почему? Я что-то не понимаю.

— Не кажется ли тебе, что такой человек прямо-таки напрашивается на наше доверие? Ведь он явно не должен питать к Земле добрых чувств.

— Если твои сведения точны, то рассуждать можно и так.

— Сведения-то точны! То есть в том смысле, что, наводя справки, я получил именно эти факты. Ну, а вдруг кто-то как раз и добивается, чтобы мы рассуждали именно так?

— Бэррон, это нестерпимо! Почему тебе повсюду мерещатся заговоры? Бен не похож...

— Бен? — иронически переспросил Невилл.

— Да, Бен! — твердо повторила Селена.— Бен не похож на человека, который нянчится с тайной обидой. И он не пытался создать у меня впечатление, будто он — человек, который нянчится с тайной обидой.

— О да! Но ему удалось создать у тебя впечатление, что он приятный и интересный человек. Ты ведь сама это сказала, верно? И даже подчеркнула. А может быть, он именно этого и добивался?

— Ты ведь отлично знаешь, что меня не так легко провести.

— Что же, подождем, пока я сам с ним не познакомлюсь.

— А, иди ты к черту, Бэррон! Я встречалась с тысячами разных землян. Это моя работа. У тебя нет ни малейших оснований иронизировать над моими выводами. И ты это знаешь. Наоборот, у тебя есть все основания им доверять.

— Ну хорошо, увидим. Не сердись. Просто необходимость ждать... А не скрасить ли нам ее? — и он гибким движением поднялся на ноги.

— У меня что-то нет настроения.

Селена тоже поднялась и, сделав едва заметное движение, ускользнула в сторону.

— Ты злишься, потому что я подверг сомнению твои выводы?

— Я злюсь, потому что... А, черт, ну почему ты не наведешь порядка у себя в комнате?

И с этими словами она ушла.

## 6

— Я бы с удовольствием угостил вас чем-нибудь земным, доктор,— сказал Готтштейн,— но из принципиальных соображений мне было запрещено везти с собой земные продукты. Глубокоуважаемые луняне считают, что приезжие с Земли не должны жить в особых условиях, так как это создает искусственные барьеры. А потому мне положено вести, елико возможно, лунный образ жизни, но, боюсь, мою походку не скроешь. С этой чертовой силой тяжести шутки плохи!

— Совершенно с вами согласен,— сказал землянин.— И позвольте принести вам мои поздравления по поводу вашего вступления в должность...

— Ну, я еще не вполне вступил в нее.

— Тем не менее я вас поздравляю. Но, естественно, я несколько недоумеваю, почему вы пожелали меня видеть.

— Мы летели на одном корабле и вместе прибыли сюда.

Землянин вежливо слушал.

— Но мое знакомство с вами восходит к более давнему времени,— продолжал Готтштейн.— Нам довелось встретиться несколько лет назад... Правда, встреча была довольно мимолетной.

— Боюсь, я не помню,— спокойно сказал землянин.

— Это неудивительно. Было бы странно, если бы вы меня запомнили. Я в то время был сотрудником сенатора Бэрта, который возглавлял... как и теперь возглавляет... комиссию по техническому прогрессу и среде обитания. В то время он пытался собрать материал против Хэллема... Фредерика Хэллема.

Землянин сел прямее.

— Вы знаете Хэллема? — спросил он.

— За время моего пребывания на Луне вы — вто-

рой, кто задает мне этот вопрос. Да, я его знаю. Хотя и не очень близко. И я разговаривал со многими людьми, которые его знают. Как ни странно, их мнение обычно совпадало с моим. Хэллема почитает вся планета, но тем, кто встречается с ним лично, он почему-то внушает довольно мало симпатии.

— Довольно мало? Вовсе никакой, как мне кажется,— сказал землянин.

Готтштейн продолжал, словно его не перебивали:

— В то время мне было поручено — сенатором, я имею в виду — заняться Электронным Насосом и проверить, не сопровождаются ли его установка и эксплуатация неоправданными расходами и личным обогащением. Такое расследование вполне отвечало задачам комиссии, но, между нами говоря, сенатор надеялся обнаружить что-нибудь, компрометирующее Хэллема. Его тревожило чрезмерное влияние, которое тот приобрел в науке, и он хотел как-то подорвать хэллемовский престиж. Но у него ничего не вышло.

— Последнее очевидно. Хэллем силен, как никогда.

— Никаких темных махинаций обнаружить не удалось, и, уж во всяком случае, Хэллем оказался совершенно чист. Он скрупулезно честен.

— В этом смысле — пожалуй. У власти есть своя рыночная цена, которая вовсе не обязательно измеряется деньгами.

— Но меня заинтересовало другое, хотя продолжить расследование в этом направлении я тогда не мог. Среди тех, кого опрашивала комиссия, нашелся человек, который возражал не против власти Хэллема, а против самого Электронного Насоса. Я присутствовал при беседе с ним, хотя сам в ней активного участия не принимал. Этим человеком были вы, не так ли?

— Я помню разговор, о котором вы говорите,— осторожно сказал землянин.— Но вас я все-таки не припоминаю.

— Тогда меня поразило, что у кого-то нашлись чисто научные возражения против Электронного Насоса. Вы произвели на меня такое впечатление, что на корабле ваше лицо сразу же показалось мне знакомым. А потом я припомнил и все остальное. В список пассажиров я не заглядывал, а решил просто положиться на свою память. Вы ведь доктор Бенджа-

мин Эндрю Денисон, не так ли?

Землянин вздохнул.

— Бенджамин Аллан Денисон. Совершенно верно. Но, собственно, какое это имеет значение? Мне нисколько не хочется ворошить прошлое, сэр. Я сейчас на Луне и хотел бы начать все заново. С самого начала, если потребуется. Черт побери, я же думал изменить имя!

— Это не помогло бы. Я ведь узнал ваше лицо. У меня нет никаких возражений против вашего намерения начать новую жизнь, доктор Денисон. И я не собираюсь вам мешать. Но мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство, которое вас затрагивает лишь косвенно. Я не помню точно, какие возражения против Электронного Насоса вы тогда выдвигали. Вы не изложили бы их снова?

Денисон опустил голову. Пауза затягивалась, но новый представитель Земли не прерывал ее. Он даже постарался не кашлянуть. Наконец Денисон сказал:

— В сущности, обоснованных аргументов у меня не было. Простая догадка, опасения, что напряженность сильного ядерного поля может измениться. Коротко говоря, ничего конкретного.

— Ничего? — Готтштейн все-таки откашлялся.— Извините, но мне хотелось бы разобраться. Я вам уже сказал, что вы тогда очень меня заинтересовали. Но в тот момент у меня не было возможности этим заняться, а сейчас мне вряд ли удастся получить нужные сведения. Сенатор тогда потерпел поражение, а потому принял все меры, чтобы этот факт не стал достоянием гласности. Но кое-что я все-таки припоминаю. Одно время вы были сослуживцем Хэллема. И вы не физик.

— Совершенно верно. Я был радиохимиком. Как и он.

— Поправьте меня, если я ошибаюсь, но начало вашей карьеры было многообещающим, не так ли?

— Это подтверждается объективными фактами. И у меня никогда не было склонности к переоценке собственной личности. Я действительно показал себя блестящим исследователем.

— Поразительно, сколько подробностей я, оказывается, помню! Хэллем, с другой стороны, особых надежд не подавал.

— Да, пожалуй.

— Тем не менее ваша научная карьера оборвалась. И когда мы с вами беседовали... вы ведь сами к нам пришли, насколько я помню... вы работали на фабрике игрушек.

— В косметической фирме,— сдавленным голосом поправил Денисон.— Мужская косметика. Что не послужило хорошей рекомендацией в глазах вашей комиссии.

— Да, конечно. К сожалению, это обстоятельство не придало весомости вашим словам. Вы, кажется, были коммивояжером?

— Нет, я заведовал отделом сбыта. И представьте себе, справлялся со своими обязанностями опять-таки блестяще. Когда я решил бросить все и уехать на Луну, я был уже вице-президентом компании.

— А Хэллем имел к этому какое-нибудь отношение? К тому, что вы должны были бросить научные исследования?

— С вашего разрешения я предпочел бы оставить эту тему, сэр! — сказал Денисон.— Теперь это уже не имеет ни малейшего значения. Я практически присутствовал при том, как Хэллем открыл конверсию вольфрама и начались события, которые в конце концов привели к появлению Электронного Насоса. Что произошло бы, не окажись я в этот момент там, сказать не берусь. Вполне возможно, что месяц спустя и Хэллем и я умерли бы от лучевой болезни или через полтора месяца стали бы жертвами ядерного взрыва. Не хочу гадать. Во всяком случае, я оказался там, и Хэллем стал тем, чем он стал, отчасти благодаря мне, а я по той же причине стал тем, чем стал. И к черту подробности. Вам довольно этого? Потому что ничего больше вы от меня не услышите!

— Пожалуй, довольно. Значит, у вас есть основания относиться к Хэллему с личной неприязнью.

— Да, в те дни я к нему, безусловно, нежных чувств не питал. Как, впрочем, и сейчас.

— Так не были ли ваши возражения против Электронного Насоса продиктованы желанием поквитаться с Хэллемом?

— Это допрос? — сказал Денисон.

— Что? Конечно, нет. Я просто хотел бы получить у вас некоторые справки в связи с Электронным На-

сосом и рядом других проблем, которые меня интересуют.

— Ну что же. Можете считать, что личные чувства сыграли тут некоторую роль. Из-за неприязни к Хэллему мне хотелось верить, что его престиж и популярность опираются на обман. И я начал раздумывать над Электронным Насосом, надеясь обнаружить какой-нибудь недостаток.

— И поэтому обнаружили?

— Нет! — Денисон гневно стукнул кулаком по ручке кресла и в результате взвился над сиденьем.— Нет, не поэтому. Да, я обнаружил сомнительное звено. Но по-настоящему сомнительное. Во всяком случае, с моей точки зрения. И я безусловно не подтасовывал факты ради того, чтобы подставить Хэллему ножку.

— О подтасовке и речи нет, доктор Денисон,— поспешно сказал Готтштейн.— Разумеется, я ни о чем подобном не думал. Но, как известно, попытка делать выводы на самой грани известных фактов обязательно требует каких-то допущений. И вот на этой зыбкой почве вполне честный выбор того или иного допущения может бессознательно звисеть от... гм... от эмоциональной направленности. Вот почему не исключено, что свои допущения вы выбирали с заранее заданной антихэллемовской направленностью.

— Это бесплодный разговор, сэр. В то время мне казалось, что мой вывод достаточно обоснован. Но ведь я не физик. Я радиохимик. То есть был когда-то радиохимиком.

— Как и Хэллем. Однако сейчас он самый знаменитый физик мира.

— И тем не менее он радиохимик, причем на четверть века отставший от современных требований науки.

— Ну, о вас того же сказать нельзя. Вы ведь приложили все усилия, чтобы переквалифицироваться в физика.

— Я вижу, вы по-настоящему покопались в моем прошлом,— еле сдерживаясь, сказал Денисон.

— Но я же сказал вам, что вы произвели на меня большое впечатление. Все-таки поразительно, как все воскресает в памяти! Но сейчас мне хотелось бы спросить вас о другом. Вам известен физик Питер Ламонт?

— Мы встречались,— с неохотой буркнул Денисон.

— Как по-вашему, можно назвать его блестящим исследователем?

— Я недостаточно хорошо его знаю для подобных заключений. И вообще не люблю злоупотреблять такими словами.

— Но как по-вашему, можно считать, что он берет свои теории не с потолка?

— Если нет прямых доказательств обратного, то, на мой взгляд, безусловно.

Готтштейн осторожно откинулся на спинку кресла, весьма хрупкого на вид. На Земле оно, безусловно, не выдержало бы его веса.

— Можно вас спросить, как вы познакомились с Ламонтом? Вы уже что-нибудь знали о нем? Или никогда до этого о нем не слышали?

— У нас было несколько встреч,— сказал Денисон.— Он собирался написать историю Электронного Насоса — полную и исчерпывающую. Другими словами, полное изложение дурацких мифов, которыми все это обросло. Мне польстило, что Ламонт меня разыскал, что я его интересую. Черт побери, сэр, мне польстило, что он вообще знает о моем существовании! Но что я мог ему рассказать? Только поставил бы себя в глупое положение. А мне это надоело. Надоело мучиться, надоело жалеть себя.

— Вам известно, чем занимался Ламонт в последнее время?

— Что вы имеете в виду, сэр? — осторожно спросил Денисон.

— Примерно полтора года назад Ламонт побывал у Бэрта. Я уже давно ушел из комиссии, но мы с сенатором иногда встречаемся. И он рассказал мне об их разговоре. Он был встревожен. Он считал, что Ламонт, возможно, прав и Электронный Насос действительно следует остановить, но не видел никаких путей для принятия практических мер. Меня это тоже встревожило...

— Всеобщая тревога,— саркастически заметил Денисон.

— Но теперь мне пришло в голову... Поскольку Ламонт говорил с вами, то...

— Погодите, сэр! Не продолжайте. Мне кажется, я понимаю, к чему вы клоните, а это, поверьте, будет совершенно лишним. Если вы ждете, что я стану



утверждать, будто Ламонт присвоил мою идею и я опять оказался жертвой, то вы ошибаетесь. Говорю вам это со всей категоричностью. У меня не было никакой теории. Все ограничивалось смутной догадкой. Она меня беспокоила. Я сообщил о ней. Мне не поверили. И я махнул на все рукой. Поскольку у меня не было возможности найти доказательства, я больше к этому вопросу не возвращался. В разговоре с Ламонтом я ни о чем подобном не упоминал. Мы говорили только о первых днях зарождения Насоса. Если его теория и напоминает мою догадку, он пришел к ней самостоятельно. И, судя по всему, его выводы выглядят гораздо убедительнее и опираются на строгий математический анализ. Я вовсе не считаю, будто приоритет принадлежит мне. Ничего подобного!

— По-видимому, теория Ламонта вам знакома.

— В последние месяцы она приобрела некоторую известность. У него нет возможности выступить в печати, никто не относится к его предупреждениям серьезно, но о них говорят. И слухи дошли даже до меня.

— Ах так, доктор Денисон. Но, видите ли, я к ним отношусь серьезно. Ведь, как вы понимаете, эти предупреждения я слышу не впервые. Сенатор же ничего не знал о первом — о вашем — предупреждении, поскольку оно не имело никакого отношения к финансовым махинациям, которые он тогда пытался обнаружить. А человек, возглавлявший расследование — это был не я, — счел вашу идею, простите меня, маниакальной. Но я с ним не был согласен. И когда этот вопрос всплыл снова, я встревожился. Я хотел поговорить с Ламонтом, но ряд физиков, с которыми я сначала проконсультировался...

— Включая Хэллема?

— Нет. Хэллема я не видел. Но те, с которыми я консультировался, заверили меня, что гипотеза Ламонта абсолютно безосновательна. И все-таки я, наверное, повидался бы с ним, но тут мне предложили эту мою новую должность... и я приехал сюда. Как и вы. Теперь вы понимаете, почему я пригласил вас к себе. Вы считаете, что ваша идея и идея доктора Ламонта верны?

— То есть приведет ли дальнейшее использование Электронного Насоса к взрыву Солнца, а может быть, и всей ветви нашей Галактики?

— Вот именно.

— Что я могу вам ответить? Мое предположение — не более чем догадка. Что же касается теории Ламонта, то я знаком с ней лишь понаслышке. Она ведь нигде не публиковалась. Но если бы я и мог ознакомиться с полным ее изложением, весьма вероятно, что в математическом смысле она окажется для меня недоступной... Да и что толку? Ламонт никого не сможет убедить. Хэллем разделался с ним, как раньше разделался со мной, а если бы ему и удалось, так сказать, действовать через голову Хэллема, широкая публика вряд ли ему поверит, поскольку предлагаемые им меры противоречат ее интересам. Отказаться от Электронного Насоса не хочет никто, а легче опорочить теорию Ламонта, чем искать выход из положения.

— Но вы все еще принимаете это близко к сердцу?

— Да, конечно. То есть я считаю, что мы идем к гибели, и мне очень не хотелось бы, чтобы так случилось на самом деле.

— А потому вы приехали на Луну, рассчитывая сделать что-то, чего Хэллем, ваш старинный враг, не позволял вам сделать на Земле?

— Вы, по-видимому, тоже склонны к догадкам,— после паузы ответил Денисон.

— Неужели? — невозмутимо сказал Готтштейн.— Может быть, и я по-своему блестящ. Но я угадал правильно?

— Быть может. Я еще не отказался от надежды вновь заняться наукой. И был бы очень рад, если бы помог избавить человечество от призрака надвигающейся катастрофы, либо установив, что никакой угрозы вообще не существует, либо подтвердив ее наличие с тем, чтобы ее можно было устранить.

— Ах так. Доктор Денисон, я хотел бы поговорить с вами еще вот о чем. Мой предшественник, мистер Монтез, убеждал меня, что фронт передовой научной мысли находится теперь на Луне. Он считает, что число людей, выдающихся по уму, энергии и инициативе, тут непропорционально велико.

— Возможно, он прав,— сказал Денисон.— Я об этом судить не берусь.

— Возможно, он прав,— задумчиво повторил Готтштейн.— Но в таком случае не считаете ли вы, что это может помешать вам добиться своей цели? Что бы

вы ни сделали, люди будут говорить и думать, будто это достижение лунной науки. И какими бы ценными ни были результаты ваших исследований, ваши заслуги не получат должного признания... Что, конечно, будет несправедливо.

— Мне надоела гонка за признанием, мистер Готтштейн. Я хотел бы найти для себя занятие более интересное, чем обязанности вице-президента косметической фирмы, курирующего ультразвуковые депиляторные средства. Вернувшись в науку, я обрету то, что мне нужно. И если я сделаю что-нибудь, по моему мнению, стоящее, мне будет этого вполне достаточно.

— Но не мне. Ваши заслуги будут оценены по достоинству. Я как представитель Земли сумею представить факты землянам таким образом, что вы получите признание, на которое имеете право. Ведь, наверное, и вам свойственно обычное человеческое желание получить то, что вам причитается.

— Вы очень любезны. Ну, а взамен?

— Вы циничны, но ваш цинизм извинителен. А взамен мне нужна ваша помощь. Мистер Монтез не сумел установить, какого рода исследованиями заняты ученые на Луне. Научные контакты Земли и Луны явно недостаточны, и координация работ, ведущихся на обеих планетах, была бы равно полезна для них обеих. Конечно, без некоторого недоверия дело не обойдется, но если бы вам удалось его рассеять, для нас это было бы не менее ценным, чем любые ваши научные открытия.

— Но, сэр, как вы и сами прекрасно понимаете, я не слишком подхожу для того, чтобы убедить лунян в благожелательности и справедливости научных кругов Земли.

— Доктор Денисоң, не следует все-таки судить о всех землянах по одному злопамятному администратору от науки. Скажем так: мне надо быть в курсе ваших научных успехов, чтобы я мог гарантировать вам заслуженное признание, но, как вам известно, сам я не ученый, и если бы вы объясняли мне их в свете нынешнего состояния науки на Луне, я был бы вам весьма признателен. Ну как, вы согласны?

— Все это довольно сложно,— сказал Денисон.— Сообщение о предварительных результатах может нанести непоправимый вред репутации ученого, если оно

будет сделано преждевременно — по неосторожности или в результате излишнего энтузиазма. Мне было бы крайне тяжело и неприятно обсуждать ход моих исследований с кем бы то ни было, пока я не буду твердо убежден, что иду по верному пути. Мой прежний опыт — ну, хотя бы с комиссией, членом которой вы были, — приучил меня к осторожности.

— Я все прекрасно понимаю, — благожелательно сказал Готтштейн. — Разумеется, вы сами примете решение, когда именно будет иметь смысл информировать меня... Но уже очень поздно, и вы, вероятно, хотите спать...

Поняв, что их разговор окончен, Денисон попрощался и ушел, а Готтштейн еще долго сидел, задумчиво глядя перед собой.

## 7

Денисон открыл дверь, нажав на ручку. Она открывалась автоматически, но спросонок он забыл, где находится нужная кнопка.

Темноволосый человек с хмурым лицом сказал:

— Извините... Я, кажется, пришел слишком рано.

Денисон машинально повторил последнее слово, стараясь собраться с мыслями:

— Рано?.. Нет... Это я проспал.

— Я вам звонил. Мы договорились...

И тут Денисон вспомнил:

— Да-да. Вы ведь доктор Невилл?

— Совершенно верно. Можно, я войду?

С этими словами он перешагнул порог. Комната Денисона была совсем крохотной, и постель со смятыми простынями занимала добрую ее половину. Негромко жужжал вентилятор.

— Надеюсь, вам спалось неплохо? — с безразличной вежливостью осведомился Невилл.

Денисон взглянул на свою пижаму и провел ладонью по всклокоченным волосам.

— Нет, — ответил он неожиданно для самого себя. — Я провел совершенно жуткую ночь. Вы разрешите мне привести себя в порядок?

— Ну конечно. А я, если хотите, пока приготовлю вам завтрак. Вы ведь, я полагаю, еще плохо знакомы с нашим кухонным оборудованием?

— Буду вам очень благодарен,— ответил Денисон. Минут через двадцать он вернулся, побрившись и приняв душ. Теперь на нем были брюки и майка. Он сказал:

— Я, кажется, сломал душ: вода вдруг перестала течь, и мне не удалось снова его включить.

— Подача воды ограничена, и когда квота израсходована, краны автоматически отключаются. Вы на Луне, доктор Денисон. Я взял на себя смелость приготовить омлет и бульон для нас обоих.

— Омлет?

— Мы пользуемся этим обозначением, хотя для землян оно, возможно, означает что-то совсем другое.

— А! — сказал Денисон и, опустившись на стул, без особого воодушевления попробовал упругую желтоватую массу, которую Невилл назвал омлетом. Он напряг всю свою волю, чтобы не поморщиться, а затем мужественно подцепил на вилку новый кусок.

— Со временем вы привыкнете,— заметил Невилл.— А калорийность этого продукта очень высока. И учтите, что пища с большим содержанием белка в условиях малой силы тяжести вообще снижает потребность в еде.

— Тем лучше,— деликатно кашлянув, сказал Денисон.

— Селена мне говорила, что вы намерены остаться на Луне,— продолжал Невилл.

— Да, я так думал...— Денисон протер глаза.— Но эта ночь прошла настолько мучительно, что, боюсь, у меня может не хватить решимости.

— Сколько раз вы падали с кровати?

— Дважды... Так значит, это в порядке вещей?

— Все приезжие с Земли обязательно проходят через это. Пока вы бодрствуете, вы способны приравнивать свои движения к лунной силе тяжести. А во сне вы ворочаетесь точно так же, как на Земле. Но, во всяком случае, ушибы практически исключены.

— Второй раз я проснулся уже на полу и совершенно не помнил падения. А как вы умудряетесь спать спокойно?

— Не забывайте регулярно проверять сердце, давление и прочие функции организма. Перемена силы тяжести может плохо сказаться на них.

— Да, меня неоднократно об этом предупреждали,— нехотя ответил Денисон.— Через месяц я должен

явиться на прием к врачу, а пока меня снабдили всяческими таблетками.

— Впрочем,— сказал Невилл таким тоном, словно ему надоело говорить о пустяках,— через неделю, возможно, вы уже полностью адаптируетесь... Но вам нужно одеться как следует. Ваши брюки просто невозможны, а эта легкая рубашка без рукавов совершенно бесполезна.

— Вероятно, у вас имеются магазины, где я могу купить подходящую одежду?

— Конечно. И думаю, Селена будет рада помочь вам в свободное время. Она говорила мне, что вы производите весьма приятное впечатление, доктор Денисон.

— Очень рад это слышать,— Денисон проглотил ложку бульона, некоторое время переводил дух, а потом с угрюмым упорством зачерпнул вторую.

— Селена почему-то решила, что вы физик, но, разумеется, она ошибается.

— По образованию я радиохимик.

— Но в этой области вы работали недолго, доктор Денисон. Мы здесь, конечно, несколько в стороне, но кое-что известно и нам. Вы ведь одна из жертв Хэллема.

— А почему вы употребляете множественное число? Разве этих жертв так много?

— Как вам сказать. Вся Луна — одна из его жертв.

— Луна?

— В определенном смысле.

— Я что-то не понимаю.

— У нас на Луне нет Электронных Насосов. Потому что с нами паравселенная сотрудничать не стала. Ни один кусок вольфрама не был конвертирован.

— Но, доктор Невилл, все-таки вряд ли это можно приписать козням Хэллема.

— От обратного — вполне можно. Почему, собственно, инициатива установки каждого Электронного Насоса обязательно должна исходить от паравселенной, а не от нас?

— Насколько мне известно, у нас не хватает для этого необходимых знаний.

— А откуда же они возьмутся, если всякие исследования в этой области запрещены?

— А разве они запрещены? — с некоторым удивле-

нием спросил Денисон.

— Практически да. Если тем, кто ведет такую работу, никак не удастся получить доступа к синхрофазотрону и к другим большим установкам, которые все контролирует Земля и, следовательно, Хэллем, это равносильно прямому запрещению.

Денисон протер глаза.

— Боюсь, мне скоро снова придется лечь спать... Прошу прощения, я вовсе не имел в виду, что вы нагоняете на меня скуку. Но скажите, так ли уж нужен Луне Электронный Насос? Ведь солнечные аккумуляторы с лихвой покрывают все ее потребности в энергии.

— Они привязывают нас к Солнцу, доктор Денисон. Они привязывают нас к поверхности!

— А-а... Но как вы думаете, доктор Невилл, чем, собственно, объясняется столь негативная позиция Хэллема?

— На этот вопрос легче ответить вам. Вы ведь знакомы с ним лично, а я нет. Он предпочитает не напоминать лишний раз широкой публике, что Электронный Насос создан паралюдьми, а мы — всего лишь их подручные. Если же мы на Луне сами решим эту проблему, то мы и положим начало истинной эре Электронного Насоса, а он останется ни при чем.

— Зачем вы мне все это говорите? — спросил Денисон.

— Чтобы сэкономить время. Обычно мы принимаем земных физиков с распростертыми объятиями. Мы на Луне чувствуем себя изолированными, жертвами сознательной политики земных научных центров, и такое посещение значит для нас очень много хотя бы уже потому, что рассеивает это ощущение изолированности. А физик-иммигрант способен помочь нам даже еще больше, и мы предпочитаем сразу ввести его в курс и пригласить работать с нами. Мне искренне жаль, что вы не физик.

— Я этого никогда и не утверждал, — сказал Денисон с раздражением.

— Но вы изъявили желание осмотреть синхрофазотрон. Почему?

— Ах, так вот что вас беспокоит! Ну, я попробую объяснить. Моя научная карьера была погублена четверть века назад. И вот я решил найти для моей жизни какое-то оправдание, вернуть ей смысл, а сделать

это возможно только вдали от Хэллема, то есть здесь, на Луне. По образованию я радиохимик, но это ведь не означало, что я не могу попробовать свои силы в другой области. Парафизика — наиболее современный раздел физики, да и всей науки вообще, и я попытался заняться ею самостоятельно, чувствуя, что это даст мне наибольшие шансы вновь обрести себя в науке.

Невилл кивнул.

— Вот как! — произнес он с явным сомнением.

— Да, кстати, раз уж вы заговорили об Электронном Насосе... Вы что-нибудь слышали о теории Питера Ламонта?

Невилл прищурился.

— Нет. Я не припоминаю этой фамилии.

— Да, он пока еще не знаменит. И, возможно, так и останется в полной безвестности — по той же причине, что и я. Он встал Хэллему поперек пути... Вчера кое-что напомнило мне о нем, и я начал думать... Отличное занятие для бессонной ночи! — он снова зевнул.

— Ну, и что же? — нетерпеливо спросил Невилл. — Почему вы заговорили об этом... как его зовут?

— Питер Ламонт. Он занимался паратеорией и выдвинул небезытересную гипотезу. По его мнению, дальнейшая работа Электронного Насоса приведет к усилению сильного ядерного взаимодействия в пределах Солнечной системы, в результате чего Солнце постепенно будет разогреваться все больше, и в какой-то критический момент произойдет фазовое превращение, которое завершится взрывом.

— Чепуха! Вы знаете, какие изменения в космических масштабах способно произвести максимальное использование Насоса в человеческих масштабах? Пусть вы всего лишь физик-самоучка, но и вам должно быть сразу ясно, что Насос не успеет оказать заметного влияния на вселенную за все время естественного существования Солнечной системы!

— Вы уверены?

— Конечно! А вы?

— Не знаю. Ламонт, бесспорно, действует из личных побуждений. Мне довелось разговаривать с ним, и он произвел на меня впечатление очень увлекающегося и эмоционального человека. Если вспомнить, как разделался с ним Хэллем, будет только естест-



венно предположить, что им руководит иступленная ненависть.

Невилл нахмурился.

— А вы уверены, что он действительно в немилости у Хэллема?

— Я в этом вопросе эксперт.

— А вам не приходило в голову, что подобные сомнения в безопасности Насоса могли быть посеяны опять-таки с единственной целью помешать Луне обзавестись собственным Насосом?

— Посеяв при этом всеобщую панику и отчаяние? Ну, разумеется, это чепуха. С тем же успехом можно щелкать орехи при помощи ядерных взрывов. Нет, я убежден в искренности Ламонта. По правде говоря, когда-то и мне при всем моем невежестве пришлось в голову нечто подобное.

— Потому что и вами тоже руководит ненависть к Хэллему.

— Я ведь не Ламонт. И следовательно, воспринимаю все по-другому. Собственно, у меня была некоторая надежда разобраться в этом вопросе на Луне без помех со стороны Хэллема и без ламонтовских эмоций.

— Здесь, на Луне?

— Да, здесь, на Луне. Я надеялся, что смогу воспользоваться синхрофазотроном.

— Поэтому вы о нем и спрашивали?

Денисон кивнул.

— Вы и правда думали, что сможете воспользоваться синхрофазотроном? Вы знаете, какая на него очередь?

— Я надеялся, что заручусь помощью кого-нибудь из лунных ученых.

Невилл засмеялся и покачал головой.

— У нас возможностей немногим больше, чем у вас... Но вот что мы могли бы вам предложить. У нас есть собственные лаборатории. Мы можем предоставить вам рабочее место и даже кое-какие приборы. Не берусь судить, насколько все это будет вам полезно, но не исключено, что вы чего-нибудь и добьетесь.

— Как по-вашему, позволят ли мне эти приборы вести исследования в области паратеории?

— Отчасти, я полагаю, это будет зависеть от вашей изобретательности. Вы рассчитываете найти подтверж-

дение теории этого вашего Ламонта?

— Или опровержение. Если что-нибудь получится.

— Ну, в любом случае ее можно только опровергнуть, в этом я не сомневаюсь.

— Но ведь вы знаете, что я по образованию не физик? — спросил Денисон. — Так почему же вы с такой готовностью предлагаете мне место в лаборатории?

— Потому что вы с Земли. Я ведь сказал вам, что мы это ценим, а тот факт, что в физике вы самоучка, может сыграть и положительную роль. Селена высказалась в вашу пользу, а я придаю этому, возможно, больше значения, чем следовало бы. Нас сближает и то, что мы — жертвы Хэллема. Если вы хотите восстановить вашу репутацию, мы вам поможем.

— Простите мой цинизм. А что вы рассчитываете получить взамен?

— Вашу помощь. В сношениях между учеными Земли и Луны существует некоторая натянутость. Вы добровольно приехали с Земли на Луну и могли бы послужить сближению обеих планет к их взаимной пользе. Вы уже наладили контакт с новым представителем Земли, и, возможно, восстанавливая свою репутацию, вы заодно укрепите и нашу.

— Другими словами, если я подорву влияние Хэллема, это будет полезно и лунной науке?

— Все, чего бы вы ни добились, будет полезно... Но, пожалуй, вам действительно надо еще поспать. Зайдите ко мне в ближайшие день-два, и я выясню вопрос с лабораторией. А кроме того... — он обвел взглядом тесную комнатку, — мы постараемся подыскать вам и более удобное жилье.

Они пожали друг другу руки, и Невилл ушел.

## 8

Готтштейн продолжал:

— И все-таки, с какими бы неприятностями ни было сопряжено ваше пребывание на Луне, я думаю, сегодня, расставаясь с ней, вы не можете не испытывать сожаления.

— И даже очень большое, — выразительно пожал плечами Монтес. — Как только подумаю о земной силе тяжести. Одышка, боль в ногах, испарина. Я буду все время мокрым от пота.

— Рано или поздно и мне придется пройти через это.

— Послушайте моего совета — обязательно летайте на Землю не реже чем раз в два месяца. Что бы ни говорили вам доктора, какие бы изометрические упражнения вы ни проделывали, непременно каждые шестьдесят дней возвращайтесь на Землю минимум на неделю. Старайтесь, чтобы ваше тело сохраняло ее ощущение.

— Попробую, насколько это будет от меня зависеть... Ах да! Я побеседовал с моим другом.

— С каким это?

— С моим спутником по кораблю. Мне казалось, что я его уже видел раньше. И я не ошибся. Некий Денисон, радиохимик. Как оказалось, я очень хорошо помню все, что с ним связано.

— То есть?

— Мне запомнилась одна его навязчивая идея, и я попытался вызвать его на откровенность. Он противился с большой ловкостью. И рассуждал очень логично. Настолько логично, что мои подозрения еще более укрепились. Некоторым типам маньяков свойственна весьма изящная логичность. Это своего рода защитный механизм.

— Боже мой,— с видимой досадой сказал Монтес.— Я что-то запутался. С вашего разрешения я на минутку присяду. Когда то и дело лихорадочно прикидываешь, все ли упаковано как следует, и предвкушаешь первую встречу с земным тяготением, поневоле хочется отдышаться... Так в чем же заключается его навязчивая идея?

— В свое время он пытался убедить нас, что Электронный Насос опасен. Что его употребление приведет к взрыву вселенной.

— Неужели? А это правда?

— Надеюсь, что нет. В тот момент от него отмахнулись, и довольно грубо. Когда ученые работают на пределе понимания, они начинают нервничать. Один мой знакомый психиатр называл это синдромом «кто знает?» Если, несмотря на все ваши усилия, вам не удастся получить нужных данных, вы говорите: «Кто знает, что произойдет?», а дальше начинает работать воображение.

— Да, но если физики говорят нечто подобное,

пусть даже не все...

— В том-то и дело, что они ничего подобного не говорят. Во всяком случае, официально. Существует такое понятие, как ответственность ученого, и журналы не публикуют заведомого вздора... Вернее, того, что они считают вздором. Видите ли, эта идея снова всплыла. Физик по фамилии Ламонт обратился к сенатору Бэрту, к Чену, этому самозваному спасителю среды обитания, и еще к некоторым влиятельным людям, стараясь убедить их в реальности угрозы космического взрыва. Ему никто не верит, но слухи ползут и ползут, ничего не теряя от пересказа.

— И этот человек — тот, которой приехал с вами на Луну,— тоже так думает?

Готтштейн широко улыбнулся.

— Боюсь, что да. Черт побери, ночью, когда мне не спится... между прочим, я то и дело падаю с кровати... я и сам готов поверить. Возможно, он надеется, что сумеет здесь подтвердить свою теорию экспериментально.

— Ну, и?..

— Пусть подтверждает. Я даже намекнул, что мы ему поможем.

— Рискованно! — покачал головой Монтес.— Мне не нравится официальное поощрение навязчивых идей.

— Но ведь нельзя совершенно исключить возможность, что даже навязчивая идея все-таки окажется верной. Впрочем, дело не в этом. Если нам удастся устроить его здесь, на Луне, благодаря ему мы сумеем узнать, что, собственно, тут происходит. Он хотел бы восстановить свою репутацию, и я дал ему понять, что он может рассчитывать на наше содействие, если поведет себя соответствующим образом... Я буду держать вас в курсе... По-дружески, так сказать.

— Спасибо,— сказал Монтес.— Ну, счастливо оставаться.

## 9

— Да, он мне не понравился,— сердито повторил Невилл.

— Но почему? Из-за того, что он земляшка? — Селена сняла пушинку с груди и критически ее огля-

дела.— Она не от моей блузы. Нет, все-таки очистка воздуха поставлена из рук вон плохо.

— Этот Денисон — пустышка. Он не парафизик. По его собственным словам, он самоучка, и это блистательно подтверждается тем, что он явился сюда с на редкость дурацкими предвзятыми идеями.

— Например?

— Ну, он считает, что Электронный Насос взорвет вселенную.

— Он это сказал?

— Я знаю, что он это думает... Ах, мне известны все эти аргументы, я их слышал десятки раз. Но это не так, вот и все.

— А может быть,— заметила Селена, подняв брови,— ты просто не хочешь, чтобы это было так.

— Хоть ты-то не начинай! — буркнул Невилл.

Наступила короткая пауза. Потом Селена сказала:

— Ну, и что же ты думаешь с ним делать?

— Предоставлю ему место для работы. Как ученый он ничто, но всё-таки от него может быть польза. Он достаточно бросается в глаза — новый представитель Земли с ним уже побеседовал.

— Я знаю.

— Ну, его история достаточно романтична: человек с погубленной карьерой пытается обрести себя и восстановить свою репутацию.

— Правда?

— О, абсолютно! Я убежден, что тебе будет любопытно. Ты его спроси, и он тебе расскажет. А это очень хорошо. Если на Луне начнет работать романтический землянин, стараясь найти подтверждение своим маниакальным идеям, представителю Земли будет чем заняться. Денисон послужит нам ширмой, ложным следом. И кто знает, возможно, благодаря ему мы сумеем получить более точные сведения о том, что происходит на Земле... Продолжай поддерживать с ним дружбу, Селена.

## 10

Селена засмеялась. В наушниках Денисона ее смех звучал металлически. В скафандре она выглядела непривычно толстой и неуклюжей. Она сказала:

— Ну, не робейте, Бен! Бояться совершенно не-

чего. Да еще такому старожилу! Ведь вы здесь уже месяц.

— Двадцать восемь дней,— пробурчал Денисон. У него было ощущение, что скафандр его душит.

— Нет, месяц! — стояла на своем Селена.— Когда вы приехали, Земля была совсем на ущербе. Как и сейчас,— она указала на узкий серп Земли, ослепительно сверкавший в южной части небосвода.

— Погодите немножко. Тут я ведь не такой храбрый, как внизу. Что если я упаду?

— И пусть. Сила тяжести по вашим меркам мала, уклон невелик, а скафандр у вас крепкий. Если вы упадете, то спокойно скользите и катитесь. Так даже интересней.

Денисон неуверенно огляделся. В холодном сиянии Земли черно-белый лунный пейзаж был удивительно красивым и совсем не таким, как при солнечном свете — за неделю до этого Денисон ездил осматривать солнечные аккумуляторы, которые простирались в Море Дождей от горизонта до горизонта. Теперь белизна была серебристой и нежной, и даже чернота словно смягчалась и обретала полутона из-за отсутствия резких контрастов лунного дня. Звезды сияли непривычно ярко, а Земля... Земля с ее белыми спиралями на голубом фоне, кое-где переходящем в коричневый, была прекрасной и манящей.

— Можно, я ухвачусь за вас? — спросил он.

— Конечно. На самый верх я вас не поведу. Вы испробуете свои силы на скате для начинающих. Постарайтесь идти со мной в ногу. Я не буду торопиться.

Он как мог приспособивался к ее широкому пружинистому шагу. Склон, по которому они поднимались, был покрыт пылью. Денисон следил, как она взметывается из-под его подошв и тут же оседает в безвоздушной пустоте. Ему лишь с большим трудом удавалось идти в ногу с Селеной.

— Прекрасно,— сказала она, крепко держа его под руку.— Для земляшки просто отлично... то есть для гранта, хотела я сказать.

— Спасибо.

— И получилось скверно. «Грант» вместо «иммигрант» ничем не лучше «земляшки» вместо «землянина». В таком случае скажем — для человека вашего возраста вы идете отлично.

— Ну нет! Это еще хуже! — Денисон еле переводил дух, чувствуя, что его лоб становится все более влажным.

— Перед тем, как опустить стопу, старайтесь немного оттолкнуться другой ногой, — сказала Селена. — Это удлинит шаг и снимает нагрузку. Нет, нет, не так... Вот посмотрите!

Денисон с облегчением остановился. Селена, которая в движении, несмотря на скафандр, снова показала ему тонкой и изящной, ушла вперед, по-особому подсакивая. Прыжки были стелющимися и длинными. Потом она вернулась и опустилась на колени рядом с ним.

— Шагните, Бен, только не торопясь, а я стукну вас по ноге, когда надо будет оттолкнуться.

После нескольких неудачных попыток Денисон сказал:

— Нет, это куда трудней, чем бегать на Земле! Можно, я отдохну?

— Отдыхайте. Просто вы еще не умеете координировать работу мышц. И боретесь сам с собой, а вовсе не с непривычной силой тяжести... Ну, хорошо. Садитесь и переведите дух. Но вообще идти нам недалеко.

— А если я лягу на спину, я не раздавлю баллоны? — спросил Денисон.

— Конечно нет. Но ложиться тем не менее не стоит. Особенно прямо на голый камень. Температура поверхности всего сто двадцать по Кельвину или, если вам так больше нравится, сто пятьдесят градусов ниже нуля, а потому чем меньше площадь соприкосновения с почвой, тем лучше. На вашем месте я бы села.

— Ну хорошо, — Денисон, покряхтывая, осторожно сел лицом к северу, так, чтобы не видеть Землю. — Взгляните-ка на звезды!

Селена села напротив него. Она чуть повернула голову, и в свете Земли он смутно различил за стеклом скафандра ее лицо.

— Но ведь звезды видны и с Земли, — сказала она удивленно.

— Не так, как здесь. Даже в безоблачную погоду воздух поглощает часть их света. От различий температуры в разных слоях атмосферы они мерцают, а в

электрическом зареве над городами и вовсе теряются.

— М-да!

— А вам тут нравится, Селена? На поверхности?

— Нельзя сказать, чтоб очень, но иногда бывает даже приятно. Ну конечно, я как гид постоянно сопровождаю сюда туристов.

— А на этот раз меня?

— Когда, наконец, вы поймете, Бен, что это совсем не одно и то же? Для туристов существует единственный маршрут, очень легкий и неинтересный. Не думаете ли вы, что мы приводим туристов на скат? Это спорт для лунян и грантов. И в основном для грантов.

— По-видимому, он все же не слишком популярен. Тут нет никого, кроме нас.

— Это ничего не значит. Посмотрели бы вы, что здесь делается в дни состязаний! Но вам тогда поверхность понравилась бы, наверное, куда меньше.

— Не скажу, чтобы она так уж нравилась мне сейчас. Значит, скольжение — это в основном иммигрантский вид спорта?

— Пожалуй. Луняне, как правило, не слишком любят поверхность.

— А доктор Невилл?

— Вас интересует, как он относится к поверхности?

— Да.

— Честно говоря, не думаю, чтобы он хоть раз поднимался сюда. Завзятый горожанин. А почему это вас заинтересовало?

— Когда я сказал, что хочу осмотреть солнечные аккумуляторы, он как будто не имел ничего против, но сам отправиться со мной не пожелал. Я прямо его об этом попросил, чтобы было кому задавать вопросы, а он отказался, причем в довольно резкой форме.

— Надеюсь, вы нашли кому задавать вопросы?

— О да. И кстати, он тоже был иммигрантом... Возможно, отношение доктора Невилла к Электронному Насосу объясняется как раз этим.

— О чем вы говорите?

— Ну...— Денисон откинулся и поочередно взбросил ноги, с ленивым удовольствием следя за тем, как они медленно поднимаются и опускаются.— А ведь приятно! Послушайте, Селена... Я имел в виду вот что: Невилл почему-то жаждет установить на Луне Электрон-



ный Насос, хотя вам вполне достаточно солнечных аккумуляторов. На Земле мы ими воспользоваться не можем, потому что там для солнечного света слишком много помех и Солнце не может служить таким же постоянным и надежным источником энергии во всех диапазонах волн, как здесь. В Солнечной системе вообще нет небесного тела, более подходящего для использования солнечных аккумуляторов, чем Луна. Даже Меркурий уступает ей, потому что там слишком жарко. Но солнечные аккумуляторы привязывают вас к поверхности, а раз вы ее не любите...

Селена вдруг вскочила.

— Вставайте, Бен! Довольно сидеть! Вы уже достаточно отдохнули. Вставайте!

Не без труда поднявшись на ноги, Денисон упрямо продолжал:

— А Электронный Насос означал бы, что никому из лунян уже не придется выходить на поверхность, если они сами этого не захотят.

— Тут подъем будет круче, Бен. Мы пойдем вон к тому гребню. Видите, вон там, где земной свет срезается почти точно по горизонтали?

Дальше они шли молча. Денисон заметил, что склон сбоку от них выровнен и уходит вниз широкой полосой, очищенной от пыли.

— Нет, начинающим по скату подниматься не стоит. Он слишком гладок,— сказала Селена словно в ответ на его мысли.— Держите свое честолюбие в узде, а не то вы потребуете, чтобы я сейчас же обучила вас кенгуровой припрыжке.

Еще не договорив, она сделала кенгуровый прыжок, на лету повернулась к Денисону и объявила:

— Вот мы и пришли. Садитесь, я надену...

Денисон сел лицом к спуску и посмотрел на скат с некоторой опаской.

— Неужели по нему и правда можно скользить?

— Ну конечно. Из-за малой силы тяжести вы на Луне ступаете менее плотно, чем на Земле, а это снижает трение. На Луне гораздо легче поскользнуться, чем на Земле. Вот почему полы у нас в коридорах и комнатах всегда шероховатые — это вовсе не небрежность, как иногда думают земляне. Хотите послушать мою лекцию на эту тему? Ту, которую я читаю туристам?

— Лучше не надо, Селена.

— А к тому же мы наденем коньки.

У нее в руке он увидел небольшой баллон с зажимами и двумя узкими трубками.

— Что это такое? — спросил Денисон.

— Баллончик со сжиженным газом. Он будет выбрасывать струйки газа прямо вам под подошвы, и эта тонкая газовая подушка практически уничтожит трение. Вы будете двигаться, словно в невесомости.

— Мне это не нравится,— строго сказал Денисон.— Использовать на Луне газ для подобных целей — непростительное расточительство!

— Ну, послушайте! Неужели, по-вашему, мы стали бы использовать для коньков углекислый газ? Или кислород? Начнем с того, что это природный газ. Это аргон. Он вырывается из лунных пород тоннами, накопившись там за миллиарды лет распада калия сорок... Опять-таки цитата из моей лекции, Бен. Практического применения на Луне аргон почти не находит, и мы можем кататься на коньках хоть миллион лет, не истощив его запасов... Ну, вот, ваши коньки и надеты. Погодите, сейчас я надену свои.

— А как они действуют?

— Автоматически. Едва вы начнете скользить на них, откроется клапан и начнется подача газа. Запаса хватит всего на несколько минут, но больше вам и не понадобится.

Она встала и помогла встать ему.

— Повернитесь лицом прямо к склону... Смелее, Бен! Уклон ведь совсем небольшой. Вот поглядите, он кажется ровным, как стол.

— Нет, не кажется,— мрачно ответил Денисон.— На мой взгляд, он даст сто очков вперед любому обрыву.

— Чепуха. А теперь слушайте и запоминайте. Разведите ноги примерно на шесть дюймов и одну чуть-чуть выставьте вперед — неважно, левую или правую. Колени подогните. Не наклоняйтесь навстречу ветру, потому что ветра тут нет. Ни в коем случае не оглядывайтесь и не смотрите вверх, но по сторонам при необходимости смотреть можно. А главное, достигнув ровной площадки, не торопитесь остановиться — вы разовьете заметно большую скорость, чем вам будет казаться. Просто дождитесь, чтобы газ весь вышел,

а тогда благодаря трению вы постепенно остановитесь.

— Я все пере забуду.

— Отлично будете помнить. Да и я в любую минуту приду вам на помощь. Если же я не успею вас поддержать и вы упадете, не пытайтесь встать или остановиться. Спокойно кувyrкайтесь или скользите на спине. Тут нет ни одного опасного выступа.

Денисон сглотнул и посмотрел вперед. Скат, уходящий к югу, был залит земным светом. Крохотные неровности, окруженные пятнышками тени, сверкали особенно ярко, и от этого поверхность ската казалась рябой. Почти прямо перед ним в черном небе висел рельефный серп Земли.

— Готовы? — спросила Селена, упершись рукой в его спину.

— Готов, — со вздохом сказал Денисон.

— Ну, в путь! — она толкнула его вперед, и Денисон почувствовал, что начинает двигаться. Сначала движение было медленным. Он поглядел через плечо на Селену и пошатнулся.

— Не беспокойтесь, — сказала она. — Я рядом.

Внезапно он перестал ощущать под ногами каменный скат — баллон начал подавать газ.

На мгновение Денисону показалось, будто он стоит неподвижно. Его грудь не встречала сопротивления воздуха, подошвы ни за что не задевали. Но когда он снова оглянулся на Селену, то обнаружил, что искры света и пятнышки тени убегают назад со все возрастающей скоростью.

— Смотрите на Землю, — раздался у него над ухом голос Селены. — До тех пор, пока не наберете скорость. Чем быстрее вы будете двигаться, тем устойчивее будете держаться на ногах... Не забывайте подгибать колени! Вы отлично скользите, Бен.

— Для гранта! — пропыхтел Денисон.

— И какое же у вас впечатление?

— Я точно лечу, — ответил он. Пятнышки света и тени по обеим сторонам уносились назад, сливаясь в смутные полосы. Он покосился влево, потом вправо, надеясь избавиться от ощущения, будто поверхность летит назад, и почувствовать, наконец, что это он, он сам устремляется вперед. Но едва это ему удалось, как он тут же вновь устоялся на серп Земли, стараясь сохранить равновесие. — Боюсь, это сравнение мало

что вам скажет,— добавил он.— Ведь на Луне полет — понятие абстрактное.

— Ну, для меня оно уже стало конкретным. По вашим словам, полет похож на скольжение, а это ощущение мне очень хорошо знакомо.

Селена без всякого труда держалась наравне с ним.

Денисон скользил уже так стремительно, что чувствовал свое движение, даже когда смотрел прямо перед собой. Лунный пейзаж впереди распахивался и обтекал его с обеих сторон.

— Какую скорость можно развить при скольжении? — спросил он.

— На настоящих гонках были зарегистрированы скорости свыше ста миль в час — конечно, на более крутых склонах. Ваш предел будет около тридцати пяти миль.

— Мне кажется, я уже двигаюсь много быстрее.

— На самом деле это не так. Ну, Бен, мы уже почти спустились на равнину, а вы так и не упали. Продержитесь еще немного. Газ сейчас кончится, и вы ощутите трение. Но не вздумайте тормозить сами. Спокойно скользите дальше.

Селена еще не договорила, как Денисон почувствовал под башмаками твердую поверхность. Одновременно возникло ощущение огромной скорости, и он сжал кулаки, стараясь удержаться и не вскинуть руки, словно отвращая столкновение, которого не могло быть. Он знал, что стоит ему приподнять руки, и он опрокинется на спину.

Он прищурился и задержал дыхание. Когда ему уже начало казаться, что его легкие вот-вот лопнут, Селена сказала:

— Безупречно, Бен. Безупречно. Я еще ни разу не видела, чтобы грант не упал во время своего первого скольжения. А потому, если вы все-таки упадете, не расстраивайтесь. Ничего позорного в этом нет.

— Нет уж, я не упаду,— прошептал Денисон, хрипло вздохнул и широко открыл глаза. Земля по-прежнему была все такой же безмятежной и равнодушной, но он двигался медленнее, гораздо, гораздо медленнее...

— Селена, я остановился или нет? — спросил он.— Я никак не могу понять.

— Вы стоите. Нет, не двигайтесь. Прежде чем мы вернемся в город, вам следует отдохнуть... Черт побери,

ведь я его где-то здесь оставила!

Денисон смотрел на нее, не веря своим глазам. Она поднималась по склону вместе с ним, она скользила вниз вместе с ним — но он еле держался на ногах от усталости, а она носилась вокруг кенгуровыми прыжками. Шагах в ста от него она нагнулась и воскликнула:

— А! Вот он!

Ее голос звучал в его ушах так же громко, как и прежде, когда она была рядом.

Через секунду Селена вернулась, держа под мышкой пухлый пластмассовый сверток.

— Помните, когда мы поднимались, вы спросили меня, что это такое, а я ответила, что вы сами увидите на обратном пути?

Она аккуратно развернула широкий мешок.

— Называется это лунным ложем,— сказала Селена.— Но мы говорим просто «ложе». Прилагательное «лунный» у нас здесь разумеется само собой.

Она привинтила баллончик к ниппелю и повернула кран.

Мешок начал наполняться. Денисон прекрасно знал, что звуков в безвоздушном пространстве не бывает, и все-таки ждал, что вот-вот услышит шипение.

— Не торопитесь упрекать нас за расточительство! — сказала Селена.— Это тоже аргон.

Мешок тем временем превратился в тахту на шести толстых ножках.

— Ложе вас вполне выдержит,— сообщила Селена.— Оболочка практически нигде не соприкасается с поверхностью, а вакуум помогает сохранять теплоту.

— Неужели оно еще и горячее? — с изумлением спросил Денисон.

— При выходе из баллончика аргон нагревается, но очень относительно. Максимальная его температура равна примерно двумстам семидесяти градусам Кельвина — почти достаточно, чтобы растопить лед, и более чем достаточно для того, чтобы ваш скафандр терял теплоту не быстрее, чем вы ее вырабатываете. Ну, ложитесь.

И Денисон лег, испытывая невыразимое блаженство.

— Чудесно,— сказал он с удовлетворенным вздохом.

— Нянюшка Селена обо всем позаботилась.

Она появилась из-за его спины, скользнула в сто-

рону, приставив ступню к ступне, словно на коньках, оттолкнулась и изящно опустилась возле ложа на локоть и бедро.

Денисон даже присвистнул.

— Как это у вас получается?

— Тренировка. Только не вздумайте мне подражать. В лучшем случае разобьете локоть. Но учтите, если я начну замерзать, вам придется потесниться.

— Ну, поскольку мы оба в скафандрах...

— Весьма любезно! Как вы себя чувствуете?

— Неплохо. Уж это ваше скольжение!

— А что? Не понравилось? Вы ведь поставили настоящий рекорд по отсутствию падений. Вы не рассердитесь, если я расскажу про это в городе моим знакомым?

— Пожалуйста. Ужасно люблю, когда меня хвалят... Но неужели вы собираетесь еще раз тащить меня на скат?

— Сейчас? Конечно, нет. Я и сама не стану спускаться два раза подряд. Мы просто подождем здесь, чтобы ваше сердце пришло в норму, а потом вернемся в город. Протяните ноги в мою сторону, и я сниму с вас коньки. В следующий раз я вас научу, как их снимать и надевать.

— Скорее всего следующего раза не будет.

— Будет, не сомневайтесь. Разве вы не испытывали удовольствия?

— Иногда. В промежутках между припадками ужаса.

— Ну, так в следующий раз припадков ужаса будет меньше, а потом еще меньше, и в конце концов останется одно удовольствие. Я еще сделаю из вас чемпиона.

— Ну, уж нет. Для этого я слишком стар.

— Не на Луне. У вас только вид такой.

Денисона окутывал неизъяснимый лунный покой. Он лежал лицом к Земле. Именно ее присутствие в небе помогло ему сохранить равновесие во время спуска, и он испытывал к ней тихую благодарность.

— Вы часто выходите на поверхность, Селена? — спросил он. — То есть я хочу сказать — одна или в небольшой компании. Не во время состязаний.

— Можно сказать — никогда. Если кругом нет людей, все это действует на меня угнетающе. Я даже

сама немножко удивлена, как это я решилась отправиться сюда сегодня.

Денисон неопределенно хмыкнул.

— А вас это не удивляет?

— А почему это должно меня удивлять? Я считаю, что всякий человек поступает так, как поступает, либо потому, что хочет, либо потому, что должен, и в каждом случае это касается его, а не меня.

— Спасибо, Бен. Нет, я не иронизирую. В вас очень подкупает то, что вы в отличие от других грантов не требуете, чтобы мы укладывались в ваши представления и понятия. Мы, луняне, обитаем под поверхностью — мы пещерные люди, коридорные люди. Ну, и что тут плохого?

— Ничего.

— Но послушали бы вы земляшек! А я гид, и должна их слушать. Все их мнения и соображения я слышала тысячи раз, и чаще всего на меня обрушивается вот что, — Селена заговорила с прищепыванием, типичным для землян, объясняющихся на общепланетном эсперанто. — «Но, милочка, как вы можете все время жить в пещерах? Неужели вас не угнетает ощущение вечной тесноты? Неужели вам не хочется увидеть синее небо, деревья, океан, почувствовать прикосновение ветра, вдохнуть запах цветов?..» Бен, я могла бы продолжать так часами! А потом они спохватываются: «Впрочем, вы ведь, наверное, даже не знаете, что такое синее небо, и море, и деревья, так что и не тоскуете без них»... Как будто мы не смотрим земных телепрограмм! Как будто у нас нет доступа к земной литературе, как зрительной, так и звуковой, а иногда и олифакторной.

Денисону стало весело.

— И какой же полагается давать ответ в подобных случаях?

— Да никакой. Говоришь просто: «Мы к этому привыкли, мадам». Или «сэр», но почти всегда такие вопросы задают женщины. Мужчины, как ни странно, больше интересуются лунными модами. А знаете, что бы я с радостью ответила этим дурам?

— Скажите, скажите. Облегчите душу.

— Я бы им сказала: «Послушайте, мадам, а на черта нам сдалась ваша хваленая планета? Мы не хотим вечно болтаться на поверхности и ждать, что

свалимся оттуда или нас сдует ветром. Мы не хотим, чтобы нам в лицо бил неочищенный воздух, чтобы на нас лилась грязная вода. Не нужны нам ваши микробы, и ваша вонючая трава, и ваше дурацкое синее небо, и ваши дурацкие белые облака. Когда мы хотим, то можем любоваться Землей на нашем собственном небе. Но подобное желание возникает у нас не часто. Наш дом — Луна, и она такая, какой ее сделали мы. Какой мы хотели ее сделать. Она принадлежит нам, и мы создаем свою собственную экологию. Отправляйтесь к себе на Землю, и пусть ваша сила тяжести оттянет вам живот до колен!» Вот что я сказала бы.

— Ну и прекрасно! Теперь всякий раз, когда вам нестерпимо захочется высказать очередной туристке десяток горьких истин, поберегите их для меня, и вам станет легче.

— Знаете что? Время от времени какой-нибудь грант предлагает разбить на Луне земной парк — уголок с земными растениями, выращенными из семян или даже из саженцев, а может быть, и с кое-какими животными. Кусочек родного дома — вот как это обычно формулируется.

— Насколько я понимаю, вы против?

— Конечно против! Кусочек чьего родного дома? Наш родной дом — Луна. Гранту, который мечтает о «кусочке родного дома», следует просто поскорее уехать к себе домой. Гранты иной раз бывают хуже земляшек.

— Учту на будущее, — сказал Денисон.

— К вам это не относится... пока.

Наступило молчание, и Денисон решил, что Селена сейчас предложит вернуться в город. Конечно, по некоторым соображениям откладывать это надолго не стоит. Но, с другой стороны, он давно не испытывал такого физического блаженства. А на сколько, собственно, рассчитан запас кислорода в его баллоне? От этих размышлений его отвлек голос Селены:

— Бен, можно задать вам один вопрос?

— Пожалуйста. Если вас интересует моя личность, то у меня секретов нет. Рост — пять футов девять дюймов. Вес на Луне — двадцать восемь фунтов. Когда-то был женат. Давно развелся. Один ребенок — дочь, ныне взрослая и замужняя. Учился в



университете...

— Нет, Бен, я говорю серьезно. Можно задать вам вопрос про вашу работу?

— Конечно, можно, Селена. Правда, я не знаю, сумею ли я объяснить вам...

— Ну... Вы же знаете, что Бэррон и я...

— Да, знаю,— почти оборвал ее Денисон.

— Мы разговариваем. Он мне кое-что рассказывает. Он упомянул, например, что, по вашему мнению, Электронный Насос может взорвать вселенную.

— Ту ее часть, в которой находимся мы. Не исключено, что он может превратить нашу ветвь галактики в квазар.

— Нет, вы правда в это верите?

— Когда я приехал на Луну,— сказал Денисон,— я еще сомневался. Но теперь я верю. Я убежден, что это произойдет, и произойдет неизбежно.

— И когда, как по-вашему?

— Вот этого я точно сказать не берусь. Может быть, через несколько лет. Может быть, через несколько десятилетий.

Снова наступило молчание. Потом Селена про-  
бормотала:

— Бэррон так не думает.

— Я знаю. И не пытаюсь его переубедить. Нежелание верить нельзя сломить фронтальной атакой. В этом и была ошибка Ламонта.

— Кто такой Ламонт?

— Извините, Селена, я задумался.

— Нет, Бен! Объясните мне. Пожалуйста! Я хочу знать.

Денисон повернулся на бок лицом к ней.

— Ладно,— сказал он.— Я вам расскажу. Ламонт — физик, и живет на Земле. Он попытался предупредить мир об опасности, таящейся в Электронном Насосе, но потерпел неудачу. Людям нужен Насос. Нужна дешевая энергия. Настолько нужна, что они не желают верить в ее опасность, в необходимость отказаться от нее.

— Но как они могут продолжать ею пользоваться, если она грозит всеобщей гибелью?

— Для этого достаточно не поверить, что она грозит гибелью. Самый легкий способ решения проблемы — попросту отрицать ее наличие. Как и делает

ваш друг доктор Невилл. Его пугает поверхность, а потому он внушает себе, будто солнечные аккумуляторы не отвечают своему назначению, хотя любому непредвзятому человеку ясно, что для Луны это идеальный источник энергии. Установка Насоса позволит ему никогда больше не покидать коридоров, а потому он не желает верить, что Насос опасен.

— Не думаю, чтобы Бэррон отказался поверить, если ему будут представлены реальные доказательства. А такие доказательства у вас правда есть?

— По-моему, да. Это просто поразительно, Селена. Все опирается на некоторые тончайшие факторы во взаимодействии кварк — кварк. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Да, понимаю. Я столько разговаривала с Бэрроном о самых разных проблемах, что у меня есть некоторое представление обо всем этом.

— Ну, сначала я полагал, что мне для этого понадобится лунный синхрофазотрон. Его поперечник равен двадцати пяти милям, он оснащен магнитами из сверхпроводников и может развивать энергии свыше двадцати тысяч гигаэлектронвольт. Но оказалось, что у вас тут есть установка, которую вы назвали пионотроном. Она умещается в небольшой комнате и выполняет все функции синхрофазотрона. Луну можно поздравить с поистине замечательным шагом вперед.

— Благодарю вас,— польщенно сказала Селена.— То есть от имени Луны.

— Ну так вот: проведя исследования с помощью пионотрона, я убедился, что напряженность сильного ядерного взаимодействия возрастает, и возрастает именно с такой скоростью, о которой говорит Ламонт, а не с той, которую указывает общепринятая теория.

— И вы сообщили об этом Бэррону?

— Нет. Я думаю, он все равно не поверит. Он скажет, что полученные мною результаты неубедительны. Он скажет, что я допустил ошибку. Он скажет, что я не учел всех факторов. Он скажет, что моя методика неверна... Но все это будет означать одно — ему нужен Электронный Насос, и он не желает от него отказаться.

— И, по-вашему, выхода нет?

— Есть, конечно. Меры принять можно, но толь-

ко не те прямолинейные меры, на которых настаивает Ламонт.

— А именно?

— Он считает, что надо отказаться от Насоса. Но нельзя повернуть прогресс вспять. Нельзя загнать цыпленка в яйцо, а вино в виноградную лозу. Если вы хотите, чтобы маленький ребенок отпустил ваши часы, не стоит объяснять ему, что он должен их отдать, а лучше предложить взамен что-нибудь еще более интересное.

— А что, например?

— Вот тут-то я и не уверен. У меня, правда, есть одна мысль, очень простая — настолько простая, что она может оказаться вообще бесплодной. Мысль, основанная на том очевидном факте, что число «два» бессмысленно и существовать не может.

Наступило долгое молчание. Примерно через минуту Селена сказала напряженно:

— Дайте я попробую догадаться, что вы имеете в виду.

— Я и сам этого хорошенько не знаю.

— И все-таки я попробую. Есть своя логика в предположении, что наша вселенная — одна, и никакой другой нет и существовать не может. Ведь сами мы существуем только в ней, наш опыт говорит нам только о ней. Но вот у нас появились доказательства, что есть еще одна вселенная — та, которую мы называем паравселенной, — и теперь уже глупо, смешотворно глупо считать, что вселенных всего две. Если существует еще одна вселенная, значит, их может быть бесконечно много. Между единицей и бесконечностью в подобных случаях никаких осмысленных чисел существовать не может. Не только два, но любое конечное число тут нелепо и невозможно.

— Я так и рассуж... — начал было Денисон и вдруг оборвал фразу на полуслове. Вновь воцарилось молчание.

Потом Денисон приподнялся, сел, поглядел на скрытую в скафандре женщину и сказал:

— По-моему, нам пора возвращаться.

— Я ведь пыталась угадать, и ничего больше, — сказала Селена.

— Нет, — сказал он. — Не знаю, в чем тут дело, но это не просто догадка.

Бэррон Невилл уставился на нее, не в силах произнести ни слова. Селена ответила ему невозмутимым взглядом. Звездная панорама в ее окнах опять изменилась. Теперь в одном из них плыла почти полная Земля.

— Но зачем? — наконец выдал он из себя.

— Это вышло случайно, — ответила Селена. — Я вдруг уловила суть и так увлеклась, что не смогла удержаться. Мне следовало бы сразу тебе все рассказать, а не откладывать неделю за неделей, но я опасалась, что это подействует на тебя именно так, как подействовало.

— Так он знает? Дура!

Селена нахмурилась.

— А что он, собственно, знает? То, о чем все равно довольно скоро догадался бы, — что я на самом деле не гид, а твоя интуистка. Причем интуистка, которая не имеет ни малейшего представления о математике. Так пусть себе знает! Ну, хорошо, у меня есть интуиция, но что из этого следует? Сколько раз ты мне повторял, что моя интуиция не имеет никакой цены, если не подкреплять ее математическим анализом и экспериментальными наблюдениями? Сколько раз ты мне повторял, что самое, казалось бы, четкое интуитивное заключение может все-таки быть неверным? Так неужели чистый интуизм покажется ему заслуживающим внимания?

Невилл побелел, но Селена не могла решить — от гнева или от страха. Он сказал:

— Ведь ты же не такая. Разве твои интуитивные выводы не оказывались всякий раз безошибочными? Когда ты была твердо убеждена в их правильности?

— Но ведь он-то этого не знает!

— Он догадается. Он пойдет к Готтштейну.

— И что же он скажет Готтштейну? О наших истинных планах ему ведь ничего не известно.

— Ах, не известно?

— Да!

Селена вскочила и отошла к окну, потом обернулась к Бэррону и крикнула:

— Да! Да! И подло с твоей стороны намекать, будто я способна предать тебя и остальных. Если ты не веришь в мою честность, так поверь хотя бы в мой

здравый смысл. Зачем мне им о чем-нибудь рассказывать? Какое вообще все это имеет значение, когда и они, и мы, и все обречены на гибель?

— Ну, пожалуйста, Селена! — брезгливо отмахнулся Невилл. — Только не это!

— Нет, ты все-таки выслушай. Он был со мной откровенен и рассказал о своих исследованиях. Ты меня прячешь, точно секретное оружие. Ты говоришь мне, что я ценнее любого прибора, любого в меру талантливому ученого. Ты играешь в таинственность, требуешь, чтобы для всех я оставалась простым гидом, дабы мои замечательные способности всегда были в распоряжении лунян. Вернее, в твоём распоряжении. И чего ты добился?

— У нас есть ты, ведь так? А долго ли, по-твоему, ты останешься на свободе, если они узнают...

— Ты постоянно твердишь об этом. Но назови мне хоть одного человека, которого лишили свободы, которому помешали! Где хоть малейшие реальные признаки великого заговора против нас, который мерещится тебе повсюду? Земляне не допускают тебя и твою группу к своим большим установкам главным образом потому, что ты сам их на это провоцируешь, а не из-за каких-то черных замыслов. Впрочем, нам это пошло только на пользу, потому что в результате мы создали собственные более чувствительные приборы и более мощные установки.

— На основе твоих теоретических прозрений, Селена!

— Не спорю, — улыбнулась Селена. — Бен отозвался о них с большой похвалой.

— Ты и твой Бен! На черта тебе нужен этот жалкий земляшка?

— Он иммигрант. И я получаю от него сведения, которые мне необходимы. Ты мне их обеспечиваешь? Ты до того боишься, как бы про меня не узнали, что не позволяешь мне встречаться с другими физиками. Только ты, и никто кроме тебя. И то только потому, что ты мой... Да, наверное, и на это ты пошел исключительно из соображений конспирации.

— Ну, что ты, Селена! — Он кое-как сумел придать своему голосу нежность, и все-таки его слова прозвучали нетерпеливо.

— Собственно говоря, это меня не трогает. Ты

объяснил мне, какая передо мной стоит задача, и я стараюсь сосредоточиться на ней одной. И иногда мне кажется, что я вот-вот нащупаю решение, пусть и без всякой математики. Мне вдруг совершенно ясно представляется, что надо сделать, но потом мысль ускользает... А, да пусть! Раз Насос уничтожит нас всех гораздо раньше... Ведь я же тебе говорила, что обмен напряженностями полей внушает мне большие опасения.

— Селена, я тебя спрашиваю,— сказал Невилл.— Готова ты безоговорочно утверждать, что Насос нас уничтожит? Не «может уничтожить», не «вероятно уничтожит», а «неизбежно уничтожит»?

Селена сердито мотнула головой.

— Нет, не могу. Все достаточно зыбко. Нет, я не могу сказать — «неизбежно». Но разве в таком вопросе «вероятно» — это мало?

— Господи!

— Не возводи глаза к потолку! Не усмехайся! Ты ведь и не подумал проверить эту гипотезу экспериментально. А я тебе говорила, как это можно сделать!

— Пока ты не начала слушать своего земляшку, ты и не тревожилась вовсе!

— Он иммигрант. Так ты проверишь или нет?

— Нет! Я ведь объяснял тебе, что твои предположения невыполнимы. Ты не экспериментатор, и то, что тебе представляется теоретически возможным, вовсе не обязательно окажется осуществимым в реальном мире приборов, случайности и недостоверности.

— Так называемый реальный мир твоей лаборатории! — Ее лицо покраснело от негодования, она поднесла к подбородку сжатые кулаки. — Сколько времени ты тратишь, чтобы получить достаточно отличный вакуум... А ведь там, наверху, куда я показываю, там, на поверхности, вакуума сколько угодно и температура по временам приближается к абсолютному нулю. Почему ты не ставишь эксперименты на поверхности?

— Это ничего не даст.

— Откуда ты знаешь? Ты просто не хочешь попробовать. А Бен Денисон попробовал. Он сконструировал специальный прибор для поверхности и успел

получить с его помощью необходимые данные, когда ездил осматривать солнечные аккумуляторы. Он звал тебя поехать с ним, но ты не захотел. Помнишь? Это очень простой прибор — такой, что даже я могу объяснить тебе его принцип после того, как его объяснили мне. Бен включил его при дневной температуре, а потом при ночной, и этого оказалось достаточно, чтобы затем провести серию экспериментов с пионотроном.

— Как все у тебя просто получается!

— А это и было просто. Едва он понял, что я — интуистка, как в отличие от тебя начал мне объяснять! Он объяснил, почему он считает, что сильное ядерное взаимодействие увеличивается вокруг Земли поистине катастрофически. Еще несколько лет — и Солнце взорвется, а нарастающее сильное ядерное взаимодействие распространится волнами...

— Нет! Нет и нет! — закричал Невилл. — Я видел его результаты. Это ерунда.

— Ты их видел?

— Конечно. Неужели ты думала, что я позволю ему работать в наших лабораториях и не буду проверять, чем он занимается? Я видел его результаты, и они ровным счетом ничего не стоят. Он рассматривает столь малые отклонения, что они вполне укладываются в пределы ошибок опыта. Если ему угодно верить, будто эти отклонения значимы, и если ты хочешь этому верить, так валяйте. Но никакая вера не изменит того факта, что они не стоят ничего.

— А чему хочешь верить ты, Бэррон?

— Мне нужна истина.

— Но разве ты не решил заранее, какой должна быть эта истина? Тебе нужен Электронный Насос на Луне для того, чтобы ты мог больше не подниматься на поверхность, ведь так? И потому все, что может помешать, автоматически перестает быть истиной.

— Я не буду с тобой спорить. Да, мне нужен Электронный Насос, и то, другое, тоже. Только их сочетание даст нам то, что требуется. Ты уверена, что ты не...

— Нет!

— Но ты ему все-таки скажешь?

Селена подбежала к нему, взлетая в воздух в такт сердитому перестуку сандалий.

— Я ему ничего не скажу. Но мне нужны сведе-

ния. Раз от тебя я их получить не могу, так я обращаюсь к нему. Он, во всяком случае, ставит эксперименты! Мне надо поговорить с ним, узнать, что, собственно, он рассчитывает установить. Если ты мне помешаешь, ты никогда не получишь того, что тебе нужно. И можешь не опасаться, что он меня опередит. Он слишком привык к системе земных представлений и не рискнет сделать последний вывод. А я рискну.

— Ну, хорошо. Но и ты тоже не забывай разницы между Землей и Луной. Луна — твой мир. Другого у тебя нет. Этот человек, этот твой Денисон, этот Бен, этот иммигрант, раз уж тебе так хочется, приехал на Луну с Земли и может, если захочет, снова вернуться на Землю. А ты уехать на Землю не можешь. Ты навсегда связана с Луной. Навсегда!

— Лунная дева, — с насмешкой сказала Селена.

Он продолжал, не слушая:

— А что до пресловутого взрыва, так объясни мне: если риск, связанный с изменениями основных констант вселенной, столь велик, то почему паралоуди, технически настолько нас опередившие, не прекратят перекачку?

Не дожидаясь ответа, он вышел.

Селена уставилась на захлопнувшуюся дверь, стиснув зубы. Потом она пробормотала:

— Почему? А потому, что условия у них другие, чем у нас, сукин ты сын, ничтожество!

Но она говорила сама с собой — Невилл ее уже не слышал.

Селена пнула ногой рычаг, опускавший постель, и кинулась на нее вне себя от злости. Намного ли ближе она теперь к той цели, которую Бэррон и его группа так давно поставили перед собой?

Ни на шаг.

Энергия... Всем требуется энергия! Волшебное слово! Рог изобилия! Единственный ключ ко вселенскому изобилию!.. Но ведь энергией исчерпывается далеко не все.

Если найти энергию, удастся найти и то, другое. Если найти ключ к энергии, ключ к тому, другому, обнаружится сам собой. Да, так и случится, если только ей удастся уловить какую-то тонкость, которая сразу же станет очевидной. (Боже мой, она на-



столько заразилась от Бэррона его подозрительностью, что даже думает «то, другое»!)

Ни один землянин этой тонкости не уловит, так как у землян нет никаких оснований искать ее.

И потому Бен Денисон обнаружит эту тонкость, сам того не заметив, а воспользуется его открытием она, Селена.

Но только... Если вселенная должна погибнуть, к чему все это?

## 12

Денисон испытывал неловкость и смущение. Он то и дело подтягивал несуществующие брюки. Он был совсем голым, если не считать коротеньких трусов и сандалий. Ну, и разумеется, он нес одеяло.

Селена, тоже в лунном туалете, засмеялась:

— Послушайте, Бен, у вас вполне приличный торс. И кожа почти не дряблая. Можете считать, что лунная мода вам к лицу.

— Угу,— пробурчал Денисон и перекинул одеяло через плечо, старательно задрапировав живот, но Селена тотчас сдернула одеяло.

— Отдайте-ка его мне,— сказала она.— Какой же из вас выйдет лунянин, если вы с таким упорством будете цепляться за земные предрассудки и привычки?

— Селена, кругом нас люди, а вы надо мной издеваетесь! — взмолился Денисон.— Дайте мне освоиться.

— Ну, осваивайтесь. Но вы могли бы заметить, что встречные на нас даже не смотрят.

— Это они на вас не смотрят. А меня так и едят глазами. Возможно, им еще не приходилось видеть таких дряхлых уродов.

— Не исключено,— сказала Селена весело.— Ну что же, пусть привыкают.

Денисон угрюмо шагал рядом с ней, болезненно ощущая каждый седой волосок у себя на груди, каждую складку на животе. Только когда коридор сузился и обезлюдел, он перестал стесняться своего вида и начал поглядывать по сторонам уже почти спокойно.

— Сколько мы прошли? — спросил он.

— Вы устали? — огорченно воскликнула Селена.— Надо было взять электророллер. Я все время забываю, что вы с Земли.

— И очень хорошо. Разве это не предел мечтаний иммигранта? Я нисколько не устал. Ну, разве самую чуточку. Вот только я все время мерзну.

— Самообман, и больше ничего, Бен,— твердо сказала Селена.— Вы просто подсознательно убеждены, что вам должно быть холодно, поскольку на вас нет привычной одежды. Выкиньте это из головы.

— Легко сказать! — вздохнул он.— Но иду я все-таки терпимо?

— Отлично идете. Вы у меня еще закенгурите.

— И стану чемпионом самых крутых скатов. Вы, кажется, совсем забыли, что я человек в годах. Нет, но сколько мы все-таки прошли?

— Мили две.

— Ого! А какова же общая длина коридоров?

— Боюсь, этого я не знаю. Жилые коридоры составляют лишь относительно небольшую часть всей системы. Есть коридоры рудных разработок, геологические, промышленные, микологические... Думаю, их общая длина достигает несколько сотен миль.

— А карты у вас есть?

— Конечно. Не можем же мы работать вслепую.

— Я не о том. У вас сейчас с собой какая-нибудь карта есть?

— Нет... Я не стала их брать. В этом секторе мне карты не нужны. Я тут знаю каждый поворот. Еще с детских лет. Это же старые коридоры. Почти все новые коридоры — а в год мы прокладываем их в среднем две-три мили — расположены в северном секторе. Вот туда я без карты ни за что не пошла бы. Я там и с картой могу заблудиться.

— А куда мы идем?

— Я обещала показать вам замечательную вещь, самую редкую на Луне. Таковую, что туристам ее никогда не показывают.

— Неужто у вас на Луне есть алмазы?

— Это лучше всяких алмазов.

Стены коридора тут не были отполированы. Неяркие люминесцентные плафоны освещали их шероховатую серую поверхность. Тепло было по-весеннему,

и вентиляция работала так безупречно, что не ощущалось ни малейшего сквозняка. Трудно было поверить, что камень и пыль всего в двухстах футах у них над головой то накаляются, пока Солнце совершает свой двухнедельный путь по небосклону, то охлаждаются чуть ли не до абсолютного нуля, когда оно на две недели скрывается за горизонтом.

— А утечки воздуха быть не может? — спросил Денисон, который вдруг с легкой дрожью осознал, что почти сразу же за этим сводом начинается океан безвоздушного пространства, простирающийся в бесконечность.

— Нет. Стены абсолютно герметичны. И оборудованы всевозможными защитными приспособлениями. Если давление воздуха в какой-нибудь секции снизится хотя бы на десять процентов, раздастся такой вой сирен, какого вы в жизни не слышали, и повсюду загорятся сигналы и указатели, которые скоро выведут вас в безопасное место.

— И часто это бывает?

— Нет, очень редко. По-моему, за последние пять лет ни один человек не погиб из-за нехватки воздуха.— После краткой паузы она добавила воинственно: — А у вас на Земле бывают всякие стихийные бедствия! Сильное землетрясение или цунами может уничтожить тысячи жизней.

— Не надо ничего доказывать, Селена! — Денисон поднял руки.— Сдаюсь!

— Ладно,— сказала она.— Я не собиралась так взвиваться... Слышите?

Она остановилась, прислушиваясь.

Денисон тоже прислушался, но ничего не услышал. Внезапно он с тревогой оглянулся.

— Как тихо! Почему тут никого нет? Вы уверены, что мы не заблудились?

— Это ведь не естественная пещера с неисследованными ходами, какие есть у вас на Земле. Я видела их фотографии.

— Да. Как правило, это известковые пещеры, созданные водой. Но, разумеется, на Луне подобные явления невозможны.

— И значит, заблудиться мы не можем,— улыбнулась Селена.— А то, что мы тут одни, объясняется, если хотите, суеверием.

— Чем-чем? — Денисон удивленно и недоверчиво поднял брови.

— Ой, не надо! — сказала Селена.— Уберите эти морщины. Вот так. А знаете, вы очень посвежели за последнее время. Теперь вам понятно, что могут сделать малая сила тяжести и систематические упражнения?

— А также попытки держаться наравне с изящными голыми интуистками, у которых на редкость много выходных дней и на редкость мало занятий, более интересных, чем показ лунных достопримечательностей даже в свободное время.

— Вот вы опять говорите со мной, как с гидом. А кроме того, я вовсе не голая.

— Ну, уж если на то пошло, нагота — куда менее опасная вещь, чем интуизм... Но о каком суеверии вы говорили?

— Пожалуй, я выразилась не совсем удачно, и суеверие тут ни при чем. Просто все как-то избегают этого коридора.

— Но почему?

— А вот сейчас увидите.

Они пошли дальше, и вскоре Селена сказала громко:

— Ну, а теперь слышите?

Они опять остановились, и Денисон напряженно прислушался. Потом он спросил:

— Вы имеете в виду это легкое постукивание? Тук-тук... Да?

Селена побежала — длинными низкими прыжками, отталкиваясь то одной ногой, то другой, как делают луняне, когда они не очень торопятся. Денисон тоже побежал, стараясь подражать ее движениям.

— Вот тут! Тут!

Денисон взглянул туда, куда нетерпеливо указывала пальцем Селена.

— Господи! — сказал он.— Откуда она здесь?

Из скалы одна за другой появлялись и падали капли прозрачной жидкости, которая могла быть только водой. Капля неторопливо сменяла каплю и падала в керамический желобок, вделанный в стену.

— Из камней. У нас же на Луне есть вода. Большую ее часть мы добываем из гипса. Нам хватает, тем более что мы умеем ее экономить.

— Это я заметил! Мне еще ни разу не удалось толком принять душ. Честное слово, я не понимаю, как вы все тут умудряетесь оставаться чистыми.

— Но я же вам объясняла. Сперва надо облиться. Затем отключить воду и обрызгаться моющим препаратом. Растереть его... Ах, Бен, сколько раз я должна повторять одно и то же! К тому же на Луне запачкаться трудно... И вообще мы говорили не об этом. Кое-где вода встречается и в чистом виде — обычно в форме льда вблизи поверхности в тени, отбрасываемой горами. Когда коридор проходит рядом с такими отложениями, лед начинает таять, и вода капает, пока не истощится ее запас. В этом месте она капает уже восемь лет.

— Но причем тут суеверия?

— Естественно, что вода — основа основ жизни на Луне. Мы пьем ее, моемся, выращиваем с ее помощью нашу пищу, получаем из нее кислород. Короче говоря, она нужна нам всюду и везде. И самородная вода, разумеется, вызывает чувство, похожее на благоговение. Как только появились эти капли, бурение туннеля в эту сторону было прекращено. И даже стены оставлены необработанными.

— Да, это действительно отдает суеверием.

— Нет, скорее тут можно говорить об уважении. Все думали, что залежь иссякнет через два-три месяца. Обычно так и бывает. Но прошел год, и начало казаться, что эти капли неиссякаемы. Им даже дали название «Вечный источник». Это место так и на картах помечено. Ну, и вполне понятно, люди начинают думать, что все это имеет какой-то скрытый смысл и что истощение Вечного источника явится дурным предзнаменованием.

Денисон расхохотался.

— Нет, конечно, никто серьезно в это не верит, — горячо заговорила Селена, — и все-таки... Ведь, конечно, источник на самом деле вовсе не вечен и должен когда-нибудь истощиться. Собственно говоря, теперь капли появляются втрое медленнее, чем вначале. То есть он уже иссякает. Ну, и, наверное, никому не хочется стать свидетелем того, как Вечный источник вдруг пересохнет. Вот вам вполне рациональное объяснение того факта, что сюда мало кто заглядывает.

— Насколько я понимаю, сами вы этого чувства не разделяете.

— Дело не в том. Просто, по моему твердому убеждению, это произойдет не сразу, а настолько постепенно, что никто не сможет с уверенностью сказать — «вот упала последняя капля» и испытать суеверный страх. А потому — зачем вообще об этом беспокоиться?

— Совершенно справедливо.

— Тем более, что мне хватает других поводов для беспокойства. — Переход к другой теме выглядел почти естественным. — И мне хотелось бы обсудить их с вами, пока мы одни.

С этими словами Селена расстелила одеяло и села на него, поджав ноги.

— Так вот зачем вы меня сюда привели! — Денисон лег на бок лицом к ней и оперся на локоть.

— На поверхности было бы удобнее, но о том, чтобы выйти туда незаметно, нечего и думать. Догадаться же, что мы пошли именно сюда, трудно, а это, пожалуй, единственное место в городе, где нам заведомо никто не помешает.

Селена умолкла, словно не зная, что сказать дальше.

— Ну и? — спросил Денисон.

— Бэррон очень сердит. Просто взбешен.

— И неудивительно. Как еще он мог отнестись к тому, что мне известно про ваш интуизм? Я ведь вас, по-моему, предупреждал. Неужели так уж обязательно было ему об этом рассказывать?

— Как-то неприятно скрывать что-нибудь от человека, с которым... Впрочем, для него это, по-видимому, уже в прошлом.

— Мне очень жаль, что из-за меня...

— Вы тут ни при чем. Все уже шло к концу само собой. Меня гораздо больше волнует, что он наотрез отказывается признать ваше истолкование тех данных, которые вы получили, работая с пионотроном после наблюдений на поверхности.

— Но я же говорил вам, что так и будет.

— Он сказал, что видел ваши результаты.

— Да, видел! Скользнул по ним глазами и что-то буркнул.

— Как, в сущности, грустно! Неужели человек всегда верит только в то, во что хочет верить, не счи-

таясь с фактами?

— Во всяком случае, до последней возможности. А иной раз и дольше.

— А вы?

— То есть насколько ничто человеческое мне не чуждо? Разумеется, и я — не исключение. Вот я, например, не верю, что я действительно стар. Я верю, что я чрезвычайно обаятелен. Я верю, что вы ищете моего общества только поэтому... даже вопреки тому, что вы все время сворачиваете разговор на физику.

— Я серьезно.

— Ну что ж! Полагаю, Невилл сказал вам, что обнаруженные мною отклонения более чем укладываются в пределы возможной ошибки, а потому сомнительны. Это безусловно так... И все-таки я предпочитаю верить, что они несут в себе именно то подтверждение, в поисках которого я и проводил эти эксперименты.

— И верите только потому, что хотите верить?

— Не совсем. На это можно посмотреть и следующим образом: предположим, Насос безвреден, а я упорно отстаиваю мнение, что он опасен. В этом случае я буду выглядеть дураком и моя репутация ученого очень пострадает. Но в глазах весьма важных лиц я и так выгляжу дураком, а репутации ученого у меня вообще нет никакой.

— Но почему, Бен? Вы не в первый раз на что-то намекаете. Почему бы вам не рассказать мне все?

— Да рассказывать-то, по правде говоря, почти нечего. В двадцать пять лет я был еще настолько мальчишкой, что не сумел найти себе развлечения умнее, чем дразнить дурака за то лишь, что он дурак. Но он-то вести себя умнее не мог, так что настоящим дураком в сущности был я. А в результате мои насмешки загнали его на такую высоту, куда он без них никогда бы не забрался...

— Вы говорите про Хэллема?

— Именно. И чем выше он поднимался, тем ниже падал я, пока не свалился на Луну.

— А это так уж плохо?

— Нет. По-моему, даже очень хорошо. А потому сделаем вывод, что в конечном счете он оказал мне немалую услугу... И вернемся к тому, о чем я говорил. Итак, ошибочно считая Насос опасным, я ничего

не теряю. С другой стороны, ошибочно считая Насос безвредным, я способствую гибели мира. Да, конечно, большая часть моей жизни уже позади, и, наверное, я мог бы внушить себе, что у меня нет особых поводов любить человечество. Однако вред мне причиняла лишь горстка людей, и если я в отместку погублю всех остальных, это выйдет нечто совсем уж несоразмерное. Ну, а если вам требуются не столь благородные причины, Селена, то вспомните, что у меня есть дочь. Перед моим отъездом на Луну она говорила, что подумывает о ребенке. Таким образом, весьма вероятно, что в недалеком будущем я стану — увы, увы! — дедушкой. И почему-то мне хочется, чтобы мой внук прожил весь отпущенный ему срок жизни. А потому я предпочитаю считать, что Насос опасен, и действовать, исходя из этого убеждения.

— Но ведь я об этом и спрашиваю,— взволнованно сказала Селена.— Опасен Насос или нет? Мне нужно знать истину, а не разбираться, кто во что хочет верить.

— Об этом скорее я должен спросить у вас. Вы ведь интуистка. Так что же говорит ваша интуиция?

— Вот это меня и мучит, Бен. У меня нет твердой уверенности. Пожалуй, я ощущаю, что Насос опасен, но, возможно, потому, что мне этого хочется.

— Допустим. Но почему вам этого хочется?

Селена виновато улыбнулась и пожала плечами.

— Наверное, мне было бы приятно поймать Бэррона на ошибке. Слишком уж он категоричен и агрессивен, когда бывает в чем-то убежден.

— Мне это понятно. Вам хотелось бы посмотреть, какое у него будет лицо, когда ему придется пойти на попятный. Я по собственному опыту знаю, каким жгучим бывает такое желание. Ведь если Насос опасен и я сумею это доказать, меня, возможно, ждет слава спасителя человечества, но, честное слово, сейчас я думаю только о том, какую физиономию скорчит Хэллем. Не слишком достойное чувство, и потому я скорее всего заявлю, что заслуга принадлежит Ламонту в неменьшей мере, чем мне — а это, кстати, чистая правда,— и ограничусь тем, что буду любоваться лицом Ламонта, пока он будет любоваться физиономией Хэллемеа. Такое злорадство через посредника все-таки менее мелочно... Но я, кажется, дого-



ворился до полной чепухи. Скажите, Селена...

— Ну, Бен?

— Когда вы обнаружили, что вы — интуистка?

— Сама не знаю.

— Вероятно, в колледже вы занимались физикой?

— Да. И математикой, но она у меня не шла.

Впрочем, физика мне тоже не слишком давалась. Но когда я совсем заходила в тупик, мне вдруг становилось ясно, каким должен быть ответ. Вернее сказать, я видела, что надо сделать, чтобы получить верный ответ. Очень часто ответ действительно получался верный, но когда меня спрашивали, каким образом я к нему пришла, я начинала путаться. Преподаватели были убеждены, что я пользуюсь шпаргалкой, но поймать меня на этом не могли.

— А они не подозревали, что вы интуистка?

— Думаю, что нет. Я ведь сначала и сама была в полном неведении, а потом... Ну, я влюбилась в одного физика. В будущего отца моего ребенка. И как-то, когда у нас не нашлось другой темы для разговора, он начал рассказывать мне о физической проблеме, над которой он тогда работал, а я вдруг сказала: «Знаешь, что, по-моему, нужно?» — и изложила ему мысль, которая почему-то пришла мне в голову. Он испробовал мой вариант — смеха ради, как объяснял потом, — и получил то, что искал. Собственно говоря, тогда-то и зародился пионотрон, который нравится вам больше синхрофазотрона.

— Как! Это была ваша идея? — Денисон подставил палец под каплю и собрался уже слизнуть ее, но потом все-таки спросил: — А эту воду можно пить?

— Она совершенно стерильна, — сказала Селена, — и поступает отсюда в общий резервуар для обычной обработки. Но она насыщена сернистыми и углеродистыми соединениями и вряд ли вам понравится.

Денисон вытер палец о шорты.

— Так это вы изобрели пионотрон?

— Нет. Я только предложила идею, а развили и осуществили ее другие — в частности, Бэррон.

Денисон помотал головой.

— А знаете, Селена, вы ведь редкий феномен. Вас бы должны изучать специалисты по молекулярной биологии.

— Вы так думаете? Меня эта перспектива что-то не увлекает.

— Лет пятьдесят назад был период сильного увлечения генетическим конструированием. А затем оно...

— Я знаю,— перебила Селена.— Оно ни к чему не привело, и его даже запретили — насколько можно запретить научные исследования. Мне известны люди, которые продолжают заниматься этой темой.

— Специализируясь на интуизме?

— По-моему, нет.

— А! Но ведь я к этому и веду. В то время, когда генетическое конструирование достигло наибольшего расцвета, была произведена попытка стимулировать интуицию. Практически все великие ученые обладали высокоразвитой интуицией, и возникло мнение, что именно она лежит в основе оригинального мышления. Вывод о том, что особая интуиция связана с какой-то специфической комбинацией генов, напрашивался сам собой, и было выдвинуто немало гипотез о характере такой комбинации.

— Мне кажется, таких комбинаций может быть очень много.

— А мне кажется, что ваша интуиция вас опять не подвела, если это заключение подсказала вам она. Однако кое-кто считал, что в этой комбинации решающую роль играет очень маленькая группа связанных генов, если не один какой-то ген, так что можно говорить о некоем «гене интуиции»... Затем генетическому конструированию пришел конец.

— Как я и сказала.

— Но незадолго до этого,— продолжал Денисон, словно не заметив, что она его перебила,— была предпринята попытка изменить гены так, чтобы повысить степень интуитивизма, и, по утверждению некоторых, она увенчалась определенным успехом. Если это так, то по законам наследственности... А из родителей вашего отца или матери никто не принимал участие в этих экспериментах?

— Насколько мне известно, нет,— ответила Селена.— Но отрицать этого категорически я не могу. Что-нибудь подобное не исключено... Однако, с вашего разрешения, я ничего выяснять не стану.. Предпочитаю оставаться в неведении.

— В этом есть смысл. Генетическое конструирование породило столько опасений и кривотолков, что вряд ли тот, на кого оно наложило свой отпечаток, может рассчитывать на благожелательное отношение окружающих... Утверждалось, например, что интуитивизм неотделим от некоторых крайне нежелательных качеств.

— Разрешите вас поблагодарить!

— Так ведь не я же это утверждаю! Во всяком случае, интуиция пробуждает зависть и враждебность в других людях. Даже такой кроткий и во всех отношениях симпатичный интуитивист, как Майкл Фарадей, вызывал зависть и ненависть у Хэмфри Дэви. А способность вызывать зависть — тоже своего рода нежелательное качество. Вот и в вашем случае...

— Неужели я вызываю у вас зависть и ненависть? — спросила Селена.

— У меня-то, пожалуй, нет. А у Невилла?

Селена промолчала.

— К тому времени, когда вы сблизились с Невиллом,— продолжал Денисон,— среди ваших знакомых, вероятно, уже было известно, что вы — интуистка?

— Ну, известно — это слишком сильно сказано. Вероятно, кто-нибудь и подозревал, но здешние физики любят делиться успехом не больше, чем земные, а потому, я думаю, они убедили себя, что мои идеи были лишь случайной, хотя и счастливой догадкой, не больше. Но Бэррон, конечно, знал.

— А-а,— многозначительно протянул Денисон.

Губы Селены чуть дернулись.

— У меня такое ощущение, что вам хочется сказать: «А, так вот почему он с вами связался».

— Нет, Селена, ничего подобного. В вас вполне можно влюбиться и без всякой задней мысли.

— Мне тоже так кажется, но одно другого не исключает, а Бэррон не мог не заинтересоваться моим интуитивизмом. Почему бы и нет? Но он настоял, чтобы я по-прежнему работала гидом. Он заявил, что я — важная статья естественных ресурсов Луны и он не желает, чтобы Земля монополизировала меня, как она монополизировала синхрофазотрон.

— Оригинальная идея. Но с другой стороны, чем меньше людей знает, что вы интуистка, тем больше шансов, что вся честь открытия останется за ним.

— Сейчас вы говорите совсем как Бэррон.

— Неужели? А не бывает ли так, чтобы он сердился на вас, когда ваша интуиция оказывается особенно плодотворной?

Селена пожала плечами.

— Бэррон склонен к подозрительности. У нас у всех есть свои недостатки.

— Так благоразумно ли с вашей стороны проводить со мной столько времени с глазу на глаз?

— Вы недовольны тем, что я его защищаю,— резко сказала Селена.— И он меня вовсе к вам не ревнует. Вы же с Земли. Не стану от вас скрывать, что он, наоборот, скорее поощряет наше знакомство. Он считает, что с вашей помощью я могу многому научиться.

— Ну и как, научились? — холодно спросил Денисон.

— Да. Но для меня это в наших отношениях вовсе не самое главное — я ведь не Бэррон.

— А что же главное для вас?

— Вы сами прекрасно знаете,— сказала Селена.— Но раз вам так хочется услышать, я скажу: ваше общество мне интересно и приятно. В противном случае я уже давно выяснила бы все, что могло бы меня интересовать.

— Ну хорошо, Селена. Значит, мы друзья?

— Да, друзья.

— В таком случае можно мне спросить, что вы, собственно, от меня узнали?

— Этого сразу не объяснишь. Как вам известно, сами мы не можем запускать Насосы потому, что не умеем устанавливать контакт с паравселенной, хотя они его устанавливают, когда хотят. Это может объясняться их превосходством — или умственным, или техническим...

— Что совсем не одно и то же,— вставил Денисон.

— Знаю. Потому-то я и сказала — «или-или». Но вполне вероятно, что мы вовсе не так уж неразвиты или отстали, а просто нащупать их много труднее, чем нас. Если сильное ядерное взаимодействие в паравселенной сильнее, чем в нашей, их солнца, да и планеты тоже, должны быть значительно меньше наших. А потому нащупать именно их планету гораздо сложнее.

— Не исключено и другое объяснение,— продолжала Селена.— Скажем, они ориентируются по электромагнитным полям. Электромагнитное поле планеты занимает гораздо большее пространство, чем сама планета, что заметно облегчает поиски. Но отсюда следует, что Луну в отличие от Земли они заметить не в состоянии, так как у Луны электромагнитного поля практически нет. Возможно, нам тут не удастся установить Насос именно по этой причине. А если их небольшие планеты не имеют электромагнитного поля, у нас вообще нет шансов их обнаружить.

— Любопытная гипотеза! — заметил Денисон.

— Теперь рассмотрим межвселенский обмен свойствами, который ослабляет их сильное ядерное взаимодействие и заставляет остывать их солнца, а наше ядерное взаимодействие, наоборот, усиливает, что приводит к нагреванию и взрыву наших солнц. Что отсюда следует? Предположим, они способны добывать энергию односторонне, без нашей помощи, но с крайне низким коэффициентом полезного действия. В обычных условиях этот способ явно бесполезен. А потому для получения концентрированной энергии они нуждаются в нас — в том, чтобы мы снабжали их вольфрамом сто восемьдесят шесть и принимали от них плутоний сто восемьдесят шесть. Но предположите, что наша ветвь галактики взорвется и превратится в квазар. В результате концентрация энергии в районе бывшей Солнечной системы неизмеримо возрастет и будет сохраняться на этом уровне миллионы лет. А после образования квазара они даже при самом низком коэффициенте полезного действия будут без труда получать всю энергию, какая им нужна. Поэтому наша гибель не будет иметь для них ни малейшего значения. Собственно говоря, логично предположить, что им даже выгоднее, чтобы мы взорвались. Ведь мы можем остановить перекачку по множеству самых разных причин, и они будут бессильны ее возобновить. А после взрыва энергия начнет поступать к ним практически сама, без малейших помех... Вот почему те, кто доказывает: «Если Насос так опасен, то почему же паралюди, столь интеллектуально и технически развитые, его не останавливают?» — лишь демонстрируют полнейшее непонимание сути дела.

— К этому аргументу прибегал Невилл?

— Да.

— Но ведь парасолнце будет все больше остывать?

— Ну и что? — нетерпеливо бросила Селена.— Зачем им солнце, если у них есть Насос?

Денисон сказал решительно:

— Я вас скажу что-то, чего вы не знаете, Селена. По слухам, Ламонт получил от паралоудей сообщение, что Насос опасен, но что остановить его они не могут. Разумеется, никто на Земле не отнесся к этому серьезно. Но вдруг это правда? Вдруг Ламонт действительно получил подобное сообщение? В таком случае напрашивается предположение, что не для всех паралоудей приемлема мысль об уничтожении мира, населенного разумными существами, которые к тому же столь охотно и доверчиво начали с ними сотрудничать. Но эта горстка не сумела переубедить практичное и несентиментальное большинство.

— Вполне возможно,— кивнула Селена.— Все это я знала — то есть вывела интуитивно — до знакомства с вами. А потом вы сказали, что никакое число, лежащее между единицей и бесконечностью, не имеет смысла. Помните?

— Конечно.

— Так вот: совершенно очевидно, что наша вселенная и паравселенная различаются в первую очередь степенью сильного ядерного взаимодействия, а потому до сих пор все исследования велись только в этом направлении. Но ведь это не единственное взаимодействие, существуют еще три — электромагнитное, слабое ядерное и гравитационное,— напряженность которых относится друг к другу, как сто тридцать к одному, единица к десяти в минус десятой степени и единица к десяти в минус сорок второй степени. Однако если их четыре, то почему не бесконечное множество? Просто все остальные настолько слабы, что не могут воздействовать на нашу вселенную и не поддаются обнаружению.

— Если взаимодействие настолько слабое, что не поддается обнаружению и не оказывает никакого воздействия, то его можно считать практически несуществующим,— заметил Денисон.

— В нашей вселенной! — отрезала Селена.— А кто

может знать, что существует и чего не существует в паравселенной? При бесконечном множестве возможных взаимодействий, каждое из которых может бесконечно варьироваться в напряженности по сравнению с любым из них, принятым за норму, число возможных вселенных может быть бесконечным.

— Бесконечность континуума... И скорее алеф-один, чем алеф-нуль...

Селена сдвинула брови.

— А что это означает?

— Неважно. Продолжайте.

— А потому вместо того, чтобы взаимодействовать с единственной паравселенной, которая навязала себя нам и, возможно, не отвечает нашим потребностям, почему бы не попытаться установить, какая из бесконечного множества вселенных подходит нам больше всего и легче остальных поддается обнаружению? Давайте придумаем такую вселенную, поскольку она все равно должна существовать, а потом займемся ее поисками.

Денисон улыбнулся.

— Селена, я и сам об этом думал. И хотя нет закона, который устанавливал бы, что я неспособен ошибаться, все же маловероятно, чтобы блестящая личность вроде меня заблуждалась, если другая блестящая личность вроде вас независимо пришла к такому же выводу... А знаете, что?

— Нет,— сказала Селена.

— Ваша чертова лунная еда начинает мне нравиться. Во всяком случае, я к ней привыкаю. Пойдемте домой и перекусим. А потом начнем разрабатывать план дальнейших действий... И знаете, что еще?

— Нет.

— Раз уж мы будем работать вместе, можно я вас поцелую? Как экспериментатор интуистку.

Селена задумалась.

— Вероятно, для вас, как и для меня, это не первый поцелуй в жизни. Так, может быть, не надо вводить дополнительных определений?

— Что же, обойдемся без них. Но я не знаю техники поцелуев на Луне. Что я должен делать, чтобы не допустить какой-нибудь промашки?

— Положитесь на инстинкт,— злокозненно сказа-

ла Селена.

Денисон осторожно заложил руки за спину и наклонился к Селене. Затем, несколько секунд спустя, он завел их ей за плечи.

### 13

— А потом я его сама поцеловала,— задумчиво сообщила Селена.

— Вот как? — зло переспросил Бэррон Невилл.— К чему такая самоотверженность?

— Ну, особой самоотверженности тут не требовалось,— она улыбнулась.— Все получилось очень трогательно. Он чрезвычайно боялся сделать что-нибудь не так и даже заложил руки за спину. Наверное, для равновесия. А может быть, опасался переломать мне кости.

— Избавь меня от подробностей. Когда мы получим от тебя то, что нам требуется?

— Как только у меня что-нибудь выйдет,— ответила Селена бесцветным голосом.

— А он не узнает?

— Он интересуется только энергией.

— И еще он желает спасти мир,— насмешливо сказал Невилл.— И стать героем. И утереть всем нос. И целоваться с тобой.

— А он этого и не скрывает. Не то, что ты.

— Ну, положим! — зло буркнул Невилл.— Но я желаю только одного: чтобы у меня хватило терпения ждать.

### 14

— А хорошо, что день все-таки кончился,— заметил Денисон, критически разглядывая толстый рукав своего скафандра.— Я никак не могу привыкнуть к лунному солнцу. Да и не хочу привыкать. Оно настолько немислимо, что даже этот костюм кажется мне чуть ли не собственной кожей.

— За что такая немилость к Солнцу? — спросила Селена.

— Неужели вы его любите?

— Нет, конечно. Терпеть его не могу. Но ведь я его практически никогда не вижу. А вы же зем... Вы должны были к нему привыкнуть.



— На Земле оно другое. А тут оно пылает на черном небе и пожирает звезды вместо того, чтобы просто их затмевать. Тут оно жгучее, свирепое и опасное. Солнце здесь — враг, и пока оно в небе, мне все время кажется, что наши попытки снизить напряженность поля обречены на неудачу.

— Уж это чистейшее суеверие, Бен,— сказала Селена с легким раздражением.— При чем тут Солнце? К тому же мы находились в тени кратера, совсем в ночной обстановке. И звезды были видны. И вокруг темнота.

— Нет,— возразил Денисон.— А освещенная полуса поверхности на севере? Мне страшно не хотелось туда смотреть, но я ничего не мог с собой поделать. А стоило поглядеть, и я прямо ощущал, как жесткое ультрафиолетовое излучение бьет в стекла моего скафандра.

— Глупости! Во-первых, какое может быть ультрафиолетовое излучение в отраженном свете? А во-вторых, скафандр защищает вас от любого излучения.

— Не от теплового. Во всяком случае, недостаточно.

— Но теперь же ночь!

— Вот именно! — с большим удовлетворением произнес Денисон.— Я ведь с этого и начал.

Он огляделся с непреходящим изумлением. Земля висела в небе на положенном месте — ее широкий серп теперь выгибался к юго-западу. Прямо над ним горел Орион — охотник, встающий со сверкающего кресла. По горизонту разливалось мерцание мягкого земного света.

— Какая красота! — воскликнул он и без всякого перехода вдруг спросил: — Селена, пионотрон что-нибудь показывает?

Селена, которая молча смотрела на небо, отошла к приборам, которые стояли тут, в тени кратера, уже три смены лунного дня и ночи.

— Пока ничего,— ответила она.— Но это хороший знак. Напряженность поля держится чуть выше пятидесяти.

— Надо бы ниже,— сказал Денисон.

— Можно еще снизить,— ответила Селена.— Я уверена, что все параметры подходят.

— И магнитное поле?

— В этом я не уверена.

— Но если его усилить, возникнет неустойчивость.

— Не должно бы. Я чувствую.

— Селена, я верю в вашу интуицию вопреки чему угодно, но только не фактам. Ведь мы уже пробовали, и каждый раз возникала неустойчивость.

— Я знаю, Бен. Но параметры были не совсем такими. Напряженность сохраняется на пятидесяти двух поразительно долгое время. И раз мы начинаем удерживать ее часами вместо минут, то появляется возможность увеличить магнитное поле в десять раз не на секунды, как раньше, а на минуты... Ну, попробуем?

— Подождем,— сказал Денисон.

Селена нерешительно помедлила, потом отошла от приборов.

— Бен, вы все еще скучаете по Земле? — спросила она.

— Нет. Как ни странно, совершенно не скучаю. Я думал, что буду тосковать по синему небу, по зеленой траве, по обилию прозрачной струящейся воды — по всему тому, что принято считать особым очарованием Земли. Но я нисколько не тоскую по ним. Они мне даже не снятся.

— Это бывает,— сказала Селена.— Во всяком случае, некоторые гранты утверждают, что ностальгия им незнакома. Разумеется, они составляют незначительное меньшинство, и еще никому не удалось определить, что их объединяет. Выдвигались самые разные гипотезы — от полной эмоциональной тупости, то есть неспособности что-либо вообще чувствовать, до избытка эмоциональности, заставляющей их бессознательно вообще отрицать ностальгию, чтобы она не вызвала серьезного нервного срыва.

— Что касается меня, то все, по-моему, обстоит очень просто. Последние двадцать лет моей жизни на Земле были не слишком приятными, а тут мне, наконец, удалось посвятить себя работе, в которой я нашел свое призвание... К тому же ваша помощь... Более того, Селена, само общение с вами...

— Очень любезно, что помощь вы упомянули прежде общения,— ответила Селена, сохраняя полную серьезность.— Ведь никакая помощь вам, в сущ-

ности, не нужна. Не притворяетесь ли вы, будто не можете без нее обойтись только потому, что вам нравится мое общество?

— Не могу решить, какой ответ вам было бы приятнее услышать,— засмеялся Денисон.

— А вы испробуйте правду.

— Но я и сам ее не знаю. И то и другое мне очень дорого.— Он обернулся к пионотрону.— Напряженность поля все еще сохраняется, Селена.

Стекло, закрывавшее лицо Селены, блеснуло в земном свете. Она сказала:

— Бэррон утверждает, что отсутствие ностальгии естественно и свидетельствует о душевном здоровье. Он утверждает, что, хотя тело человека приспособилось к Земле и вынуждено приспосабливаться к Луне, к человеческому мозгу ни то ни другое не относится. Человеческий мозг качественно настолько отличается от любого другого, что его можно считать особым явлением. У него не было времени, чтобы прочно связать себя с Землей, а потому он способен просто принять иные условия, не приспосабливаясь к ним. По словам Бэррона, не исключено, что лунные пещеры являются для мозга оптимальной средой, поскольку их можно рассматривать как своего рода увеличенную черепную коробку.

— И вы этому верите? — с веселой усмешкой спросил Денисон.

— В устах Бэррона все это выглядит очень правдоподобным.

— Ну, не менее правдоподобным было бы предположение, что лунные пещеры позволяют сублимировать пресловутое подсознательное стремление человека вернуться вновь в материнское лоно. Собственно говоря,— добавил он задумчиво,— я с тем же успехом мог бы доказать, ссылаясь на контролируемые температуру и давление, а также на высокую усвояемость и консистенцию лунной пищи, что лунная колония... простите, Селена,— лунный город представляет собой сознательно созданную идеальную среду обитания для нерожденного младенца.

— Думаю, Бэррона вы бы ни на секунду не убедили,— заметила Селена.

— Куда там!

Денисон взглянул на земной серп, стараясь раз-

личить облачные слои по его краю. Он умолк и даже не сразу заметил, что Селена снова отошла к пионотрону.

Затем Денисон перевел взгляд с Земли в ее звездном венке на зубчатый горизонт, над которым время от времени взметывалось что-то вроде клубов дыма.

Он заметил это явление еще в прошлую лунную ночь и, решив, что это пыль, поднятая падением метеорита, с некоторой тревогой спросил у Селены, так ли это.

Она ответила с полным равнодушием:

«Земля чуть-чуть смещается в небе из-за либрации Луны, и передвижение ее света по неровностям почвы создает оптические иллюзии. Например, если отражение света происходит за небольшим возвышением, то кажется, будто там взлетает облачко пыли. Эти явления очень часты, и мы не обращаем на них никакого внимания».

Он тогда возразил:

«Но ведь это может быть и метеорит! А метеориты часто попадают в людей?»

«Конечно. В вас, наверное, их угодило уже немало. Но в скафандре это не чувствуется».

«Я говорю не о микроскопических частицах, а о настоящих — о таких, которые действительно способны поднять пыль... или убить человека».

«Ну, бывают и такие. Но они падают редко, а Луна велика. До сих пор от них никто еще не пострадал».

И теперь, глядя в небо, Денисон вдруг понял, почему он опять вспомнил про метеориты — между звездами мелькала яркая точка. Но он тут же сообразил, что метеориты горят только в земной атмосфере, а на Луне они падают темными и холодными — ведь на ней нет воздуха.

Эта яркая точка в небе могла быть только созданием человеческих рук, но Денисон не успел разобратся в своих впечатлениях, как она уже превратилась в маленький ракетолет, который через минуту опустился на поверхность неподалеку от него.

Из ракетолета вышла одинокая фигура. Водитель остался в кабине — темное бесформенное пятно на освещенном фоне.

Денисон спокойно ждал. На поверхности Луны

действовали свои законы вежливости, продиктованные особенностями работы в скафандрах: первым всегда называл себя вновь прибывший.

— Представитель Готштейн,— раздался в его наушниках знакомый голос.— Впрочем, я так ковыляю, что об этом легко догадаться.

— Бен Денисон,— ответил Денисон.

— Да, я так и предполагал.

— Вы искали именно меня?

— Совершенно справедливо.

— В космоблохе? Но почему вы не...

— Почему я не воспользовался тамбуром П-четыре? — перебил Готштейн.— До него ведь всего полмили. Да, безусловно, но меня интересовали не только вы.

— Вероятно, я не должен задавать вопросов. Но мне непонятно, что вы, собственно, имеете в виду.

— У меня нет причин что-нибудь скрывать. Вы ведь ставите эксперименты на поверхности, и вполне естественно, что они меня заинтересовали. Вы согласны?

— Я не делаю из этого тайны, а интересоваться не возбраняется никому.

— Но о подробностях вашего эксперимента не осведомлен ни один человек. Известно, конечно, что ваша работа как-то связана с проблемой Электронного Насоса, но и только.

— Предположение вполне логичное.

— Так ли? Насколько я знаю, подобные эксперименты требуют сложнейшего оборудования. Иначе они не дадут никаких результатов. Как вы понимаете, сам я в этом ничего не смыслю, но я обращался за справками к квалифицированным консультантам. И во всяком случае очевидно, что установка, которой вы пользуетесь, совсем не похожа на то, о чем мне говорили. Вот мне и пришло в голову, что, возможно, интересоваться мне следует совсем не вами. Ведь пока мое внимание сосредотачивается на вас, где-то может происходить нечто куда более важное.

— А с какой целью использовать меня, как ширму?

— Не знаю. Если бы я мог ответить на этот вопрос, то тревожился бы меньше.

— Так значит, за мной следили?

— А как же,— усмехнулся Готтштейн.— С самого момента вашего прибытия на Луну. Однако пока вы работали тут на поверхности, мы осмотрели все окрестности в радиусе десятков миль. Возможно, это покажется вам странным, доктор Денисон, но сейчас на лунной поверхности чем-то, что выходит за рамки обычных рутинных работ, занимаетесь только вы и ваша помощница.

— И что тут странного?

— А то, что вы, следовательно, убеждены в плодотворности своих экспериментов с этой штукой, названия которой я не знаю. Поскольку я не сомневаюсь в вашей компетентности, то мне кажется, было бы интересно послушать, если бы вы согласились объяснить мне, чем занимаетесь.

— Я ставлю парафизические эксперименты, мистер Готтштейн, так что слухи вас не обманули. И могу добавить только, что пока мне еще не удалось добиться чего-нибудь определенного.

— Ваша помощница, если не ошибаюсь — гид Селена Линдстрем Л.?

— Совершенно верно.

— Странный ассистент.

— Она умна, интересуется парафизикой, обучает меня всем тонкостям лунного поведения и очень привлекательна.

— А к тому же готова работать с землянином?

— С иммигрантом, который намерен при первой возможности получить лунное гражданство.

К ним подошла Селена, и в их шлемах раздался ее голос:

— Здравствуйте, мистер Готтштейн. Я не люблю ни подслушивать, ни вмешиваться в чужие разговоры, но в скафандре слышно все, о чем говорят в пределах видимости.

— Добрый вечер, мисс Линдстрем,— повернулся к ней Готтштейн.— Я и не собирался делать тайну из нашей беседы. Так, значит, вы интересуетесь парафизикой?

— Очень!

— И неудачные эксперименты вас не обескураживают?

— Они ведь не такие уж неудачные,— ответила Селена.— Просто доктор Денисон не вполне в курсе.

— Что?! — Денисон повернулся на каблуках так

резко, что чуть не опрокинулся на спину. Из-под его ног вырвалось облако пыли.

Они все трое стояли теперь лицом к пионотрону. Над ним на высоте человеческого роста пылала огненная точка, похожая на пухлую звезду.

— Я увеличила напряженность магнитного поля,— сказала Селена,— а ядерное поле оставалось устойчивым, не менялось, потом началось рассеивание, усилилось и...

— Образовалась протечка! — закончил Денисон.— Черт! А я и не видел, как это произошло.

— Я прошу у вас прощения, Бен,— сказала Селена.— Но ведь сначала вы о чем-то задумались. Потом явился мистер Готтштейн, и я не удержалась от соблазна попробовать самой.

— Объясните же, что я, собственно, вижу,— попросил Готтштейн.

— Вы наблюдаете спонтанное излучение энергии веществом, которое просачивается из другой вселенной в нашу,— сказал Денисон.

Едва он договорил, как свет над пионотроном вдруг погас, и одновременно в сотне шагов от них вспыхнула другая, чуть более тусклая звезда.

Денисон кинулся к пионотрону, но Селена с лунной грацией стремительно скользнула вперед и оказалась там намного раньше него. Она отключила поле, и дальняя звезда погасла.

— Видите ли, место протечки неустойчиво,— сказала она.

— В весьма малой степени,— возразил Денисон.— Учитывая, что смещение на один световой год теоретически так же возможно, как и смещение на сотню ярдов, эти сто ярдов можно считать чудом устойчивости.

— И тем не менее такого чуда еще мало,— категорически заявила Селена.

— Простите, так ли я понял то, о чем вы говорите? — перебил их Готтштейн.— Значит, вещество может просачиваться в нашу вселенную и тут, и там, и где угодно?

— Вовсе не где угодно,— ответил Денисон.— Вероятность протечки падает с увеличением расстояния до пионотрона, причем очень стремительно. Зависит это от целого ряда факторов, и должен сказать, нам удалось добиться просто поразительной устойчивости.

Тем не менее смещение на несколько сотен ярдов не исключено, чему вы сами были свидетелем.

— А не могла ли она сместиться в город или внутрь наших скафандров?

— Да нет же! — с досадой ответил Денисон. — Возможность протечки — во всяком случае, такой, какую можно получить с помощью наших методов, — определяется, в частности, плотностью вещества, уже присутствующего в нашей вселенной. Вероятность того, что место протечки сместится из вакуума туда, где атмосфера будет иметь хоть одну сотую плотности воздуха в городе или внутри наших скафандров, практически равна нулю. Попытка добиться протечки где-нибудь еще, кроме вакуума, заведомо обречена на неудачу — вот почему мы сразу начали свои эксперименты здесь, на поверхности.

— Значит, ваша установка не похожа на Электронный Насос?

— Нисколько, — сказал Денисон. — Электронный Насос осуществляет обмен веществом. А тут мы имеем дело с однонаправленной протечкой. Да и поступает это вещество не из паравселенной.

— Не поужинаете ли вы у меня сегодня, доктор Денисон? — вдруг спросил Готтштейн.

— Вы приглашаете только меня? — нерешительно спросил Денисон.

Готтштейн любезно поклонился в сторону Селены. Впрочем, поклон этот не сделал бы чести и цирковому медведю.

— Я буду счастлив видеть мисс Линдстрем у себя в любой другой день, — сказал он, — но на этот раз мне необходимо поговорить с вами наедине, доктор Денисон.

— Идите, идите, — деловито распорядилась Селена, заметив, что Денисон все еще колеблется. — Завтра я принимаю новую группу туристов, а вам нужно время, чтобы подумать о том, как устранить неустойчивость протечки.

— Ну, в таком случае... Селена, а вы сообщите мне, когда у вас будет следующий выходной?

— По-моему, я этого от вас еще ни разу не скрыла. Да мы и раньше встретимся... Собственно, вы оба уже можете отправляться ужинать, а я отключу приборы.



Бэррон Невилл переминался с ноги на ногу — будь комната обширнее, а сила тяжести побольше, он метался бы из угла в угол, но в лунных условиях он только делал скользящий шаг то вправо, то влево, не двигаясь с места.

— Значит, ты утверждаешь, что установка работает? Это верно, Селена? Ты не ошиблась?

— Нет, я не ошиблась,— ответила Селена.— Повторяю это в пятый раз. Я считала.

Но Невилл, казалось, не слышал ее. Он сказал торопливым шепотом:

— Следовательно, появление Готтштейна ничему не помешало? Он не пытался прекратить эксперимент?

— Нет. С какой стати?

— И не было никаких признаков, что он намерен употребить власть...

— Послушай, Бэррон, какую, собственно, власть он мог бы употребить? Земля пришлет сюда полицейских или как? И ведь... ты знаешь, что они не могут нас остановить.

Невилл вдруг застыл.

— Они не знают? Все еще не знают?

— Конечно, нет. Бен смотрел на звезды, а потом явился Готтштейн. И я попробовала добиться протечки поля, что мне удалось. А то, другое, получилось раньше. Установка Бена...

— При чем тут он? Это же была твоя идея.

Селена покачала головой.

— Я высказала только неопределенную догадку. Вся разработка принадлежит ему.

— Но ведь ты можешь точно все воспроизвести? Ради всего лунного, не обращаться же нам за этим к земляшке!

— Я думаю, что сумею воспроизвести достаточно полно для того, чтобы наши сами смогли довести все до конца.

— Ну ладно. Так идем!

— Погоди, Бэррон. Не торопись.

— Почему?

— Нам ведь нужна и энергия.

— Но мы же ее получили!

— Не совсем. Место протечки неустойчиво. Крайне неустойчиво.

— Это, по-видимому, можно устранить, ты же сама сказала.

— Я сказала, что мне так кажется.

— Для меня этого вполне достаточно.

— И все-таки будет лучше, если Бен доведет дело до конца и добьется полной устойчивости.

Наступила напряженная пауза. Худое лицо Невилла исказилось, стало враждебным.

— Ты думаешь, что я этого сделать не сумею? Так?

— Ты выйдешь со мной на поверхность, чтобы продолжать работу? — спросила Селена.

Вновь наступило молчание. Потом Невилл сказал сквозь стиснутые зубы:

— Твои сарказмы неуместны. И я не хочу долго ждать.

— Я ведь не могу приказывать законам природы. Но думаю, долго ждать тебе не придется... А теперь, с твоего разрешения, я хотела бы вернуться к себе и лечь спать. У меня завтра с раннего утра туристы.

Невилл взглянул в сторону своей спальной ниши, как будто собираясь пригласить ее остаться, но ничего не сказал. Селена, словно ничего не заметив, устало кивнула ему и ушла.

## 16

— Откровенно говоря, я надеялся, что мы будем видеться чаще, — сказал Готтштейн с улыбкой, нагибаясь над липкой и приторно сладкой массой, которую подали на десерт.

— Ваш любезный интерес к моей работе для меня очень лестен, — сказал Денисон. — Если неустойчивость протечки удастся устранить, то, пожалуй, мое открытие — то есть мое и мисс Линдстрем, разумеется, — будет иметь довольно большое значение.

— Вы говорите с обычной для ученого осмотрительностью... Я не стану оскорблять вас, предлагая вам лунную замену ликера. Как ни твердо мое решение пользоваться только лунными продуктами, эту пародию на земные напитки я все-таки пить не в

силах... Не могли бы вы объяснить мне как человеку, далекому от науки, в чем, собственно, заключается значение вашего открытия?

— Попробую,— осторожно сказал Денисон.— Начнем с паравселенной. Сильное ядерное взаимодействие в ней интенсивнее, чем у нас, а потому в паравселенной реакция синтеза, поддерживающая горение звезды, требует относительно малого количества протонов. Массы вещества, эквивалентные нашим звездам, в паравселенной мгновенно взрывались бы — там существует несравненно больше звезд, чем у нас, но они гораздо меньше наших. Теперь вообразим мир, в котором сильное ядерное взаимодействие заметно менее интенсивно, чем у нас. В этом случае даже колоссальные количества протонов будут стремиться к слиянию настолько слабо, что для поддержания жизни звезды потребуется гигантское количество водорода. Такая антипаравселенная, то есть вселенная, противоположная по своим свойствам паравселенной, будет содержать гораздо меньше звезд, чем наша, но уж эти звезды будут огромными. Собственно говоря, если бы сильное ядерное взаимодействие можно было в необходимой степени ослабить, получилась бы вселенная, состоящая всего из одной звезды, которая включала бы все вещество этой вселенной. Такая звезда обладала бы невероятной плотностью, но реакции протекали бы в ней чрезвычайно медленно, а ее излучение, возможно, было бы примерно таким же, как у нашего Солнца.

— Если я не ошибаюсь,— перебил его Готтштейн,— существует теория, что именно такой была наша собственная вселенная до Большого Взрыва — единым колоссальным телом, включавшим все вещество вселенной.

— Совершенно верно,— сказал Денисон.— Собственно говоря, антипаравселенная, которую я обрисовал, представляет собой то, что некоторые называют «космическим яйцом», или сокращенно «космо». И для того, чтобы получить одностороннюю протечку, нам необходима как раз такая космовселенная. Паравселенная с ее крохотными звездами представляет собой практически пустое пространство. Можно зондировать ее без конца, но так ни на что и не наткнуться.

— Но ведь паралюди нас отыскивали?

— Да. Возможно, они ориентировались по маг-

нитным полям. Однако есть основания полагать, что у планет паравселенной магнитных полей нет вовсе либо они очень слабы, а это крайне затрудняет наши поиски. Зондируя же космоселенную, мы просто не можем потерпеть неудачу. Ведь космо — уже само по себе целая вселенная, и в каком бы месте в нее ни проникнуть, мы всюду наткнемся на вещество.

— Но как вы осуществляете зондирование?

Денисон ответил после краткого молчания:

— Все это мне объяснить трудно. Связующим звеном сильного ядерного взаимодействия являются пионы. Интенсивность взаимодействия зависит от массы пионов, а массу эту в некоторых специфических условиях можно изменить. Лунные физики разработали пионотрон — прибор, который позволяет создать необходимые условия. Стоит уменьшить или увеличить массу пиона, и он становится частью какой-то другой вселенной — входом в нее, пограничным пунктом. Если снизить массу до соответствующей степени, пион окажется частью космоселенной, чего мы и добиваемся.

— И можно всасывать вещество из... из космоселенной? — спросил Готтштейн.

— Ну, это-то просто. С появлением входа вещество начинает просачиваться к нам само. В этот момент оно подчиняется собственным законам и сохраняет устойчивость. Затем на него постепенно начинают действовать законы нашей вселенной, сильное ядерное взаимодействие становится в нем более интенсивным, происходит ядерное слияние и высвобождается огромное количество энергии.

— Но если оно сверхплотно, то почему не расширяется мгновенно и не исчезает?

— Даже это дало бы энергию. Но тут большую роль играет электромагнитное поле, и в данном случае поле битвы остается за сильным ядерным взаимодействием, так как мы контролируем электромагнитное поле. Но чтобы объяснить это более или менее научно, мне потребуется очень много времени.

— Значит, светящийся шар, который я видел на поверхности, не что иное, как космовещество, в котором началось слияние ядер?

— Совершенно верно.

— И эту энергию можно использовать для полезных целей?

— Конечно. И в неограниченных количествах. Ведь вы наблюдали появление в нашей вселенной всего лишь микропрограмма космовещества. А теоретически его можно получать хоть тоннами.

— Так, значит, мы можем теперь отказаться от Электронного Насоса?

Денисон покачал головой.

— Нет. Использование космоэнергии также меняет свойства вселенной. По мере обмена физическими законами сильное ядерное взаимодействие постепенно становится все более интенсивным в космоселенной и все менее интенсивным — в нашей. В результате скорость ядерного слияния в космическом яйце нарастает, и оно нагревается. И в конце концов...

— И в конце концов,— подхватил Готтштейн, задумчиво прищурившись и скрестив руки на груди,— происходит Большой Взрыв.

— Вот именно.

— По-вашему, как раз это и произошло в нашей вселенной десять миллиардов лет назад?

— Кто знает? Космогонисты все еще ломают голову над тем, почему космическое яйцо взорвалось тогда, когда оно взорвалось, а не раньше и не позже. Одно из предложенных объяснений предполагало существование пульсирующей вселенной, в которой космическое яйцо взрывается, едва образовавшись. Гипотеза эта была отвергнута, и, по последним предположениям, космическое яйцо существует значительный отрезок времени, а затем по неизвестным причинам утрачивает устойчивость.

— И, возможно, это происходит потому, что его энергию начинает заимствовать другая вселенная?

— Вполне вероятно. Но это вовсе не подразумевает обязательного вмешательства разумных существ. Не исключено возникновение и самопроизвольных протечек.

— А когда Большой Взрыв произойдет, мы по-прежнему сможем добывать энергию из космоселенной?

— Не берусь судить, но пока об этом можно не думать. Скорее всего, проникновение нашего сильного ядерного взаимодействия в космоселенную будет длиться миллионы лет, прежде чем оно достигнет критического уровня. А к тому же, безусловно, существуют и другие космоселенные, причем число их бесконечно.

— Ну, а изменения в нашей вселенной?

— Сильное ядерное взаимодействие ослабевает. И медленно, чрезвычайно медленно наше Солнце остывает.

— А мы сможем компенсировать его остывание с помощью космоэнергии?

— Этого не понадобится! — убежденно воскликнул Денисон. — По мере того как сильное ядерное взаимодействие в нашей вселенной станет ослабляться в результате действия космонасоса, оно в равной степени будет возрастать благодаря Электронному Насосу. Если мы начнем получать энергию таким двойным способом, физические законы будут меняться в пара- и космоселенной, но у нас останутся неизменными. Мы в данном случае — перевалочный пункт, а не конечная станция. Впрочем, за судьбу конечных станций нам тоже тревожиться нечего. Паралюди, по-видимому, как-то приспособились к остыванию своего солнца, которое никогда особенно горячим не было. Ну, а в космоселенной, бесспорно, никакой жизни быть не может. Собственно говоря, создавая там условия для Большого Взрыва, мы тем самым открываем путь к развитию новой вселенной, в которой со временем может возникнуть жизнь.

Готтштейн задумался. Его круглое лицо было спокойным и непроницаемым. Несколько раз он кивал, как будто отвечая на собственные мысли, а потом сказал:

— Знаете, Денисон, а ведь это заставит мир прислушаться! Теперь уже никто не захочет отрицать, что Электронный Насос сам по себе опасен.

— Да, внутреннее нежелание признать его опасность исчезнет, поскольку доказательство ее уже само по себе предлагает оптимальный выход из положения, — согласился Денисон.

— К какому сроку вы можете подготовить статью? Я гарантирую, что она будет опубликована немедленно.

— А вы можете дать такую гарантию?

— Если ничего другого не останется, я опубликую ее отдельной брошюрой по своему ведомству.

— Сначала нужно найти способ стабилизировать протечку.

— Да, конечно.

— А пока я хотел бы договориться с доктором Питером Ламонтом о соавторстве, — сказал Денисон. —

Он мог бы взять на себя математическую часть — мне она не по силам. К тому же направление моих исследований мне подсказала его теория. И еще одно, мистер Готтштейн...

— А именно?

— По-моему, совершенно необходимо, чтобы в этом участвовали лунные физики. Скажем, третьим автором вполне мог бы стать доктор Бэррон Невилл.

— Но зачем? К чему ненужные осложнения?

— Без их пионотрона мне ничего не удалось бы сделать.

— В таких случаях, по-моему, достаточно просто выразить в статье благодарность... А разве доктор Невилл работал с вами?

— Непосредственно? Нет.

— Так зачем же вмешивать еще и его?

Денисон старательно стряхнул соринку с брюк.

— Так будет дипломатичнее,— сказал он.— Ведь космонасосы придется устанавливать на Луне.

— А почему не на Земле?

— Ну, во-первых, нам нужен вакуум. Это ведь односторонняя передача вещества, а не двусторонняя, как в Электронном Насосе, а потому для нее требуются другие условия. Поверхность Луны предоставляет в наше распоряжение естественный и неограниченный вакуум, тогда как создание необходимого вакуума на Земле потребует колоссальных усилий и материальных затрат.

— Но тем не менее это возможно?

— Во-вторых,— продолжал Денисон, пропуская его вопрос мимо ушей,— если поместить слишком близко друг от друга два столь мощных источника энергии, поступающей, так сказать, с противоположных концов шкалы, в середине которой находится наша вселенная, может произойти своего рода короткое замыкание. Четверть миллиона миль вакуума, разделяющие Землю с ее Электронными Насосами и Луну с космонасосами, послужат надежной, а вернее сказать, совершенно необходимой изоляцией. Ну, а раз нам придется использовать Луну, то благоразумие, да и простая порядочность требуют, чтобы мы считались с самолюбием лунных физиков и привлекли их к работе.

— Так рекомендует мисс Линдстрем? — улыбнулся Готтштейн.

— Думаю, она была бы того же мнения, но идея эта настолько очевидна, что я додумался до нее сам.

Готтштейн встал и трижды подпрыгнул на месте, поднимаясь и опускаясь с обычной на Луне жутковатой медлительностью. При этом он ритмично сгибал и разгибал колени. Потом снова сел и осведомился:

— Вы пробовали это упражнение, доктор Денисон? Денисон покачал головой.

— Его рекомендуют для ускорения кровообращения в нижних конечностях. Вот я и прыгаю всякий раз, когда чувствую, что отсидел ногу. Мне вскоре предстоит съездить на Землю, и я стараюсь не слишком привыкать к лунной силе тяжести.. Не поговорить ли нам с мисс Линдстрем, доктор Денисон?

— О чем, собственно? — спросил Денисон изменившимся тоном.

— Она гид.

— Да. И вы это уже говорили.

— И еще я говорил, что физик, казалось бы, мог выбрать себе не столь странную помощницу.

— Я ведь физик-любитель, так почему бы мне и не выбрать помощницу без профессиональных навыков?

— Довольно шуток, доктор Денисон! — Готтштейн больше не улыбался.— Я позаботился навести о ней справки. Ее биография крайне интересна, хотя, по-видимому, никому и в голову не приходило ознакомиться с ней. Я твердо убежден, что она интуистка.

— Как и очень многие из нас,— заметил Денисон.— Не сомневаюсь, что и вы по-своему интуист. А уж я — во всяком случае. По-своему, конечно.

— Тут есть некоторая разница, доктор Денисон. Вы — профессиональный ученый, и притом блестящий. Я — профессиональный администратор, и надеюсь, неплохой... А мисс Линдстрем работает гидом, хотя ее интуиция настолько развита, что может помочь вам в решении сложнейших вопросов теоретической физики.

— Она почти не получила специального образования,— поколебавшись, ответил Денисон.— И хотя ее интуитивизм очень высокого порядка, он почти не коррелируется с сознанием.

— Не был ли кто-нибудь из ее родителей в свое время связан с программой по генетическому конструированию?



— Не знаю. Но меня это не удивило бы.  
— Вы ей доверяете?  
— В каком смысле? Она мне во многом помогла.  
— А вам известно, что она жена доктора Бэррона Невилла?

— Насколько я знаю, их отношения официально не оформлены.

— На Луне официальное оформление браков вообще не принято. А не тот ли это Невилл, которого вы намерены пригласить в соавторы вашей статьи?

— Да.

— Простое совпадение?

— Нет. Невилл интересовался мной и, по-моему, попросил Селену помогать мне.

— Это она вам сказала?

— Она сказала, что он мной интересуется. Мне кажется, ничего странного тут нет.

— А вам не приходило в голову, доктор Денисон, что она помогала вам в собственных интересах и в интересах доктора Невилла?

— Разве их интересы расходятся с нашими? Она помогала мне без каких-либо условий.

Готтштейн переменил позу и подвигал плечами, словно проделывая очередное упражнение.

— Доктор Невилл не может не знать, что его близкая приятельница — интуистка, — сказал он. — И было бы только естественно, если бы он сам использовал ее способности. Так почему она работает гидом? Не для того ли, чтобы с какой-то целью маскировать эти способности?

— Такая логика, насколько мне известно, типична для доктора Невилла. У меня же нет привычки повсюду подозревать бессмысленные заговоры.

— Но почему вы решили, что бессмысленные? Когда моя космоблоха висела над лунной поверхностью за несколько минут до того, как над вашей установкой образовался пылающий шарик, я глядел вниз, на вас. Вы стояли в стороне от пионотрона.

Денисон попытался вспомнить.

— Совершенно верно. Я загляделся на звезды. Поднимаясь на поверхность, я всегда на них смотрю.

— А что делала мисс Линдстрем?

— Я не видел. Она ведь сказала, что усиливала магнитное поле, пока не возникла протечка.

- И она всегда работает с установкой без вас?
- Нет. Но ее нетерпение понять нетрудно.
- Должен ли этот процесс сопровождаться каким-нибудь выбросом?
- Я вас не понимаю.
- И я себя тоже. В земном сиянии промелькнула какая-то смутная искра, словно что-то пролетело мимо. Но что именно — я не знаю.
- И я не знаю,— сказал Денисон.
- Но это не могло быть каким-нибудь естественным побочным следствием вашего эксперимента?
- Вроде бы нет.
- Так что же делала мисс Линдстрем?
- Не знаю.

Оба умолкли. Молчание становилось все напряженнее. Потом Готтштейн сказал:

— Насколько я понял, вы теперь попыгаете устранить неустойчивость протечки и начнете работать над статьей. Я со своей стороны предприму необходимые шаги, а когда буду на Земле, подготовлю опубликование статьи и сообщу о вашем открытии ответственным лицам.

Денисон понял, что разговор окончен, и встал. Готтштейн добавил с непринужденной улыбкой:

— И подумайте о докторе Невилле и мисс Линдстрем.

## 17

На этот раз звезда была гораздо более пухлой и яркой. Денисон почувствовал ее жар на стекле скафандра и попятился. В излучении несомненно присутствовали рентгеновские лучи, и хотя в надежности экранирования сомневаться не приходилось, все-таки не стоило заставлять его работать на полную мощность.

— По-моему, это то, что надо,— пробормотал Денисон.— Полная устойчивость.

— Безусловно,— сказала Селена.

— Ну, так отключим и вернемся в город.

Их движения были вялыми и медлительными. Денисон ощущал непонятный упадок духа. Все волнения остались позади. Теперь уже можно было не опасаться неудачи. Соответствующие земные организации

зарегистрировали новое открытие, и дальше все будет зависеть не от него. Он сказал:

— Пожалуй, можно приступать к статье.

— Наверное,— осторожно ответила Селена.

— Вы поговорили с Невиллом еще раз?

— Да.

— Он не изменил своего решения?

— Нет. Он участвовать не будет. Бен...

— Что?

— Я убеждена, что уговаривать его нет смысла.

Он не желает участвовать в программе, какой бы она ни была, если в ней участвует Земля.

— Но вы объяснили ему ситуацию?

— Во всех подробностях.

— И он все-таки не хочет...

— Он сказал, что будет говорить с Готтштейном.

Тот обещал принять его, когда вернется с Земли. Может быть, Готтштейну удастся его переубедить. Но не думаю.

Денисон пожал плечами — жест совершенно бессмысленный, поскольку скафандру он не передался.

— Я его не понимаю.

— А я понимаю,— негромко сказала Селена.

Денисон промолчал. Он закатил пионотрон и остальную аппаратуру в каменную нишу и спросил:

— Все?

— Да.

Они молча вошли в тамбур П-4. Денисон начал медленно спускаться по лестнице. Селена скользнула мимо, хватаясь за каждую третью перекладину. Денисон уже и сам умел спускаться этим способом достаточно ловко, но на сей раз он тяжело переступал с перекладины на перекладину словно назло собственному желанию приспособиться к Луне.

В раздевальне они сняли скафандры и убрали их в шкафчики. Только тут Денисон наконец сказал:

— Вы не пообедаете со мной, Селена?

— Вы чем-то расстроены? — спросила она встревоженно.— Что случилось?

— Да ничего. Просто в таких случаях всегда возникает ощущение растерянности и пустоты. Так как насчет обеда?

— С удовольствием.

По настоянию Селены они отправились обедать к

ней. Она объяснила:

— Мне надо поговорить с вами, а в кафетерии это неудобно.

И вот теперь, когда Денисон вяло пережевывал нечто, отдаленно напоминавшее телятину под ореховым соусом, Селена вдруг сказала:

— Бен, вы все время молчите. И так уже неделю.

— Ничего подобного! — возразил Денисон, сдвинув брови.

— Нет, это так! — Она поглядела на него с дружеской озабоченностью. — Не знаю, многого ли стоит моя интуиция вне физики, но, по-моему, вас тревожит что-то, о чем вы не хотите мне рассказать.

Денисон пожал плечами.

— На Земле поднялся шум. Готтштейн перед отъездом туда нажимал на кнопки величиной с тарелку. Доктор Ламонт ходит в героях, и меня приглашают вернуться, как только статья будет написана.

— Вернуться на Землю?

— Да. По-видимому, и я попал в герои.

— И вполне заслуженно.

— Полное признание моих заслуг — вот что мне предлагают, — задумчиво произнес Денисон. — Любой университет, любое государственное учреждение будут счастливы предложить мне место на выбор.

— Но ведь вы этого и хотели?

— Хочет этого, по-моему, Ламонт. И хочет, и несомненно получит, и будет рад. А я не хочу.

— Так чего же вы хотите?

— Остаться на Луне.

— Почему?

— Потому что это клинок человечества, и я хочу быть частью его острия. Я хочу заняться установкой космонасосов, а устанавливать их будут только здесь, на Луне. Я хочу работать над паратеорией с помощью приборов, которые способна создать ваша мысль, Селена... Я хочу быть с вами. Но вы, Селена, вы останетесь со мной?

— Паратеория интересует меня так же, как и вас.

— А разве Невилл позволит вам продолжать?

— Бэррон? Мне? Вы стараетесь оскорбить меня, Бен?

— Что вы!

— Или я неправильно вас поняла? Вы ведь на-

мекнули, что я работаю с вами по указанию Бэррона?

— А разве не так?

— Да, он мне это предложил. Но работала я с вами не потому. Я сама этого захотела. Вероятно, он воображает, будто может мной распоряжаться по своему усмотрению, но это верно лишь до тех пор, пока его желания совпадают с моими — вот как было в случае с вами. Меня возмущает, что он думает, будто я ему подчинена, и меня возмущает, что так думаете вы.

— А ваши отношения?

— Но при чем тут это? Если рассуждать подобным образом, то почему, собственно, он должен распоряжаться мной, а не я им?

— Так значит, вы можете и дальше работать со мной, Селена?

— Конечно,— ответила она холодно.— Если захочу.

— Но вы хотите?

— Пока да.

И тут Денисон улыбнулся.

— Теперь я понимаю, что всю эту неделю меня грызла тревога — а вдруг вы не захотите или не сможете. И я подсознательно боялся завершения экспериментов: ведь это могло означать, что мы с вами расстанемся. Простите меня, Селена. Я не хочу докучать вам сентиментальной привязанностью дряхлого земляшки...

— Ну, ваш интеллект, Бен, дряхлым никак не назовешь. Да и вообще привязанности бывают разными. Мне нравится разговаривать с вами.

Наступило молчание. Улыбка Денисона увяла. Потом он снова улыбнулся, но уже механически.

— Завидую своему интеллекту,— пробормотал он, отвернулся, покачал головой и опять поглядел на Селену.

Она смотрела на него почти с тревогой.

— Селена,— сказал он,— протечка между вселенными не исчерпывается только энергией. По-моему, вы об этом уже думали.

Молчание затягивалось, становилось мучительным, и наконец Селена сказала:

— Ах, это...

Они продолжали смотреть друг на друга — Денисон смущенно, а Селена почти виновато.

— Я пока еще не обрел свою лунную форму,— сказал Готтштейн.— Но знали бы вы, Денисон, чего мне стоило обрести земную форму! А вам, пожалуй, это и вовсе не удастся. Так что лучше оставьте всякую мысль о возвращении.

— Я и не думаю об этом,— сказал Денисон.

— Жаль, конечно. Вы были бы там первым человеком. Ну, а Хэллем...

— Мне хотелось бы поглядеть на его физиономию,— вздохнул Денисон с некоторой грустью.— Впрочем, это не слишком похвальное желание.

— Львиная доля, конечно, достанется Ламонту. Он ведь там, в самой гуще событий.

— Я рад. Он меньшего и не заслуживает... Так вы считаете, что Невилл действительно придет?

— Безусловно. Я жду его с минуты на минуту... А знаете что? — произнес Готтштейн заговорщицким шепотом.— Пока его еще нет... Хотите шоколадный батончик?

— Что?

— Шоколадный батончик. С миндальной начинкой. Но только один! У меня их мало.

Недоумение на лице Денисона сменилось недоверчивой улыбкой.

— Настоящий шоколад?

— Да.

— Ну коне...— Вдруг его лицо посуровело.— Нет, спасибо.

— Нет?

— Нет! Пока шоколад будет таять у меня во рту, я затоскую по Земле. По всему, что есть на ней. А этого я себе позволить не могу и не хочу... Не угощайте меня шоколадом. Не показывайте мне его. Я даже запаха его боюсь.

Готтштейн смутился.

— Вы правы,— сказал он и неловко переменял тему.— Сенсация вышла колоссальная. Конечно, мы попытались замаять скандал с Хэллемом. Он сохранит какой-нибудь из своих почетных постов, однако реального влияния у него не будет.

— Сам он с другими так не деликатничал,— заметил Денисон, но без особого жара.

— Это ведь не ради него. Наука не может не понести значительного ущерба, если вдруг объявить дутым авторитет, который столько времени слыл непрекаемым. А добрая слава науки важнее личной судьбы Хэллема.

— Я принципиально с этим не согласен,— возразил Денисон.— Наука должна честно признавать свои ошибки.

— Всему есть время и место... А, вот и доктор Невилл!

Готтштейн придал своему лицу непроницаемое выражение, а Денисон повернулся к двери.

Бэррон Невилл вошел тяжелой походкой, лишенной какого бы то ни было лунного изящества. Он отрывисто поздоровался, сел, заложив ногу за ногу, и выжидательно посмотрел на Готтштейна. Было совершенно ясно, что первым он не заговорит.

Представитель Земли сказал:

— Рад вас видеть, доктор Невилл. Я узнал от доктора Денисона, что вы не захотели поставить свое имя под статьей о космонасосе, которая, как мне кажется, обещает стать классическим основополагающим трудом в этой области.

— А зачем мне это? — сказал Невилл.— То, что происходит на Земле, меня не интересует.

— Вам известны эксперименты с космонасосом? И их значение?

— Да, конечно. Я в курсе всего происходящего так же, как вы или доктор Денисон.

— Тогда я обойдусь без предисловий. Я только что вернулся с Земли с точными планами на будущее. Три большие космостанции будут построены в трех точках лунной поверхности, выбранных с таким расчетом, что хотя бы одна из них в каждый данный момент будет обязательно находиться в ночной тени. А чаще и две. Каждая станция, пока она остается в тени, будет вырабатывать энергию, в основном просто излучая ее в пространство. Главное назначение этих станций — компенсация нарушений в напряженности поля, вызываемых Электронным Насосом.

— В ближайшие годы,— перебил Денисон,— они должны работать с большой мощностью, чтобы восстановить в нашем секторе вселенной то положение, которое было до появления Насоса.

Невилл кивнул.

— А Лунный город сможет пользоваться этой энергией? — спросил он затем.

— В случае необходимости. По нашему мнению, солнечные аккумуляторы вполне обеспечивают вас энергией. Но если вам понадобится дополнительный источник...

— Очень любезно с вашей стороны,— с подчеркнутой иронией сказал Невилл.— А кто будет строить космостанции и следить за их работой?

— Мы надеемся, что луняне, — сказал Готтштейн.

— Вы знаете, что луняне! — возразил Невилл.— Землянам никогда с такой задачей не справиться.

— Мы это понимаем и надеемся на сотрудничество лунных граждан,— сказал Готтштейн официальным тоном.

— А кто будет решать, сколько надо вырабатывать энергии, какое ее количество использовать для местных нужд и сколько излучать в пространство? Кто будет принимать решения?

— Это установки общепланетного значения,— ответил Готтштейн.— И ведать ими будет специальная организация.

— Как видите, работать будут луняне, а руководить земляне,— объявил Невилл.

— Нет,— спокойно ответил Готтштейн.— Речь идет о простой целесообразности, и только.

— Это все слова. А суть одна: мы работаем, вы решаете... Нет, господин представитель Земли. Мы отвечаем — нет.

— То есть вы отказываетесь строить космостанции?

— Мы их построим, господин представитель, но они будут нашими. И мы сами будем решать, сколько энергии получать и как ее использовать.

— Все это не так просто. Вам ведь постоянно придется поддерживать контакт с Землей, поскольку энергия космонасосов должна точно уравнивать энергию Электронных Насосов.

— В какой-то мере так оно и будет. Но у нас другие планы. Я могу познакомить вас с ними теперь же. При соприкосновении вселенных неисчерпаемой становится не только энергия.

— Мы отдаем себе отчет в том, что закон сохране-



ния не ограничивается одной энергией,— перебил Денисон.

— Вот и прекрасно! — Невилл смерил его враждебным взглядом.— Такому же закону подчиняется также количество движения и угловой момент. До тех пор пока предмет реагирует с полем тяготения, в котором он находится, и только с ним, он пребывает в состоянии свободного падения и сохраняет массу. Для того чтобы он начал двигаться в другом направлении, ему необходимо приобрести ускорение, а для этого какая-то его часть должна претерпеть обратное движение.

— Как ракетный корабль,— перебил Денисон,— который выбрасывает некоторую массу в одном направлении, чтобы двигаться с ускорением в противоположном.

— Я не сомневаюсь, что вам все это известно, доктор Денисон,— сухо сказал Невилл.— Я объясняю мистеру Готтштейну. Потеря массы может быть сведена до минимума, если скорость ее отбрасывания резко возрастает, поскольку количество движения равно произведению массы на скорость. Тем не менее даже при самой колоссальной скорости какая-то масса должна отбрасываться. Если же необходимо придать ускорение колоссальной массе, то и отбрасывать придется тоже колоссальную массу. Если, например, Луну...

— Как Луну?! — воскликнул Готтштейн.

— Именно Луну,— невозмутимо ответил Невилл.— Если Луну потребовалось бы сдвинуть с орбиты и выбросить за пределы Солнечной системы, закон сохранения количества движения оказался бы, по всей вероятности, непреодолимым препятствием. Но если бы удалось перенести импульс в другую вселенную, Луне можно было бы придать любое ускорение без какой-либо потери массы. Так на Земле, если судить по картинке в книге, которую я читал в детстве, вы плывете на плоту против течения, отталкиваясь с помощью шеста.

— Но для чего? То есть для чего вам нужно придавать ускорение Луне?

— Неужели это неясно? К чему нам душное соседство Земли? У нас есть необходимая нам энергия и удобный мир, который мы можем осваивать еще много столетий. Так почему бы нам и не отправиться куда-нибудь еще? И мы это сделаем. Я пришел сообщить вам, что воспрепятствовать нам вы не можете, а потому

для всех будет лучше, если вы не станете вмешиваться. Мы передадим импульс в космоселенную и сойдем с орбиты. Как строить космостанции, нам известно. Мы будем производить всю необходимую нам энергию, а также избыток для нейтрализации изменений, которые возникают из-за работы ваших собственных силовых установок.

— Очень любезно с вашей стороны производить ради нас избыточную энергию,— насмешливо сказал Денисон.— Но объясняется это, конечно, отнюдь не вашим альтруизмом. Ведь если этого не сделать, Электронный Насос взорвет Солнце еще задолго до того, как вы пересечете хотя бы одну орбиту Марса, и от вас тоже останется только облачко газа.

— Не спорю,— сказал Невилл.— Но мы будем производить избыточную энергию, так что этого не произойдет.

— Нет, это невозможно! — с тревогой воскликнул Готтштейн.— Вы не должны покидать свою орбиту. Ведь когда вы удалитесь на большое расстояние, космостанции уже не будут нейтрализовать действие Электронных Насосов. Так ведь, Денисон?

Денисон пожал плечами.

— Когда они уйдут за орбиту Сатурна, могут начаться неприятности, если я сейчас правильно все прикинул. Но для этого им понадобится столько лет, что мы вполне успеем построить космостанции и вывести их на бывшую лунную орбиту. Собственно говоря, мы в Луне не нуждаемся. И она может отправляться, куда ей заблагорассудится. Но только она останется тут.

— Это почему же? — с легкой улыбкой спросил Бэррон.— Нас остановить невозможно. У землян нет способа навязать нам свою волю.

— Луна останется тут потому, что тащить ее куда-нибудь всю целиком бессмысленно. Чтобы придать такой массе сколько-нибудь заметное ускорение, понадобятся годы и годы. Вы будете ползти. Лучше начните строительство космических кораблей. Гигантов в милю длиной с самодостаточной экологией, а энергию им будет обеспечивать собственный космонасос. Снабдите их космодвигателями, и вы будете творить чудеса. Даже если на строительство кораблей понадобится двадцать лет, они меньше чем за год достигнут той точки, в которой оказалась бы к тому времени Луна, начини она

свое движение сегодня. И курс такие корабли будут способны менять за ничтожную долю времени, которое потребовалось бы на подобный маневр Луне.

— А некомпенсированные космостанции? Что они натворят во вселенной?

— Энергия, нужная кораблю или даже целому флоту, будет заметно меньше той, которая потребовалась бы для движения планеты, к тому же она будет распределяться по огромным областям вселенной. Пройдут миллионы лет, прежде чем изменения станут хоть сколько-нибудь значимыми. Зато вы приобретете маневренность. Луна же будет двигаться так медленно, что нет смысла сталкивать ее с места.

— А мы никуда и не торопимся,— презрительно бросил Невилл.— Нам нужно только одно — избавиться от соседства с Землей.

— Но ведь это соседство дает Луне немало полезного. Приток иммигрантов, культурный обмен. Да и просто сознание, что совсем рядом — живая жизнь, люди, разум. И вы хотите отказаться от всего этого?

— С радостью!

— Все луняне? Или лично вы? Вы ведь нетипичны, Невилл. Вы боитесь выходить на поверхность. А другие луняне выходят — может быть, без особого удовольствия, но и без страха. Для них недра Луны — не единственный возможный мир, как для вас. Для них они не тюрьма, как для вас. Вы страдаете неврозом, от которого другие луняне свободны,— во всяком случае, такой степени он не достигает ни у кого. Но если вы уведете Луну от Земли, вы сделаете из нее тюрьму для всех. Она превратится в планету-темницу, все обитатели которой — как пока еще только вы один — начнут бояться ее поверхности, откуда уже не будет виден другой обитаемый мир. Но, возможно, вам как раз это и нужно?

— Мне нужна независимость. Мне нужен мир, который был бы полностью свободен от посторонних влияний.

— Так стройте корабли. В любом количестве. Едва вам удастся передать импульс в космовселенную, как вы без труда достигнете скорости, близкой к скорости света. Вы сможете исследовать нашу Галактику на протяжении жизни одного поколения. Неужели вы не хотите отправиться в путь на таком корабле?

— Нет,— ответил Невилл безглаголиво.

— Не хотите или не можете? Или, куда бы вы ни отправились, вам необходимо тащить с собой всю Луну? Так почему же вы навязываете свою идиосинкразию всем остальным?

— Потому что так будет, и все! — отрезал Невилл.

Денисон сказал ровным тоном, хотя его щеки пылали:

— А кто дал вам право говорить так? В Лунном городе есть много людей, которые, возможно, не разделяют вашего мнения.

— Вас это не касается.

— Нет, касается. Я — иммигрант и намерен в ближайшее время получить право гражданства. И я не хочу, чтобы мою судьбу решали, не спрашивая моего мнения,— тем более, чтобы ее решал человек, который неспособен выйти на поверхность и который хочет сделать свою личную тюрьму тюрьмой для всех. Я расстался с Землей, но для того лишь, чтобы поселиться на Луне, в четверти миллиона миль от родной планеты. Я не давал согласия, чтобы меня увлекали от нее навсегда неведомо на какое расстояние.

— Ну, так возвращайтесь на Землю,— равнодушно перебил Невилл.— Время еще есть.

— А граждане Луны? А остальные иммигранты?

— Решение принято.

— Нет, оно еще не принято... Селена!

В дверях появилась Селена. Ее лицо было серьезно, в глазах прятался вызов. От небрежной позы Невилла не осталось и следа. Обе его подошвы со стуком впечатались в пол. Он спросил:

— И долго ты ждала в соседней комнате, Селена?

— Я пришла раньше тебя, Бэррон,— ответила она.

Невилл посмотрел на нее, потом на Денисона, потом опять на нее.

— Вы... вы вдвоем...— пробормотал он, тыча в них пальцем.

— Я не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под этим «вдвоем»,— перебила Селена.— Но Бен уже давно узнал о передаче импульса.

— Селена тут ни при чем,— вмешался Денисон.— Мистер Готтштейн заметил какой-то летящий предмет в тот момент, когда никто не мог знать, что он наблюдает за установкой. Я понял, что Селена экспериментирует с

чем-то, о чем я еще не думал, и сообразил, что это может быть передача импульса. А потом...

— Ну ладно, вы знали,— сказал Невилл.— Но это ровно ничего не меняет.

— Нет, меняет, Бэррон! — воскликнула Селена.— Я обсудила все это с Беном, и мне стало ясно, что я слишком часто принимала твои слова на веру, и совершенно напрасно. Пусть я не могу поехать на Землю. Пусть я даже не хочу этого. Но я убедилась, что мне нравится видеть ее в небе, когда у меня появляется такое желание. Мне не нужно пустого неба! Потом я поговорила с другими членами группы. И оказалось, что далеко не все они хотят отправляться в бесконечные странствия. Большинство считает, что надо строить корабли для тех, кто стремится к звездам, а те, кто хочет остаться, пусть остаются.

— Ты говорила об этом! — задыхаясь, крикнул Невилл.— Кто тебе дал право...

— Оно и так принадлежало мне, Бэррон. Да это и неважно. Большинство против тебя.

— Из-за этого...— Невилл вскочил и угрожающе шагнул к Денисону.

— Пожалуйста, успокойтесь, доктор Невилл,— поспешно сказал Готтштейн.— Вы уроженец Луны, но все-таки я думаю, что с нами двумя вам не справиться.

— С тремя,— поправила Селена.— И я тоже уроженка Луны. Все это сделала я, Бэррон, а не они.

— Послушайте, Невилл,— после некоторого молчания заговорил Денисон.— Земле в конечном счете все равно — останется Луна на орбите или нет. Земля без труда построит взамен космические станции. Это гражданам Луны не все равно. Селене. И мне. И всем остальным. Вас никто не лишает права проникнуть в космос, бежать туда, искать там свободы. Самое большее через двадцать лет те, кто захочет покинуть Луну, смогут это сделать. Включая и вас, если у вас хватит мужества расстаться со своей норой. А те, кто захочет остаться, останутся.

Невилл медленно опустил на стул. Он понял, что потерпел поражение.

В квартире Селены теперь каждое окно представляло панораму Земли. Селена сказала:

— Большинство проголосовало против него, Бен. Подавляющее большинство.

— Но он вряд ли откажется от своих планов. Если во время строительства станций начнутся трения, общественное мнение Луны может склониться на его сторону.

— Но ведь можно обойтись и без трений.

— Разумеется. Да и вообще в истории не бывает счастливых развязок. Просто на смену одной благополучно решенной проблеме приходят новые. Пока мы удачно справились с очередным затруднением. А о следующих будем думать, когда они возникнут. Ну, а с постройкой звездных кораблей все вообще переменится.

— И я уверена, что мы своими глазами увидим, как это будет.

— Вы-то увидите, Селена.

— И вы, Бен. Не кокетничайте своим возрастом. В конце концов вам всего сорок восемь лет.

— А вы полетите на звездном корабле, Селена?

— Нет, не полечу. Годы будут уже не те, да и расставаться с Землей в небе мне и тогда вряд ли захочется. Вот мой сын, возможно, полетит... И знаете что, Бен...

Она замолчала, и Денисон осторожно спросил:

— Что, Селена?

— Я получила разрешение на второго ребенка. Хотите быть его отцом?

Денисон посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляда.

— Биологический отбор?

— Ну конечно... Комбинация генов должна получиться очень интересной.

Денисон отвернулся.

— Я польщен, Селена.

— Но что тут такого? — сказала Селена, точно оправдываясь. — Это же разумно. Хорошая наследственность крайне важна. И естественное генетическое конструирование, оно же... ну... естественно.

— Да, конечно.

— И это вовсе не единственная причина... Ведь вы мне нравитесь.

Денисон кивнул, но продолжал молчать.

— И в конце концов любовь биологией не исчерпывается,— уже сердито сказала Селена.

— Не спорю,— сказал Денисон.— Во всяком случае, я вас люблю помимо биологических соображений.

— Ну, если уж на то пошло, биологические соображения могут диктоваться как раз любовью.

— И с этим не спорю,— сказал Денисон.

— Кроме того...— пробормотала Селена.— А, черт...

Денисон нерешительно шагнул к ней. Она стояла и ждала. И тут уж он поцеловал ее без дальнейших колебаний.

# СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА . . . . .	5
ПУТЬ МАРСИАН	
<i>Перевод А. Иорданского и Н. Лобачева . . . . .</i>	9
ПРИХОД НОЧИ	
<i>Перевод Д. Жукова . . . . .</i>	59
МЕСТО, ГДЕ МНОГО ВОДЫ	
<i>Перевод А. Иорданского . . . . .</i>	98
ПОЮЩИЙ КОЛОКОЛЬЧИК	
<i>Перевод Н. Гвоздаревой . . . . .</i>	103
РОБОТ ЭЛ-76 ПОПАДАЕТ НЕ ТУДА	
<i>Перевод А. Иорданского . . . . .</i>	123
МЕЧТЫ — ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО	
<i>Перевод И. Гуровой . . . . .</i>	138
ПРОФЕССИЯ	
<i>Перевод С. Васильевой . . . . .</i>	157
ВЫБОРЫ	
<i>Перевод Н. Гвоздаревой . . . . .</i>	223
САМИ БОГИ	
<i>Перевод И. Гуровой . . . . .</i>	241



*Литературно-художественное издание*

Айзек Азимов

Избранное

*Второе издание, стереотипное*

Заведующий редакцией А.А. Кирюшкин  
Ст. научный редактор А.Г. Белевцева  
Мл. научные редакторы М.А. Харузина, И.Б. Ильченко  
Иллюстрации: Ю. Соостер, Ф. Инфанте  
Художественный редактор Н.М. Иванов  
Технический редактор И.И. Володина  
Корректор Н.А. Гиря  
ИБ № 8085

Подписано к печати 6.02.91. Формат 84 x 108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Объем 8,25 бум. л. Усл.-печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 55,44. Уч.-изд. л. 31,21. Изд. № 9/8871. Тираж 100 000 экз. Зак.191 Цена 12 руб.

Издательство "Мир" В/О "Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по печати. 129820, ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате В/О "Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

**В 1991 ГОДУ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«МИР»  
ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ  
КНИГУ**

**АРТУРА КЛАРКА  
«Космическая одиссея»  
В КОТОРУЮ ВОШЛИ  
ТРИ РОМАНА ПИСАТЕЛЯ,  
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩИМ  
ГЕРОЕМ:**

**«2001: Одиссея один»,**

**«2010: Одиссея два»,**

**«2061: Одиссея три».**

*Следите за поступлениями!*



